

*За помощь в написании романа
автор особенно признателен*

*Льву Орлову,
Антону Петровичу Фертovu,
Елене Антоновне Фертовой,
Вере Кузьминой,
Елизавете Литвиновой,
Павлу Андреевичу Мартынову,
Сэму,
печальному клоуну Пете Миронову,
Рафаэлю Циталашвили.*

самое время!

Евгений Ключев

Андерманир штук

социофренический роман

Москва 2011



УДК 821.161.1-3
ББК 84Р7-4
К52

Оформление — Валерий Калныньш

Клюев Е. В.

К52 Андерманир штурк: Социофренический роман. —
М.: Время, 2011. — 624 с.
ISBN 978-5-9691-0631-4

Новый роман Евгения Клюева, подобно его прежним романам, превращает фантазмагорию в реальность и поднимает реальность до фантазмагории. Это роман, постоянно балансирующий на границе между чудом и трюком, текстом и жизнью, видимым и невидимым, прошлым и будущим. Роман, чьи сюжетные линии суть теряющиеся друг в друге миры: мир цирка, мир высокой науки, мир паранормальных явлений, мир мифов, слухов и сплетен. Роман, похожий на город, о котором он написан, — загадочный город Москва: город-палимпсест, город-мираж, город-греза. Роман, порожденный словом и в слово уходящий.

ББК 84Р7-4

ISBN 978-5-9691-0631-4



© Евгений Клюев, 2010
© «Время», 2011

«Мы не местные, мы небесные»

Игнатъич

1. ПОТОМ НИ ОДИН ПАТОЛОГОАНАТОМ НЕ СОБЕРЕТ

Ребенка назвали ЛЕВ.

Зачем людей называют львами? И если называют львами, то почему не называют тиграми, слонами, медведями? Хотя раньше, кажется, было имя Кит. Но потом киты исчезли. А львы остались...

Итак, ребенка назвали Лев — не подумавши. Получилось: Лев Орлов... Глупо получилось. Потом его, конечно, не раз спросят: так ты лев или орел? Я грифон — научится отвечать Лев Орлов.

Но это гораздо позднее, потому как сейчас он только что родился. Лев родился зимой.

Родившись, он заорал таким страшным голосом, что молоденькая акушерка чуть не выронила его из рук. Правда, не только из-за этого, а из-за того еще, что обладатель недюжинной глотки был покрыт черной шерстью — с ног до головы — и что совсем юная, бледная и прекрасная роженица, Леночка, увидев ребенка, тоже заорала страшным голосом,

изо всех сил стараясь, но не будучи способной отвести от чада ренессансных своих глаз.

Потом Леночка расскажет, что с самого начала была против имени Лев, но Алику хотелось Льва. Алик было полное имя мужа (Алик Саркисович) — и «Львом» Алик явно компенсировал недостаток значительности собственного наименования. Нисколько не заботясь о том, что любой лев, произведенный им на свет, обязательно будет Аликович...

Леночке же слышалось во «Льве» только животное, зверь слышался — и ничего больше. И она боялась родить зверя. Тем более что профессиональная гадалка, к которой на четвертом месяце беременности зачем-то привела ее Нора, что-то в этом роде и предрекла. Сжав руку Леночки так, словно собиралась выдавить из ладони всю правду до капельки, профессиональная гадалка минут десять самозабвенно предавалась анализу линий на покрасневшей коже и в конце концов задумчиво сказала: «Дикое мясо из тебя выйдет, голубушка». Леночка тогда проплакала весь вечер, а с утра обнаружила, что без содрогания видеть не может желтого цвета: он был главным в одежде профессиональной гадалки.

Боязнь желтого преследовала ее вплоть до самых родов: при виде желтого Леночке становилось плохо — испарина, учащенный пульс, одышка и все-такое-прочее. Нора посоветовала носить темные очки — и Леночка выбрала самые крупные и самые темные, с зеленым оттенком. Она не снимала их до зимы и жаловалась кому попало при первой же возможности: «Хожу беременная, в морозы, вся в черных очках... ужас!»

...глаза от Льва удалось отвести тогда, когда его куда-то унесли. Леночка улыбнулась присутствовавшему персоналу и, виновато вздохнув, стала осторожно сползать на пол.

— Погодите, Вам же нельзя пока вставать, женщина! — закричали ей, но она, не переставая улыбаться, начала медленно, словно во сне, двигаться к двери, про себя удивляясь слову «женщина», обращаемому к ней впервые. И — толкнула дверь, и засемила по коридору. Истекая, между прочим, кровью.

Только спустя несколько месяцев она признается наконец, что просто хотела убежать. Убежать — все равно куда, и пусть никто не найдет. Чтобы это маленькое чудовище в шерсти отдали куда-нибудь... куда-нибудь ведь отдают таких: в зоопарк, в питомник!

Конечно, Леночку привели назад. Уложили обратно на стол. Сказали, что ребенка она больше не увидит никогда: его зарежут и закопают в землю. Ренессансными своими глазами Леночка изумленно посмотрела на говорившего и сказала с трудом:

— Нет. Пожалуйста. Не зарезать и в землю не закапывать.

Когда Льва принесли кормить, она вздохнула и дала зверенышу грудь.

Волосы потом пропали, а еще раньше Леночке объяснили, что так бывает и что это к счастью. Все равно как в рубашке, значит, родился. Некоторое время с опаской поглядывая на облысевшее чадо, она в конце концов влюбилась в него без памяти: так влюблялась она во все новое. Алик передал Льву желтые пеленки — Леночка по привычке вздрогнула, но страха не испытала: бояться стало нечего.

Вернувшись домой из роддома, она беспрестанно говорила о Льве по телефону, на самого Льва внимания при этом обращая мало. Впрочем, Лев его и не требовал, словно понимая, что Леночке гораздо приятнее рассказывать о том, как именно она рожала — его. И что, родившись, он весил ровно

четыре килограмма: такая точность веселила Леночку необыкновенно. «Четыре килограмма льва, представляешь?» — кричала она в трубку и хохотала. Хохотать Леночка любила больше всего на свете и часто это себе позволяла. Она хохотала даже тогда, когда от нее требовалось просто улыбнуться.

— Не хохочи, Леночка, я сейчас пилить тебя начну, — просил Антон Петрович в манеже, но Леночка хохотала все равно.

Антон Петрович был отцом Леночки и ее работодателем.

Антон, стало быть, Петрович («Почти Павлович!» — иногда шутил он, представляясь) — с псевдонимом Антонио Феери... кто же в Москве шестидесятых-семидесятых не слышал этого псевдонима? Кто же не бывал на представлениях иллюзиониста, чуть ли не больше, чем фокусами, известного своими сухими, как порох, и столь же взрывоопасными замечаниями в собственный адрес и в адрес очаровательной, но явно не слишком сообразительной ассистентки?

— Не хохочи, Леночка, я сейчас пилить тебя начну.

Леночка унаследовала ренессансные глаза отца, каковыми ни с того ни с сего наделила его природа, и немножко материнской пластики: матью ее была Джулия Давнини, бесследно исчезнувшая пять лет назад женщина-змея. Обстоятельства исчезновения женщины-змеи никогда не прояснились: во время летних гастролей на полу в гостиничном номере обнаружили только ее чешуйчатый комбинезон.

Отношения Леночки с отцом на арене были сложными: он, стало быть, перепиливал ее пополам — в ящике, куда сам же предварительно и помещал.

— Я бы мог перепилить ее и без ящика, — объявлял Антонио Феери на весь цирк, — но боюсь забрызгать вас кровью.

Публика нервно смеялась, понимая: фокусник шутит.

Леночка выходила на арену браво — в ослепительном золотом трико, плотно прилегавшем к телу, под жизнеутверждающую музыку — и сразу же начинала хохотать, музыку, к счастью, не заглушая. Смотреть на то, как Антонио Феери с хирургическим выражением лица распиливает ее в ящике, было, скорее, приятно, чем страшно, ибо Леночка хохотала и будучи распиливаемой. Самым же оптимистичным в программе Антонио Феери считался момент, когда — уже после распиливания — верхняя часть Леночки продолжала хохотать, причем с удвоенной силой.

Но вот половинки ящика снова сведены: верхняя и нижняя части Леночки от целительных пассов Антонио Феери, со всей очевидностью, соединяются в ящике («Я бы сшил ее хирургической иглой, только потом швы снимать канителиться!»)... — и Леночка хохочет наконец всем своим телом, тело предъясняется публике, а иллюзионист произносит странные слова:

— Если бы мне не удалось соединить верхнюю часть с нижней, оставшуюся жизнь ей пришлось бы хохотать дуэтом.

Трудно сказать, что имеет в виду Антонио Феери... и что он вообще имел в виду, разбрасывая по манежу сухие свои замечания!

Больше ничего такого эффектного от Леночки не требовалось, и все остальное время она просто подавала иллюзионисту цилиндр, бокал, зонт... — разумеется, не забывая хохотать, что к концу программы уже начинало раздражать зрителей.

— Потерпите, — провозглашал Антонио Феери, принимая из рук хохочущей Леночки, например, бокал. — Скоро я опять распилю ее, причем на множество мелких частей, — потом ни один патологоанатом не соберет!

2. НЕ ЦИРКОВОЕ ДИТЯ

Антонио Феери любил дочь больше жизни. Когда-то давно он любил больше жизни Джулию Давнини, но любовь к Джулии всегда была безответной. Впрочем, безответной быстро стала и его любовь к дочери: с тех самых пор, как та соблазном-посланное-ложе отчей-сени-предпочла... ни иначе, ни короче Антонио Феери не называл время, когда у Леночки появился первый кавалер — наездник Реза Абдурахманов, примчавшийся в ее жизнь на лихом коне. Вне лихого коня Резу Абдурахманова Антонио Феери не видел ни разу («Моя дочь полюбила скульптурную группу», — говорил он обычно) — и все пытался представить себе, куда девается лихой конь, когда Леночка и Реза Абдурахманов возлежат на своем «соблазном посланном ложе»: Антонио Феери подозревал, что лихой конь, скорее всего, примостился где-нибудь тут же и тревожно ржет — например, в изголовье... м-да. Но в один прекрасный день Реза Абдурахманов вскочил на своего лихого коня — наверное, прямо с ложа — и исчез из поля зрения. Поле зрения пустовало недолго — скоро в него набилось довольно много народу, и некоторые (Леночка с грустью называла их «нахалами») время от времени даже получали доступ к ложу. Пока, недолго думая (долго он и вообще-то не мог), Алик Саркисович Орлов — шизым, стало быть, орлом — взлетел с подкидной доски, на которой проходила большая часть его жизни, и, сильными крыльями сшибив с ложа очередного «нахала», упал на сие ложе — «как золотой дождь на Данаю», по словам Антонио Феери. «От золотого дождя и произошел Лев», — эпическим тоном повествовал впоследствии иллюзионист, однако сам не особенно в это верил, хоть и был человеком традиционным.

И фокусы показывал только традиционные. К нему относились как к иллюзионисту старой школы — не особенно творческому, но на редкость ловкому и аккуратному. Творческими признавали, пожалуй, только его руки — потрясающей красоты руки, каждое движение которых было — танец. Осветители обожали высвечивать колдующие в воздухе белые перчатки, за полетом которых зачарованно следила публика: любясь, но, разумеется, не отдавая себе отчета в том, что свет-на-руки для любого иллюзиониста — помощь сомнительная... Впрочем, не для Антонио Феери: его руки не боялись света. Танец рук был настолько точным и безупречным, что сам Антонио Феери мог бы не присутствовать на своих представлениях: его гениальные руки легко справились бы со всем без него. Они и в его-то присутствии жили отдельной жизнью. «Я зарабатываю на хлеб руками, — часто говорил он и добавлял: — Не уверен только, что своими».

Его — постоянно одна и та же — программа называлась «Полчаса чудес». Эти полчаса чудес он неустанно возил по всему свету, ни разу не изменив ни одного номера, но успех все равно был ошеломляющим: всякий раз, когда высвечивались порхающие над ареной белые перчатки, публика забывала о том, что уже наизусть знает фокусы Антонио Феери. И за этот танец белых перчаток готова была простить все — даже неумолчный хохот Леночки.

Пусть только танцуют свой танец белые перчатки!..

Так что Леночка могла хохотать совершенно безнаказанно. Родив Льва, она поклялась себе, что цирковым тот не будет ни-ког-да. А будет... будет инженером-конструктором! И Леночка накопила грудному Льву кучу машинок и заводных игрушек — впечатления на него не производивших.

«Смотри, какой фургончик, Лев!» — возила она перед его глазами невменяемых размеров контейнер. Контейнер пугал Льва — и Лев плакал, а Леночка хохотала.

Алик Саркисович Орлов не разделял Леночкиных идей: он мечтал видеть сына на подкидной доске — и чем скорее, тем лучше, можно даже прямо сейчас, ничего, что Лев — грудной! Больше ни о чем Алик Саркисович Орлов мечтать не умел, ибо в его собственное сознание подкидная доска была встроена от рождения. На подкидной доске он вырос — и все развитие его как личности представляло собой процесс перемещения с верхней ступени «живой пирамиды», куда он угождал непосредственно с доски, в основание этой пирамиды. Мальчиком держали его на плечах четыре орлова, а позднее, значит, сам он стал держать на своих плечах четырех орловых. Пирамида, состоявшая из орловых, считалась «живой», но впечатления такого не производила, ибо прыгуны стояли как мертвые... м-да, как мертвые прыгуны. Было, правда, слышно, что в каждом из них натужно билось живое человеческое сердце: номер шел без музыкального сопровождения.

А рост Алик Саркисович Орлов имел высокий: до двух метров не хватало какой-нибудь мелочи, так что ему вряд ли удалось бы взлететь над манежем — оставалось только принимать с воздуха более летучих орловых, когда те над его головой от-ку-выр-ки-ва-ли свое. Слава Богу, фундамент под названием «Алик Саркисович Орлов» всегда вырастал внизу именно в тот момент, когда дальше кувыркаться казалось некуда. Алик Саркисович Орлов был сама надежность. Он никогда не улыбался, но этого от него и не требовалось: лицо Алика Саркисовича Орлова излучало такую неизбывную доброту и приязнь, что любая улыбка на таком лице была бы просто неуместной.

И, конечно, на свет от него мог произойти только лев... если, конечно, это был его лев. Но о том, его ли это лев, Алик Саркисович Орлов никогда не задумывался — он просто сразу сказал: «Мой лев». И добавил: «Прекрасный лев», — уже видя Льва на самой вершине «живой пирамиды».

— А ведь правда, ничего себе львенок! — откликнулся Антонио Феери, в первый раз за много лет испытал нежность — и почти не узнав ее, когда она внезапно заявила о своем присутствии. Но потом, конечно, узнав и сказав: «Здравствуй, нежность».

Льва в семье стали называть «львенок».

Несмотря на свои четыре килограмма, львенок оказался довольно болезненный — скорее всего потому, что сразу после рождения его начали таскать с собой по гастролям. Алик Саркисович Орлов качал большой головой и постоянно долдонил «закалять-надо-ребенка-закалять-надо-ребенка-закалять-надо-ребенка», но закалять-ребенка ему не давали. Леночку — по совести сказать — чуть ли не радовал тот факт, что львенок, со всей очевидностью, не оказывался крепышом. Тем реальнее рисовался ее мысленному взору привлекательный образ инженера-конструктора: мужчины с внешностью подростка и в толстых роговых очках... интеллигентного-о-о — хоть влюбись! Один такой часто приходил на представления Антонио Феери на Цветном и всегда сидел во втором ряду, близко к форгангу. Непосредственно перед тем, как Леночке выпархивать на манеж, мужчина-подросток коротко вскрикивал: «Браво!»... — и Леночке казалось, что сразу после этого он падал с кресла как подстреленный, на весь номер теряя сознание. Правда, проконтролировать это она никогда не решалась: Леночку все-таки пугала перспектива увидеть его в добром здравии — пожирающим пломбир-с-розочкой.

— Ты замечаешь такого... интеллигентного мужчину во втором ряду слева от форганга? — спрашивала Леночка отца по окончании номера.

— Плюгавенького совсем? — интересовался Антонио Феери. — Нет, не замечаю: у меня глаз не вооружен.

Леночка обижалась — и, почти не попрощавшись с отцом, назло ему и всему свету отправлялась домой пешком (недалеко, правда: двадцати минут не набиралось!), по дороге вынашивая планы мести Антонио Феери. Вот откажусь с завтрашнего дня ассистировать — пусть попляшет тогда! Я-то, дура, на работу спешила — года с ребенком не посидев... как он, кстати, там, у Валечки, сегодня? Плачет, небось, бедный.

Плакал Лев часто. «Часто, но, слава Богу, тихо, — говорит Леночка. — Он не столько плачет, сколько куксится».

— Дурная кровь, — качал большой головой Алик Саркисович Орлов.

Имея в виду, понятное дело, не свою кровь (кровь у всех орловых испокон веку была что надо), а женщины-змеи.

— Зачем ты так! — укоряла Леночка, автоматически защищая мать, которой она, впрочем, несмотря на прошедшие несколько лет всего, уже почти не могла себе представить.

Между тем Джулию Давнини действительно считали психопаткой — этому, однако, не удивляясь, ибо, дескать, что взять с итальянки! Русский язык — так, чтобы по-настоящему, — она выучить не смогла, хоть и прожила в России — с укравшим ее, девятнадцатилетнюю, прямо из Италии Антоном Петровичем Фертовым — почти полжизни, все эти годы страшно раздражаясь от того, что никто ее не понимает. Не понимает и не хочет понять: Джулия Давнини считала, что захоти «они все» ее понять — вполне могли бы

выучить итальянский: простой же язык, *porca madonna!* Она бранилась, пила, курила и шла в постель с каждым, кто соглашался понять ее хотя бы на один вечер... всегда на один вечер. Правда, Маневич понимал ее чаще других — так, по крайней мере, ей казалось, и женщина-змея иногда предпочитала его в постели тому или иному новому своему знакомому-на-один-вечер. Поговаривали, что женщина-змея умеет читать мысли, — и за это ее даже немножко побаивались... в любом случае — избегая. «Какие вы *tutti* холодный, *porca madonna!*»

Какие вы *tutti* холодный...

Было время, Антонио Феери боготворил ее и прощал ей все. До появления Маневича. Простить Джулию Маневича он не смог никогда — хоть и оставаясь с ней до последнего дня, дня ее исчезновения-из-жизни. Потому что смертью произошедшее с ней назвать было нельзя никак. Джулия Давнини, легенда советского цирка, просто скользнула змейкой между камнями (какие вы *tutti* холодный!) — и никто больше никогда ее не видел. Комбинезон «змеиная кожа» был явно сброшен впопыхах. Складывая его то... эдак, то опять эдак, Антонио Феери все время повторял: «Я знал, я знал...» — но что именно он знал, навсегда осталось загадкой. Женщина-змея в их жизни больше не объявилась. Тело ее так и не было найдено.

Со дня исчезновения Джулии Антонио Феери пока еще ни разу не произнес ее имени. И не принял участия ни в одном разговоре о ней. Женщина-змея умерла для него полностью — включая имя. Боготворил же он отныне — Леночку: тогда Леночка была дитя. Правда, сама она и потом утверждала, что все еще дитя... Антонио Феери терпеливо верил, пока была возможность и пока не появился Лев: дитя-вне-всяких-сомнений! Только уж больно хрупкое дитя. Не цирковое дитя.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ ЗОЛОТУЮ РЫБКУ В ЧЕРНИЛАХ

Предъявите публике стеклянный фужер, наполненный густой жидкостью темного цвета — чернилами — и поставьте его на стеклянный столик перед собой.

Затем выньте из нагрудного кармана шелковый платок, встряхните его и покажите зрителям обе стороны платка, после чего накройте им фужер и совершите над фужером несколько магических пассов.

Осторожным движением снимите платок с фужера — теперь фужер наполнен прозрачной водой, в которой плавает золотая рыбка.

Поднесите фужер с золотой рыбкой к зрителям первых рядов: пусть они убедятся в том, что рыбка живая.

Комментарий

Для этого широко известного трюка вам понадобится полый конус без дна из тонкой черной резины, точно повторяющий форму фужера. К одной из сторон полого конуса, за самый его верх, прикрепите нить с маленьким деревянным шариком на конце. Опустите конус в фужер — просвечивающая сквозь стекло резина создаст впечатление налитых в фужер чернил. Перед началом фокуса налейте в фужер воды и пусть туда плавать золотую рыбку: ни вода, ни рыбка, ни находящийся на поверхности воды деревянный шарик не будут видны зрителям из-за скрывающего их черного конуса.

Покрывая фужер платком, нащупайте деревянный шарик на поверхности воды. Придерживайте его большим и указательным пальцами и поднимайте вместе с платком над фужером: подцепленный за нитку конус скроется в платке, который сразу же после этого, пока внимание зрителей сосредоточено на золотой рыбке в прозрачной воде, рекомендуется спрятать.

3. СОБСТВЕННО, ДАЖЕ АНТОНИО ФЕЕРИ

Когда львенку исполнилось четыре года, Алик Саркисович Орлов сдался: стало понятно, что ни о какой подкидной доске речи уже не пойдет никогда. Ребенка тошнило, когда отец подбрасывал его в воздух. Тошнило в общественном транспорте. Тошнило на качелях и каруселях. Заметили, что его тошнит по утрам — стоит только ему резко подняться с кровати.

По врачам львенка водил Антонио Феери. Обследование было долгим. Диагноз — не то чтобы сильно беспокоящим, но вполне безрадостным. Дед не успел сообщить его, потому что Леночка «об этом» говорить запретила. «Я не вынесу», — предупредила она, и тему закрыли, удовлетвовавшись сведением общего плана — о неких незначительных нарушениях мозгового кровообращения. «Пройдет!» — мужественно провозгласила женственная Леночка и стала спокойно жить дальше, убедив себя в том, что головокружения никому еще не помешали стать инженером-конструктором. Отныне, правда, с удвоенной энергией таская львенка за собой: так она понимала материнскую заботу. Таская, значит, везде и повсюду: и на гастроли, и даже на свидания с поклонником из второго ряда слева, который давно уже перестал быть поклонником, — выяснилось, что по профессии он инженер-конструктор и, стало быть, воплощает в себе Леночкину мечту о прекрасном будущем Льва. Со слезами рассказав наконец о таком удачном стечении обстоятельств своему бедному прыгуну с подкидной доски, Леночка оставила Алика Саркисовича Орлова и, печалась, сочеталась браком с инженером-конструктором. По имени Ве-ни-а-мин. Так у Льва появился новый папа.

— Это новый папа, — просто сказала Леночка, когда Ве-ни-а-мин распаковал свои вещи и разложил их по чужим местам.

— А где старый папа? — спросил львенок, приготовившись плакать.

— Старый теперь в Ленинграде.

И это была сушая правда: «старый папа», по нечеловеческой доброте своей, решил, что так будет лучше для всех.

— Почему его отправили на гастроли одного? — озадачился Лев, сиюсья вспомнить, что такое Ленинград, и почти уже плача.

— Его не на гастроли отправили, а просто один мальчик из Ленинграда очень просил старого папу себе, и папу отдали, — вздохнул дед Антонио. — Того отдали, а этого вот... Ве-ни-а-ми-на, — тут дед Антонио опять вздохнул, — предложили взамен.

Львенок сдержался плакать и внимательно посмотрел на нового папу:

— Потому что мы такого просили?

— Разве он тебе не нравится? — озаботилась Леночка.

— Зовут его... трудно, — честно сказал львенок.

— Зато он научит тебя считать! — выдала секрет любви Леночка.

— Я умею считать. — Львенок сосчитал до десяти и хотел было продолжать, но сбился.

— Вот видишь! — захохотала Леночка. — А новый папа научит тебя считать до ста...

— ...и уедет? — попытался подытожить за нее львенок.

— Я никогда никуда не уеду, — щедро пообещал Ве-ни-а-мин.

И львенок все-таки заплакал.

А считать новый папа начал учить его сразу же, причем не просто числа считать, а всегда что-нибудь: птиц считать, дома, деревья... потом все это складывать друг с другом или отнимать друг от друга. Львенок не понимал, зачем все вокруг нужно складывать и отнимать. В голове его одна птичка и одно дерево не равнялось двум, а равнялось птичке на дереве. А одно дерево и один дом равнялось дереву около дома. Что касается пяти коровок и трех коровок, то все они равнялись стаду. Отнимать же одного зайчика от двух зайчиков он вообще отказывался: ему было до слез жалко как того одного, которого отнимали, так и тех двух, которые оставались.

— Там не два зайчика остается, а только один! — торжествующе сказал Ве-ни-а-мин и совсем не понял ответа львенка:

— Это еще хуже... Давайте я вообще не буду отнимать зайчиков, Ве-ни-а-мин, а только складывать?

— Почему? — задал глупый вопрос Ве-ни-а-мин.

— Потому что чем больше зайчиков, тем лучше!

— Это не факт, — странно ответил Ве-ни-а-мин. — И потом... не называй меня на «Вы» и «Ве-ни-а-мин»: мне это не нравится. Или я тоже буду называть тебя на «Вы».

Львенок задумался. Дед Антонио, которого он любил больше всех на свете, называл его нового папу именно на «Вы» и «Ве-ни-а-мин».

— Лучше тогда называйте меня тоже на «Вы», — махнул рукой он, а Ве-ни-а-мин рассердился и нарочно велел отнимать зайчиков друг от друга.

Тогда рассердился и львенок.

— Я отнимаю себя от Вас, Ве-ни-а-мин, — сказал он и отнял.

Математическая эта операция оказалась единственной, которую он осуществил правильно. Ибо сразу после нее Ляночка отправила его к деду Антонио: жить.

— Это потому, что я отнял себя от Ве-ни-а-ми-на, — объяснил львенок, сразу забираясь на колени к деду.

— Эх, львенок ты, львенок, — вздохнул дед Антонио. — Сокровище ты мое.

Сокровищем его называл только дед. Слово было таким, как будто им щекотали, — и львенок смеялся, когда дед говорил ему «сокровище».

В общем, дед Антонио, с этого же дня раз и навсегда отказавшийся от гастролей и выступавший отныне только на Цветном, получил то, о чем мечтал, — Льва. И Лев получил то, о чем мечтал, — деда Антонио. Если учесть, что Леночка и Ве-ни-а-мин получили всего-навсего друг друга, дед Антонио и Лев сильно выиграли.

— Мы выиграли, — сказал дед Антонио, вытащил яйцо из уха Льва и спросил: — Тебе оно там не мешало?

— Нет... — растерянно сказал Лев.

— Тогда извини! — исправился дед Антонио и снова засунул ему в ухо яйцо.

Так и началась их совместная жизнь. Отныне Лев встречался с Леночкой только в цирке на Цветном. Лев прилежно обнимал ее за коленки, а она плакала и гладила его по голове, плакала и гладила по голове, плакала и гладила по голове — и так каждый раз. Иногда она спрашивала:

— Ты скучаешь по маме?

— Нет, Леночка, — честно отвечал он, — мы же часто видимся!

Со дня переезда к деду Антонио он никогда больше не называл ее «мама». Леночка удивлялась, Леночка обижалась, Леночка сердилась, но — оставалась Леночкой.

— Разве ты не знаешь, что я твоя мама? — заглядывала она ему в глаза.

— Конечно, знаю, Леночка! — не отводя глаз, отвечал он и радостно целовал Леночку в щечку... ну что было с ним делать?

«Леночкой» называл маму дед Антонио.

В цирке, во время представлений, у Льва было специальное приставное место в четвертом ряду. Правда, видели его на этом месте только тогда, когда выступал Антонио Феери, а так — он слонялся за кулисами, разговаривал с людьми и животными, валялся на соломе или поднимался в оркестр, где ему всегда были рады: никто из оркестрантов и представить себе не мог более спокойного ребенка — способного просидеть в оркестре час и не сказать ни слова.

— А тебе не хочется выйти на арену и помочь Антонио Феери, когда он выступает? — спросил его как-то Павел-Сергеевич-гобой.

— Нет, — с испугом ответил Лев и смущенно добавил: — Я же не умею колдовать...

— И мама твоя не умеет! — рассмеялся Павел-Сергеевич-гобой.

— Не умеет, — согласился Лев. — Но она там не для колдовства. Ее Антонио Феери распиливает.

— А тебя почему не распиливает? — осторожно спросил Павел-Сергеевич-гобой.

— Я же мальчик! — воззвал к его разуму Лев. — Мальчиков никто не распиливает, я спрашивал у деда Антонио. Он сказал, что иллюзионисты всегда распиливают только женщин, поскольку женщины так специально устроены.

Павел-Сергеевич-гобой, казалось, не поверил.

— Вы телевизор смотрите, когда цирк показывают? — поинтересовался Лев. — Посмотрите в следующий раз. Тогда Вы увидите, что, кроме женщин, во всем мире никого не распиливают.

С тех пор его ни о чем таком не спрашивали в оркестре. И, кстати, напрасно. Он мог бы рассказать им довольно много всего. Например, если бы его спросили об овсяной каше! В каждой тарелке овсяной каши есть такая блестящая зеленая лента: она появляется в самом конце, когда кашу уже съедят. Но если ты овсяную кашу не ешь — или не доешь, то блестящая зеленая лента ни в жизнь не появится, хоть ты что хочешь делай! Многие люди этого не знают, потому как или совсем не едят овсяной каши, или постоянно не доедают ее — ну, и, ясное дело, никогда не видели блестящей зеленой ленты. Могут, конечно, сказать: подумаешь, блестящая зеленая лента... эка невидаль, но эта блестящая зеленая лента — бес-ко-неч-на! И сколько дед Антонио ни вытягивает ее из пустой тарелки, она не кончается вообще... — иногда даже становится страшно. Страшно, только все равно интересно, и каждое утро хочется побыстрее съесть всю овсяную кашу, чтобы уже начиналась лента! Начиналась и не кончалась. А еще... еще всякие другие вещи Лев бы мог рассказать — если бы его, конечно, спросили. Например, что случается, когда не кладешь зубную щетку в стаканчик, а кладешь ее, например, на раковину в ванной. Тут не успеешь оглянуться — как зубная щетка твоя оказывается на потолке, и ее потом ужасно трудно доставать! Сам Лев, кстати, зубную щетку с потолка вообще достать не может — и дед Антонио сразу не может, даже если на край ванны станет. Единственный выход — вынимать из чулана лестницу-стремянку, забираться на нее и пытаться схватить зубную щетку... а это тоже не всегда легко. Зубные щетки — они больше всего на свете любят под потолком кружиться: как стрекозы. Ловишь ее, ловишь — измучаешься просто весь! Но дед Антонио в конце концов всегда зубную

щетку может поймать... даже если на это целое утро уходит. Мою зубную щетку он научился быстрее ловить, потому что я сначала часто забывал ее в стаканчик ставить — и дед Антонио мою привык ловить. Но однажды он свою зубную щетку забыл на раковине — вот это было да! Он ее столько ловил, что нам даже пришлось перерыв на обед сделать... — и мы пообедали, а он ее только к вечеру потом поймал.

Но никто не задавал Льву вопросов про овсяную кашу и зубную щетку... сам же он рассказов про них не начинал, потому что — с какой стати? Сейчас-я-расскажу-вам-про-овсяную-кашу... — так никто не делает! И Лев просто слушал музыку или смотрел на манеж, где всегда происходили всякие вещи... или не смотрел на манеж — это если воздушные гимнасты или канатоходцы выступали. Лев боялся, что они упадут и разобьются. Но когда начинал выступать дед Антонио... Собственно, даже не дед Антонио. Собственно, даже Антонио Феери.

4. БОЛЬШЕ НИЧЕГО

Тут все дело в чем?

Тут все дело в том, что выступавший на манеже был не вполне дед Антонио — еще и потому (а честно говоря, *прежде всего* потому!) Лев не бросался на арену со своего приставного места в четвертом ряду. Нет, с одной стороны, это был, конечно, дед Антонио — какие же тут сомнения! Но с другой стороны... С другой стороны, *этот* дед Антонио никогда не смотрел на Льва, а если смотрел, то как будто не видел. Леночка — с ней все понятно: она посылала Льву воздушные поцелуи, подмигивала и даже несколько раз бросала цветок... свой человек! Но Антонио Феери... время от времени Льву казалось, что он только похож на деда Антонио и что похож он на него нарочно. Чтобы, например, Лев как-нибудь забылся и выскочил на манеж... тут-то Антонио Феери примет свой обычный образ — страшный! — и затолкает Льва в цилиндр. А потом из цилиндра вынет кролика... куда тогда денется Лев?

— Дед Антонио, — однажды все-таки набрался духу спросить он, — почему тебя в жизни зовут Антон Петрович, а на арене — Антонио Феери? Я этого... этого Антонио Феери иногда боюсь.

И тут дед Антонио сказал совершенно непонятную вещь.

— Я тоже, львенок. — Причем голос прозвучал очень серьезно.

По Льву даже мурашки побежали.

— Он... он злой?

— Он не-пред-ска-зу-е-мый.

— Что это такое?

— Никогда не знаешь, чего от него ждать. Но, если я с тобой, — совсем тихо продолжал дед Антонио, — то я его совсем не боюсь.

— Если — *со мной*? — ничего не понял Лев. — Почему?

— Потому что ты один знаешь дорогу от Антонио Феери до Антона Петровича! Тебе одному известны волшебные слова, которые могут превратить Антонио Феери обратно в Антона Петровича.

— А какие слова? — почти шепотом спросил Лев.

И услышал в ответ — тоже почти шепотом:

— Эти слова — «дед Антонио». И права на эти слова никто, кроме тебя, не имеет. Значит, никогда — никогда! — не бойся Антонио Феери. Если тебе вдруг покажется, что он подходит слишком близко — быстро скажи: «Дед Антонио!» — и Антонио Феери сразу же превратится в Антона Петровича Фертова.

— Сразу-сразу?

— Ты и глазом моргнуть не успеешь!

— Давай прямо сейчас попробуем?.. — осторожно предложил Лев.

— Прямо сейчас не получится, — развел руками дед Антонио. — Антон Петрович превращается в Антонио Феери только тогда, когда ступает в манеж.

Лев почти успокоился: особенно успокоило его то, что теперь он точно знал, до каких пор дед Антонио — Антон Петрович и с каких пор — Антонио Феери. Потому что именно в этом Лев страшно сомневался. В гримерной он видел не раз, как дед Антонио готовится к выступлению: кладет на лицо немного грима, облачается в черный костюм, завязывает на шее шнурочки бархатной длинной накидки, надевает цилиндр и белые перчатки... — при всем при том оставаясь дедом Антонио! Этот же дед Антонио, погладив Льва по волосам, говорит ему: «Беги, мое сокровище», — и Лев бежит за кулисы, или в оркестр, или на свое приставное место в четвертом ряду...

...а в манеже — уже Антонио Феери! Антонио Феери, которого Лев боится и — боготворит. Он даже не понимает, как отваживается Леночка быть так близко от Антонио Феери... особенно сейчас, после дедовых объяснений, не понимает. Сейчас-то уж яснее ясного, что Леночка *не имеет права* на волшебные слова — те волшебные слова, на которые имеет право *только* Лев!

Антонио Феери, ужас и восторг маленького Льва... Впрочем, хорошо все-таки знать, что бояться не надо: брось Антонио Феери на него взгляд и начни вдруг направляться к приставному месту в четвертом ряду — сразу прозвучит: «Дед Антонио!» И тут Антонио Феери не станет... Хотя, конечно, если он подойдет не очень близко — не совсем, то есть, вплотную — можно и не говорить: «Дед Антонио!» Пусть бы все-таки он подошел когда-нибудь, страшный и прекрасный Антонио Феери, — только не вплотную... Я бы не сказал волшебные слова.

Антонио Феери всегда делает одно и то же, только в разном порядке. Вынимает из цилиндра кролика, которого там не было. Опрокидывает полный бокал — и вода из бокала не льется. Открывает зонтик, потом закрывает его — и вынимает из закрытого зонтика белые хризантемы и белых голубей — голубей, которые, покружив над залом, прилетают назад и исчезают в зонтике — вместе с хризантемами. Распиливает Леночку, а потом соединяет ее. Кое-что из этого умеет и дед Антонио: он уже сто раз опрокидывал стакан с соком — и сок не выливался. Тот самый сок, который после выпивал Лев — и сок прекрасно выливался ему в живот!

— Научи и меня так!

— А ты сам попробуй.

Лев попробовал раза три... Потом они с дедом вытирали стол и пол, стирали скатерть.

— У меня не получается, видишь? Научи меня!

— Просто ты еще маленький. Это начинает получаться позднее.

— И у меня получится?

— Получится. Я передам тебе это по наследству.

— Как — «по наследству», дед Антонио?

— А вот так!.. — Дед Антонио тихонько дует ему в макушку, и с макушки Льва сыпятся серебряные блески.

— Хватит, дед Антонио, хватит! — хохочет Лев, а серебряные блески все продолжают и продолжают падать.

Но вот распиливать Леночку и пускать голубей летать кругами дед Антонио, кажется, не умеет... или умеет?

— Дед Антонио, ты мог бы распилить Леночку?

— Да Господь с тобой, львенок... что тебе только в голову приходит? — спрашивает дед Антонио с ужасом, и от этого ужаса вилка, которой он ест яичницу, ломается в его руках пополам. — Как же я потом соединю Леночку опять? — Он складывает две половинки вилки, задумчиво смотрит на них, качает головой — и вдруг принимается есть яичницу той же самой вилкой, только теперь снова целой!

Может быть, в деде Антонио все-таки и правда сидит Антонио Феери? Или это в Антонио Феери сидит дед Антонио?

Маленький Лев не знал, какой из этих двух возможностей желать сильнее. Сколько раз он уже прятался где-нибудь возле фанганга — и, затаив дыхание, ждал, ждал, ждал. Дед Антонио и Леночка всегда появлялись вместе. «Антон Петрович... Леночка, — с Богом!», — говорил ш-п-р-е-х-ш-т-а-л-м-е-й-с-т-е-р Бруно, и Антон Петрович, подтолкнув на арену Леночку, вздыхал и делал шаг в кулисы. Лев тут же припадал к круглой дырке в доске — и через мгновение видел шаг из кулис: во всем своем великолепии Антонио Феери привет-

ствовал публику сдержанным кивком. И ни разу, ни единого разу Льву не удалось поймать тот миг, когда Антон Петрович превращался в Антонио Феери.

А кулисы были грязными и пахли лошадьё...

Антон Петрович бросал быстрый взгляд на приставное место в четвертом ряду: маленький Лев осторожно крался к креслу — интересно-где-его-до-этого-носило-диких-же-зверей-полно-кругом-господи-господи-как-я-люблю-этого-ребенка-как-я-его-люблю!

— Не хохочи, Леночка, я тебя скоро пилить начну!

Теперь Антону Петровичу Фертову иногда казалось, что в жизнь он пришел в тот же самый день, в который и Лев. И что до этого никакой жизни у него, Антона Петровича Фертова, не было. Ему было стыдно за такие мысли — стыдно перед всеми вокруг, перед мертвыми и живыми, перед Джулией Давнини, перед Леночкой, перед Господом Богом. Ибо никто и ничто не имело для него значения с того самого момента, когда он впервые взял на руки этого львенка и взглянул ему в глаза. Оба они, львенок и он, поняли тогда, что главная встреча в жизни каждого из них произошла. Теперь Антон Петрович Фертов знал, куда ему...

— Вам куда, Антон Петрович, я подвезу!

— Мне-к-дочери-спасибо-если-можно.

Хоть и ни при чем тут дочь! Дочь пятнадцать лет росла под неусыпным присмотром женщины-змеи, неверной жены и преданной матери, в один ужасный день исчезнувшей между камнями. Росла, росла и — выросла, заметив присутствие Антона Петровича уже будучи в возрасте невесты, по достижении которого тотчас же прыгнула в объятия Резы Абдурахманова на лихом коне: так поступают все дочери, дело известное, дело обычное.

Но там — там! — есть младенец: он улыбается Антону Петровичу такой улыбкой, какой никто и никогда не улыбался ему.

— Па-ап, он в тебя влюблен просто!

Леночка пока ревнует: ребенок слишком нов. Но новым он будет недолго. Его немножко поподбрасывают в воздух, поподкидывают случайным людям, повозят по гастролям, потаскают за собой на свидания, поучат складывать и отнимать... скоро, уже очень скоро он перестанет быть новым.

И, не нового, его наконец вручат Антону Петровичу. А там уж Антон Петрович жизнь за него отдаст.

К одному только не был готов Антон этот Петрович — к тому, что сам он перестанет быть старым шарлатаном, морочащим публике головы.

Он превратится в волшебника.

В божество.

В демиурга.

И на старости лет Антон Петрович Фертов понял, что такое фокус.

Об этом на защите дипломов он говорил выпускникам циркового училища. В ГЭК его обычно приглашали в качестве свадебного генерала: во-первых, заслуженных артистов республики в цирке тогда было не сказать чтоб каждый, во-вторых, он как никто другой мог оценить чистоту «ручной работы» выпускника. Антон Петрович любил мастерство и не любил болтовни о мастерстве. И вдруг — пожалуйста — разразился речью — уже когда комиссия складывала бумажки, а измученный малолетний внук свадебного генерала, которого тот зачем-то привел с собой, почти сорвался с места...

— Фокус, — начал Антон Петрович Фертов, обращаясь к единственному иллюзионисту на потоке, — не только самое древнее, но и самое необходимое человечеству искусство.

Христос начинал как фокусник. Вы начинаете — как Христос. Помните, куда он шел, потому что Вам — туда же. Фокус — это то, чего не бывает. Из пустого цилиндра вынимают кролика. Простой фокус... ему две тысячи лет. Но две тысячи лет фокус этот — живет. И две тысячи лет публика знает, что он — обман. Знать-то знает, ан — сомневается: вдруг не обман? Две тысячи лет сомневается публика, две тысячи лет опирается на шаткую подставочку «вдруг» — этого «вдруг», в котором-то все и дело. Вдруг кролик действительно возник — из ничего, из воздуха, из мольбы иллюзиониста: возникни!

Публика *хочет* верить. Она говорит: «Не верю!» — но *хочет* верить. Она говорит: «Фокус — это искусство, а искусству верить нельзя», — но *хочет* верить. Ей страшно, что искусству верить нельзя. Если нельзя верить искусству — ничему нельзя верить. Ибо чудо ниоткуда больше не придет: оно нигде больше не водится. Чудо водится только в искусстве — потому что прежде искусство было мифологией, полной чудес. Потом искусство было религией, полной чудес. Но в нашей повседневности, здесь и теперь, мифология и религия отзываются только далеким гулом.

— Аминь, — сказал председатель комиссии и посмотрел на часы.

— А вере в чудо требуется подпитка, — продолжал Антон Петрович Фертов, не услышав «аминя». — Людям недостаточно передавать истории о чудесах из уст в уста. Им недостаточно читать о чудесах в книгах. Время от времени каждому из нас надо *видеть* чудо своими глазами. Тут-то из пустого цилиндра и извлекается кролик — усилием совокупной воли человечества, и воля извлечь кролика из цилиндра оказывается сильнее того факта, что кролика там нет. Фокусы — единственное, что не дает иссякнуть вере. Мир стоит

на фокусе... и, может статься, самый мир — только чей-то фокус: кролик из пустого цилиндра... м-да.

Антон Петрович Фертов вздохнул и — опомнился. И с удивлением посмотрел на присутствующих. Члены комиссии принужденно улыбались. Из группы выпускников раздалось два-три хлопка — смолкло.

— Эко меня... — усмехнулся Антон Петрович, — ...повело. — Он опять оглядел все более и более натянуто улыбающихся членов ГЭК и теперь уже сухим, цирковым, голосом сказал: — Вы похожи на трех кроликов, которых всех вместе вынули из одного цилиндра.

Кто-то из выпускников прыснул.

— Успехов! — коротко и общо попрощался свадебный генерал и покинул свадьбу в обществе внука, пару раз с интересом оглянувшегося на трех улыбчивых кроликов.

Ничего страшного, пусть послушают! Он уже лет сорок разговаривал с миром руками. Словно глухонемой. Вот они, наверное, и решили, что Антонио Феери глухонемой... но Антонио Феери не глухонемой — он как тот мальчик, который после пяти лет молчания вдруг произносит за завтраком: «А гренки-то подгорели!» Так и Антонио Феери: заговорил — только когда уже подгорели гренки. Не раньше. В последний момент — на пороге самого выпуска. Выпускникам нужно было услышать какую-нибудь напутственную речь, благословение какое-нибудь принять... потому что все вокруг с ума посходили: дают в руки молодому человеку хоть вот и такую страшную силу — фокусы — и просто выпихивают в мир, чуть ли не пинком: иди живи! «Фокусничай!» Они там нафокусничают...

— Дед Антонио! — сонный львенок изо всех сил пытается не заснуть.

— Спи, львенок!

— Нет, ты скажи мне сначала: весь мир — это чей фокус?

— Мой, — смеется дед Антонио. — Весь мир — это мой фокус. Вот посмотри вокруг: есть мир?

Сонный львенок с трудом обводит глазами спальню:

— Есть...

— А теперь? — спрашивает дед Антонио в полной темноте, повернув выключатель. — Есть теперь мир?

— Нету... — с ужасом отвечает Лев из темноты. И через секунду просит: — Дед Антонио, сделай мир обратно!

И дед Антонио делает мир обратно. Он знает, что Лев никогда не спит в полной темноте: у Льва кружится голова, когда он встает с постели. А врачи только разводят руками, ничего не добавляя к прежнему диагнозу: есть признаки кислородного голодания мозга. Почему, почему львенку должно не хватать кислорода, когда всем вокруг — хватает? Почему львенок постоянно такой бледный? Почему иногда он вынужден присесть от того, что перед глазами у него, говорит, какие-то точки?

— Это пройдет, — сказал деду Антонио Сергей Иванович, нейрохирург, обследовавший Льва. — Так часто бывает у детей и подростков. У подростков чаще, чем у детей, но и у детей бывает — особенно у гиперактивных.

Лев не гиперактивный. Лев — самый спокойный ребенок, которого в своей жизни встретил Антон Петрович.

— Это он внешне спокойный, а внутри вполне может быть гиперактивный. Мы же не знаем, что у него внутри!

Антон Петрович треплет Льва по волосам.

— Что у тебя внутри, львенок?

Лев поднимает на деда удивленные глаза:

— Душа.

— А еще что?

— Больше ничего.

5. СДЕЛАЙ ТАКОЙ ФОКУС!

Знать бы, о чем он думает...

— О чудесах, — отвечает Лев, словно услышав вопрос деда Антонио, — и дед Антонио качает головой, полагая, что говорит вслух.

И выходит на кухню.

И там, на кухне, вдруг вспоминает, что пятница уже послезавтра. Ах-ты-боже-ж-ты-мой... Та пятница, когда Льва к Леночке везти. Время от времени Леночка желает «получить Льва на выходные». Она прямо так и говорит — слава Богу, не каждую неделю: «Могу я получить Льва на выходные?» Распишитесь-в-получении!..

Антон Петрович все еще не напомнил об этом Льву: у Антона Петровича не хватает мужества. Никогда не хватает мужества — проходя мимо Льва, бросить как бы невзначай: «Да, львенок, чуть не забыл, с пятницы до воскресенья ты у мамы!» И — не смотреть на него, ни в коем случае на него не смотреть: смотреть на... вот в окно смотреть — на стену соседнего дома. Но сколько можно смотреть на стену соседнего дома? Когда-никогда, а придется ведь встретиться глазами со Львом! Он, конечно, не будет плакать — плакал он, когда был совсем маленький, хотя... вот и год еще назад плакал: молча и без-у-теш-но — слезы текли и текли, но — ни звука. Только редкие всхлипы: дыхание перевести. Сейчас уже не плачет. Сейчас просто смотрит на деда своими ренессансными глазами и спрашивает — вслух или глазами же: «И совсем ничего нельзя сделать?»

— Но... львенок! Ничего и нужно делать — должен же ты навещать маму хоть иногда... или как? Маму и... и Ве-ни-а-ми-на.

— Должен, — кивает Лев. — А ты забереешь меня в пятницу вечером?

Ох, знает Антон Петрович, наизусть знает, куда пойдет сейчас этот разговор!

— Леночка... мама вообще-то просила до воскресенья.

— Это она просто так, дед Антонио. А на самом деле в пятницу вечером они уже меня не хотят, правда! Я же вижу... Если я у них, они все время нервничают. И не знают, что им делать... что со мной делать!

— Это потому, что ты важный гость, — улыбается дед Антонио.

— Ве-ни-а-мин подушки в меня кидает, прямо в лицо... а Леночка хохочет. Потом Вениамин говорит: «Хватит». И сразу начинает мне книжки читать. Те, которые там... когда я маленький был совсем. «Наша Таня громко плачет»... И он смотрит на меня. И спрашивает: «Наша Таня громко плачет... понимаешь?» Я тогда на Леночку смотрю. Но она тоже меня спрашивает: «Понимаешь?» Что мне понимать?!

— Терпи, — разводит руками дед Антонио. — В субботу с утра на улицу, может быть, пойдешь... к другим детям.

«Боже, что я... зачем я? Он же не ходит на улицу!»

— Я не люблю детей, дед Антонио.

Лучше бы Лев выкрикнул это ему в лицо: может быть, хоть тогда дед Антонио запомнил бы наконец, что Лев не любит детей. Но Лев не кричит никогда, он и сейчас сказал это совсем тихо — даже безо всякой укоризны: как же ты, дескать, забыл-то... И голос чуть ли не виноватый: «Я не люблю детей, дед Антонио». Если узнает Леночка — Льва затаскают по докторам. Приходится скрывать и это — точно так же, как давно уже приходится скрывать одну странную

особенность Льва, замеченную дедом Антонио сразу после того, как Льва отправили жить к нему: ребенок спал с открытыми глазами. В первую ночь дед Антонио осторожно вошел в спальню, которая отныне и навсегда принадлежала Льву, — полюбоваться на свое свалившееся с неба сокровище, и при свете ночника (уже тогда дед Антонио знал от Леночки, что Лев не может спать в темноте) прямо с порога увидел ренессансные глаза внука, глядевшие на него. Тогда дед Антонио, помнится, ужаснулся тому, что Лев еще не спит, — времени было около часу ночи, — и тихо как мог спросил: «Ты что, Лев?» Тот не отвечал... дышал глубоко, ровно, но от этого почему-то жутко сделалось деду Антонио — и он едва удержался, чтобы не броситься ко Льву и не начать тормошить его. Впрочем, выдержки, слава Богу, хватило — и дед Антонио просто еще раз задал тихий свой вопрос. Снова не дождавшись ответа, он подошел к внуку чуть поближе и принялся изучать его. Лев явно спал, хоть, казалось, и смотрел на деда в упор, не мигая. Зрачки были расширенными, но в глазах — покой... Понятно, что этой ночью дед Антонио уже не уснул. А на следующий вечер, вконец зачитав Льва «Андерманиром штук», дождался момента, когда внук закроет глаза, но из спальни не ушел — остался сидеть на краю кровати. Глаза Льва открылись через минуту-другую, когда тот крепко заснул.

Утром Лев ошарашил деда вопросом:

— Деда, ты зачем в гости приходишь, когда я сплю?

— На тебя посмотреть, — вмиг облившись холодным потом, ответил дед Антонио.

— Понятно. А то я не знал зачем.

Получалось, что Лев видел во сне — или, во всяком случае, запоминал (глазами?) происходившее вокруг него. Говорить

с ним на эту тему смысла, наверное, не имело... что мы и вообще-то знаем о себе — спящих? Тем более — когда мы дети. Ох, не трогать сейчас Льва, не наталкивать его ни на какие мысли. Лишние мысли.

Леночке о том, что Лев спал с открытыми глазами, было определенно ничего неизвестно — иначе она, вне всякого сомнения, подняла бы переполох: переполох она поднимала по любому поводу. Если бы дед Антонио мог возненавидеть Леночку, за шесть лет жизни со Львом не успевшую заметить в ребенке этой странности, то, конечно, возненавидел бы. Да только что толку-то... первой ее реакцией так и так было бы какое-нибудь: «Па-ап, это же ненормально! С этим же надо что-то делать!» Но никогда не надо ничего делать с тем, с чем непонятно, что делать. И вообще... страшное такое стремление: *делать* — в любом случае. Философия делания. Люди-добрые-делайте-же-что-нибудь!

Будды на этих добрых людей нету.

Сам дед Антонио с новым своим знанием и новой своей тревогой не делал ничего. Да и куда бы ему с ними податься, скажите на милость, — не к врачу же и впрямь! Доктор-мой-внук-спит-с-открытыми-глазами, доктор-мой-внук-видит-во-сне...

Награда за ничегонеделание воспоследовала сразу же — пришла откуда не ждали. Один раз днем по учебному каналу, который дед Антонио иногда просто так включал, обсуждалось что-то из истории книгоиздания. Непонятно как оказавшись у телевизора, Лев, до этого возившийся в своей комнате, вдруг начал звать деда:

— Дед Антонио, львенка показывают!

Львенок на старинной книжной миниатюре напоминал, скорее, грызуна... кого-то из грызунов, но закадровый

текст, звучавший в этот самый момент, попал деду Антонио непосредственно в сердце, чуть не свалив старика с ног. Древнерусский такой текст, полупонятный... но запомнившийся — навсегда. Отныне дед Антонио по желанию мог вызывать этот текст в своем сознании, и вот что странно: не забывался текст-то... а все — забывалось!

«Второе естество лвово. Егда спит, а очи его бдита. Тако и Господь наш рече ко иудеом, якоже: Азъ сплю, а очи мои божественныа и сердце бдита».

Такое вот, значит, дело... не шуточное: «второе естество лвово». Знать бы, сколько у него вообще «естеств» — только два или больше?

Но — покойнее стало деду Антонио, хоть по привычке и поеживался он всякий раз, встречая на себе застылый взгляд спящего Льва... Впрочем, друг один, врач фронтовой, Митя, посоветовал Антону Петровичу последить за внуком еще немножко, а потом все-таки показать его офтальмологу: пугать, дескать, не стану, но всякое может быть...

— Львенок, тебе сны снятся?

— Это как так, деда... «сны — снятся»?

— Ну, когда ты... э-э-э, глаза закрываешь — ты что видишь? (Ах, дед Антонио, старый ты хитрец!)

— Ничего не вижу. Нельзя же видеть с закрытыми глазами!

Можно, львенок. Много чего можно видеть с закрытыми глазами. Но об этом мы с тобой как-нибудь потом поговорим, придет еще такое время. А пока давай все-таки разберемся с этим твоим я-не-люблю-детей... Ужасно представлять себе субботне-воскресного Льва, выталкиваемого на улицу «поиграть»...

— Львенок, ты *не можешь* не любить детей. Ты же сам ребенок, подумай!

— Я думал, дед Антонио.

— И что придумал?

— Что я их все равно не люблю.

— Да почему ж такое-то?

— Они недрессированные все. — И, через паузу: — Мы недрессированные все.

— Так ты и себя не любишь, львенок?

— Конечно, не люблю! Я тебя люблю. А ты, деда, себя любишь?

Оп-ля!.. Вот и отвечай теперь что хочешь, дед Антонио. Интересно, как ты из этого положения выкрутишься... — ну-ка, любишь ты себя, дед Антонио, а?

— Я не знаю, львенок. Я не знаю, люблю ли я себя.

Только бы прекратился этот разговор: не выйти из него живым деду Антонио. Не готов дед Антонио, не решил он для себя, никогда решить не мог, в каких он с собой отношениях! Ему и то даже неизвестно, надо ли оно — любить себя? Лучше ли оно, чем не любить себя... Как — правильно?

— *Я не знаю, люблю ли я себя!*

— Ничего, — беспечно отвечает Лев. — Зато я знаю. Ты, деда, себя не любишь — ты меня любишь. Вот.

И так, значит, устроен мир. А он-то, дурак старый, мучается! Между тем как любовь неделима: или любишь одно — или другое, чего ж проще? И радоваться бы деду Антонио, да только тревожно ему... не за себя, понятное дело, — за Льва. Что для него, значит, дети — звери... откуда такое? Антон Петрович, конечно, клянет одного себя: глупая, глупая, глупая была затея начать называть Льва «львенком»... но уж больно не хотелось — «Лёвой»! Да нет... не может же Лев всерьез не понимать, что «львенок» — это просто такое обращение дурацкое!

— Лев, а Лев... Скажи мне, если ты «львенок», то кто — «лев»?

— Ты. Лев — царь зверей. А львенок — царевич зверенышей.

Ох-хо-хо...

— Дед Антонио, я придумал! Я в пятницу к Леночке с Вени-а-ми-ном приеду — и сразу на улицу попрошусь, на весь вечер, и в субботу на улицу, и в воскресенье — на полдня, пока нам назад, домой, не ехать...

«Просиять, что ли? Неужели — свершилось?»

— И... что на улице?

— А ты на детскую площадку будешь приходить — и мы побежим с тобой куда-нибудь!

«По-бе-жим... Мне седьмой десяток!»

— Так нельзя, львенок. Потому что потом ты будешь вынужден врать. Леночке. Или Вени-а-ми-ну. Если они спросят, чем ты на улице занимался. Нельзя врать.

И — серьезный-пресерьезный взгляд ренессансных глаз:

— Они никогда не спросят, чем я на улице занимался... Деда, а нельзя, чтобы Леночка заболела? Сделай такой фокус!

6. ТО ЕСТЬ, АГНЕЦ АГНЦЕМ

Лев всегда это знал. Что настанет время, когда ему *придется* идти в школу. В прошлом году об этом просто поговорили и решили подождать: Льву тогда еще до семи лет сколько-то месяцев не хватало. Семь должно было исполниться только «той зимой», но *та* зима уже прошла. А значит, в этом-то году уж точно надо поступать в первый класс. И быть среди детей. Он, правда, догадывался, что в школе есть дрессировщики, но...

— Дед Антонио, научи меня всему сам.

— Всему — научу. Но остальному учат в школе.

— А ты сделай фокус, чтобы они обо мне позабыли!

— Кто — «они»?

— Которые учат остальному! Сделаешь фокус?

Опять и опять... Это давно уже стало постоянным мотивом — «а-ты-сделай-фокус»! Для львенка нет ничего невозможного в мире. Плохо. Хоть бы он захотел чего-нибудь... как другие дети хотят. Чего-нибудь, что я не могу! «Дед Антонио, я хочу слона». И тогда бы сразу выяснилось, что я не бог! И все стало бы на свои места.

— Львенок, почему ты никогда не попросишь у меня слона?

— Слона?

— Ну... одного из дяди-Пашиных слонов. Самого маленького, например — Цезаря! Почему ты никогда не скажешь мне: «Я хочу Цезаря»?

— Сюда, к нам? — тревожно интересуется Лев.

Дед Антонио кивает, но вынужден отвести глаза: Лев смотрит на него как на умалишенного... слона — в дом?

Нет, Лев не хочет ничего извне: во внешнем мире нет у него никаких потребностей. Иногда Антону Петровичу кажется, что, не покупай он Льву, например, книг и игрушек,

тот просто жил бы без книг и игрушек: ему и в голову не пришло бы, что книги и игрушки — это то, чего можно хотеть или просить. Единственное, что он просит, — «андерманир штук»: «Деда, скажи про андерманир штук — скажешь?»

То было когда-то давным-давно залетевшее в тогда еще черноволосую голову маленького Антона Фертова нечто... стишок не стишок, прибаутка не прибаутка — не поймешь что, одним словом! Да и правильно ли запомнилось — неизвестно. «Только, Лев, не спрашивай меня, откуда этот андерманир штук, — разводил впоследствии руками дед Антонио. — Его ветром в меня занесло. Так горожан, кажется, на всякие праздничные зрелища зазывали... скорей всего, еще до моего рождения».

Лев с детства был уверен в том, что это колыбельная. В первую же его ночь у деда Антонио тот взял да и рассказал ему андерманир штук: Лев засыпать никак не хотел — и, что вы думаете, заснул как миленький! А на следующую ночь и сам уже попросил андерманир штук — да ради Бога... «У всех колыбельные как колыбельные, а у тебя андерманир штук», — смеялся дед Антонио.

Андерманир штук долго оставался для Льва любимым завершением дня. Конечно, дед читал ему сказки, читал стихи, читал всякую всячину, но внезапно Лев терял интерес ко всему на свете и говорил: андерманир штук.

И тогда...

А вот, господа, андерманир штук — хороший вид, город Палерма стоит, барская фамилия по улицам гуляет и нищих тальянских деньгами оделяет.

А вот, извольте видеть, андерманир штук — другой вид, Успенский собор в Москве стоит, своих нищих в шею бьют, ничего не дают.

А вот андерманир штук — другой вид, город Аривань стоит, князь Иван Федорович въезжает и войска созывает, посмотри, как турки валяются, как чурки.

А вот, государыни, андерманир штук — еще один вид: в городе Цареграде стоит султан на ограде. Он рукой махает, Омер-пашу призывает: «Омер-паша, наш городок не стоит ни гроша!» Вот подбежал русский солдат, банником хватя его в лоб, тот и повалился, как сноп.

А вот, друзья, андерманир штук — город Вена, где живет прекрасная Елена, мастерица французские хлебы печь. Затопила она печь, посадила хлебов пять, а вынула тридцать пять. Все хлебы хорошие, поджарые, сверху пригорели, снизу подопрели, по краям тесто, а в середине пресно.

А вот, господа, андерманир штук — город Краков. Продают торговки раков. Сидят торговки все красные и кричат: раки прекрасные! Что ни рак — стоит четвертак, а мы за десяток дивный берем только три гривны, да каждому для придачи даем гривну сдачи.

А вот андерманир штук — город Париж, поглядишь — угоришь, где все по моде, были б денежки в комод, барышни на шляпках, в широких юбках, в шляпках модных, никуда не годных. А кто не был в Париже, так купите лыжи: завтра будете в Париже.

Между прочим, с первой ночи и навсегда андерманир штук стал самой главной тайной Льва. Почему... ах, да кто б еще знал, почему что-то становится нашей главной тайной!

Маленьким он часто спрашивал деда Антонио:

— Деда, ведь андерманир штук — мой? Только мой?

— Твой, — успокаивал его дед Антонио. — Конечно, твой.

Все в этой комнате твое. Да и не в этой комнате...

— Нет, — упирался Лев, — мой — один андерманир штук.
Остальное — общее, всех людей.

Вот и поговори с ним!

— Львенок, давай за апельсинами в очередь станем?

— Давай.

В очереди проведен час: за этот час Антон Петрович успевает рассказать Льву про всю войну — от сорок первого до сорок пятого.

Наконец у них в руках сетка с апельсинами!

— Лев, хочешь апельсинчик?

— Нет.

Какой-то у него паралич всех желаний... Может быть, это действительно от того, что ничего невозможного для него нет? Захоти он что угодно — дед Антонио тут как тут: Луну с неба достанет!

И ведь достанет...

— Хочешь санки — как вон у того мальчика?

— Нет.

От-тор-же-ни-е.

Любой ребенок тащит снаружи — внутрь. Направление желаний Льва — изнутри наружу. А-ты-сделай-фокус! Сделай, значит, так, чтобы то, что снаружи, внутрь не попало... так, стало быть, и осталось снаружи — и даже еще дальше бы отодвинулось. Словно у Льва внутри места вообще нет. Куда-ты-сюда-со-своими-санками-когда-у-меня-тут-душа!..

Ближе к лету начали поговаривать даже о двух школах: одна от деда поблизости, другая — от Леночки. И будто бы без конца решали, решали — и решить не могли, какую же из них все-таки выбрать... Лев слышал, что об одной говорили как о школе с уклоном, о другой — как о школе без уклона. «Только бы сразу в обе не отдали!» — с ужасом думал он.

Сам Лев хотел во вторую школу, *без уклона*, — потому что рядом с дедом. Но все якобы зависело от Леночки. И, выходяло, по-Леночкиному, что его все равно отдадут в школу *с уклоном*. Жить ему в таком случае надо будет «у родителей».

«А-ты-сделай-фокус — чтоб без уклона!»

Самое важное для Антона Петровича (не для Льва, но Льву этого сейчас не втолковать), что уклон — в английский. И что Льву, когда он окончит школу, — все пути открыты. Да и жить, наверное, лучше дома: привыкать надо. Потому что... никто ведь не знает, сколько ему, Антону Петровичу, чего осталось. Впрочем, как бы там ни было, выбор — за Леночкой. Мне не сделать этого фокуса...

— Мне не сделать этого фокуса, львенок.

Львенок не верит — и улыбается: святая простота.

— Видишь ли... — Антон Петрович пытается звучать убедительно, — фокус можно сделать только тогда, когда ты уверен, что....

— Когда я уверен?

— И ты — тоже! Но вообще — когда *любой человек* уверен, что фокус делать — надо. А я в этом не уверен, львенок. Та школа, которая около мамы, она действительно очень, очень хорошая.

— Потому что *с уклоном*?

— Именно поэтому, — улыбается дед Антонио.

Лев не понимает, но, засыпая, пытается представить себе школу с уклоном.

Школа стоит на горе — и в ней все кривое, когда находишься внутри: кривой пол, кривой потолок... даже мебель кривая. И школа медленно сползает вниз по горе. Вот уже Лев вынужден перепрыгнуть с пола, который накренился настолько, что не устоять, на стену... то есть на то, что раньше было стеной,

но теперь у него на глазах становится полом. Лев быстро вскакивает с кровати, чтобы успеть поменять положение...

— Господи, львенок!..

Дед Антонио делает ему холодные примочки: Лев упал, ударившись лбом о порог — к деду бежал.

— Дед Антонио, школа, которая с уклоном, она ползла вниз, прямо в пропасть...

— Тебе начали сниться сны, слава Богу! Снов не надо бояться, они всем снятся, когда люди спят.

— Я же тогда не спал еще, когда школа вниз ползла! А «сны» — это как?

Он не понимает, что такое сон. Или действительно не видит снов? Мы, вообще-то говоря, с какого возраста сны видим? Странно... дед Антонио никогда не думал об этом. И не помнил, когда сам впервые увидел сон — или когда *понял*, что увидел сон. Да и сна тоже не помнил, хотя ведь, казалось бы, — такое событие!..

Падение, к счастью, не имело иных последствий, чем сияк во весь лоб, — Антон Петрович заметил только, что Лев, нервничавший было по поводу выбора школы, стал опять спокойным. Антон Петрович не знал, радоваться ему или нет.

— Лев, — осторожнее некуда спросил он, — ты какой язык хочешь учить?

— Французский. Потому что на нем во Франции разговаривают.

— Ммм... боюсь, что в школе рядом с мамой только английский преподают, — ты как насчет английского?

— *Та* школа сползла в пропасть, дед Антонио.

— Ну-ну...

От гастролей дед Антонио, конечно, опять отказался: «У меня внук в-первый-раз-в-первый-класс, Вы с ума сошли?»

Леночка же, из-за отцовских «капризов» снова вынужденная отправиться якобы на больничный, ибо распиливать на гастролях ее было некому, неожиданно прибежала к Антону Петровичу прямо с больничного в самом начале августа — совершенно заплаканной.

Чмокнув в прихожей Льва (какой-ты-большущий-стал-Аленка-вот-тут-хочешь-нет-небось!), она пулей-дурой влетела в кабинет деда Антонио и мало того, что захлопнула дверь, — даже еще и заперла ее изнутри. Потому-то Лев пока и не узнал, а Антон Петрович не только узнал, но и прочувствовал следующее: к сожалению, настало время расстаться с Ве-ни-а-ми-ном, несмотря на то, что он инженер-конструктор, в то время как Геннадий гребец... правда, не простой, а а-к-а-д-е-м-и-ч-е-с-к-и-й.

— Гре...бец? — едва сартикулировал дед Антонио. — Он как-то, похоже, забыл, что в мире бывает гребля. — Один гребет — или на галере?

— «Каноз» это называется, — отвернулась Леночка.

— Ты, что же... м-да. Как знакомятся с гребцами? Вы познакомились, когда он... греб?

— Па-ап... ну, веди ты себя прилично!

Кустистые брови Антона Петровича взлетели чуть ли не над головой:

— Леночка... имей же снисходительность, ты первая этот разговор начала!

Ей стоило большого труда не сорваться: срываться в *данный момент* было никак нельзя. Впрочем, момент оказался совсем не таким ответственным, как ей представлялось.

Конечно, Лев может продолжать жить здесь — без вопросов. Понятно, что Лев не поверит, если сказать, что и второго его папу захотел какой-то мальчик: таких мальчиков не

бывает... почему я жестокий? Я просто видел Ве-ни-а-ми-на! Бог с ней, с английской школой — Льву все равно, как выяснилось, французский нравится, а тутошняя школа тоже хорошая.

— Па-ап, ты только Льву про Геннадия пока не говори, ладно? Мне кажется, еще рано.

— Можно и вообще не говорить!

— То есть? А когда он придет ко мне и найдет там совершенно другого человека?

— Думаешь, еще найдет? — усмехнулся Антон Петрович.

А вот тут можно было уже и сорваться. Именно так Леночка и поступила, сказав па-апе ровно столько гадостей, сколько, по ее представлениям, должно было хватить, чтобы не появляться «в этом доме» весь отпуск и даже еще чуть-чуть.

— Лееев! — взревела она в прихожей.

Испуганный Лев стал перед ней как лист перед травой или наподобие.

— Во-первых, когда тебе приносят шоколадку, неприлично оставлять ее в коридоре.

— А во-вторых? — спросил Лев.

— Во-вторых? Только если между нами...

— Это как — «между нами»? — Ягненок ягненком... то есть, агнец агнцем.

— Неважно! Я должна уйти сейчас, меня дедушка очень обидел. Так что... мы теперь не скоро увидимся.

— Ничего.

Если бы Леночка не была *уже* обижена, ее, может, и задело бы это «ничего». Но на таком фоне, конечно, не задело. Тем более, что ягненок ягненком. То есть, агнец агнцем.

7. МНЕ КАЖЕТСЯ, ОН УЕХАЛ В ИТАЛИЮ...

В школу — ту, которая никуда не сползла, обычную, — дед Антонио повел внука «записываться» на следующий день.

— Антонио Феери... да мы просто глазам своим не верим! — засуетились и молоденькие записчицы, и какая-то брошенная сюда благосклонною фортунною затрапезная родительская пара — с толстым чадом девичьего пола, тоже записываемым в первый класс. Кстати, чадо тут же подошло ко Льву и сказала басом:

— Меня Вера зовут. Я хорошая девочка. А ты?

— Не знаю, — сказал Лев и улыбнулся нелепому ребенку. — Я Лев.

— Ле-е-ев? — оторопела хорошая девочка, но ее тут же принялись записывать, и она больше не отвлекалась.

Зато свободные записчицы устроили бурный флирт с Антонио Феери, *совершенно* просто не записывая Льва, которого тоже неплохо было бы записать. Антон Петрович хотел напомнить им об этом, да остолбенел: он увидел, что Лев разговаривал с *другим ребенком*. И более того: тот же самый Лев, почувствовав, что им пока не занимаются, подошел к записчице, обрабатывавшей толстое чадо девичьего пола, и, дождавшись окончания обрабатывания, сказал:

— Запишите нас, пожалуйста, в один класс... можно?

— Конечно, конечно! — скромным полевым цветком расцвела записчица и бросила кроткий взгляд на широко улыбавшегося и неизвестно почему качавшего головой Антонио Феери. — В первый «А».

— А если это любовь? — скосила глазки сразу на Антонио Феери и на толстое свое чадо девичьего пола мамаша из состава родительской пары.

Игнорируя окосевшую, Антон Петрович обратился ко всем записчицам сразу:

— И ежели, стало быть, Вы не посадите их за одну парту, я превращу вас всех в... в хризантемы!

— Это такая угроза? — тоненько прыснула самая находчивая.

В общем, запись в школу превзошла все ожидания всех.

— Хоть каждый бы день тебя в школу записывал! — сказал дед Антонио по дороге домой.

Лев думал о своем и, казалось, не слышал.

Самая находчивая из записчиц, по имени Алевтина Георгиевна, стала его учительницей. Первое, что она сделала, — это посадила Льва за одну парту с Верой. Вера просияла, а Лев знал, что так и будет.

Дети оказались не такими неприятными, как ожидал Лев. Они были тихие — и многие даже выглядели дрессированными. Так что Лев решил потерпеть их общество, сколько сможет. У каждого из них, как и у Льва, было с собой по большому букету цветов. Все они сложили цветы на стол Алевтины Георгиевны, и Вера тихо сказала Льву:

— У меня бабушка умерла. На нее тоже много цветов положили. У тебя есть бабушка?

— Нет, только дедушка, — ответил Лев. — Бабушка была змея.

Вера с восхищением посмотрела на Льва:

— Понима-а-аю...

В остальном же в школе было не очень интересно — и Лев скучал по деду Антонио. Теперь они виделись гораздо меньше: дед Антонио перестал брать Льва в цирк на Цветном, потому что в жизни Льва появилось новое занятие, которое называлось «учить уроки». Когда он заканчивал

«учить уроки», дед Антонио еще был в цирке. Леночку же Лев не видел с того самого дня, когда она ушла, так сильно хлопнув дверью, что фотография женщины-змеи в прихожей упала на пол... стекло разбилось. Дед Антонио, помнится, только покачал головой и пару раз вздохнул, подметая осколки.

— Ты скучаешь по своей бабушке? — спросил Лев Веру.

— Очень, — сказала Вера и заплакала.

— А я скучаю по деду Антонио, — признался Лев. — Он поздно приходит из цирка... я уже почти всегда должен в это время спать.

— Но он же не умер! — укорила его Вера. — А в цирк мы можем ездить на троллейбусе. Я знаю как.

На следующий день они встретились на троллейбусной остановке.

— Давай пойдем в кусты, — сказала Вера. — Мне там надо кое-чего разбить.

В кустах она взяла камень и раскурочила им маленький деревянный домик красного цвета, который до этого держала в руках.

— Тут деньги, — объяснила она. — Я их копила. Надо платить, когда на троллейбусе едешь.

— Разве детям надо?

— Надо. С семи лет.

Они разделили деньги пополам. Каждый сам купил себе билет. Оказалось, Вера точно знала, где выходить. Зато Лев точно знал, как проникать в цирк со служебного хода. Анастасия Леонтьевна приветливо помахала ручкой: «К дедушке?»

Приставного места в четвертом ряду не оказалось — и они просто сели на ступеньки. Вера призналась, что была в цирке только два раза в жизни. Смотреть с ней давно знакомые но-

мера показалось Льву гораздо интереснее, чем одному: Вера так ахала — закачаешься!

Антонио Феери выступал во втором отделении. Когда он вышел на арену вместе с Леночкой, Вера ахнула совсем громко. Лев хотел поглядеть на нее, но не смог: с арены на него в упор смотрел Антонио Феери. Не отводя глаз. Леночка протянула иллюзионисту бокал, но тот бокала не брал, а все смотрел и смотрел на Льва. Тарелка в оркестре тонко звенела. Льву стало казаться, что Антонио Феери приближается. Пятясь попой назад, Лев ощутил следующую ступеньку. Выхода не было. Антонио Феери медленно надвигался на него.

Лев приподнялся.

— Ты куда? — спросила Вера.

— Я... — Лев схватил ее за руку и потянул к выходу: времени оставалось совсем мало. Антонио Феери был шагах в десяти.

— Ты что? — спросила Вера на улице. — Зачем мы убежали? Там же твой дед...

В троллейбусе Лев объяснял Вере, что Антонио Феери не его дед. Что Антонио Феери только принимает облик деда, пытаясь всех обмануть. Что Антонио Феери может превратить весь зал, например, в голубей. Но что Вера не должна бояться Антонио Феери: Лев знает волшебные слова против него.

— Какие? — спросила любопытная Вера.

Лев вздохнул:

— Я не могу их тебе открыть.

Вера посмотрела на него с уважением и сказала:

— Понима-а-аю.

Это был запоминающийся вечер. Когда Лев подошел к дому, там уже стояла небольшая толпа — плохо различимая

в сумерках. Он осторожно подкрался к толпе, но его все равно увидели и обернулись. И тут Лев почувствовал, что падает... сильно кружится голова и перед глазами точки, а из толпы, из самой середины, бегут прямо на него страшный Антонио Феери, весь в черном, и прекрасная Леночка в золотом комбинезоне под накинутым наспех плащом.

— Дед Антонио! — все-таки успеваешь произнести волшебные слова Лев.

Когда он приходит в себя, дед Антонио в серо-синей своей пижаме сидит у его постели с газетой. Лев радостно вздыхает.

М-да... а вот прекратить выступать вообще — это оказалось трудно.

— Хотя обо мне подумал бы! На что жить... — сказала уже полчаса как безработная Леночка. Жить ей, правда, пока было на что.

— Ты грести разве не собираешься — на галере?

— На каноэ! Не собираюсь... — Леночка обиделась бы опять, но Антон Петрович еще не пристроил ее к кому-нибудь в ассистентки.

Впрочем, пристроил-то он ее тут же: к Володе-метавшему-кольца. Кольца Леночка могла подавать так же профессионально, как цилиндр, бокал, зонтик. К тому же, Володя, сосредоточенный исключительно на кольцах, даже не слышал, что Леночка по-прежнему хохотала — все время, пока находилась на арене. Непрестанно.

Так Антонио Феери исчез из жизни Льва. И Лев не знал, где он теперь. Даже дед Антонио — и тот не знал, но как-то сказал Льву:

— Мне кажется, он уехал в Италию.

КАК ПРОТЫКАТЬ ПАЛЬЦЕМ ФЕТРОВУЮ ШЛЯПУ

Достаньте из саквояжа мягкую фетровую шляпу и пустите ее по первому ряду: зрители должны сами убедиться в том, что это совершенно обычная шляпа, в которой нет никакого подвоха. Когда шляпа снова окажется у вас, запустите внутрь кисть руки и проткните пальцем тулью насквозь. Теперь верните проколотую шляпу зрителям для инспекции. Пусть они увидят, что палец не оставил в тулье шляпы даже самой крохотной дырочки.

Этот традиционный, но всегда пользующийся большим успехом трюк вполне можно повторить несколько раз — и даже предложить любому из зрителей проткнуть тулью пальцем: едва ли это удастся кому-нибудь, кроме вас.

Комментарий

Конечно, ваш палец не обладает способностью проходить сквозь фетр, из которого сделана шляпа. Просто в распоряжении у вас имеется муляж пальца, изготовленный из папье-маше и снабженный у самого основания иглой. Именно этот муляж зрители и принимают за протыкающий шляпу палец. Делая вид, что протыкаете шляпу пальцем правой руки изнутри, вколите муляж пальца в тулью снаружи. Потом выньте муляж из тульи и спрячьте его в кулаке левой руки, будто вытаскивая палец правой руки из «отверстия».

8. НИКАКОЙ ТОЧКИ

Только к пятому классу страшный и прекрасный образ Антонио Феери почти окончательно слился в памяти Льва с образом деда Антонио. Лев даже не понимал, как мог он когда-то сомневаться в том, *кто именно* подхватил его на руки в ту злополучную ночь. И *кто именно* удалил страшно-го и прекрасного Антонио Феери из его, Льва, жизни. Осталось, правда, чувство вины — перед дедом, который никогда больше не ходил в цирк. Цирк умер для него почти так же окончательно, как и Джулия Давнини, женщина-змея.

Теперь Лев только улыбался, если дед Антонио грозился превратить его в столовую ложку — откажись Лев есть суп. Дед Антонио *не мог* превратить никого в столовую ложку!.. Или — все-таки — мог? Послушать Веру — так очень даже мог.

— Мне кажется, — так и говорила она, — что твой дед все может. Тетя Оля называет его «всемогущим».

И Вера рассказывала всякие страшные истории. Например, как одна продавщица в молочном магазине ответила деду Антонио грубо, а Вера тогда в той же очереди стояла и сама видела: дед Антонио на продавщицу посмотрел очень грозно и что-то сказал одними губами. И с этого дня продавщицы в магазине уже больше никогда не было, зато у дверей появилась облезлая и больная кошка, которая стала жить за магазином, во дворе, где контейнеры. Вера даже показала Льву эту кошку — и кошка действительно была какая-то странная: она смотрела на всех хищными глазами и шипела. Вера и Лев решили остерегаться этой кошки — и теперь ходили в дальний молочный магазин, на улицу Черняховского. Спросить у деда Антонио, так ли все было, как рассказывает Вера, Лев никогда не решался. Но превратить Льва в ложку дед, наверное, все-таки не мог бы. Или мог бы?

— О чем задумался, львенок? — Дед вытягивает у Льва из носу длинный белый платок.

Лев сердится.

— Как ты это делаешь, дед Антонио?

— А вот так! — смеется тот и вытягивает у Льва из носу теперь уже зеленый платок.

— Ловкость рук — и никакого мошенства! — в сердцах говорит Лев и встает из-за стола.

— Кто это тебе сказал? — совсем тихо спрашивает дед Антонио, и Лев удивленно оборачивается на почти неслышный вопрос.

— Ребята... в школе.

— И ты теперь так же думаешь — как ребята в школе?

Лев молчит. Он не знает, думает ли он так же.

— Тогда вытащи синий платок у меня из носа!

Лев не двигается.

— Это же просто! Ловкость рук — и никакого мошенничества... Вот, смотри: какого цвета ты хочешь платок?

«Синего, — подсказывает кто-то изнутри Льва, — синего!»

— Цвета... — медлит Лев (ну, помоги же деду, мальчик: си-не-го!), — цвета... болотного! С желтыми и красными полосками!

«Испортили ребенка, испортили!» — глухо бормочет дед.

— Ну, дед Антонио! Болотного цвета — с желтыми и красными полосками. — Голос бодрый и жестокий: следующее слово будет «слабó». — Слабó?

Ох, мальчик... слабó-то, конечно, слабó.

Да не безнадежно. И дед — медленно, очень медленно — начинает тянуть из носа платок. Болотного цвета. Вот уже видна первая желтая полоска... вот уже и первая красная.

— В таком порядке заказывали? — У деда Антонио колючий взгляд. — Сначала желтая, потом красная?

Льву стыдно. В глазах — слезы.

— Это плохие слезы, — буднично говорит дед Антонио. — Это злые слезы. — И уходит к себе, никак не помогая Льву.

Длинный платок болотного цвета остается лежать на столе. В желтую и красную полоску. Как заказывали.

— Деда! — кричит Лев и срывается с места вслед за дедом Антонио. — Деда, прости меня! Прости меня... грешного!

Страшнее слов он не знает. И капитуляции — полнее! — тоже.

Но они не могут поссориться. Они не ссорятся никогда.

— Ну расскажи мне, дед Антонио... как ты это делаешь? Научи меня!

— Зачем? Ты же не хочешь быть фокусником, я знаю. Ты просто хочешь уметь делать фокусы. Это разные вещи. И кое-что ты уже умеешь. Только не веришь. Ты верь! Когда ты поверишь, что у тебя в носу лента, ты вытащишь ее.

— Но у меня там нету ленты!

— А вот... — дед Антонио тянет ленту из носа Льва.

И теперь уже Лев плачет от отчаяния.

— Надо верить, львенок, надо верить, — говорит дед Антонио и гладит его по волосам мягкой своей рукой... своей — или все-таки рукой Антонио Феери?

Надо верить. Лев старается изо всех сил — и почти уже верит. Нет, не верит! Школьная жизнь и дед Антонио не совмещаются в его сознании. На уроке говорят про электричество. Натертый эбонитовый столбик притягивает цветные бумажки. У деда Антонио есть такой фокус. А потом Льву становится и вовсе невмоготу: он вдруг понимает секрет самого для него непрозрачного из дедовских фокусов, «Волшебного прутика»,

когда Антонио Феери якобы волшебным своим прутиком зажигает свечу. Никакой это не волшебный прутик: на его кончик просто нанесено небольшое количество перманганата калия! Если фитиль свечи пропитать глицерином, он загорится от прикосновения прутика... чего ж проще?

— Можно выйти, Изабелла Юрьевна?

Он идет на улицу. За угол школы.

— Курить будешь?

— Буду.

Голова — кругом. Сейчас он упадет, и все поймут, что курит он впервые в жизни. Падать нельзя. И Лев, отделившись от стены, единственной сейчас опоры, делает несколько шагов вперед.

И еще несколько.

И еще.

Вот он и дома.

— Дед Антонио, — говорит он с порога, чтобы успеть сказать: успеть сказать и сгореть со стыда. — Твой фокус с волшебным прутиком... пермаг...перманганат калия.

Дед Антонио садится рядом. От Льва пахнет табаком. Лев курил. Господи, что же делать? Господи, вразуми... Они издергали его. Они уничтожают его каждый день. Они добьются того, что в нем вся вера кончится! Лев смотрит прямо перед собой. Дед Антонио уходит и возвращается с папиросой: это индийская папироса, она горит сама. Она горит, как бенгальский огонь. Дед Антонио подносит папиросу к бутону китайской розы на окне. Розу окутывает дым. Когда дым рассеивается, на месте цветка — синий огонек. Он вспыхивает и гаснет.

— Так и ты погаснешь, — говорит дед Антонио и прижимает львенка к себе.

— Я не буду больше курить, не буду!

Львенок, львенок... Господи, сохрани его и помилуй, да святится имя Твое, да придет царствие Твое!

До Бога высоко, до царя далеко...

Откуда-то Лев достал книжку Маневича «Иллюзия и действительность». Он читает ее! Он погибнет. Опять Маневич. Опять на пути встает Маневич. Тогда тоже все начиналось с Маневича. «Маневич, искусствовед. История советского цирка. А это, стало быть...» — «Джулия Давнини. Современность советского цирка... è proprio fortunato Lei!»

Они никогда не говорили о Маневиче вслух. Только глазами: «Ты была у Маневича?» — «Да. Он единственный, кто меня понимает». — «Это неправда, Джулия. Он тоже не понимает тебя. Ты же сама знаешь». — «Знаю. Но Маневич считает меня легендой советского цирка!» — «Это тоже неправда, Джулия. Ты же знаешь, что ты не легенда советского цирка». — «Знаю. Но Маневич говорит, что легенда!»

Теперь Маневич взялся за львенка: погубить и его. Своей поганой книжкой — единственной написанной Маневичем за всю жизнь. И переиздаваемой, переиздаваемой, переиздаваемой! «Иллюзия и действительность»... надо же уметь так подло назвать! Так противопоставить! Так разделить, так развести — на-ве-ки! Мальчику двенадцать лет... — ему нельзя, ему рано различать иллюзию и действительность. У него еще будет время, потом, когда его ткнут носом: здесь, дескать, действительность, а во-о-он там — иллюзия, не путай их, дурачок! Не принимай одно за другое. Не з-а-б-л-у-ж-д-а-й-с-я!

Ловкость рук — и никакого мошенничества... м-да. Мальчик, конечно, поверит Маневичу: Маневичу *просто* поверить. Для того и существуют маневичи, чтобы змеи и львы верили им. Мальчик, не читай книг маневичей!

— Почему, дед Антонио? Интересно же! Вот, смотри... — Лев вынимает из уха теннисный шарик. — Хорошо?

— Плохо, львенок!

— Почему — плохо, дед Антонио? Уже ведь почти хорошо!..

Как объяснишь? Скажешь, что шарик был в руке — все время только в руке и никогда — в ухе? И что сам Лев прекрасно знает это? Знает — и не заблуждается. А должен — з-а-б-л-у-ж-д-а-т-ь-с-я!

— Я потренируюсь, дед Антонио...

— Бесплезно, львенок... Ты не с того начинаешь. Да и не надо тебе иллюзионистом быть... зачем? Может быть, я читал тебе мало сказок.

— А почему ты больше не выступаешь, дед Антонио? Тут сказано, что старые фокусы изжили себя — и пора раскрыть их секреты!

Гадость, гадость. Старые фокусы изжили себя! Что знает о «старых фокусах» Маневич — с его короткой памятью историка советского цирка? Самый старый фокус для него тысяча девятьсот семнадцатым годом датируется... Знает ли он, сколько фокусу вообще тысячелетий от роду? Знает ли он, что фокусы испокон веков людям жизнь спасали? Что не будь их — не было бы, очень возможно, и самого Маневича: не от кого было бы ему родиться! *Суть* фокуса — его тайной, его со-блаз-нитель-ной сути не понимает Маневич... И не поймет: ее не понять — *не умея*. А не умеешь — стало быть, и не знаешь, что фокус — механизм выживания: выживания человечества.

— Дед Антонио, почему ты никогда не придумал ничего посвежее? Тут сказано, что можно комбинировать старые фокусы — и получатся новые.

Комбинировать... Фокус — субстанция чистая, Маневич! Его нельзя ни с чем комбинировать: он — прост. Он прост,

и проста вера в него. Детская вера в чудеса, Маневич, помнишь такую? Забыл. Она у всех одна и та же. Она не может изжить себя. И потому не могут изжить себя фокусы. И потому не надо изобретать новых. Новых фокусов не бывает вообще! Если фокус новый — он трюк... надо же различать такие вещи, Маневич, Маневич! Надо *понимать* различать фокус и трюк. А вот иллюзию и действительность — их *понимать-различать* не надо. Действительность иллюзорна — и везде сплошные иллюзии, мальчик! Верь всему, пока тебе мало лет, а что к чему — разберешься потом.

— Дед Антонио, видишь: я привязываю один платок к другому — видишь? А теперь — раз, два, три — платки разъединились сами!

— Они, львенок, и не были связаны...

Они не были связаны, ибо единственно возможный тип связи — тонкую связь между иллюзией и действительностью — разрушил для тебя Маневич. Он научил тебя шагать из действительности в иллюзию и из иллюзии в действительность: туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда! Ты везде свой и нигде не свой. Тебя отторгает действительность — и иллюзия отторгает тебя, ты никому не нужен...

Но ты нужен мне — пока я жив! И я не отдам тебя Маневичу. Где-то у меня тут старая записная книжка с его телефоном...

— Алло. Это Антон Петрович Фертов. Я хочу сказать Вам, что Вам прямая дорога в преисподнюю.

— Нам туда вместе, Антон Петрович.

И — частые гудки. Бойтся Маневич. Огрызается, а сам боится.

— Дед Антонио, кого ты послал в преисподнюю?

— Одного беса. Который превращает искусство в службу быта.

— Как это?

— Да уж не знаю: исхитряется как-то.

— А посмотри, лучше я теперь шарик из уха вынимаю?

— Так же плохо, львенок. Не было у тебя шарика в ухе.

— Конечно, не было!

— А должен был быть... Для тебя — должен был быть.

— Я не понимаю, дед Антонио!

Он не понимает.

— Что, заметно было?

— Очень заметно.

Все очень заметно. Все их хитрости шиты белыми нитками. Они сами себе не верят, а хотят, чтобы им другие поверили! Нет уж, врач, исцелись сам... Но надо убить Маневича. Надо убить его навсегда — чем-нибудь таким, от чего он уже не поднимется. А-ты-сделай-фокус, — говорил маленький Лев и верил. Может, действительно — сделать фокус? Единственный настоящий фокус в своей жизни! Перемешать иллюзию и действительность, растолочь их, сделать пюре... и накормить им Маневича — пусть попробует пе-ре-ва-рить. Ох... прости меня, Господи! Дух целомудрия и смиренномудрия даруй мне, рабу Твоему...

— Дед Антонио, а ты читал эту книжку?

— Нет. И тебе не советую.

— Но ты же не учишь меня!..

— Я учу. Я незаметно учу.

— Учишь быть фокусником?

— Учу *не* быть фокусником! Что касается книжки твоей — вранье там одно.

— Не читал, а говоришь! Почитай сначала.

И правда — почитать? Посмотреть, какие он фокусы испоганил...

Так, с шариками, с платками... А тут — карточные фокусы: Бог с ними, они для эстрады. Но вот эту группу — жалко: старые милые шалости индийские... сволочь Маневич! Какой же это год переиздания? Нынешний! Прямо ведь в ногу со временем шагает Маневич.

— Да, слушаю Вас. Здравствуйте, Ниночка! На один сезон? На ближайший? Нет, на ближайший-то определенно нет. Ну... не знаю. Без выездных, понятно. М-м-м... я, пожалуй, подумаю, ладно? И сам тогда позвоню. Константинванычу поклон. До свидания.

До свидания, до свидания!

Прощайте.

Фокусы изжили себя... не видать вам больше Антонио Феери. Он тоже себя изжил. Пусть Маневич фокусничает. Хватит ему тайком фокусничать — пусть теперь на глазах у всего честного народа!

— Вот тут... дед Антонио: я не понимаю, где правую руку держать.

— Слушай меня, львенок. Не так этому всему учатся — тот фокус попробовав, другой... Одно движение — полдвижения, четверть! — месяцами, годами отработывают и даже потом тренировки не прекращают никогда... а голова — пустая. Я тебе, по совести сказать, такой жизни не хочу... ты бы и сам не захотел, если б только представлял себе ее как следует: скучная она, тупая. Да и руки у тебя не те, прости меня... Не ручной ты львенок.

— А какой — дикий?

— Не знаю. Знаю, что не ручной, но вот какой — не знаю. Загадочный ты. Но в любом случае фокусничать тебе незачем — по-другому тебе лучше жить. Жить, жить... — и много чего прожить.

— Зачем?

А и в самом деле... зачем! Миллионы маневичей ничего не проживали — сразу в искусство: скок! Потому и думают, что искусство — это искусство жить. И живут себе... искусно. Искусно и припеваючи. И различают между искусством-жить и действительностью-жить, которые, конечно же, разные: пропасть меж ними! Искусная жизнь — и безыскусная... Что с того толку, что он, Антон Петрович Фертов, безыскусную свою жизнь почти прожил? Он-то сам даже и не понимал: где оно в ней, жизни его, это искусство? Все сплелось как-то... слилось. Не было разницы между вот этой вот квартирой и манежем — никогда не было! Но потом пришел мальчик Лев и построил мост... мостик. Шаткий мостик — имени деда Антонио. И пошел по мостику: от Антона Петровича Фертова к Антонио Феери. Мальчик боится, да идет. А мостик-то старый... качается!

— Дед Антонио, вот тут еще непонятно! Ты спишь?

Я не сплю, львеноч. Я мостик. Я тебя держу, мне спать нельзя. А то Маневич ухватит тебя за бочок и утащит во лесок. Я не сплю. Я не сплю.

Он так и заснул в кресле. Но утром — при полном параде — уже будил Льва. Глаза у того были красные, и дед Антонио чертыхнулся: вчера за разговорами опять забыл напомнить внуку, что капли-то в глаза перед сном закапывать все-таки надо! Вот уж сколько лет знает Лев, что это его спанье с открытыми глазами роговицу сушит, роговица мутнет... возникает ксероз, — а все не привыкнет никак к каплям, бестолочь. Между тем обещанные офтальмологом резь в глазах и светобоязнь уже налицо...

— Дед Антонио, ты куда собираешься? — Лев беспощадно трет глаза и смотрит на деда: костюм, галстук, черные

ботинки. Андерманир штук, хороший вид — дед Антонио при параде стоит!

— Никуда не собираюсь. Дома буду.

— А почему ты так одет?

И действительно — странно он одет к завтраку. словно к ужину — званому.

— Я просто по телефону говорить собираюсь.

— В галстук? — Лев смотрит на деда Антонио и смеется.

— Это важный разговор! — Дед Антонио смеется в ответ и вот уже церемонно кланяется Вере, зашедшей за Львом.

Кто бы мог подумать, что из толстого чада девичьего полу получится такая газель! Сколько же ей теперь? Ах, ну да, тринадцать, как и Льву.

Приближаемся к опасному возрасту? Или — уже там?

— Чего это дед Антонио — как на прием? — интересуется Вера на улице.

— Куда-то звонить собрался, — торжественно сообщает Лев. — Важный, говорит, звонок.

Вера молчит долго. И уже на пороге школы — говорит:

— Какие мы все-таки другие, Лев, какие... неправильные!

А дед Антонио разгуливает по комнате. Смотрит в зеркало. Поправляет галстук. Он покажет им фокус! Он всем им покажет фокус... фокус-покус. Ради львенка. Ради всех львят на земле. Всех львят и всех газелей.

Это будут только очень старые фокусы. Давным-давно изжившие себя, бесценный Маневич! Самые ранние фокусы человечества... Именно те, которые ты наголову разбиваешь в своей подлой книге.

Маневич бил-бил — не разбил!

— Алло, Ниночка? Это Антонио Феери... С Константин-ванычем соедините меня? Спасибо. Костя? У тебя, говорят,

ангажемент созрел? Как — «отказался»? Ничего я не отказался: я подумать обещал! И я подумал. Ближайший сезон не годится: у меня Лев в опасном возрасте! Да нет, не в этом дело, конечно, — просто я совсем новый аттракцион сделать хочу, не «Полчаса чудес», другой... на целое отделение. К семидесятилетнему, так сказать, юбилею. Не за что, голубчик, это тебе спасибо — что вспомнил. Ну, кокетничаю: и на старуху бывает проруха. Нет, без ассистента. Именно: один на арене, а в случае чего — санитары помогут!.. Да пойдет публика, куда она денется? Я же только аттракцион меняю — не имя! Название — сейчас? Нету пока... хотя, знаешь что, есть название! «Фокусы, изжившие себя». Да, так прямо и запиши: фокусы-запятая-изжившие-себя. Какая точка, где? Никакой точки.

9. БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ

Дима постарался как мог.

На ослепительно синем фоне был изображен колоссальных размеров кролик со шкодливой мордой.

Белый.

В четыре роста — человеческих.

До этого так изображали только вождей.

«В Москве никогда больше не будет белил!» — пообещал Дима после закупки всей порции краски, требовавшейся для кролика.

Кролик сидел на задних лапах, каждая из которых по величине напоминала трамплин. Одной из передних лап он придерживал черный цилиндр, другой — вынимал из цилиндра Антонио Феери, изображенного в четыре роста — кроличьих. Лицо Антонио Феери выражало покорность и слабое удивление.

Внизу, по краю афиши и основанию цилиндра, золотыми буквами горела надпись: «Антонио Феери: Фокусы, изжившие себя. Только один сезон». В глаза тревожно бросались слова «изжившие себя» — золотом по черному: они уместились строго по ширине цилиндра.

Сразу после появления афиши встречающиеся возле цирка стали обозначать место встречи словосочетанием «У кролика». Кролик вписался в московскую жизнь как в ней и был.

Когда Дима наконец уговорил Фертова все-таки взглянуть на этого уже легендарного кролика хотя бы издалека, Антон Петрович специально приехал в цирк днем — и остолбенел на подступах. Кроличья морда до ужаса напоминала лицо Маневича.

— Дим... — осторожно спросил Антон Петрович почесывающего бороду мастера. — Вы кролика с кого рисовали? Только честно!

Дима пристально посмотрел на Антона Петровича:

— Кролика я рисовал — как это... — по памяти. — И, совсем смутясь, добавил: — Мне не требовалось его ни с кого рисовать... я помню, как кролики выглядят. А Вас я рисовал с того портрета, который в цирке висит... похоже?

— На редкость, — равнодушно сказал Антон Петрович, не отрывая глаз от кролика. И горячо добавил: — Знаете, что, Дима... у Вас антенна на лбу!

— Это как же так, Антон Петрович?

— Кролик, — полусшепотом сказал тот, — просто вылитый... человек один, которого я все последние месяцы помнил...

— Добрым словом? — ужаснулся этичный Дима.

Антон Петрович виновато помотал головой, а Дима просял:

— Значит, Вам нравится?

— Еще бы ему не нравилось! — директорским своим басом прогрохотал Константинваныч, встречая Антона Петровича у дверей и заключая в объятия, словно в тюрьму. — Когда у кролика морда Маневича!

Антон Петрович инстинктивно оглянулся и покачал головой.

— Идемте со мной, — взяв Антона Петровича под руку, кивнул Диме Константинваныч. — Я давно Вам кое-что показать хочу.

У себя в кабинете Константинваныч долго-предолго искал, но ведь нашел-таки экземпляр ненавистной Антону Петровичу книги. На вклейке перед титульным листом был помещен портрет автора.

— Взгляните, Дим, — невинно поманил растерявшегося у двери гостя (первый раз в директорском кабинете!) Константинваныч.

Дима тоненько захохотал — и сразу стало видно, что ему не больше двадцати.

— Я вам мамой клянусь! — давился он. — Нет, ну поразительно просто, поразительно!.. Перерисовывать?

— Да ни за что на свете! — воскликнул Антон Петрович. — А в конце сезона я ему эту афишу заказной бандеролью пошлю.

— Боюсь, ты столько за сезон-то не заработаешь: в ней весу — тонна! — озаботился Константинваныч. — Давай тогда на два-три сезона договариваться...

Между тем в цирковых кругах уже несколько месяцев ходили слухи — разнообразные. Наиболее правдоподобно звучало сообщение, будто «Фокусы, изжившие себя» и вообще-то задуманы как начало травли Маневича, которого цирковые единодушно ненавидели — главным образом за то, что Маневич отождествлял себя с цирком-в-целом, а уж заодно и за то, что мировую славу даже самых ярких звезд он прилежно вписывал в историю только и исключительно советского цирка. Однако у Маневича было более чем неплохо с друзьями — и потому поговаривали о том, что первое выступление Антонио Феери легко может оказаться последним. Впрочем, тому, семидесятилетнему любимцу мира, это было, слава Богу, неважно.

До начала сезона оставалось всего ничего, когда Константинваныч специально приехал в гости на Усиевича и, умирая от хохота, рассказал деду с внуком о «совершенно бесподобном звонке сверху».

В пересказе Константинваныча разговор был просто невыносимо дурацким.

— Здравствуйте. Константин Иванович, как я понимаю?

— Добрый день...

— Петров.

— Здравствуйте... коли не шутите.

— Мне доложили о новой афише на здании цирка — с зайчиком, припоминаете такую, Константин Иванович?

— С зайчиком... что-то не припоминаю. А должен припоминать?

— Ну, как же... она у Вас там уже третий месяц висит, Константин Иванович!

— Да у нас там много чего висит...

— Что же Вы, Константин Иванович, каждый день мимо ходите, а афиши с зайчиком не видели? Где он фокусника из шляпы вынимает...

— Ах, вооот Вы о чем!.. Так это не зайчик никакой, это кролик с поганой мордой, но афиша не ему посвящена, а Антонио Феери — как раз тому, которого из шляпы вынимают!

— Ну, зайчик или кролик — разница небольшая, Константин Иванович. Только афишу эту, к сожалению, придется снять.

— Вот как... а могу я узнать, почему?

— Она оскорбляет человеческое достоинство.

— Достоинство... иллюзиониста? Так он не возражает: ему афиша, наоборот, очень нравится. И нам всем нравится.

— Да нет, Константин Иванович, не иллюзиониста. Вы не замечали, какое у кролика лицо?

— Морда, Вы имеете в виду? Поганая!.. Так Вы, что же, о человеческом достоинстве кролика беспокоитесь — извините, конечно?

— Да нет, не кролика... Я о человеческом достоинстве третьего лица беспокоюсь.

— А третьего лица-то там и нету никакого! Там только одно лицо и одна морда, причем поганая.

— Вот я и спрашиваю: Вы не замечаете, как эта поганая морда похожа на одно лицо?

— На лицо Антонио Феери?

— Да нет же! На третье лицо...

— Вы все-таки должны мне — уввы, уввы, уввы! — сказать, о каком третьем лице у нас идет речь, — а то я не понимаю, простите.

— Да неважно это, о каком третьем лице! Поганая морда Вашего кролика слишком похожа на лицо одного человека — и Вы знаете, о каком человеке идет речь!

— Убей Бог, не знаю! У меня и знакомых-то с такими погаными мордами нет. А у Вас... есть? Нет, я к тому, что... лично Вам эта поганая морда кроличья кого напоминает?

— Лично мне она никого не напоминает! Я ее и не видел даже. Мне об этом доложили... другие доложили.

— А тем, другим, она кого напоминает?

— Об этом мне другие не докладывали!

— И мне пока не докладывали...

Константинваныч любил такие страшноватенькие игры советского времени, когда шаг вправо, шаг влево — расстрел! И знал ведь, с чем играет... имя Маневича не абы что! Но поиграть — обожал. Правда, ему тоже давным-давно было пора на пенсию...

— Ну, и что же, — откашлявшись от смеха, спросил Антон Петрович, — сам Маневич так ни разу и не прозвучал в контексте? Ни с твоей стороны, ни с его?

— Конечно, нет! — отозвался Константинваныч. — Петров ведь должен был поверить, что *мне* поганая морда кролика ничье лицо не напоминает, — в противном случае он сам вынуждал себя признаться, что ему поганая морда кролика напоминает лицо Маневича! Тут просто немислимой

тонкости игра велась! Ах, Дима, Дима... и угораздило же его с Маневичем-то — причем ведь клянется-божится, что Маневича в глаза не видел! Бывает же такое

КАК ВЫТЯГИВАТЬ ТОНКИЙ ПЛАТОК ИЗ КОНЧИКА РАПИРЫ

Возьмите рапиру и сделайте несколько замысловатых выпадов, как бы фехтуя с воображаемым противником. Продемонстрировав таким образом, что рапира настоящая, передайте ее ассистенту, а когда тот, приняв рапиру, направится в сторону, окликните его и жестами предложите повторить только что сделанные вами выпады. На этот раз при первом же взмахе рапирой на самом конце ее появится платок. Возьмите его и, вытерев пот со лба, спрячьте в карман. Теперь можно и раскланяться.

Комментарий

Для этого старинного трюка вам придется изготовить специальную рапиру с пустотелыми клинком и рукояткой. Идеальная длина клинка — 70 см, в сечении он должен иметь вид ромба. Острый наконечник рапиры, высотой 15 мм, изготовьте отдельно и хорошенько подгоните к клинку, предварительно припаяв к острию кольцо диаметром 5 мм и прикрепив к этому кольцу за угол тонкий платок белого цвета. Изнутри в наконечник требуется вделать крючок и крепко привязать к нему тонкую резинку, пропустив ее по всей длине пустотелой рапиры и закрепив второй конец резинки в отверстии клинка у гарды. Оставшейся частью платок размещается в рукоятке: удерживает его там пропущенный через кольцо металлический стержень. Сдвиньте стержень: кольцо будет освобождено, натянутая резинка сократится — и платок окажется на кончике рапиры.

10. БЕЛОЙ, СНЕЖНОЙ СВОЕЙ ПЫЛЬЦОЙ

Атмосфера вокруг «Фокусов, изживших себя» была та еще... Москва не помнила, чтобы она так возбуждалась по поводу всего-то-навсего циркового представления: не театральная же премьера, а цирк... пле-бей-ско-е, по словам Константинваныча, удовольствие! Хоть и не выносил Антон Петрович — на дух, Костя, на дух не выношу! — такого отношения к цирку. Только ведь с Константинваныча взятки, увы, гладки...

Предпремьерная толпа у здания цирка напоминала толпу у Большого театра во время балетных конкурсов — чуть ли и не с той же публикой, кстати... что было уж совсем странно. Антонио Феери удалось поразить в самое сердце именно тех завсегдааев зрелищных учреждений, в чьих руках находились бразды правления культурными сплетнями. У цирка ошивались холеные геронты с лицами, которые каждый «где-то недавно видел». Непроницаемые для посторонних, лица эти выворачивались наизнанку при встрече с себе подобными: «Николай Пааалыч, дорогооой, вот уж легок на помине! Только вчера у Майки про Вас говорили — что, дескать, не видно Вас нигде... А Вы, оказывается, теперь у нас по части цирка!» Геронтов сопровождали непристойно юные спутники подозрительного вида и пола, молчаливо пожиравшие друг друга глазами. Несколько на редкость неряшливо одетых девиц без возраста, но все как одна с крупными бусами, беспорядочно сновали в нейтральных водах, посылая в разные стороны неприятные улыбки — на случай не ответит ли кто. Никто не отвечал. И уж совсем на периферии жались друг к другу серые представители «свит» — самая прибыльная категория завсегдааев театрально-зрелищных учреждений, состоявшая из тех, кому близость к тому или иному николай-

пааалычу давала привилегию, держа наготове трешку, про- скальзывать мимо шапочно знакомой билетерши на любую премьеру в составе цепочки, николай-пааалычем же и замы- каемой. Впрочем, на сей раз «свитам» ничего не гарантиро- вали: предстоявшее культурное событие выходило за рамки влияния даже самого холеного николай-пааалыча.

В общем, резонанс обещал быть мощным: гораздо более мощным, чем требовалось для того, чтобы спасти несовер- шеннолетнего Льва.

«Фокусы, изжившие себя» поставили во второе отделе- ние: ими отделение, собственно, и исчерпывалось. Неудиви- тельно, что к концу первого отделения толпа возле здания цирка не только не поредела, но, наоборот, уплотнилась. Ма- шины продолжали подъезжать: прибывающих в них, со всей очевидностью, только второе отделение и интересовало. Де- журивший у входа наряд милиции, как мог, охлаждал стра- сти ловцов случайного счастья, но вплоть до самого третьего звонка опасность штурма здания цирка все еще была боль- шой. Милиционеры опасались, что последние сильные мира сего подъедут к цирку на бронетранспортерах.

Впрочем, третий звонок наконец прозвенел. Толпа не расходилась: видимо, побывать даже *около* того места, где делалась история цирка, было лучше, чем отсиживаться дома. Бульвар притих — милиции больше не требовалось. Две тишины, снаружи и внутри, уравнивали друг друга.

Антонио Феери вышел на арену так, как не выходил ни- когда: весь в белом. Помнившие черное его облачение на- силу узнали иллюзиониста: в белом он казался непривычно легкомысленным.

Иллюзионист был один — один на пустой арене, в буд- ничном электрическом свете: никаких штук и штучек вокруг.

Он не поздоровался — только склонил седую голову в знак приветствия. Публика взялась было хлопать, но кто-то зашикал — неизвестно почему — и овации не произошло.

Постояв со склоненной головой, Антонио Феери резко выпрямился и вдруг стал казаться очень большим — гораздо больше, чем прежде, когда — в черном. Его обступала тишина — огромная напряженная тишина. Начинать программу при такой напряженности зала не было смысла. Он взглянул в направлении кулис, где все еще мялся Бруно. Кивнув шпрыхштальмейстеру, Антонио Феери подошел к нему и взял у него из рук микрофон. Надо было что-то сказать публике: все равно что... несколько фраз — любых.

— Мне семьдесят лет, — зазвучал над ареной старый голос. — Шестьдесят из них... или все семьдесят? — я провел в цирке. Но фокусы, которые я покажу сегодня, гораздо старше меня. Некоторым из них тысячи лет от роду. Они описаны в учебниках для начинающих иллюзионистов и не требуют никакого реквизита: вы видите сами, что на арене вокруг меня — ни-че-го. Все, что сейчас возникнет здесь, будет только мечтой — нашей с вами. Плодом нашей с вами фантазии.

Антонио Феери положил микрофон на барьер и снова вышел на середину арены. Свет медленно сошел на нет. В белом луче была видна лишь рука — кисть руки, без перчатки. Кисть руки, которая издали напоминала задумавшуюся о чем-то своем птичку.

Ничего не происходило с кистью руки. Она была неподвижна и нема. И не давала никаких обещаний — просто ждала. Но откуда-то возник ветер... ветерок, незаметный. Длинные белые пальцы легонько вздрогнули и чуть сместились вниз, словно сбитые с толку дуновением этого ветерка. И из них, из длинных бледных пальцев, осторожно начала произрастать белая роза.

А уже через несколько мгновений пальцы держали розу за черенок. И отделилась от розы белая бабочка. Она быстро порхнула во тьму, но белый луч поймал ее — поймал и принялся следить за полетом бабочки под купол цирка, где та внезапно пропала из виду, словно растворившись наконец в белом луче.

Тоненькая скрипка в оркестре — не мелодией, а только несколькими беспорядочными тихими щипками — сопровождала этот короткий полет и смолкла.

— Бра-во! — коротко и дико выкрикнул кто-то — видимо, на полуслове испугавшись собственного голоса, и тут же — в поддержку нелепому этому голосу — цирк зааплодировал, и ладони зрителей светились в полутьме, как бабочки, бабочки, бабочки...

Круг желтого прожектора высветил середину арены. Антонио Феери стоял, опустив голову. Розы не было в его руке.

Но он доставал уже из кармана тонюсенький носовой платок — прозрачный платок... призрачный. Платок был почти не виден из-за этой своей прозрачности, и Антонио Феери поднял его над головой — эдаким случайным облачком. Круг прожектора переместился на облачко, сузился. Кисть руки легонько встряхнула облачко, испуганно звякнула в оркестре тарелка — и полетела на манеж звезда... Она упала и погасла. Еще одно встряхивание, еще один звоночек тарелки — вторая звезда проследовала тем же курсом, а за ней третья, четвертая, пятая... Мириады ночных звезд падали на манеж и гасли: в том же порядке, в котором падали.

И дрожала оркестровая тарелка, а звездам все не было конца: они летели и летели — на счастье тебе, мне, всем нам... Желтое пятно дрогнуло, расплылось — и чуть ниже прозрачного платка, рассеянно роняющего звезды, обозначилось худое лицо Антонио Феери с двумя звездами глаз —

светившимися даже ярче, чем те, из платка. Промокнув их своим облачком, Антонио Феери снова спрятал платок в карман — какая-то запоздавшая звезда, явно прозевав свое время, скользнула по белому лампасу белых брюк фокусника и, даже не достигнув ковра, угасла. Антонио Феери вздохнул, проследив взглядом ее судьбу, потом махнул рукой и в невесть откуда взявшийся у него микрофон сказал, произнося слова так, словно это были предложения:

— Да что же это мы все о грустном да о грустном... Вы только взгляните, сколько у меня цветных бумажек с собой!

И медленно, очень медленно принялся вынимать он из нагрудного кармана бумажки — одну за другой: синюю, оранжевую, красную, зеленую, желтую. Называя каждую по именам и только после извлекая на свет Божий: все в том же порядке. Синяя — вот вам синяя, оранжевая — вот вам оранжевая, красная — вот вам красная... Словно дворецкий, объявляющий о приходе гостей: графиня Разумовская — и перед вами графиня Разумовская... во всей, значит красе.

Вдруг сбился — на зеленой бумажке, достав вместо нее — желтую. Сконфузился, виновато посмотрел на зрителей:

— Старею...

И — отправился вдоль первого ряда: шагами — виноватыми же.

— Вам какую?

— Мне красную... если можно.

— Пожалуйста.

Но — ах, не соблюдает публика порядка!

— И мне красную.

— Пожалуйста.

— А мне зеленую.

— И Вам пожалуйста.

Хитер, хитер Антонио Феери: ошибку-то, небось, нарочно сделал!

Какой-то оригинал в скучном темно-синем костюме-тройке улыбнулся сладкой улыбкой:

— Беленькую, если не возражаете...

Антонио Феери посмотрел на него с интересом. Сгорбился в полупоклоне:

— А вот... мышку не желаете? — И уточняющим тоном: — Беленькую.

На ладони фокусника — мышка. Беленькая. Сидит спокойно, на оригинала поглядывает.

— Нет-нет... — Похоже, боится оригинал мышек-то. — Мне бумажку беленькую, мышку не надо. — И — лицо строгое, как костюм.

— Ну, бумажку так бумажку.

И сидит оригинал со своей белой бумажкой в руке — дурак дураком, значит. А мышка исчезла — никто не видел куда.

— Дяденька фокусник... — Карапуз из дальнего какого-то ряда прибежал и смотрит на Антонио Феери бесстрашными глазами. — Мне мышку, мне! Беленькую, ту...

— Да она ж у тебя в кармане давно!

— Где?

— А вот, — и Антонио Феери, запустив руку карапузу под пиджачок, достал оттуда белую мышку.

— Не надо ребенку мышей, в руки не надо, туляремия! — пробренчало откуда-то с галерки, и тут же посыпались откуда кости, во мгновение ока собравшись возле первого ряда в худосочную особу женского полу. — Пойдем, — схватила она карапуза за руку.

Карапуз с ревом покидал место короткого счастья, а Антонио Феери уже аккуратно подкинул мышку в воздух — и она

превратилась в клочок белоснежной бумаги, который медленно поплыл в направлении к арене. За ним, как зачарованный, шел и сам Антонио Феери, не отрывая от него взгляда. Так и добрел до середины манежа — вслепую, стало быть.

Клочок остановился в воздухе, не зная, что делать дальше.

— Иди ко мне, — сказал ему Антонио Феери, и клочок, подумав, спланировал точно в нагрудный карман фокусника.

— Лавочка закрыта, — сконфуженно произнес Антонио Феери и подмигнул публике: — *Эта* лавочка.

Тут он протянул вперед руку — ладонью вверх. Свет над манежем сгустился до пяточка ладони и сделался голубым. Темно было вокруг — лишь поверхность ладони светилась в темноте. И в голубом этом свете началось на ладони про-из-ра-ста-ни-е тонюсенького столбика — столпика — ослепительной белизны. Он тянулся вверх, вверх и вверх: миллиметр за миллиметром, сантиметр за сантиметром... Метр за метром. От этого завораживающего про-из-ра-ста-ни-я начинало сосать под ложечкой — и не было больше сил терпеть незнания того, что будет с этим столпиком там, наверху, где живут одни только воздушные гимнасты.

Столпик тянулся вверх. Никто не дышал.

И вдруг ладонь пропала, ушла в темноту, оставив столпик, дотянувшийся уже до самого купола, в одиночестве. На него смотрели не мигая: что же он делает, этот фокусник, можно ли так вот бросить чудесный столпик на произвол судьбы!.. А столпик стоял в воздухе как луч света, прилетевший ниоткуда и медлящий на пути в никуда. И такая была в нем тоска, такая острая, такая тонкая тоска!

Сколько оставался он в воздухе, этот луч? Минуту? Пять минут? Час? Но за это время зрители успели забыть обо всем, ибо каждый из них превратился в него — ослепительной

белизны луч, прилетевший ниоткуда и медлящий на пути в никуда. Боже, светлый Боже, что же будет с нами, что же будет со всеми нами!

Но опять возникла из темноты голубая ладонь — у самого основания столпика. И два тонких, два длинных пальца прикоснулись к основанию этому — совсем чуть-чуть потянув столпик вниз. И — ах!... Он соскользнул со своей головокругообразной высоты — так стремительно, что публика отпрянула назад, почувствовав мгновенное головокружение: тончайший шелковый платок быстрой струйкой мелькнул из-под купола и тут же пропал в руке Антонио Феери.

Не было у вас никакого столпика, дорогие мои. Не было — и никогда больше не будет. Фокус изжил себя.

— Какой артист, Господи... — шепотом сказала капельдинерша никому, прислонясь к стене. И повторила: — Какой артист!

А публика уже зашелестела: сначала аплодисменты все никак не могли набрать силу, однако медленно набрали — и остановить их теперь, казалось, было невозможно. Но взмах руки — и они не столько стихли, сколько прекратились, даже — исчезли: все, вмиг.

— Теперь я попрошу кого-нибудь из зала...

Антонио Феери не успел договорить «...спуститься ко мне в манеж», — а из третьего ряда уже бежал к нему молодой человек... мальчик в белой рубашке и синих джинсах. Он оказался рядом с Антонио Феери, когда тот механически заканчивал никому теперь не нужную фразу.

— Зачем, львенок? — беззвучно спросил дед Антонио и беззвучно же произнес: — Так не надо было. Нельзя.

— Я с Вами, Антонио Феери, — не то сказал, не то ничего не сказал Лев и, болезненно морщась от направленного прямо в глаза яркого света, громко произнес: — Готов!

В зале засмеялись и захолопали — теперь беспорядочно.

Глаза львенка смотрели прямо — и под пристальным этим взглядом Антонио Феери растерялся.

Львеноч вырос. Стал львом и забыл о своем страхе перед Антонио Феери. Волшебный мостик под названием «дед Антонио» уже не нужен ему.

Теперь лев, не боясь, выходит на бой — на бой с Антонио Феери, с его фокусами, со всеми фокусами мира. И это бой насмерть. Деду Антонио не вернуться из него живым. Глупый, глупый львеноч... жестокий молодой лев! Как же ты не понимаешь... я без колебаний стану твоей добычей, чтобы ты — на глазах честной публики — растерзал меня прямо тут, на арене! *Nos est corpus meum*, фокус-покус... фокус-покус! Я даже не буду пробовать тягаться с тобой: сейчас ты увидишь фиаско Антонио Феери — и поймешь, что все фокусы на свете, увы, давно уже изжили себя. Можешь рассказать об этом публике: она будет рада! Публика обожает разоблачения... Эффектная концовка программы — вместо кролика с поганой мордой появляется на арене прекрасный юный лев и запикивает иллюзиониста в цилиндр. На-всег-да.

На вызов добровольца из зала Антон Петрович приготовил совсем простой фокус — пожалуй, самый простой из всех известных, но невероятно популярный когда-то: в средневековой, например, Италии. Дома он проделывал этот фокус сотни раз — и Лев уже, конечно, знал его наизусть. Фокус состоял в том, что партнеру не удастся разорвать тоненькую совсем паутинку.

— Почему в манеже внук иллюзиониста?

Антон Петрович слышит голос, произносящий эти слова.

Антон Петрович не знает, слышат ли голос другие: все зависит от того, откуда раздается голос — из публики или из его собственного сердца.

Но времени разбираться с происхождением голоса — нет. Вполне и вполне вероятно, что Маневич поднялся в своем пятом ряду, справа от прохода, и теперь рассказывает всем: дескать, это подлог, опять подлог... Антонио Феери не может без подлога. Без подлога не может ни один иллюзионист. Если поблизости нет его дочери — жди внука: без родственников в таких делах не обойтись! Они не предадут, они исполнительны. Уговорил же Йозеф Фрелих собственного малолетнего сына исчезать и появляться — скрываясь в отцовских шароварах... кто бы еще, кроме сына, согласился в штанах у Фрелиха сидеть?

Ах, Лев, Лев, что же ты такой вот... неосторожный совсем! Выбежать на арену и разорвать паутинку, которая еще даже не натянута... Паутинку между фантазией и реальностью — ту самую, которую столько лет оберегал иллюзионист Антонио Феери! И которая трепетала под шквалами аплодисментов, но ни разу не лопнула. Паутинку между жизнью и смертью — тоненький канатик, натянутый над ареной и с трудом выдерживающий вес моего старого тела. *Nos est corpus meum...*

Молодой лев, играя, тронет паутинку лапой и — прощай, жизнь!

Но, Господи... с какой же надеждой смотрит вдруг на него этот молодой лев! Неужели он все еще хочет чуда? Разве он вышел на арену не для того, чтобы сражаться и победить? «Я с Вами, Антонио Феери!» — сказал он... кому он это сказал? Антону Петровичу? Деду Антонио? Или действительно — самому Антонио Феери, «гордости национального цирка»?

Неважно. Антонио Феери принял уже решение.

Мальчик стоял перед ним. Незнакомый мальчик в белой рубашке и синих джинсах. Мальчик из четвертого ряда, захотевший

участвовать в фокусе. Русые волосы и итальянские, ренессансные глаза — отчего-то покрасневшие. Кто его родители?

— Благодарю Вас, молодой человек.

Нездешний этот голос не испугал Льва — он поверг его в ужас. Тот самый ужас, который был знаком с детства, когда, почти не дыша, Лев смотрел на Антонио Феери, пе-ре-пи-ли-ва-ю-ще-го Леночку пополам.

И — рука Антонио Феери, протянутая для рукопожатия: сухого ледяного рукопожатия. Сухое ледяное рукопожатие — навстречу горячей и влажной ладони Льва. Ты сам вызвался, львенок. Я не вызывал тебя.

После рукопожатия Лев перестал чувствовать кисть правой руки. Совсем. словно не было у его правой руки никакой кисти, а то, что было, — обман зрения. Детский ужас сменился паникой — не детской. Если бы ему только что исполнилось шесть лет... семь, даже восемь! Тогда оставался бы путь назад — произнеси: «Дед Антонио!» — и наваждение исчезнет. Но теперь уже нельзя, теперь он взрослый.

— Я уйду, — одними губами сказал Лев, не глядя на Антонио Феери, но, еще не договорив, услышал навстречу:

— Ты останешься.

Потому что так не бывает, львенок. В бой значит в бой. Но не надо бояться: это же бой со мной! Я обещаю тебе, что ты не погибнешь в бою. Я обещаю тебе, что в бою погибну я: вот она, моя паутинка, — протяни игривую лапу, молодой лев!

Паутинка, как всегда, возникла просто-из-воздуха: откуда-то Лев знал, что Антонио Феери выберет именно этот фокус. Она блестела между рук иллюзиониста, разведенных в стороны: большим и указательным пальцами каждой руки тот держал паутинку за кончики. Развел руки в разные стороны — и лопнула паутинка.

Но уже вторая паутинка блестит между опять разведенными в стороны руками: ее-то и должен не суметь разорвать Лев.

Он хотел сосредоточиться на паутинке, но не мог: перед ним, на лице Антонио Феери, были глаза деда Антонио, и в глазах деда Антонио был вызов... почему вызов, дед Антонио? Я же вышел сюда не за этим — я спасти тебя вышел, дед Антонио! Я вышел, чтобы не-суметь-разорвать-паутинку, потому что здесь, в этом зале, по-настоящему ты можешь положиться только на меня одного. Остальные... кто же их, остальных, знает? Половине всех присутствующих, несомненно, известен трюк с паутинкой: а ну как кто-нибудь вышел бы и — разорвал? Что тогда, дед Антонио? Но у тебя в глазах — вызов, и я не знаю, как быть...

— А теперь, молодой человек, попробуйте-ка разорвать паутинку!

Понять бы еще, кому это нужно, чтобы он разорвал паутинку. Если деду Антонио, то разоблачать его Лев не собирается. Но если не деду Антонио, если Антонио Феери... Надменно смерить его взглядом, усмехнуться и — рраз: нет никакой паутинки в руках иллюзиониста! И пусть Антонио Феери потом испепелит его взглядом прямо здесь.

А паутинка между тем блестит, блестит, блестит...

Лев зажмурился и снова быстро открыл глаза: пропади, наваждение, исчезни, Антонио Феери, — дед Антонио улыбнется одними уголками губ... и тогда все понятно! Тогда паутинка будет блестеть, а Лев, как дурачок, — делать вид, что не знает этого фокуса.

— Ну, что же Вы, молодой человек?

Нет, нет и нет! Если имеется даже крохотная вероятность того, что перед ним все-таки дед Антонио...

Лев осторожно протягивает вперед правую руку: кисть руки все еще отсутствует. Он не знает, удалось ли ему коснуться паутинки, удалось ли вообще что-нибудь, — кисть словно мертва. И цирк плывет, качается, и перед глазами точки... только бы не упасть тут. Впрочем, зал уже аплодирует, а паутинка — блестит: цела и невредима.

Кто бы ты ни был, иллюзионист, умертвивший кисть моей руки, — ты поступил нечестно. И дважды нечестно — если ты дед Антонио, потому что я все равно никогда бы не выдал тебя. Но кто бы ты ни был — я ухожу из манежа. Твоя взяла, иллюзионист: торжествуй!

Лев даже не успел еще дойти до барьера, когда услышал:

— Минуточку, молодой человек! Теперь левой рукой. Кто Вас знает — может быть, у Вас правая вдруг онемела.

Цирк смеется: помнят еще острый язык Антонио Феери.

Лев, не оборачиваясь, застывает на месте. Нет, это не дед Антонио. Дед Антонио не стал бы издеваться над ним. Дед Антонио отпустил бы его назад — в четвертый ряд, отпустил и простил все! И никогда бы не напомнил Льву о происшедшем конфузе. Но если не дед Антонио... Может быть, и вовсе не было в жизни Льва никакого деда Антонио? Может быть, Антонио Феери притворился когда-то его дедом и вот уже четырнадцать лет выдает себя за Антона Петровича Фертова. Ну, тогда — держись, иллюзионист! Я знаю этот фокус. Я знаю, что нет в твоей руке никакой паутинки, — всё один обман. Обман зрения, обман публики. Ты и меня только и делал что обманывал — четырнадцать лет. Но теперь — получай!

Лев оборачивается. На его лице красные пятна. Он дрожит. Он принял решение. А паутинка — паутинка, которой нет, — блестит: словно она есть. И надменно улыбается

Антонио Феери — пока не догадываясь, что скоро не будет и его, как нет этой паутинки. Не будет его, не будет его славы, не будет его власти над миром.

Лев идет не на блеск паутинки: он идет на холодный свет улыбки иллюзиониста. Паутинка интересует его сейчас гораздо меньше, чем улыбка: это ее, улыбку, надо разоблачить, а паутинка тут ни при чем.

— Вы готовы, Антонио Феери? — спрашивает Лев одними глазами и, протягивая вперед левую руку, в упор смотрит на фокусника.

А на месте фокусника — молодой человек... мальчишка. Белая рубашка и синие джинсы. Русые волосы и итальянские, ренессансные глаза — отчего-то покрасневшие. Кто его родители? Лев откуда-то знает этого мальчишку. И откуда-то знает, что мальчишка сейчас разрушит мир: мальчишки всегда разрушают мир. Но у меня тут есть такая серебряная ниточка. Я натяну эту ниточку перед мальчишкой и не дам ему разрушить мир. Ниточки хватит: это крепкая ниточка. Я сам свивал ее. Я свивал ее всю свою жизнь. Из серебряной цирковой пыли. Из моих серебряных слез. Это очень крепкая ниточка.

Зрители вздрогнули, когда над ареной цирка раздался короткий треск. Как-то в один момент поняли они, что, кажется, все кончено. Что мир разрушен. Что неожиданно страшный поединок, свидетелями которого сделала их жестокая судьба, завершился.

Но чудесным образом блестела над ковром арены паутинка — почему-то все еще невредимая паутинка.

И тогда зрители подняли глаза к оркестру. Один из музыкантов, встав в полный рост, растерянно разглядывал скрипку: на ней лопнула струна.

— Ну, можно ли так, львенок!

А тот упал бы, если б не рука деда Антонио. Сначала рука эта словно вычерчивает круг над его головой, а потом осторожно ведет Льва к четвертому ряду. Под истерические аплодисменты зала, который только что простился с миром, но теперь снова обрел его. Это всего-навсего струна, всего-навсего струна на скрипке... а мы-то испугались!

Над головой ведомого иллюзионистом — золотой нимб.

— Ты что, Лев, — Вера сжимает его трясущийся локоть, — ты что?

— Я знаю этот фокус, — неслышным шепотом отвечает Лев. — Я знаю этот фокус, но я проиграл.

— У тебя лицо мокрое все, — говорит Вера. — И рубашка мокрая. Но у тебя нимб над головой был, Лев!

А зал продолжает бесноваться. И в тихом полупоклоне стоит перед ним Антонио Феери, держа на вытянутых руках невредимую паутинку, свитую из серебряной пыли, из серебряных слез, и замерев, кажется, навсегда. И слава, слава Богу, что навсегда. Публика больше не выдержит. Программа закончена, все свободны.

Ан — не закончена еще, не свободны еще.

— Подойдите ко мне, молодой человек.

Лев, смотрящий в пол прямо перед собой, вздрагивает: нет, ни за что, хватит уже... хватит!

Но зовут не его. Зовут Сережу — скрипача из оркестра, все еще глядящего на свою скрипку. Сереже шестьдесят лет, все по привычке именуют его Сережа, но он не сразу понимает, что «молодой человек» — это на сей раз к нему. Однако осторожно уже начинает идти — и идет долго, держа прямо перед собой негодный свой инструмент.

— Сыграйте-ка нам... чардаш Монти, — просит Антонио Феери, когда Сережа подходит к нему.

— У меня струна лопнула, — почему-то радостно говорит Сережа и предьявляет доказательства, протягивая скрипку фокуснику.

— Всего-то? — с улыбкой откликается тот. И вдруг — точным движением — связывает лопнувшую струну серебряной своей паутиной. — Играйте.

— Все подстроено, все подстроено, — шипит из пятого ряда сердце Маневича, но сердца Маневича не слышит никто. Слышат — чардаш Монти, беспечный чардаш, уже летающий кругами над ковром арены. Беспечный чардаш, исполняемый на серебряной паутинке.

От него, от чардаша этого, просыпается вдруг дремавшая где-то наверху белая бабочка и, как сумасшедшая, начинает метаться над залом — осыпая всех пылью. Белой, снежной своей пылью.

11. ЛЕГЧЕ ДУРАЧИТЬ

Так называемый демонстратор так называемых психологических опытов Борис Ратнер («Демонстратнер», говорил Коля Петров) радовался жизни будничной радостью — радостью этого, как его... вот тоже странность: слово «неудачник» есть, а слова «удачник» нету! Между тем именно удачником Борис Ратнер и был: поймал самую что ни на есть счастливую волну, которая не то чтоб мимо него катилась, а просто так катилась — праздно, сама собой. Всего и потребовалось что немножко смелости — подхватить волну за пенистую гриву и превратиться из «Ратнера» в «Демонстратнера».

«Не стыдно?» — спросила совесть, и Демонстратнер честно ответил: «Стыдно... но не очень».

Хотя, по правде-то говоря, чего ему стыдиться? Можно подумать, все остальные с неба упали! Тоже ведь родились как миленькие от отцов-сталеваров и матерей-кашеваров, да только мучились этим недолго: раз-два — и в дамки. Без никаких особых качеств, одно слово — «альтернативщики». Спасибо тебе, время... скупое наше время, хотя бы и за эту отдушину — отдушину: альтернативные методы! Альтернативные методы — чего? Да все равно чего. Альтернативные методы всего: лечения, обучения, дурачения...

Копыловы, до последнего времени сердечные друзья Бориса Ратнера, уже давно занялись неопознанными летающими объектами. Правда, сколько он ни приставал к ним — откуда, дескать, такой дикий интерес взялся, — Копыловы только улыбались эдакими чеширскими котами, и противные их улыбки часами висели в воздухе, подчеркивая полную и необратимую заурядность спросившего. Копыловы же, как поговаривали, даже газетку какую-то взяли выпускать —

или просто писали в какую-то газетку, Борис Ратнер точно не понял, да и делали они это тайно, самой газетки никому не показывали, потому как немногим, дескать, сия узкоспециальная область — у-фо-ло-ги-я — интересна. И в этом они были совершенно правы — во всяком случае, Бориса Ратнера просто мутило от всяких нелепых загадочностей типа замороженных инопланетян в американских контейнерах или выжженных на британских полях концентрических кругов. Кстати, это Копыловы впервые употребили при нем слово «альтернативщики», и в их устах слово прозвучало как титул.

Само по себе слово понравилось Борису Ратнеру: оно приоткрыло для него узкий коридор, куда еще можно было успеть протолкнуться носителю той или иной не подлежащей проверке способности, которую ему только предстояло открыть в себе. Он пока не знал, какая это способность, но видел, что мир уже стоял перед ним с распростертыми объятиями, готовый заключить в них его, Бориса Ратнера... — альтернативщика.

И он решил прикоснуться к тонким энергиям.

Борис Ратнер не очень понимал, что такое тонкие энергии, но с младых ногтей любил все тонкое, поскольку самому ему ничего тонкого присуще не было. Он стеснялся полного отсутствия в себе тонкости и потому завел себе тонкие манеры — причем настолько удачно, что на них покупались даже самые привередливые искатели всяких тонкостей. Что же касается тонких энергий, преимущества их казались Борису Ратнеру очевидными: тонкие энергии не подлежали наблюдению извне, и факт приобщенности к ним нельзя было ни опровергнуть, ни подтвердить. На него было достаточно просто указать, невзначай заметив как-нибудь между делом: «Я ведь работаю с тонкими энергиями»...

О, как небрежно, как почти впроброс научился он произносить эту неизвестно когда и у кого подслушанную фразу! Он словно проглатывал ее, только на четверть секунды задерживая отдельные звуки где-то у самого кадыка, — так что собеседник никогда не мог поручиться, действительно ли фраза была произнесена или просто померещилась. Однако тонкие энергии, понятное дело, и не требовали более напряженной артикуляции.

Сначала он, конечно, понятия не имел о том, что станет демонстратором психологических опытов. На первых порах ему вполне хватало слабых вспышек интереса к его все более новому имиджу со стороны тех же Копыловых, хоть и немножко, но напрягавшихся, когда Борис Ратнер вдруг замирал на полуслове и прислушивался, словно позванный кем-то невидимым. Сторонний наблюдатель мог бы предположить, что в такие моменты Борис Ратнер ощущал легонький укол, например, в сердце. Но одно мгновение — и едва заметная улыбка появлялась на крупных губах... Почему-то немножко не по себе становилось от этой улыбки присутствовавшим, словно Ратнер только что узнал маленькую, но нехорошую тайну о каждом из них. За улыбкой почти всегда следовали чуть слышный полувздых и короткое: «Н-да...»

Дружба с Копыловыми по какой-то причине шла на убыль, что Бориса Ратнера, впрочем, не сильно огорчало: по мере прибывания интимности в его отношениях с тонкими энергиями уфология начинала казаться ему занятием все более и более вульгарным. Не говоря уже о самих Копыловых, которых теперь постоянно окружали бородатые мужчины и нечесаные женщины, грезившие о совместных походах куда-то «в зону». Зона, конечно же, располагалась не прямо тут, под рукой, а черт знает где — не то в Смоленской, не

то еще в какой-то такой области... Борис Ратнер все время забывал в какой. Поехать туда считал своим долгом любой уфолог, ибо именно там происходили «явления». Такая зависимость от неких далеких явлений Борису Ратнеру была смешна. Он считал ниже своего достоинства бегать за явлениями и поклялся себе, что явления будут бегать за ним.

Явления пока за ним не бегали.

Втайне Борис Ратнер больше всего на свете хотел стать гипнотизером. Но как он ни буравил глазами несчастных добровольцев — устававших от его «сеансов» настолько, что, знай они, чего гипнотизер от них добывается, выполнили бы это и без гипноза, — бедняги не проявляли ни малейшей чуткости к его внушениям. Явно требовалось что-то другое — и, отчаявшись внушить свои мысли прочим, он решил заставить себя читать чужие мысли. С этим дело пошло быстрее, поскольку никаких таких особенных мыслей у людей, окружавших его обычно, не водилось. Глядя, например, на Танечку, он без труда прочитывал на ее лице одну-единственную мысль: «Господи, скорее бы уж рабочий день кончился!» «Кончится, кончится... вот уже через три часа двадцать семь минут кончится», — вслух отвечал он ей, а Танечка вздрагивала и розовела, словно застуканная за пристальным рассматриванием в зеркале своего двойного подбородка. Игорь же, в очередной раз пойманный на то и дело посещавшем его желании так или иначе прищучить в извилистом коридоре КБ либо Веру, либо Надежду, либо Любовь (все три имелись в отделе), только мотал головой да безнадежно рукой махал: ты, дескать, прямо шаман какой-то, а не Борис Ратнер...

Научившись читать чужие мысли, он задумался о том, куда бы деть этот беспокоивший его альтернативный навык. Подсказка пришла почти сразу — на вечере демонстрации

психологических опытов, куда Бориса Ратнера от нечего делать пригласила все та же Танечка, которую, видимо, утомило ожидание пробуждения в коллеге интереса к иным, чем голова, частям ее туловища. «Мне кажется, что и ты так бы мог», — непосредственно после представления заезжего альтернативщика польстила Борису Ратнеру Танечка, просовывая теплую ручку ему в карман. «Конечно, мог бы», — ответил Борис Ратнер и покинул КБ, а вместе с ним и настырную Танечку с ее неразнообразными мыслями.

Борис Ратнер умер, когда ему исполнилось сорок два года. Сразу же после этого, в возрасте тоже сорока двух лет, родился Демонстратнер. Программу ему — странно, что довольно профессионально — сделал школьный приятель, филолог по образованию, последние несколько лет подвизавшийся (и подвизавшийся, и подвизавшийся... но, кажется, никогда не занимавшийся там ничем другим) в каком-то загадочном НИИ. «У нас там сплошная психология», — раскололся как-то школьный приятель, даже не подозревая, что — таким беспечным зверем — бежит на ловца. Ловец обалдел, прочитав программу планируемого вечера психологических опытов, порожденных разгоряченной филологической фантазией, и сказал:

— Мне не справиться.

— Я помогу, — пообещал зверь и тут же записался к Демонстратнеру в помощники, причем безымянные, поскольку работа в загадочном НИИ не позволяла ему рассекречивать имя. Имя было Коля Петров, но рассекречивание его, тем не менее, сулило, видимо, некие абсолютно непредсказуемые последствия.

Коля Петров объяснил, что *на самом деле* все очень просто. Сила всякого «демонстратнера», объяснил Коля Петров,

не в тех альтернативных способностях, которыми «демонстратнер» располагает, а в отточенности его коммуникативных стратегий.

— Публика — дура, — поделился отсутствующим у него опытом Коля Петров и поставил Демонстратнера в курс некоторых чужих для него эстрадных тонкостей. — Человек, — говорил он, — любит публичность. Ради публичности он готов на все, даже на то, чтобы отказаться от себя самого. Выходя на публику вместе с партнером — а ты, Боря, его партнер и ничего больше — он, человек, сразу же начинает болеть за успех общего дела, в которое оказывается вовлечен. Отныне ему неважно, что он действительно думает, — ему важно не ударить лицом в грязь. И эта его единственная — заметь, Боря, единственная! — цель заставит человека приспособляться к предлагаемым обстоятельствам так, что любой присутствующий в этот момент станиславский будет кричать: «Верю, верю и еще раз верю!» Тебе, Боря, даже не потребуется никого обманывать: жертва сама будет подстраиваться под тебя.

— Это как же, например? — краснея от непонимания, спрашивал Демонстратнер.

— Элементарно, Ватсон, — усугублял Коля Петров. — Никто ведь про самого себя в конце концов ничего не знает! Думаешь, мы отдаем себе отчет в том, какие именно мысли сию секунду гуляют в нашей голове? Вот скажи мне честно, ты сейчас о чем думаешь?

— Я... я думаю о том... — терялся совсем сбитый с толку Демонстратнер. — Я ни о чем не думаю, я за твоими словами слежу!

— Что и требовалось доказать! — ликовал Коля Петров. — Это я, говорящий, провоцирую тебя на определенные мысли,

вкладываю их в твою голову — и могу прямо вот сейчас предположить, что ты думаешь приблизительно вот о чем: он, Коля Петров, полагает, что это так просто — выйти на публику и начать чужие мысли читать, между тем как не ему, а мне придется это делать... что бы Коля Петров сейчас ни изрекал! Так ты думаешь, скажи?

— Так... — Демонстратнер вздохнул.

— Ну вот! Сам видишь. То же и в зале будет: зритель, которого ты вызовешь на сцену и хоть немножко разговоришь, начнет думать туда, куда ты его направишь, — всего-то и дел. А дальше — читай его мысли, сколько влезет!

Потом они долго тренировались — осваивая в основном методику «разговаривания» друг друга. Коля Петров выходил как бы из зала, Демонстратнер же забалтывал его, тем самым заставляя думать туда, куда было надо Демонстратнеру.

— Прошу Вас, прошу Вас, молодой человек, — суетился Демонстратнер, — Вы, что же, в первый раз на таком вечере — или когда-нибудь уже присутствовали на чем-нибудь подобном? Ах, вот что... в первый раз! И думаете, значит, о том, как это Вас угораздило решиться выйти на сцену — один на один с таким чудовищем, как я, который мысли читать умеет? Ах, не отказывайтесь, дорогой мой, о чем же Вам еще думать-то в такой ответственный момент! Небось, думаете, жили Вы себе до этого не тужили, особенно не высывались, так вот же... наплевав, так сказать, на свойственную Вам обычно сдержанность, Вы выходите на сцену, не побоявшись сделаться посмешищем в глазах остальных зрителей, вскрываете публично свой мозг и разрешаете постороннему человеку в нем копать, так ведь? А между тем в мозгу Вашем иногда ведь и не совсем невинные мысли бродят, прав

я или неправ? Пра-а-ав... видите! Например, не далее как вчера — Вы кем работаете-то? Ах, учителем физкультуры! — посещала Вас такая вот мысль: дети, школьники, ведь совсем от рук отбились, надо или что-то делать с ними, или уходить из школы, так ведь? А если уходить из школы, продолжали думать Вы, то куда же... в спорт, дескать, поздно, немолоды Вы уже... да и — я все могу озвучивать? Спасибо! — никогда Вы так уж особенно никакими способностями и не блистали, потому и на спортфак отправились, что на большее казались себе не способным, а ведь были, были способны на большее! Просто упрямы с самого детства не хватало, лень-матушка... да и женились рановато — Вы ведь рановато женились-то, признавайтесь? — ранова-а-ато, иначе бы сколько всякого разного успели! В сущности, и не успели ничего из-за того, что женились... но — дело не мое, да Вы и сами это знаете. И спорт давно не любите, раздражает он Вас, так ведь? Та-а-ак... и вот прямо сейчас, на этой сцене, стоите Вы и проклинаете себя, что не стали врачом, так ведь?

— Минуточку, — протестовал Коля Петров, — это резко, почему — «врачом»? Рискованный логический шаг, ты же не закрылся еще! Нащупай сначала его интерес, а потом уж провозглашай...

— Так кем же еще-то, если не врачом, когда человек в физкультуру пошел? — упрявился Демонстратнер. — Перед такими выбор не велик... на спортфак или потому идут, что ничего больше не могут, кроме бегать-прыгать, или потому, что интерес к телу... а при таком интересе что остается, кроме медицины? Не в скульпторы же подаваться... от скульптора до спортфака, извини меня, сто лет пешком! Ты-то сам куда бы, на моем месте, двинулся? Что спорт он ненавидит — это как пить дать, установлено, а дальше?

— Там у тебя продуктивная тема с женой была — с женой, которая все испортила, жены всегда все портят, отсюда бы я шагал в семейную жизнь, которая не удалась, в конфликт с детьми, который при неудавшейся семейной жизни неизбежен, — и на этом паническом для него фоне, когда он совсем застесняется, быстренький вопрос такой: Вы ведь, дескать, спортом-то никогда особенно и не интересовались, а чем интересовались? — и тут уж ты на верной стезе, ничего и придумывать не требуется. Больше тебе никаких вопросов и в дальнейшем задавать не придется! Но — доложу я тебе, не боясь захвалить: ты хорош... очень хорош! Прямо демон, а не Демонстратнер. Даже внешне меняешься... действительно демонические какие-то черты появляются! И в душу влезаешь грамотно — к нам бы в НИИ тебя.

А чем у них там в НИИ занимались — никогда не обсуждалось.

Вот так они и разговаривали, все во всем понимая и ничего не понимая ни в чем. Но — лепилась уже программа... маленькая, простенькая, неприличная, а впрочем — как у всех, как у всех. Как у всех демонстраторов психологических опытов, вечно балансирующих на краю не то чтобы пропасти — просто лужицы какой-нибудь: оступишься туда — и всех грязью забрызгает. Ах, мало, мало умеет человек: всего-то и умеет, что вытащить на свет Божий сомнительную какую-нибудь штучку с ручкой да предъявить ее на всеобщее обозрение: дескать, посмотрите вот, как стыдно... как стыдно и как привлекательно!

На афише, конечно, было написано: «Борис Ратнер, демонстратор психологических опытов». И к этому добавлено: «Я расскажу Вам о Вас», — прямо так персонально и добавлено. Чтобы никто не сомневался: разговор с глазу на глаз

пойдет. А дальше перечислялись на афише те альтернативные услуги, которые Демонстратнер собирался оказать публике. Перечень их состоял из чтения мыслей, возвращения предметов, предварительно отобранных у зрителей, составления психологических карт личности и проч. После «проч.» стояло глубокомысленное многоточие, приоткрывавшее перспективу якобы безграничных возможностей Бориса Ратнера. Но самому ему особенно нравилось то, что находилось перед этим «проч.», — психологические, то есть, карты личности. Коля Петров тоже был от них без ума, однако в этом не признавался, поскольку данный пункт программы придумал не он, а сам Демонстратнер. Придумал, кстати, от отчаяния — в какой-то момент убоившись бросаться вниз головой в омут гаданий.

— Ты ведь эти психологические карты личности не сам изобрел? — умоляющим голосом взывал к нему Коля Петров, выдавая мольбою свою безграничное недоверие к интеллектуальным способностям Демонстратнера.

— Сам, — хамил Демонстратнер, и действительно, между прочим, не помня, у кого именно он стащил заливчатски бездарное это выражение, за которым не стояло ничего, кроме описания внешних признаков собеседника в терминах бытовой психологии. Слово «психологические» в данном словосочетании — так же, кстати, как и во всех остальных известных человечеству словосочетаниях, в состав которых оно входит, — было полностью лишено признаков смысла, а слово «карты» вызывало представления о чем угодно, кроме указателей точного местоположения объектов в пространстве, и, наоборот, запутывало просто все следы. В сознании самого Демонстратнера слово «карты» отсылало, скорее, к игральным картам, чем к каким-либо другим, — и некото-

рый легкий оттенок шулерства во всем этом ему даже нравился.

Разработка такой, извините за выражение, психологической карты личности имела в составе программы функцию аперитива и очень напоминала услугу, оказываемую публике, но в действительности оказывала услугу Демонстратнеру. Ибо тот — развертывая перед собеседником его психологическую карту, — на самом деле должен был осторожно вытянуть из собеседника сведения, которыми как опорными впоследствии возможно будет воспользоваться при «чтении мыслей». Расчет состоял в следующем: лучше всего, по мнению Демонстратнера, было читать мысли не кого попало, а того, с кем только что пришлось работать. *Информанту*, так Демонстратнер стал называть приглашаемых из зала зрителей, полагалось после составления его «психологической карты личности» оставаться на сцене: здесь риск пробуждения в его сознании посторонних мыслей — то есть мыслей, не имеющих отношения к представлению, — был минимальным. А это значило, что Демонстратнер всегда мог рассчитывать на то, что информант думает исключительно о происходящем и своей роли в нем.

— Гениально, — вынужден был согласиться Коля Петров, разведя руками. — Чем дольше твой информант на сцене, тем больше он «твой»... м-м-м, поскольку тем активнее он готов сотрудничать с тобой — лишь бы наконец покинуть сцену, перестать быть в центре внимания! Гениально, Боря.

— Да и вообще, — Демонстратнер принял «гениально» как должное... во всяком случае, как привычное, — работать на протяжении всего представления имеет смысл с одной и той же группой, которая рано или поздно соберется на сцене. Зачем вытаскивать из зала случайных людей, когда уже

разогретые и готовые к употреблению — вот они, перед тобой?

А кончались такие разговоры всегда одним и тем же.

— Я все-таки не смогу обойтись без подсадок... хотя бы на первых порах не смогу, — сокрушался Демонстратнер.

— Ну и глупо, глупо, глупо! — горячился Коля Петров. — Не надо ни от кого зависеть, не надо привыкать ни к чьей помощи. Раза три-четыре будет, скорее всего, немножко горячо... но зато потом — ты свободен! Ну хорошо, пару раз я сам готов выйти на сцену постоять — для... для разгона, так сказать. Но ты увидишь, ты поймешь, что мое присутствие только мешает.

— Ты так говоришь, как будто сам уже проводил психологические опыты на сцене, — злился Демонстратнер.

— Я просто стараюсь рассуждать здраво, — пожимал плечами Коля Петров. — Дурача кого-нибудь, лучше всего сохранять здравый смысл. Легче дурачить.

12. ТОРТА В ПРИХОЖЕЙ ПОЧЕМУ-ТО НЕ ОКАЗАЛОСЬ

Все такие прохвосты... И Геннадий прохвост — как все. Вчера он опять сказал, будто уехал на соревнования. Да, я позвонила в клуб! И мне — смеясь — сообщили, что это правда: он действительно уехал на соревнования. Непонятно только, почему при этом смеялись... Геннадию скоро тридцать, мне — тридцать пять. Тридцать пять — это не так много, конечно, но все-таки больше чем тридцать. На пять лет больше. Хотя снова непонятно, почему надо смеяться, подтверждая, что Геннадий на соревнованиях.

Нет, пора все это прекращать. Он не расписывается со мной. Правда, мы разговора на эту тему не заводили, но он не расписывается со мной. Мог бы, в общем-то, понять, что не я, а он должен был завести разговор... такие вещи надо понимать. А у девицы голос очень противный. И интонации противные: «Но он действительно на соревнова-а-аниях!» Зачем надо говорить «действительно»? Я же не проверяла — я просто хотела узнать, какие соревнования и где. Я имею право это знать, жена я или кто? Ну, не жена... все равно право имею. И смеяться тут нечему. Впрочем, мне это безразлично.

А соревнования теперь часто проводятся: он за последний месяц раза три только дома ночевал. И раздражается постоянно. И ничего не рассказывает. От посторонних людей приходится узнавать, что он собирается в тренеры переходить. Хотя, если кого-то об этом и ставить в известность, то в первую очередь меня!

Все, Геночка. Все, мой дорогой. Довольно.

Между прочим, Владимир Афанасьевич звонит все время. Но там жена, дочка. Хотя... и что с того, что жена? Да и дочка

взрослая почти. А Владимир Афанасьевич, взятый отдельно от жены и дочки, — милый. Милый и мужественный, хоть и не гребец. И романтичный — иначе бы не влюбился в цирковую. Говорит, я для него — как девочка на шаре... при том, что он для меня — вылитый атлет с той же картины! И загадочный он, Владимир Афанасьевич: весь такой... окутанный тайной.

Нет, стоп. Дура я. Не годится четыре раза замуж выходить. Стыдно четыре раза. Недаром же Загайнов спросил на днях: «Ты как *сейчас* — замужем?» Гадкий такой вопрос. Гаже не придумаешь. И тридцать пять лет мне... Лев уже большой. Давно все понимает. Надо наконец взять его к себе, будем жить вдвоем — куда лучше? Он уже взросло совсем выглядит. Как к нему обращаться-то не поймешь...

Лев-подойди-сюда!

Поддай-мне-вон-ту-чашку-Лев.

Спасибо-Лев-ты-очень-любезен.

Странно... я прямо как старуха говорю! Это в тридцать пять лет, а? Когда можно еще вообще всю жизнь с начала начать. Познакомиться с хорошим человеком... хотя хорошего, конечно, негде взять. Значит, надо все-таки взять сына. И вырастить его... гм, дорастить — тем более что это быстро. И в старости будем с ним гулять по набережной — как брат с сестрой. Господи, что ж я несу-то? Совсем баба сбрендилла. Но сбрендилла или нет, а Геннадий пусть убирается и... и соревется с кем хочет. Льва же я заберу.

— Алло, папа? Пап, я зайду сегодня вечером, можно? Поговорить бы надо. Ну, в общем, по делу. Да нет, не будем по телефону. До встречи.

Лев-Лев-Лев... Ллев! Ух!

Это эффектно — иметь рядом с собой льва. Елена-Фертова-артистка-цирка-живу-со-львом... Что значит — «в квартире»?

А где ж еще-то, не в клетке же! Только... только — вдруг он не захочет? Сколько он у деда уже... не может быть, чтобы девять, мы с Геннадием когда познакомились? Нет, правда девять... кошмар. А звонил он когда последний раз? Не помню. Я плохая мать. И дочь плохая: ведь так до сих пор и не сходила на... как же это называлось, не «Полчаса чудес», а — как? Ну не сходила, и что ж теперь? Не надо было без меня аттракцион делать: для всех само собой разумелось, что я тоже в манеже буду! Нет-нет-Леночка-в-манеже-не-будет-ничего!.. — «Ничего!» Из-за одного этого «ничего» уже стоило не ходить: как будто я вообще неодушевленная — эдакое «что»... тумба какая-нибудь или подушка. Пусть спасибо скажет, что накануне позвонила поздравила... ох, жизнь, жизнь!

Сейчас можно заехать цветов купить и — тортик какой, очень будет мило. Любящая дочь освобождает отца от забот о внуке. Только б они не заупрямились оба... но меня-то тоже можно понять: не одной же мне оставаться, в самом деле! Когда Геннадий наконец уберется, я имею в виду. А можно им, кстати, отцу со Львом, сколько-нибудь времени дать... на сборы... месяц. Нет, двух недель хватит: чего там собирать-то особенно?

Уже через полчаса Леночка снимала шубку в прихожей Антона Петровича. Тот встречал ее один: Льва дома не было. Чмокнула в нос, улынулась цирковой улыбкой — Антон Петрович только руками развел:

— Экая ты непринужденная у меня...

— А где Лев?

— На свидании.

Леночка сделала большие глаза, но тут же и услышала:

— Непропорционально получилось. Раньше лучше было.

— Ну па-а-ап!.. А что за девочка, из хорошей семьи?

— Из восьмого «А».

— Я про семью спрашиваю!

Между тем в гостиную уже влетел Лев — весь-как-божия-гроза.

— Дед Антонио!.. Ой, Леночка, привет.

Она давно уже не возражала против «Леночки»... да и чего ж возражать-то? Даже весело: как будто они однокашники. Некоторые, правда, осуждают: что это, дескать, за отношения такие... ненормальные? Почему ненормальные, если она почти как его сестра выглядит: он, вон, большущий... ни за что не скажешь, что несовершеннолетний!

— Лев, это мама, стало быть, — сказал Антон Петрович, сам не поняв зачем.

— Ты думаешь, он мог это забыть? — расхохоталась Леночка, словно в манеже, и даже умудрилась потрепать Льва по волосам, пока тот шнурки на ботинках развязывал. Правда, он очень быстро управился — молниеносно. — Ты думаешь, Лев мог забыть маму?

— Мог, — ответил Лев.

Ясным голосом, без улыбки.

— Мог? — растерялась Леночка.

— Мог-ли-не-мог-ли-а-штаны-намокли, — Антон Петрович будто заранее подготовил этот куплет, на случай чего.

Лев прыснул.

«Совсем ребенок еще», — подумала Леночка.

— Там торт в прихожей, — сказала она ему.

Лев стоял где стоял и смотрел на нее. Причем как-то бесстыже смотрел: так на людей не смотрят. Так на животных смотрят: на собак, кошек... на зверей в зоопарке. С интересом естествоиспытателя.

«Или совсем уже не ребенок».

— Там торт, говорю, в прихожей...

— ...топчется, — неожиданно закончил Лев и вздохнул.

— Я чай пойду ставить, — сказал Антон Петрович.

— Лучше я, — и Лев, не дожидаясь согласия, исчез в кухне.

— Какой-то он странный сегодня, нет? И глаза красные... — Леночка встряхнула кудряшками.

— Ночь, небось, не спал, — пожал плечами дед Антонио. — Посидим на диванчике?

— Ты меня извини, пап... — полуприсаживаясь на валик дивана, чревоущательным каким-то голосом начала Леночка (казалось, сама удивляясь произносимому ею). — Я так ведь на твой аттракцион и не собралась: то одно, то другое. С Геннадием, видишь ли... да и вообще. Ты извини, ладно?

— Так... за что ж?

— Что я так аттракциона твоего и не видела...

— Да ведь один только раз я его и работал... в юбилейном, так сказать, представлении... От остальных отказался. Вернее, мне... но нет, сначала я сам отказался.

— И что же...

— Да все в порядке, Леночка, какая разница! Вот... афиша тогда с Цветного куда-то делась... а в ней весу тонна. Представляешь, исчезла — на следующий же день! Говорили, что Маневич украл...

Леночка кивнула, без интереса. И встала с дивана, и пошла вышагивать по узенькой зеленой полоске посередине ковра — как в детстве, стараясь не наступать на коричневые квадраты.

— Я вот зачем пришла... Ты как живешь?

— Хорошо живу. А что?

— Нет, ничего, — Леночка вздохнула и решительно встала в центр крайнего слева квадрата, — просто я пришла узнать... как ты живешь.

— Я хорошо живу! — чуть ли не с досадой повторил Антон Петрович. — У тебя-то что случилось?

— Нет-нет, у меня ничего. Эко я эту полоску зеленую за всю жизнь утоптала... не полоска, а тропинка стала настоящая ... даже не видно, что зеленая.

— Леночка, не томи подходами... скажи в чем дело и —...

— ...иди? Скажи-в-чем-дело-и-иди, да? — Она перешла в центр второго по счету квадрата, словно в наступление перешла.

— Ты воевать сюда? Так у меня ружье заржавело...

Антону Петровичу вдруг нестерпимо захотелось обратно в манеж, где вечер за вечером можно было бы перепиливать Леночку пилой. Перепиливать, перепиливать, перепиливать — видя вот эти ее прекрасные пустые глаза и вот эту ее идеальную улыбку, набитую замечательного качества зубами.

М-да... *ты не отеццо, ты извѣрго* — так это называлось «по-русски» у Джулии Давнини, которая, кажется, не простила ему выбора Леночки в ассистентки. Как будто у него был выбор! Леночка хотела только в цирк, но боялась цирка пуще смерти — просто всего в цирке боялась. Трапещий, канатов, трамплинов, горящих обручей, животных... дрессированных собачек — и тех боялась. А тут цирк, тут по-другому не может быть... это работа опасная. Ну па-а-ап... твоя же — безопасная! Да, моя безопасная: если не верить в то, что в цирке нет ничего понарошку. Конечно, золотую ленту из собственного пищевода ты не по-настоящему тянешь, ан ... вдруг не успеешь всю вытянуть, вдруг — задохнешься? Шанс невелик... но он *всегда* есть! Да ну, па-а-ап... это же трюк! Трюк? Трюк, Леночка...

С ее появлением в программе Антонио Феери затосковал: высокий, тайный смысл фокусничества, который тогда только начал вырисовываться, пропал для него. Леночка

настолько не верила в творимое им на арене, *настолько* всем существом своим отрицала самую возможность присутствия в мире чудесного, что перепиливание ее сначала сделалось для Антонио Феери скучной работой, а потом...

Он никому не рассказывал об этом. Да и кому такое расскажешь! Кому объяснишь, какими жуткими и острыми чувствами наполняет сердце смерть куклы? Смерть той, которая умереть — не может, для которой и смерть — игра. Сколько ему... семь лет. Или восемь, но не больше. Зимнее утро, снег скрипит, папка с завязочками качается, а в голове «пам-пам-парам-пампарам-пам-пам, пам-пампарам-пампарам-пам-пам, пам-пампарам-пампарам-пам-пам, пам-пампарам-пампарам-пам-пам, пам-пампарам-пампарам-пам-пам...» Чайковский. «Болезнь куклы»? «Смерть куклы»? «Похороны куклы»? Скорее всего, «Смерть куклы»: что-то уже после болезни, но еще до похорон... или не было там ничего между, а только — болезнь и похороны, друг за другом? Но больных не хоронят! Хоронят мертвых... Значит, было — между болезнью и похоронами, не могло не быть: «Смерть куклы» там была! Она и игралась потом памятью — все время: «пам-пампарам-пампарам-пам-пам, пам-пампарам-пампарам-пам-пам, пам-пампарам-пампарам-пам-пам, пам-пампарам-пампарам-пам-пам...» Ибо путь от болезни к похоронам только один, у всех один: смерть. Да и пальцы помнят — помнят себя п-а-л-ь-ч-и-к-а-м-и: замерзли, слушаются плохо, но — дело святое: домашнее задание... играй, дитя! А холод потустороннего — он насквозь пронизывает, от него костенеешь. Ах, Петр Ильич, Петр Ильич! Жестокие какие игры, жестокие какие мысли!

Так оно и осталось, в пальчиках, по очереди: «Болезнь куклы», «Смерть куклы», «Похороны куклы»... или все-таки померещилась «Смерть куклы»? И если померещилась то

кому — Петру Ильичу? Антону Петровичу? Старому черному пианино из маминой комнаты?

Вот и Леночка, *bambolina mia*, говорила Джулия Давнини. *Bambolina bella...* никогда так и не научившаяся ни любить его, ни верить в него. Боявшаяся дрессированных собачек, но беспечно улыбавшаяся при виде пилы — страшного инструмента, на котором каждый вечер исполняется одна и та же детская пьеска, «Смерть куклы»...

— А что я просто так пришла — действительно поинтересоваться, как ты живешь, — этого ты представить себе вообще не можешь?

— Вообще не могу, — признался Антон Петрович и добавил: — Прости.

Леночка, с трудом дотянувшись до брошенной на диван сумочки, закурила, центра второго квадрата — не покидая.

— Тебе пепел оттуда до пепельницы не добросить, — заметил Антон Петрович. — Перейди в третий квадрат. И давай оттуда про свое «дело», а то чай пить пора! И торт там в прихожей... топчется. — Он улыбнулся.

Леночка неохотно перешла в центр третьего квадрата.

— Дело такое, значит... — да что же у нее с голосом-то! — Дело такое...

— Ну же!..

— Мне что-то мешает говорить.

Нервничает. Подняла глаза, но на отца не смотрит. Лицо — в красных пятнах.

Антон Петрович приподнялся с дивана:

— Ты, присядешь, может быть? Вид твой не очень мне нравится...

— Странно... а другим нравится.

Bambolina mia, bambolina bella.

— У Геннадия что же сейчас... соревнования? — сломал в себе себя Антон Петрович: сил не было больше вытягивать из дочери это самое «дело»!

— Соревнования. У него вообще вся жизнь... гребля. А вот где он гребет — об этом меня в известность давно не ставят. Мне сообщают только: соревнования, рубашки гладь давай. Ни места, ни времени не уточняют! — Леночка на одной ноге перепрыгнула в центр следующего квадрата, пошатнулась. — Я в порядке, пап, ну чего ты?

— А разойтись с Геннадием?

— В моем возрасте не расходятся.

— В любом расходятся... Ну, ладно, не хочешь о Геннадии — о Добровольском тогда расскажи.

— Добровольский дурак.

— Это я знаю. Но вы ведь, вроде, новый аттракцион репетируете?

— Да какой новый! — махнула рукой Леночка и чуть не упала, потеряв равновесие. — Помещает нас с Норой в зеркальные кубы да головы переставляет... а нового — что манеж начал злаками какими-то немислимыми засеивать. Я тут предложила по злкам молотилку пустить... не пустил.

— Ему ведь тоже за шестьдесят уже. — Антон Петрович подал Леночке пепельницу, умаявшись наблюдать за ее балансированием с пеплом на кончике сигареты. — Неужели он не устал еще от всего этого!

— Как видишь... Говорила же тебе: давай «Полчаса чудес» возобновим.

— Стыдно.

— Раньше не стыдно было, а теперь стыдно?

— Именно. «Эволюция» такой процесс называется.

— Стыдно, стыдно... ничего не стыдно! Вся Москва про твоей последний аттракцион до сих пор говорит... Слушай, а ты тогда новый номер придумай — где мы вместе! Я бы опять на Цветной перебралась...

— Так ты за этим пришла, за номером?

— Да нет, я просто так пришла, говорю же! — Леночка расхохоталась — громко и нервно. В кухне упала на пол чашка.

— Чашку разбил, — вздохнула Леночка.

— Она уже была разбитая, это которая в крапинку зеленую.

— И на сколько осколков разбил — знаешь?

Антон Петрович усмехнулся.

— А номер, Леночка, придумать нельзя.

— Да помню я! Надо-сперва-ощутить-в-нем-потребность-надо-выносить-его — и так далее... — Антон-Петрович-Ферт-ов-цирковой-псевдоним-Антонио-Феери. Кстати, у вас там на Цветном, говорят, еще один такой появился — клоун новый, Петя Миронов. Молодой и лохматый. Тоже как будто репризы свои в соответствии с потребностями души строит. Рассказывают, что получается не смешно.

— Понятное дело, — развел руками Антон Петрович. — Не смешно и должно получаться — грустно должно, когда «в соответствии с потребностями души»!

— Клоуны существуют, чтобы смешить. Уж столько-то я в цирке понимаю, хоть ты меня всю жизнь около себя и продержал! Так и осталась с чем была... с улыбкой.

— Сама выбрала со мной выступать, — попался на удочку Антон Петрович. — Тебе предлагали...

— Что, что мне предлагали? Мне предлагали шею себе на трапедии свернуть! А я не хотела. — Она уронила пепельницу на ковер — строго в центр следующего квадрата. — Лев! Ле-ев! Иди убери тут...

— Цирк есть цирк... извините за выражение, — сказал Антон Петрович и нагнулся за пепельницей.

— Но не каждый в цирке шею сворачивает! — Леночка оглянулась на все еще закрытую дверь в кухню.

— Правильно, не каждый. Некоторые просто улыбаются.

— Ты, значит, вот как со мной... — Леночка ушла с ковра. — А я тогда тебе скажу... — Тут она остановилась — поинтересоваться: — И часто он не приходит, когда его зовут?

— Когда *так* зовут — никогда не приходит. Но *так* его тут не зовут.

— Ничего! — рассмеялась Леночка. — Скоро...

И — повалилась вдруг на Антона Петровича.

— Леночка! Боже мой... Леночка!

Леночка выглядела мертвой.

— Лев... да что ж это такое-то... Лев, воды неси!

Лев уже стоял рядом — как всегда тут и был. Со стаканом воды.

— Брызгай...

Тот брызгать не стал — вылил воду прямо на Леночку. Будто в цветочный горшок вылил. Леночка вздрогнула и очнулась.

Антон Петрович помог дочери перейти на диван.

— У меня все мокрое, — сказала она, — и лицо, и одежда...

— ...и душа, и мысли, — серьезно и грустно продолжил Лев.

На сказанное внимания не обратили.

Леночка аккуратно размазывала по безразличной физиономии — словно добиваясь получения однородной массы — тушь, пудру, губную помаду... Печальный клоун. Петя Миронов. Смотреть — душу выворачивало.

— Леночка, ты... прости меня! — засуетился Антон Петрович. — Ты скажи, что сказать хотела, скажи... — я виноват перед тобой? Прости, прости...

Он перевел взгляд на Льва: Льва как будто трясло. Лев в упор смотрел на Леночку. Не отрываясь. У Леночки начался озноб.

— Озноб. — Лев произнес это совсем тихо. — Сильный озноб.

— Уйди! — крикнула вдруг Леночка и закрыла лицо руками. — Уйди, Лев, глаза у тебя... красные!

Лев подчинился. Без единого слова.

— Мне лучше, пап... Я не знаю, что это было. Голова закружилась... я упала. Упала?

— Упала — на полуслове просто... — Плед, который Антон Петрович все пытался подоткнуть со всех сторон, соскользнул на пол.

— Я не помню ничего. Совсем ничего не помню, — сказала Леночка и закрыла глаза. — Я полежу тут... одна, можно? Пледом накрой меня только опять — и в кухню сходи.

Лев сидел за кухонным столом и разглядывал клеенку.

— Ужас, — сказал дед Антонио.

— Ужас, — согласился Лев. — Я не думал, что так будет.

— А ты думал, как будет? — оторопел дед Антонио.

— Я думал, мягче.

— Так... Лев. Ты тоже какой-то странный сейчас — что с вами обоими такое!

Ответа он не ожидал. Но ответ последовал:

— С нами борьба. То есть, у нас борьба.

В прихожей зазвонил телефон: раз, другой, третий... Лев не шевелился. Дед Антонио покачал головой и бросился на звонок.

— Антон Петрович, извините... — Голос Веры был совсем смущенным. — У вас там все в порядке? Лев к «Соколу» подойти обещал просто... час назад. Я из дома уже звоню.

— Лев! — громким шепотом позвал дед Антонио. — Тут Вера...

— Я перезвоню, — слышалось из кухни.

— Говорит, перезвонит...

Нет, у Льва, оказывается, не было никаких хороших объяснений для деда Антонио. Просто вернулся с дороги, почти от самого уже «Сокола». Почувствовал, что надо вернуться, — и вернулся. Вдруг показалось, что дед Антонио в опасности. И что лучше всего сейчас быть рядом с ним. Собственно, все. Нет, какая конкретно опасность, он не чувствовал: просто — *внешняя* опасность. Извне, то есть, пришедшая... может быть, неприятный гость. Конечно, Леночка *не* неприятный гость, дело понятное! Но, застав ее тут, Лев все равно решил не уходить. Почему? М-м-м... чувство опасности не исчезло. Наоборот — обострилось. Слово враг в доме.

— Мама не враг! — возмутился дед Антонио.

— Не враг?

«Ужас, — сказал себе дед Антонио. — Ужас и *mea culpa*».

И вернулся к Леночке. Лев за ним не пошел.

Леночка лежала с открытыми глазами.

— Уйти мне? — спросил Антон Петрович.

Леночка помотала головой.

— Льва позвать?

— Нет-нет! — с поспешностью.

Антон Петрович смочил носовой платок водой из графина:

— У тебя все лицо в гриме.

— В косметике, — улыбнулась Леночка.

— В косметике... Прости меня, ладно? Не думал я, что у тебя такие нервы-то.

— Да у меня нормальные нервы! — вынув из сумочки зеркала и ужаснувшись своему виду, отозвалась она почти беспечно. — Я сама не знаю, как оно так получилось... Это первый раз в жизни. Голова закружилась, говорю. Я в ванную пойду.

— Так и не скажешь, о чем поговорить собиралась?

Не-жертвы-прошу-но-милости...

В ответ — улыбка.

— Обычный криз, — сказал Лев, войдя к деду после того, как в ванной зажурчало. — Ты чего так уж... а?

— Тебе *совсем* ее не жалко? — неосторожно спросил дед Антонио.

— Совсем, — неосторожно ответил Лев, — И тебе было бы не жалко, если бы ты знал, зачем она пришла.

— Чтобы... чтобы узнать, как мы тут... и вообще.

Лев смотрел в пол.

— Или... зачем?

— Меня у тебя забрать.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю.

— Смешная... И ты смешной. Тебя у меня — не забрать. Пока я жив. — Он пожевал губами. — И после тоже. Но мне все равно жалко ее, всегда. И тебе пусть будет — жалко. Пусть? Девочка росла в цирке, образования никакого не получила. И, когда подросла, решила мне ассистировать! А теперь вот...

— ...похороны куклы, — сказал Лев.

Дед Антонио вздрогнул. «Похороны куклы» были его тайна. От всех тайна.

— Лев? Откуда это... ты что сейчас сказал?

— Я ничего не говорил... у меня так само. А что?

Чаю в тот вечер не пили. Через полчаса Леночка уехала домой на такси.

Торта в прихожей почему-то не оказалось.

КАК ВЫЛИВАТЬ ВОДУ ИЗ ПУСТОГО КУВШИНА

Покажите публике разноцветный кувшин с высоким горлом и дайте ей возможность удостовериться в том, что кувшин пуст. Медленно наполните кувшин водой, после чего выплесните немного воды на ковер. Теперь поднимите кувшин за горлышко и переверните его — из кувшина не выльется ни капли, словно воды там совсем нет. Снова поставьте кувшин на стол и произнесите волшебное заклинание. Выждав некоторое время, опять переверните кувшин — теперь заговоренная вами вода легко выливается из него. Повторите операцию несколько раз: пусть вода, послушная вашему приказу, вновь и вновь исчезает и появляется.

Комментарий

Для этого трюка вам нужно изготовить металлический кувшин с двойной стенкой на одной стороне — таким образом, чтобы вода внутри кувшина могла переливаться в потайное отделение. Когда вы приводите кувшин в определенную позицию, вода попадает в ловушку между внутренней, потайной, и наружной стенками. Хорошенько потренируйтесь в наполнении кувшина, чтобы определить, сколько воды в него вмещается, а наполняя кувшин, будьте очень внимательны: нельзя наливать больше, чем способно вместить пространство между двойными стенками.

Поднимая кувшин за горлышко одной рукой, вы помогаете себе второй и обеими руками наклоняете кувшин в ту сторону, на которой

имеется двойная стенка. Вода начнет заполнять потайную камеру и, пока вы будете переворачивать кувшин, перельется туда вся.

Покажите публике «пустой» кувшин и снова приведите его в исходное положение, дав воде возможность вылиться в основное отделение кувшина. Если вы теперь наклоните кувшин в сторону, противоположную той, где имеется двойная стенка, вода свободно польется из кувшина. До тех пор, пока в потайной камере кувшина остается вода, она будет исчезать и появляться по вашему «приказу».

13. ЧТО-ТО ОКОЛО ТОГО

Настоящий костюм, первый в жизни... Из-за костюма Льву не хотелось снимать куртку — любимую дурацкую куртку, добросовестно скрывавшую под собой это взрослое безобразие. Но куртку снять, конечно, придется. Снять — и предстать во всем своем смешном великолепии.

— Ой, Лев, забавный ты какой! — тихонько сказала Вера и одним пальчиком, причем совершенно безымянным, прикоснулась к светлой полоске на темном фоне.

Костюм шили в ателье, ткань выбирал дед Антонио — причем выбирал по принципу чего-бы-мне-самому-хотелось-шестьдесят-лет-назад. Лев не возражал: он был настолько против костюма как жанра, что... из чего сошьют, из того и сошьют — какая разница!

Сшили, стало быть, вот из этого вот...

Перебраться в костюм из джинсов — хоть и на один вечер — было для Льва все равно что перебраться из какой-нибудь Ялты на Северный полюс...

Он опасливо посмотрел на себя в одно из беспощадных зеркал театрального фойе: вот, дорогие мои, андерманир штук, фиговый вид — Лев при галстукѣ стоит. И скривился: на-кого-только-похож-господи! Видимо, он это вслух сказал, потому что Вера тут же ответила:

— На члена партии с семи лет.

— Тогда бы я в темно-сером был!

— Ну... на малоактивного члена партии с семи лет!

Юмор у Веры просто держись... у нее все просто держись. Сам дед Антонио от нее без ума. Правда, до сих пор «толстушкой» называет — говорит, по привычке. А в Вере килограммов сорок всего от силы. «Но столько же и в первом

классе было! — смеется Антон Петрович, а потом добавляет: — Причем одних мозгов килограммов на тридцать».

Насчет мозгов он определенно прав.

Сейчас, глядя на Веру-в-зеркале (серое платье нарочно грубой вязки, очки в тонюсенькой черной оправе), Лев был даже уверен, что она всего Бомарше в оригинале читала. Да и понятно, на французское отделение человек собирается. А он сам и «Безумный день» не осилил: дальше первой — первой! — строчки не продвинулся. Почему не продвинулся — дед Антонио вошел и стал про Маневича рассказывать, что тот умер. Рассказывал и плакал...

Станный дед.

Между тем «Безумный день» должен был вот-вот начаться, и Вера — спеша и сбиваясь — полупшепотом досказывала Льву содержание первого акта. Лев делал вид, что слушает, но Веру не обманешь...

— Тебе неинтересно, — сказала Вера.

Неинтересно. Знала бы она, сколько всякого ему неинтересно и каких усилий стоит скрывать это от нее... Взять вот хоть и «Безумный день», на который народ с самого начала гастролей валом валит — это несмотря на то, что в Москве свой «Безумный день» показывают. «В каждом городе свой безумный день», — сказал дед Антонио. Но даже на этот, гастрольный, спектакль билеты только по благу покупаются... у Ленки Завьяловой родителей блат, причем всем блатам блат: целый класс на «Безумный день», хоть и не московский, провести — серьезная штука.

Лев смотрел вокруг и пытался понять, откуда в Москве, в восьмидесятых, эта неумеренно горячая страсть к Бомарше? Что такое случилось, если парикмахер из итальянской провинции прошлого века вдруг сделался выразителем взглядов

сразу всех современников? Льву было обидно за современников, именно чувство современности и унижавших в нем.

Пару дней назад он пытался объяснить по этому поводу на уроке литературы, но услышан не был — впрочем, как обычно. Тогда Игорь Ильич ни с того ни с сего битый час разглагольствовал о том, насколько Пушкин удивительно-современен. Но доказательств тому сам не предъявлял — требовал доказательств от учащихся: словно это они — а не он! — считали Пушкина удивительно-современным. Ну и ясное дело: все напрягались как могли, выискивая в произведениях несчастного классика всё новые и новые идеи, близкие-любому-из-нас. Когда очередь дошла до Льва, тот вдруг ни с того ни с сего сказал: «Может быть, уже достаточно доказательств? Как бы не получилось, что Пушкин современнее Вас, Игорь Ильич!»

И не то чтобы Льву так уж хотелось лезть на рожон — лезть на рожон ему никогда не хотелось. В сущности, он и сам не понимал, почему время от времени произносит те или иные слова. Не понимал даже, он ли их произносит... — слово вылетало само, вроде того не-воробья из пословицы, и ничего уже было не сделать. Он эту напасть с детства знал — было время, маленький совсем, даже спрашивал у всех вокруг: кто во мне сидит и говорит? Но постепенно убедили-таки его в том, что никто в нем не сидит и не говорит. И Лев перестал об этом спрашивать. Даже думать перестал, только кто-то все равно в нем сидел и время от времени говорил.

Вот и тут... сказал.

— Ты, Лев, другого мнения о Пушкине? — живо-преживо откликнулся Игорь Ильич.

Ну и интонация! Ему бы, Игорю Ильичу, самое место на Лубянке — на достойном каком-нибудь этаже.

— Да я вообще не о Пушкине, а о том, что... если современные идеи требуются, так чего их в прошлом веке-то искать? Вот у Вас, например, я уверен, современных идей гораздо больше, чем у Пушкина.

Видимо, как раз в таких случаях говорят: черт за язык тянет. Лев ощущает это почти физически: подходит черт, хватается лапкой за кончик языка и начинает тянуть... и тянет. Тянет-потянет-вытянуть-не-может. Кошмар.

На то чтобы сравнить себя с Пушкиным, у Игоря Ильича уходит некоторое время. Однако профессиональный долг все-таки заставляет его в конце концов отдать пальму первенства мертвому солнцу русской поэзии, и Игорь Ильич голосом приносящего жертву объявляет:

— Я же не Пушкин!

И в классе сразу становится очень весело. Первый раунд — за Львом.

Понятное дело, сидящие впереди уже развернулись в сторону Льва и смотрят с интересом: далеко ли он собирается зайти? Только в глазах Веры — сыро: она словно знает, что это все не Лев говорит — это все тот-кто-в-нем-сидит-и-говорит говорит!

Не бойся, Вера, я как-нибудь выкручусь.

— Не Пушкин. — Лев не педалирует. — Но Вы живете в современности. И все мы в ней живем. А это значит, что... зачем нам за современностью куда-то ходить? Можно ведь просто какую хотите теперешнюю книгу взять...

Класс больше не хихикает.

Лев знает, что класс всегда выбирает меньшее из двух зол. И что меньшее из двух зол — это не он, Лев. Лев в классе — большее, главное зло. Чтобы восторжествовать над ним, класс готов даже на некоторое время объединиться с нелюбимым тут Игорем Ильичом: это он, Игорь Ильич, сейчас — меньшее

из двух зол. Значит, на помощь Игорю Ильичу! Который, кстати, знает: класс не подведет, класс — сила.

А подать-ка сюда этого Льва!

— И кто же из поэтов, по-вашему, современнее Пушкина? — чувствуя под рукою плечо класса, игриво спрашивает Игорь Ильич.

— Да кто угодно! — принимает вызов Лев. — Любой Асадов, Тряпкин любой.

И опять весело в классе, только теперь Игорь Ильич веселится вместе с другими. Все изменилось, значит. И пяти минут не прошло, а соотношение сил уже прямо противоположное.

— Неизвестно еще, захотел бы Пушкин вообще нашим современником быть!

Это Лев сдался уже... раунд проигран. Да и вся битва проиграна. Во взгляде Игоря Ильича терпеливое сострадание — определено по Игорю Ильичу Лубянка плачет! Или не плачет? Может, он как раз и есть оттуда — судя по репертуару реакций!

— А что уж такого плохого в нашей с тобой современности, Лев?

Ну, вот... к этому, конечно, все и шло: у Игоря Ильича к этому всегда все идет.

Не отвечай, Лев!

— Не отвечай, Лев.

Разве не сам он говорит себе это? Выходит, что нет, — раз все теперь уже смотрят на Веру. Между тем как Вера смотрит прямо перед собой — словно вовсе и не ко Льву обращается.

— Что такое... не расслышал? — с удовольствием переспрашивает Игорь Ильич.

Вера поднимает глаза. Она останавливает взгляд на Игоре Ильиче: долгий-долгий, кроткий-кроткий взгляд — и повторяет сказанное: как будто ее переспросили о том, который час.

— Не отвечай, Лев, — говорит она, глядя в самую душу Игорю Ильичу.

И Игорь Ильич вдруг отступает на один шаг... на два шага: к доске, значит, отступает, где ему и место.

Никто не смеется в классе.

Медленно идут восьмидесятые.

И кружится над партами черный ворон: кого заденет крылом — тот и его.

Лев молчит.

Потом, на перемене или после школы, Вере, конечно, придется несладко: Жорка Ганелия не преминет пропеть ей вслед: «Сэ-э-эрдцэ, тэбэ нэ хочется покоя!» Но сейчас — пролетел черный ворон, пролетел...

Черный ворон, я не твой...

— Тебе неинтересно, Лев.

Причем тут это? Ах, да... «Безумный день», гвоздь сезона, поход в театр всем классом. Нет-нет, почему же, Вера? Очень даже интересно... альтернативная-постановка-обязательно-надо-видеть, как же может быть неинтересно?

Лев улыбается Вере — виновато. И, чтобы получилось еще убедительнее, — открывает программку.

Фигаро, Альмавива, Розина...

Он не успел прочитать «Безумный день», но знает эти имена: Фигаро, Альмавива, Розина.

А источник информации... источник информации неизвестен. У этой информации нет источника. Как и у доброй половины всего того, что знает Лев. Фокус-покус!

Фигаро, Альмавива, Розина...

В классе Льва не любят... внуком Антонио Феери трудно быть. Сначала, маленькие еще, все требовали деда разоблачать... А как он шарики глотает — взаправду глотает и потом

выплевывает? Или просто вид делает? А голуби у него живые — или чучела? Почему тогда такие тихие, если живые? Лев на вопросы редко отвечал... на половину он и сам-то не знал ответов. Пробовал, конечно, выведать у деда Антонио, да от него разве чего добьешься? Глаза страшные сделает да скажет: «Передай им, что шарики я взаправду глотаю, и потом, дома, они целыми днями в унитазах плавают, никак утонуть не могут!»

В общем, помалкивать Лев в классе старался — вроде, отстали на некоторое время. Зато потом, постарше уже, от самого Льва принялись фокусов требовать: разве тебя дед не учит? Быть такого не может! Хоть карточные-то фокусы знаешь? Их ведь любой дурак знает! Вот... хочешь, карту сквозь простыню научим протягивать? Обратную сторону ладони слюнями намочи да ладонь этой стороной на колоду — бух! Карта прилипнет, потом тащи ее под простыню, ладонь только не переворачивай: карта на той стороне простыни и окажется! Как — не знал? Ну, ты даешь, Лев!

Неужели дед Антонио тоже — *слюнями*?

Потом-то Лев, конечно, от деда Антонио кое-чего перенял да тайком рабочих тетрадок дедовых почитал, только одноклассникам этого мало: им давай, значит, чудес — да почаще!

Короче, и тут в конце концов неустойка вышла... нету у Льва дедова таланта фокусника и рук дедовых нет. Не ручной он левенок. А в классе, понятное дело, к этому как отнеслись...

— Ну и не надо... подуумаешь!

Так прямо и отнеслись: дескать, конечно, все-то он, этот Лев, знает и умеет, но, если не хочет, — пусть не рассказывает и не показывает. Обойдемся!

Сейчас, когда Лев в девятом, друг тут у него один-единственный — Вера. Правда, такой друг, что, может, всей

школы стоит, только ведь и ей из-за него достается. *Ишь-какая-цаца-на-колесиках...* теперь уже забыто, кто именно это сказал, но «цаца-на-колесиках» так и продолжает катиться за Верой по гулкому школьному коридору. Хотя Веру-то за что не любить? Вокруг нее знаменитостей сроду никаких не водилось!.. А ты сам, Лев?

Фигаро, Альмавива, Розина...

Правы в классе: все-то он знает. Сначала кружится голова, кружится все сильнее и сильнее, точки перед глазами, а потом — ррраз! — и он... знает. Не все, конечно, это глупости, что все. Но иногда кажется, что гораздо больше, чем ему требуется.

Фигаро, Альмавива, Розина... голова начинает кружиться.

Сейчас откроется занавес — и Фигаро... Фигаро, Альмавива, Розина... Фигаро произнесет *девятнадцать на двадцать шесть*. Зачем он это произнесет — и что это значит? Ничего не значит. Ни-че-го — как и все остальное. «Девятнадцать на двадцать шесть», — было написано в книге, и дальше *девятнадцать на двадцать шесть* Лев не продвинулся: сразу умер Маневич.

Когда Льву было — сколько? — не то десять, не то одиннадцать-двенадцать, он иногда играл в одну игру... тайную. Возле метро играл: вставал у барьера и ждал, когда в толпе возникнет лицо, которое покажется знакомым. Тут важно было не вглядываться в лица, а просто равнодушно смотреть вниз — туда, откуда они всплывали: одно за другим. Вглядываться надо было потом, когда лицо знакомым уже *показалось*: как будто бы Лев знал этого человека.

Он вглядывался, вглядывался, и кружилась голова, и перед глазами мелькали точки, и становилось ясно: с человеком этим он *действительно* знаком — и даже видит какие-то, смутные правда, картины из его жизни.

— Здравсьте, Дмитрий Сергеевич!

— Здравствуй, здравствуй... — ответивший явно не имеет никакого представления о том, с кем только что поздоровался, но так и здороваются с детьми: не задумываясь.

— Всё по-старому? Настасья Федоровна до сих пор в Ленинграде?

О таких вещах надо спрашивать специальным голосом — равнодушным и взрослым.

— В Ленинграде пока, приедет через месяц... а ты кто же — чей же будешь?

— Да я Лев, не помните?

И — сбежать вниз по ступенькам метро, в подземный переход. И наблюдать с противоположной стороны, как, вкопец растерянный, человек еще постоит у ступенек, а может быть, даже опять начнет спускаться вниз, потом махнет рукой: какая разница! И пойдет своей дорогой.

Совсем даже и не плохая игра, но рассказать о ней деду Антонио или даже Вере все равно что-то мешало... стыдность была в игре этой, стыдность и грешность, тогда, в детстве, еще не знавшие своих имен.

— Ну-ка, ну-ка, дорогой...

Сильно пахнувший водкой дядька схватил его за руку, словно вора, — и крепко держал. Лев трясся всем телом — правда, осознал это уже потом: заметив, что трясется.

— Ты чего трясешься-то, как овечий хвост... зовут тебя как?

— Лев...

— Хищник, стало быть. Только я ведь не знаю тебя, Лев. И ты меня не знаешь. А вот откуда тебе имя-отчество мое известно и как жену мою величают — это мы сейчас выясним.

И руку, выше локтя, Льву все сильнее жмет — того и гляди сломает. Притягивая Льва к себе, к пальто водочному, мокрому — лицом прямо к пальто.

— Отпустите меня, — кричит Лев. — Больно!

— Что ж ты над мальцом-то мудруешься, глаза твои бестыжие? Не слышишь, больно ему?

Беленькая старушка, похожая на овечку, останавливается около них. Дядька ослабляет хватку — и, вырвавшись, Лев убегает в подземный переход. А потом долго смотрит с противоположной стороны улицы, как овечка учит дядьку уму-разуму. Кстати, на расстоянии дядька оказывается совсем не страшным.

Только все равно после этого Лев к метро не ходил больше. Кончилась игра. И даже забылось потом — ходил, не ходил? Это теперь вот вспомнилось, что ходил, вроде... Если бы Льву снились сны, он сказал бы: может, и приснилось. Однако снов не снилось ему — открытыми глазами он по ночам, при свете лампы, видел вокруг себя то же, что и наяву, но как бы в перспективе... и потому Лев даже не знал, спит ли он когда-нибудь вообще. Или, наоборот, он спит всегда?

Фигаро, Альмавива, Розина...

Занавес уже открыт. На сцене Фигаро, обмеряющий пол.

— Девятнадцать на двадцать шесть, — говорит Фигаро и, выпрямившись, бросает взгляд на Льва. В шестой ряд, на девятое место — точно. И взгляда не отводит.

У Льва начинается совсем легкий озноб. Он отодвигается от Веры, чтобы та, не дай Бог, не заметила.

Впрочем, Вера давно уже в Севилье — или где у них там все это происходит. А Фигаро, похоже, еще тут. Правда, он перестал смотреть на Льва в упор, но то и дело вскидывает глаза, словно проверяя, на месте ли тот.

И в глазах Фигаро — вопрос...

С у з а н н а. Доказывать, что у меня есть на то причины, значит допустить, что у меня может не быть их вовсе. Послушный ты раб моих желаний или нет?

«Чушь какая-то», — думает Лев.

— *Чушь какая-то*, — говорит Фигаро.

Пока в зале недоумевают трое: Фигаро, Сюзанна и Лев. Сюзанна смотрит на Фигаро, Фигаро — на Льва. Лев смотрит на Веру. Но Вера в Севилье.

С ю з а н н а. Интрига и деньги — это твоя область.

Фигаро молчит, не сводя глаз с девятого места в шестом ряду. Чего он ждет? Лев не читал «Безумного дня», только одну строчку читал: «Девятнадцать на двадцать шесть»... Так что единственное, чем он может помочь, — это девятнадцать на двадцать шесть...

— *Девятнадцать на двадцать шесть*, — повторяет Фигаро.

Сюзанна улыбается вынужденной улыбкой. Вынужденная улыбка отдаленно напоминает добровольную и принимается публикой без колебаний. Да и откуда бы взяться колебаниям? Фигаро только что обмерял пол.

Сюзанна пытается проследить взгляд Фигаро и найти того или ту... но тут же и отказывается от своей попытки: зрители сидят слишком плотно. Тогда, набрав воздуха, она делает еще один шаг вперед — практически на цыпочках.

С ю з а н н а. Графиня проснулась. Она очень меня просила, чтобы в день моей свадьбы я первая пришла к ней.

Ф и г а р о. *Девятнадцать на двадцать шесть*.

Наиболее смекалистые в зале уже фыркают, разгадав, что где-то-тут-должно-быть-смешно: неоднократно повторяемая реплика призвана начинать смешить с третьего раза. Те, кому пока не смешно, стыдливо косятся на фыркнувших, за которыми они уже не успели. Но любая следующая реплика Фигаро, можно не сомневаться, откликнется хохотом в зале.

В глазах Сюзанны слезы: впечатлительная душа, актриса...

Сюзанна. Пастух — говорит — что — это — приносит — счастье — покинутым — женам.

Фигаро. *Девятнадцать на двадцать шесть.*

Хохот в зале. В принципе он мог бы быть и потише: совсем ведь не обязательно так остро чувствовать юмор. Однако что ж... прием явно достиг цели.

Аплодисменты. Редкий случай: почти сразу после начала спектакля.

Льву становится жутко. Прошедший было озноб опять уже здесь: не начать бы зубами стучать... Быстрый взгляд на Веру — смеющуюся и аплодирующую. Впрочем, Вера как раз смекалистая. Театральный завсегдатай. Одна из тех, кто раскусил прием еще с третьего раза.

Господи, что делать...

Сюзанна почти не видно: она слилась с кулисой, стала одной из ее складок. И складка эта пытается что-то прошелестеть.

Сюзанна. Чтобы я целовала сегодня моего возлюбленного? Вот тебе раз! А что скажет завтра мой муж?

Фигаро. *Девятнадцать на двадцать шесть.*

Нет, ну могла бы ведь понять уже Сюзанна, что не имеет смысла продолжать нестись вперед... В конце концов это ее, а не чей-нибудь долг сказать стоп: кроме нее и явно сбрендившего Фигаро на сцене нет никого! Хотя... благодарная публика даже не хохочет — она воет, воем выражая высшую степень понимания эффективности художественного приема, на пятый раз сразившего даже тех, кто вообще не догадывался о наличии у себя чувства юмора.

Лев не двигается. Если он позволит себе пошевелиться хоть мизинцем, озноб просто разнесет его на куски... Он совсем перестает дышать, видя, как Сюзанна делает вдох, чтобы произнести следующую реплику.

С ю з а н н а. Когда наконец вы перестанете, несносный, твердить об этом с утра до вечера?

Ах, спасибо, спасибо, спасибо, мсье Бомарше! Так угадать, так предвидеть то, что в тысяча девятьсот восемьдесят пятом году, двадцать второго февраля, произойдет на одной из столичных сцен... так спасти положение! Неужели Сюзанна, несмотря на сопротивление партнера-идиота, именно сюда и вела нас — в тихое лоно уместной этой реплики, решительно ставящей все на свои места? Даже немножко заерзавшая было в последний раз группа смекалистых — и та расслабилась,

Но —

Ф и г а р о. *Девятнадцать на двадцать шесть.*

— и все наконец испорчено безнадежно.

Лев понимает это по взгляду Веры, покинувшей Севилью и уже здесь, в Москве, беспомощными очками ищущей поддержки Льва. Ищущей, но не находящей: весь в испарине, Лев не дышит и смотрит на нее глазами, в которых нет *ничего*.

— Лев, Лев! — Она бы крикнула, но она не в Севилье. Она изо всех сил старается не привлечь внимания девятого «А», раскиданного по всему зрительному залу. — Лев, что с тобой... дыши, Лев!

Вера даже не слышит, что в зале уже шумно. Не видит, что полотно занавеса отрезает Москву от Севильи, где уставившийся в одну точку Фигаро продолжает долдонить «*девятнадцать на двадцать шесть*», «*девятнадцать на двадцать шесть*», «*девятнадцать на двадцать шесть*»...

Схватив явно слишком много воздуха, Лев почти давится им, но, слава Богу, справляется. Вера просовывает руку между спинкой кресла и мокрой тканью пиджака Льва, сжимает его плечи. Жест немножко не публичный, но дела до них нет никому: судьба Фигаро — вот что сейчас занимает зал.

Фигаро, наверное, осматривают за занавесом.

Ощупывают.

Обнюхивают, не пьян ли.

Нет, он не знает, что с ним... а что с ним? Он, правда, почти не помнит, как отыграл... не отыграл? Странно, было впечатление, что отыграл. Да нет, ни на кого особенно, вроде, не смотрел — просто немножко вбок смотрел, на случайного, кажется, зрителя какого-то. Теперь? Теперь в порядке. Можно и продолжить... наверное. Он попробует.

Помреж с только что — от ужаса — сросшимися на переносице бровями отправился к публике: объясняться. И, странное дело, нашел слова, настолько лишенные смысла, что ими действительно удалось объяснить все.

...одиннадцатый по счету, то есть первый после первых десяти, а потому наиболее ответственный спектакль...

...элитная публика, знающая толк ...

...короткое замыкание, случившееся между сценой и зрительным залом, артистами и зрителями...

...тонкие энергии, высокие слои, духовные материи...

Зрители долго аплодировали помрежу: прежде всего, в благодарность за приобщение их к элите — правда, не очень было понятно, к какой именно.

Вера отпустила плечи Льва. Тот сидел, закрыв глаза и не двигаясь.

— Сейчас все пройдет, — шепнул он ей. — Только не занимайся мной больше... пожалуйста.

Пошел занавес, пошел!

Несколько испуганная Сюзанна ни к селу ни к городу произносит следующую по порядку реплику — нечаянно оказывающуюся последней в явлении первом.

С ю з а н н а. Вот вам ваш поцелуй, сударь, теперь мы в расчете.

Поскольку Сюзанна при этом находится метрах в пяти от Фигаро, никто не понимает, о каком она, собственно, поцелуе. Впрочем, всем это безразлично.

А дальше проходит вечность.

Ждут реплики Фигаро.

Фигаро молчит.

Лев сидит с закрытыми глазами — опутив голову и сжав ее ладонями.

Над залом отчетливо слышно шелестение влажных губ суфлера:

— Э, нет, вы-то его получили не так!

Проходит еще одна вечность.

Ждут реплики Фигаро.

Зрители, выучив уже трижды произнесенную суфлером фразу, почти вслух скандируют с мест:

— Э, нет, вы-то его получили не так!

Фигаро затравленно смотрит по сторонам.

— Э, нет, вы-то его получили не так! — надрывается зал...

И только когда проходит третья вечность, голосом далеким и совершенно чужим, плохо справляясь с языком, Фигаро шепчет — даже тише, чем суфлер, уже весь вылезший из своей будки и шлепающий влажными губами непосредственно по полу сцены:

— Э... нет... вы-то... его... получили... не... так...

И, скорее догадавшись об этой фразе, чем наконец услышав ее от Фигаро, зрители посылают на сцену вздох облегчения такой плотности, что чуть не сбивают с ног и так еле стоящего на авансцене главного героя. Вялый и разбитый, тот, разумеется, не бежит за Сюзанной во исполнение галантной своей угрозы. Да этого от него и не ждут: никому сейчас не до поцелуев. Впереди — самое главное в явлении

втором: монолог Фигаро. За монолог этот болеет весь зал, весь зал играет Фигаро вместе с Фигаро: Фигаро тут, Фигаро там... Фигаро-мужчины, Фигаро-женщины, Фигаро-дети, Фигаро-суфлер. Ну же, голубчик! И — высоченным голосом, на одних связках, тот начинает барабанить что полагается.

Ф и г а р о. Прелестная-девушка-всегда-жизнерадостна-так-и-дышит-молодостью-полна-веселья-остроумия-любви-и-неги...

«Деда, деда, пусть мне опять шесть лет, все идет так быстро... я не готов! Я не знаю себя, я боюсь себя, я себе чужой. То, что со мной случается, — было такое с тобой? А если с тобой не было и ни с кем не было, то зачем оно мне? И куда мне девать это? Смотри, оно само выходит наружу — и я не умею справиться с ним...»

Лев быстро встал — кажется, ровно посередине монолога Фигаро — и пошел между рядами к выходу. Вера поднялась вслед за ним. Двадцать три пары глаз — весь девятый «А» — проследили этот демонстративный уход в деталях, опоздав оценить основное зрелище: быстро-быстро дожевывая свой монолог, Фигаро двигался из одного конца сцены в другой. Дошел до ступенек и принялся спускаться в зрительный зал. У выхода в фойе помреж схватил его за руку. Что уж сказал он Фигаро, неизвестно, но, стрелой вернувшись на сцену, тот сделался лучше не придумаешь — и публика с визгом простила ему не только все, что было, но и все, чего не было.

— Иди в зал, Вера... пожалуйста, пожалуйста, — сказал Лев, закрывая за собой дверь и не глядя на нее, не глядя вообще, а только шагая и шагая вперед, к гардеробу, где не было гардеробщицы. — Пожалуйста, Вера, мне нужно понять, мне нужно сейчас понять...

— Что понять, Лев... да что же понять-то, Господи?

— Все понять. Вот это вот все! — Он отразился во всех зеркалах сразу: бледный, гневный, взрослый.

Откуда-то присеменила гардеробщица, подала ему куртку, взглянула на Веру: Вам тоже одежду?

— Мой номерок у него, — с ужасом сказала Вера.

Лев бросил Верин номерок на барьер и, натягивая куртку, побежал к выходу, Веры не дожидаясь.

— Лев, Лев!

— Не ходи за мной, уйди! Ты не можешь идти за мной, ты не нужна сейчас, уйди!

Вера остановилась: не нужна. А Лев уже бежал от нее — бежал по ледяной улице, скользя и падая, поднимаясь и снова скользя.

Снега нету — один лед. Какая-то ненормальная в этом году зима.

— Жизнь человека понять, — бормочет Лев на льду. — Слова человека понять... сколько слов кому говорить... и каких слов... и зачем! Так не может быть, не должно быть — чтобы чужие слова произносить. Свои слова произносить надо — несколько своих слов, своих собственных слов! Но какие слова — мои?

Дома — дед Антонио: стал в дверях и стоит.

— Деда... — Отодвигая его, Лев снимает куртку и, неожиданно увидев себя в зеркале, замирает. — Деда, у меня ведь был тогда нимб? Вера говорит, что был.

В зеркале темный костюм со светлой полоской. И лицо подростка, застигнутого жизнью врасплох.

Два прыща на подбородке, с левой стороны.

Красные глаза с воспаленными веками.

— У меня не могло быть нимба.

— Некоторые думают, что Христос был очень некрасивым, — говорит вдруг дед Антонио. — Поэтому, дескать, ему

и плевали в лицо, поэтому и заушали его. В Риме ведь культ красоты был, понимаешь ли... а это значит, что на *красивого* Христа руку бы поднять не осмелились. Не трогай подбородок.

— Над Христом нимб был.

— Нимба не видел никто. То есть... нимб мало кто видел.

Лев пристально смотрит в зеркало.

— Деда, а сделай сейчас нимб?

— Пойдем, — говорит дед Антонио. — Ты почему так рано из театра?

— Потом расскажу...

На кухне они пьют чай. Они пьют чай — и дед Антонио говорит странные вещи.

— Я за тебя боюсь иногда, — говорит он. — Зачем ты сейчас просишь нимб? Зачем тебе нимб — еще раз? Нимб ведь не когда угодно сделать можно...

— Трудный фокус? — недобро усмехается Лев.

— Простой! — выкрикивает дед Антонио не своим, тонким голосом и умолкает. Надолго. Пьет чай маленькими глотками и хмурится. Потом вздыхает и повторяет, теперь тихо: — Простой фокус. Надо только поймать такой момент... особенный такой момент. И если поймаешь — нимб появится.

— Сам, — Лев хочет, чтобы это прозвучало как вопрос. Но так ему не удается.

— Практически сам, — отрезает дед. — С небольшими усилиями извне.

Лев смотрит на дно чашки... ничего нет на дне.

— Я очень изменился за эти два года? — Взгляд на деда Антонио — в упор. — Так изменился, что нимб уже не появится?

— Ну, почему! — Теперь усмехается дед Антонио — светло. — Я бы мог его и сейчас прочертить...

— Прочерти, деда!

— ...но не буду. Ни сейчас не буду, ни... никогда впредь. Нимба не бывает дважды. Или он и теперь над тобой, или его и тогда не было.

— Мы всё еще о фокусе говорим? — и опять та же усмешка у Льва. Откуда она пришла, *эта* усмешка? Дед Антонио не знает ее, не готов к ней... не желает, не желает видеть ее!

— Нет, — отвечает он, собравшись было ответить «да». — Мы говорим не о фокусе! Мы говорим о власти, потому что фокус — это власть. Отблеск власти на минуточку. Но и этого, минуточки этой, достаточно, чтобы... чтобы ужаснуться.

Дед Антонио залпом, словно водку, допивает чай, брякает чашкой по столу, мимо блюдечка. И направляется к двери.

— Но если власть в руках хорошего человека? — кричит ему вслед Лев. — Если эта власть добрая?

И останавливается дед Антонио. Нет, скорее, замирает в дверях. И, не оборачиваясь, отчеканивает:

— Не бывает доброй власти. И злой власти не бывает. Всякая власть стремится к тому, чтобы быть нейтральной. В меру доброй и в меру злой. Беда в том, что эту меру она сама и определяет! Но не ее это дело — меру определять. И не мое это дело — нимбы раздавать. Корону хочешь? Пожалуйста!

Дед Антонио — прежний, милый, дурашливый дед Антонио — оборачивается: в руках — корона. Лев эту корону знает: большая алюминиевая корона — глупая, легкая, ее деду на каком-то юбилее на голову надели и лоб оцарапали.

А фокус весь в том, что корона обычно в дедовой комнате между книгами стоит — это через гостиную, направо. И что не ходил ведь дед к себе в комнату за короной — на пороге кухни стоял... в этом весь фокус, значит.

— Корона-то откуда? — смеется Лев.

— Заранее приготовил... понятное дело, — смиренно отзывается дед Антонио. — Авось, думаю, пригодится — за вечерним чаем, если ты с «Безумного дня» после первого акта уйдешь!..

— Ну, давай корону, — сдается Лев. — Что нимб, что корона — все равно.

— А вот и не все равно, львенок. — И исчезает куда-то корона — как не было. Дед Антонио, конечно, мастер... что ж тут говорить! — Совсем не все равно. Корона над людьми власть дает, а нимб — над собой. Не все равно.

— Тогда я на корону не согласен, нимб черти!

Теперь с дедом Антонио — прежним, милым, дурашливым — опять шутить можно.

— Не буду, — упирается дед Антонио. — Не буду, хоть заррррэжь меня! А кроме того... — Дед Антонио помогает Льву справиться с галстуком: миг, полдвижения, четверть движения, щелчок, двумя всего пальцами — и развязанный галстук повисает на плече у Льва. — Кроме того, я ведь и сам точно не знаю, получился у меня тогда в цирке нимб или нет. Мало ли что Вера говорит... могло ведь и показаться!

— Девятнадцать на двадцать шесть, — отзывается Лев.

Дед Антонио улыбается:

— Что-то около того.

КАК ДОСТАВАТЬ ГОЛУБЯ ИЗ КОРОБКИ

Обратите внимание публики на белую обувную коробку, стоящую перед вами на покрытом черной тканью столике. Коробка закрыта крышкой. Поднимая коробку над столом и показывая ее зрителям, дайте им возможность убедиться в том, что это действительно самая обыкновенная коробка из-под обуви. Теперь снимите с коробки крышку, положите на стол и продемонстрируйте публике коробку изнутри — коробка пуста. Несколько раз

переверните ее в воздухе: пусть зрители удостоверятся, что ни внутри коробки, ни снаружи ничего нет. Проделав это, поставьте коробку на стол, пожмите зрителям крышку с обеих сторон и закройте ею коробку.

Совершите над закрытой коробкой несколько магических пассов, затем осторожным движением погрузите внутрь руку — и, достав из коробки голубя, отпустите его летать над залом.

Комментарий

Для этого эффектного трюка, который, несмотря на свою традиционность, обычно с восторгом принимается публикой, потребуются не только обувная коробка с крышкой размером 30х15х2 см и голубь, но и заранее сшитый из черной байки мешочек в форме конверта величиной 20х10 см. «Конверт» должен застегиваться сверху, лучше всего на кнопку — в нем в течение всего фокуса будет находиться голубь.

Прикрепите «конверт», куда вы спрячете голубя, к крышке коробки за два верхних угла с помощью прозрачной лески, которой для этого следует прошить одну из боковин крышки посередине. Длина всей лески и ее концов, к которым пришиты углы «конверта», должна быть такой, чтобы «конверт» легко перекидывался с одной стороны крышки на другую. Когда вы станете поочередно показывать публике верхнюю и внутреннюю стороны крышки, «конверт» с голубем будет все время оказываться на другой стороне, а когда положите крышку у края стола, «конверт» повиснет сбоку, ниже уровня столешницы, и, черный на фоне черной скатерти, не будет виден.

Основная хитрость здесь в следующем: вы должны все время располагать крышку относительно коробки так, чтобы этот черный «конверт» оставался невидимым. В самом начале фокуса крышка лежит на краю стола, рядом с вами, внутренней частью вверх — «конверт» при этом свисает со стола, накрытого черной скатертью, и сливается с фоном.

При демонстрации внутренней части крышки держите ее пониже и под углом, чтобы «конверт» с голубем, находящийся внутри коробки,

не был замечен. После этого поставьте крышку на ребро — на самый край коробки — и покажите публике, что в руках у вас пусто, затем, не приподнимая крышки, но скользя ее ребром по краю коробки, закройте коробку.

Теперь еще раз поднимите коробку над столом, поставьте на место и сделайте над ней магические пассы. По окончании их приподнимите левой рукой крышку коробки, не открывая ее полностью, а правой рукой, расстегнув кнопку на «конверте», достаньте из него голубя.

14. РОВНО НА ОДИН САНТИМЕТР

Дед Антонио неправ. Ощущение «дед Антонио неправ», — совсем новое для Льва. Не потому, что до этого дед Антонио был прав всегда, а просто потому, что раньше Лев и вопроса такого не задавал: прав, не прав...

Сейчас дед Антонио сидел перед ним и судил то, чего не видел. Судил то, о чем только что со слов Льва узнал. Следовательно, Льва судил... именно так, кстати, оно и выглядело.

— Как же ты не понимаешь... — Лев старался не смотреть на деда Антонио. — Как же ты не понимаешь, что теперь в моей жизни все, все уже не так! И что я, может быть, уже завтра начну приобщаться к... к...

— К чему, Лев? — Ярость была в голосе деда Антонио. — Ничего этого нет! Это пустое все. Пустое и... и ловля ветра. Даже мои фокусы, и те честнее, выше этого. Фокусы, от которых я, дурак, все оберегал тебя... Для того ли оберегал, чтобы ты взял вот и вляпался! Такое было при Гитлере, ты не знаешь. Ян Гануссен — слышал это имя? У Клауса Манна есть роман, вот же ... — Дед Антонио бросился к книжным полкам, начал водить пальцем по корешкам, плюнул, чертыхнулся, снова бухнулся в кресло. — Такое всегда бывало, всегда бывает — в определенные периоды истории бывает: со dna поднимается всякая муть... это муть, Лев!

— Чаю хочешь... с кексом? — спросил Лев. Ему стало стыдно, что он так завел деда: тот побледнел даже.

— Нет! — взревел дед Антонио. — Не смей чай мне предлагать! Не смей кекс мне предлагать! Тут серьезное дело, тут соблазн... собла-а-азн!

Господи, да что ж такое с дедом-то! Он, вроде, и кричать так не умел, никогда не кричал, чем-то задел я его сильно совсем...

Наверное, он плохо рассказал все деду Антонио, неправильно. Это из-за плохого рассказа... да и как расскажешь? Как расскажешь, что пожилой уже человек просто вышел на сцену в зачуханном этом клубе, просто вышел на сцену — и сразу стало видно: бог. Только посмотрел в зал, только улыбнулся, только вздохнул — а все тут же поняли, что — нездешний. Немыслимой, страшной власти лицо... таких тут не бывает. Он все, все про нас знал, про каждого из нас. И никакой тайны не было для него. Ему даже ничего делать не требовалось: мы и так уже верили, что теперь все по-другому будет.

А потом он сказал: «Ну, здравствуйте вам», — и голос у него был глухой. И еще сказал: «Желающие, пожалуйста, на сцену».

По-моему, весь зал поднялся и пошел на сцену — мне так показалось. Во всяком случае, там возле сцены маленькое столпотворение было, и нам, кто сзади, уже дорогу какой-то страж преградил, но тут я услышал: молодой-человек-вы-останьтесь-пожалуйста... я знал, что это мне. Что это меня выбрали: из сотен людей, тысяч — из *всех* людей. И я протиснулся к сцене... почему-то запомнил, что меня толкали: те, сквозь кого я шел.

Но он взял меня за руку — и было так, как будто это мой отец, только не Алик, не Вениамин, не Геннадий — другой, настоящий. И он посадил меня на стул, только одного меня, а другие все стояли, — потому что у меня в ногах слабость началась, и он понял. Я дальше с этого стула представление и смотрел, до самого конца, все время — и только когда он уже мои мысли читал, я встал и слушал. Он очень близко ко мне подошел, он сказал, что мысли у меня тихие, — и от него табаком пахло немножко и конфетами сильно пахло, мятными... Как же дед Антонио не понимает!

И вот... он мысли мои читал, то есть он говорил мои мысли вслух, а я соглашался, потому что мне было все равно, чьи это мысли, и потому что это была правда, я так и думал. Я как

думал... — мне повезло, я думал, что меня увидели и пригласили на сцену: ведь остальные в зале остались, а мне повезло. Мне ведь правда повезло! И теперь, значит, говорил он, все услышат, какие у меня мысли, — а мне это очень нужно, поскольку мне с моими мыслями одному, оказывается, трудно и нельзя. Все было точно, все! «Такие мысли, правильно?» — спросил он, а я ответил: «Такие, правильно». И что у меня с родителями не очень, значит, хорошо, и что я одинок, и что меня не знает почти никто и не понимает, и что я даже сам себя не понимаю и не представляю себе, чего хочу... и что мне все равно — скрипачом стать или циркачом. Когда он сказал циркачом, я вздрогнул и тихо ему сказал, что мой дед фокусник, а он начал сразу мои мысли про фокусы говорить — всё на свете фокусы, всё обман, да и сам мир только фокус... и тому подобное. «Такие мысли, правильно?» — «Такие, правильно». Но потом я громко его попросил дальше не говорить, потому что мне дальше страшно на душе станет, — и он сразу прекратил и опять посадил меня на стул, а все долго хлопали, но он даже не поклонился ни разу, он только на меня поглядывал и понимал, как мне...

Потом он предметы разные по залу разносил — и там все тоже было очень точно: предметы возвращались к тем, у кого их взяли — раньше еще, пока он сам с завязанными глазами стоял... сумочка, там, часы, расческа — все опять оказалось в руках владельцев. И тут я тоже заметил, что он не кланялся, пока хлопали, — просто в зал смотрел очень серьезно и ждал, когда похлопают и перестанут. А в цирке все всегда кланяются, сам дед Антонио кланяется... Леночка и вообще бегом выбегает на аплодисменты и воздушные поцелуи посылает вокруг. Но он — не кланялся никому, даже голову не нагнул ни разу.

Там еще была такая... неизбежность или — или я не знаю, как это назвать, когда ничего скрыть невозможно: так,

наверное, на исповеди только бывает — всё начистоту, честно всё. Одна женщина молодая на сцене стояла, очень полная... толстая, безобразная — и он сначала долго никак не мог проникнуть в ее мысли, потому что она не пускала его и ставила барьеры, но он попросил ее либо вернуться в зал, либо довериться ему. В зал женщина, во всяком случае, не вернулась, а он взял ее за руку и начал говорить: что ей не надо все время о своей внешности думать, что нельзя и что это ее убьет, потому как, сказал он, есть такие мысли, которые убивают, у мыслей очень большая сила. Женщина эта чуть не плакала, а сама улыбалась и благодарила его... невозможно было на это смотреть, деда! И у некоторых слезы текли, и никто не стеснялся. Андерманир штук, деда, прекрасный вид...

Но как такое расскажешь!..

И потом — пропал один человек, навсегда пропал. Сошел в зал вместе со всеми — и пропал. Как ветром сдуло. Его искали везде, но так и не нашли. Совсем не нашли.

— Кран заверни, пожалуйста! — крикнул дед Антонио из гостиной, и Лев машинально завернул кран: вода давно уже бежала через край чайника, который он зачем-то наполнял, и наполнял, и наполнял.

Он вернулся в гостиную: дед Антонио сидел, вжавшись в кресло, и держал на коленях книгу.

— «...ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных...», понимаешь, Лев? Я не к тому, что конец света и все такое, — я просто к тому, что всегда в плохие времена, а времена сейчас плохие, они и появляются: чародей-волшебники...

Лев боялся возражать. И боялся сказать, что теперь совсем уже не понимает деда Антонио, никогда не произносившего

слов «чародей» и «волшебник» с такой интонацией — почти безглаголиво. От неправильности всей ситуации в целом Льву действительно становилось нехорошо. Дед Антонио права не имел говорить *так* о чародеях и волшебниках, о чудесах... — о том, на чем Лев вырос и что было для него свято! Дед Антонио права не имел предавать... предавать все на глазах Льва! А тот читал и читал из Библии — и Лев уже не слушал. Потому что... потому что не был Борис Ратнер ни лжехристом, ни лжепророком, а был он просто величественным и усталым человеком пожилым, который все про нас знал. И который мог, глядя на тебя, рассказать о самых сокровенных мыслях твоих, о самом важном в тебе, о том, чего никому знать не дано — кроме совести твоей. Совести твоей и, может быть, Бога.

— ...публичность, — бубнил дед Антонио, — публичность — паскудное дело!

Уж кому бы говорить о публичности... Цирк, можно подумать, не публичность. И твоя ведь программа, дед Антонио, называлась не как-нибудь, а «Полчаса чудес»! Ты выходил на публику и фокусничал, но тот, которого ты сейчас сидишь и поносишь, он не фокусничал. Он читал мысли, он проникал в мое подсознание, он выводил его наружу — и все, что он говорил, было чистой правдой.

— ...чистой правдой? — Дед Антонио словно подслушивал Льва. — Может быть, и чистой правдой, не возражаю, но не правдой как таковой. Когда начинается этот дележ правды — на правду чистую и... и не чистую, тогда забудь о правде, львенок! Не бывает не чистой правды, любая правда — чистая. Теряя чистоту, правда теряет и право быть правдой. Это ратнеры пусть делят правду на сорта, а ты не дели. Есть правда и неправда, а больше нет ничего.

И ты не дели, дед Антонио! Если все так, как ты говоришь, то как раз твои-то фокусы и есть неправда. Неправда — и только. Это если мягко сказать, а если сказать, как надо сказать, то обман они, фокусы твои. Прямой обман.

— ...мои фокусы тут вообще ни при чем, милый! Мои фокусы суть развлечения, да и сам цирк увеселительное заведение, между тем как демонстрация психологических опытов отнюдь и отнюдь не в цирке ведь происходит, — а, львенок? У моих фокусов контекст какой... — акробаты, дрессировщики, жонглеры, клоуны, и сам-то я кто получаюсь — тоже акробат, дрессировщик, жонглер, клоун! Так в чем моя неправда? Ведь и я рискую — как все мы! — что руки-ноги подведут или нервы сдадут: у нас, цирковых, две только опасности и есть... Но все мы — для забавы, все — публике на потеху: сердце у-ве-се-лять. Неопасные наши чудеса, легкие! И говорят про них: искусство. А искусство — всегда правда.

Хм... искусство — всегда правда! Это ты, дед Антонио, кому-нибудь еще Расскажи. По мне, так обманчивее искусства вообще ничего нету. А с Борисом Ратнером то и хорошо, что он не искусство нам предлагает... нет в нем искусства — слава Богу, нет. Он нам истину предлагает, он сам и есть истина.

— Да Господь с тобой, львенок, что ты, креста на тебе... ох, прости, прости! Не твоя вина, понимаю я, — и помню, в какое время живем... знанию, *тому* знанию, неоткуда взяться было у тебя, но мне, старому уже человеку, поверь, я не все забыл, я не забыл, *кто* есть истина. Может быть, это единственное, чего я не забыл и за что умирать буду! — Дед Антонио дышал тяжело, громко. — Да и как же ты противопоставляешь искусство и истину... ты ведь *мой* внук, не Маневича, который иллюзию и действительность по разным концам земного шара раскидал. Я не узнаю тебя больше, не

пугай ты меня... не наказывай так за бесовское мое искусство!

Вот, дед Антонио, и сам ты говоришь, что — бесовское. А я, может, давно догадываюсь, что бесовское... что любое искусство, что искусство вообще — бесовское, так ведь и относились к нему, было время! Я недаром тебя — нет, не тебя, Антонио Феери — как огня боялся, пока маленький... И твои «Фокусы, изжившие себя»... — страшнее, жутче не было в моей жизни ничего, я и сейчас не понимаю, что случилось тогда на арене с тобой и со мной. Я забыл это, я это из головы выбросил, но я знаю: было. А сегодня на сцене совсем по-другому все чувствовалось — там присутствие ангелов чувствовалось! Ты бы видел улыбку его — и как свет от него шел...

— Так оно и бывает, львенок, — продолжал идти по следам за ним дед Антонио, — именно так и ощущается! Ратнера искусство в том и состоит, чтобы искусство — предавать. Чтобы камуфлировать его: и не искусство это, дескать, вовсе, а чистая субстанция жизни, а тело мое, а кровь моя... Христос хлеб преломил и роздал, вино разлил и роздал — мог ли Он предугадать, что придет такой вот Ратнер и без стеснения плотью и кровью своими торговать станет? Ах, Лев, я не мораль читаю — мы и все-то ведь что делаем... мы ведь то же делаем! Вот шарик стеклянный, говорим, — возьмите и играйте, сие есть тело мое, а вот, так сказать... ну, не знаю, истекаю клюквенным соком, сие есть кровь моя... — тоже свое тело раздаем и свою кровь разливаем, да только не так, не напрямую же! Грех это — когда напрямую: мясом с кровью, грех...

Заговаривается уже дед Антонио, бредит, бормочет бессвязное. Я уйду, я не могу больше, мне плохо от слов его.

— Спокойной ночи, деда, не говори ничего, спокойной ночи.

Так деда Антонио никогда еще не убивали.

Наповал.

Безвозвратно.

Одною «спокойною ночью».

Лев лег, не раздеваясь. Не таким представлял он себе разговор с дедом. Из зачуханного этого клуба возле «Белорусской» он ведь деду что нес? Он ведь тонкую энергию ему нес... я-работаю-с-тонкими-энергиями, сказал Борис Ратнер — пожилой человек, усталый пожилой человек, взявший Льва одним взглядом. Объяснивший ему — все! Все, что было во Льве: сгусток тонких энергий, которые — существуют. Существуют же? Просто направить свою волю на... на что угодно, вон хоть на учебник литературы возле всегда включенной настольной лампы. Просто направить на него свою волю и приказать ему сдвинуться с места. Не летать по комнате — только сдвинуться: сантиметра достаточно, вполне достаточно. На сантиметр влево, учебник литературы... ну же!

Сейчас от этого сантиметра зависела жизнь Льва. Пусть сдвинется учебник — и тогда... тогда прав Борис Ратнер, а дед Антонио неправ. От неправоты деда Антонио Льву не будет страшно: Лев готов к неправоте деда Антонио. Но пусто в голове у Льва, ибо знает, знает, знает Лев: сколько ни тарачись на обернутый в газету — это «Советская культура»? — учебник... краешки обертки обтрепались уже, переобертывать пора, сколько ни пытайся передать мертвой материи энергию мысли — не сдвинется с места учебник, как пить дать не сдвинется! Но Лев будет все равно смотреть на него: надо ночь напролет смотреть — ночь напролет будет, надо жизнь напролет смотреть — жизнь напролет будет, потому что не всё в мире фокус. Потому что не может так быть, чтобы один только выход имелся у нас: приклеить к учебнику тонкую ниточку цвета воздуха и осторожно потянуть за нее. Вот

и в Библии: как это только что опять читал ему дед Антонио насчет веры — если есть в тебе веры с горчичное зерно, то скажешь горе: подвинься... А тут не гора — тут стопка страниц... ну же!

Лев не знал, сколько прошло времени. Вперивши каменный взгляд в корешок учебника литературы, он почти не мигал, а в глазах вдруг началась такая резь, что все пространство до самой двери, возле которой стоял письменный стол, заволокло туманом. Лев вынуждал учебник с-м-е-с-т-и-т-ь-с-я. Тело затекло и больше не ощущалось. Ах, какой же он все-таки дурак! Ему уже семнадцать. Он должен уже понимать что-то, должен уже понимать хоть что-то... Что такого — не бывает. Что и ни к чему такому — бывать. Что сам Борис Ратнер, бог, не показывал сегодня телекинеза, даже если мог... а мог? Не думать об этом: держать мысль на учебнике — вопреки тому, что Борис Ратнер не показывал сегодня телекинеза. Веры — меньше, чем с горчичное зерно... значит, все-таки меньше.

Это дед Антонио во всем виноват. Это он все разрушил. Это он втоптал в землю тонкие энергии — иначе Льву удалось бы сосредоточиться, и учебник литературы сдвинулся бы с места. Дед Антонио втоптал в землю и Бориса Ратнера, и его, Льва. Но Лев никогда не отведет взгляда от растрепанного корешка — какой бы сильной ни была резь в глазах и какой бы долгой ни была эта ночь, следующая ночь и ночь, следующая за следующей ночью. Он никогда не выйдет из этой комнаты, он умрет здесь, на кровати...

Дед Антонио — больше некому — чуть слышно постучал в дверь и вошел, не дожидаясь ответа. Лев поспешно закрыл глаза и ждал. Дед Антонио явно стоял на пороге. Кашлянул. Кашлянул снова.

— Ты прости меня, львенок. Я не должен был, я права не имел... Ты прости меня.

Лев открыл глаза и кивнул. И заставил себя улыбнуться: показалось даже, что удалось.

Кивнул в ответ и дед Антонио — совсем коротенько про- барабанив что-то пальцами по краю стола. И развернулся было уходить, но внезапно остановился и чуть повернул голову в сторону от двери. А потом, совершенно низачем, опустил ладонь на учебник литературы и сдвинул его влево. Ровно на один сантиметр.

15. НЕПОСТИЖИМО СТРАШНОЕ

Никаких таких НИИ не было. Не могло быть. Подобных вещей в Советском Союзе вообще не знали: не та это страна была, чтобы поощрять всякое. Паровозы, пароходы — это у нас еще и до революции водилось, а вот паро... парапсихология — упаси Боже! И пусть повесят меня на первом суку, если я вру. На втором же пусть повесят всех остальных.

А что поговаривали... — ну и поговаривали: о чем только не поговаривали! В стране слухов жили — как же иначе? Даже о том поговаривали, что на главпочтамте особенный один такой телефон имелся, с которого напрямую с генсеком соединяли, если кому надо... только не было, наверное, таких дураков, которые в это поверить могли! Или были такие дураки?

Дураки ведь вообще-то всякие бывают... вот и такие, например, которые до сих пор рассказывают о существовании в советское время всяких таинственных НИИ. В частности — причем в самом сердце столицы — некоего сверхсекретного НИИ, называвшегося в обиходе (чьем обиходе — не спрашивайте) институтом мозга. А официально именовавшегося «Научно-исследовательский институт человеческих ресурсов», НИИЧР. Впрочем, аббревиатура эта, НИИЧР, расшифровывалась тогда совсем по-другому: как «Научно-исследовательский институт четвертичного рельефа» — так, во всяком случае, значилось на табличке у входа в первый подъезд самого обычного жилого строения где-то в районе Брестских. Название НИИ, разумеется, наводило жильцов дома и случайных прохожих на очевидную мысль о том, что занимались в этом институте не чем иным, как климатографическими исследованиями эндогенных и экзогенных факторов рельефообразования третьей системы кайнозой-

ской зратемы. Впрочем, проверить это было нельзя, поскольку дверь НИИ (первый этаж направо) была замурована. Что касается входа в НИИ, то он находился в противоположной стороне дома, в последнем, восьмом, подъезде, возле которого никакой таблички не висело. На лестничной клетке первого этажа, у двери слева, таблички тоже не было, зато на самой двери блестела большая нелогичная тройка — под этим номером данная квартира здесь и существовала, хотя номера трех других квартир рядом с ней были трехзначными.

Наблюдательный глаз, которых в районе Брестских, слава Богу, энное количество имелось, мог бы заметить, что, несмотря на запутанность системы координат, в которой располагался НИИЧР, посетители находили его без труда. Никто из них, во всяком случае, не топтался ни у первого подъезда, ни возле замурованной двери внутри него — даже не прочитав названия «Научно-исследовательский институт четвертичного рельефа», гости устремлялись к последнему подъезду, смело входили туда и — все. Сколько бы потом наблюдательный взгляд ни буравил невзрачную дверь последнего подъезда, гость из нее никогда уже не выходил. Вне всякого сомнения, факт этот мог бы натолкнуть на самые мрачные подозрения, однако не наталкивал, поскольку «пропавший» рано или поздно вновь появлялся у входа в тот же самый подъезд вышеупомянутого жилого строения в районе Брестских.

Использованная в предшествующем абзаце метонимия, «наблюдательный глаз», отнюдь и отнюдь не является абстрактным обозначением кого попало — она соотнесена с более чем конкретным обладателем соответствующего органа. А именно — с пенсионером (на данный момент) Владленом Семеновичем Потаповым.

В надлежащем возрасте став пенсионером, Владлен Семенович бросил все свои — еще обильные к моменту наступления пенсионного возраста — силы на безвозмездное служение порядку, которому до момента наступления пенсионного возраста он служил за небольшое государственное вознаграждение. Свою скупо вознаграждавшуюся службу Владлен Семенович нес на просторах московского метрополитена, перед самой пенсией сузившихся до станции «Белорусская», где, сидя в стеклянном «стакане» у подножия эскалатора, командовал миграциями «сумчатых»: так называл он обычно пассажиров метро. Отношения между ним и «сумчатыми» складывались сугубо вертикально: принимая «сумчатых» сверху и отправляя наверх, он без конца понукал их из своей преисподней, приказывая «сумчатым» то стоять справа, то проходить слева, то держаться за поручни, то не садиться на ступени, то не загромождать проходы вещами, то не бежать по эскалатору... Владлен Семенович знал много способов приструнить постоянно распоясывавшихся «сумчатых»!

Когда ездить на службу стало казаться далековато, Владлен Семенович, воспользовавшись старым знакомством с участковым милиционером Алексеичем — рыбаком, как и он сам, — подбил одинокую глухонемую бабку помянуться с ним квартирами. Глухонемой бабке предстояло теперь переехать в неудобное ни для кого Черкизово, а ему — на удобную каждому разумному смертному «Белорусскую». Однако, разглядывая на досуге в туристических справочниках, до которых любитель порядка Владлен Семенович был ужасно охоч, центральную часть Москвы, он вдруг не нашел бабкиной улицы, 4-й Брестской: Брестских было вообще только две. Своей озабоченностью по поводу явной нехватки Брестских Владлен Семенович

поделился с упомянутым участковым, но тот взял и оказался человеком беспечным: узнав о причине упомянутой озабоченности, Алексеич прощebetал что-то вроде «ты-ведь-не-в-туристическом-справочнике-жить-собираешься-Семеныч», после чего тут же и удалился — с поспешностью.

Не желая оставаться в дураках, Владлен Семенович съездил в соответствующий район и тщательно пересчитал имеющиеся в нем Брестские. Их оказалось не просто достаточно, но даже с избытком — и, подивившись профессиональной безответственности в такой тонкой сфере человеческой деятельности, как обслуживание туристов, Владлен Семенович Потапов бесстрашно переехал на одну из отсутствующих улиц. Чувство порядка, тотчас же взыгравшее в нем по этому поводу, он временно усыпил соображением, в соответствии с которым жить на отсутствующей улице гораздо спокойнее, чем на наличествующей: меньше всяких-разных шататься будет! На том, вроде, и порешили — правда, чувство порядка продолжало иногда чего-то там себе бубнить, только Владлен Семенович не сильно прислушивался, а указал чувству порядка в направлении «Белорусской», где «сумчатые» в последние два-три месяца особенно распоясались. Тем более что ходить по 4-й Брестской ему было необязательно: дом под номером 3-а стоял в самом начале улицы, которую — при движении в сторону Белорусского вокзала — тут же надо было и покинуть. Как бы там ни было, прогуляться по 4-й Брестской Владлену Семеновичу за предпенсионные годы не случилось.

Выйдя на пенсию и предоставив «сумчатых» попечению молодой смены, Владлен Семенович вплотную занялся многочисленными Брестскими — прежде всего, конечно, 4-й, давно уже требовавшей хозяйского глаза.

Для начала он цветным карандашом — фиолетовым — проложил 4-ю Брестскую на карте центра, сопровождавшей самый полный из имевшихся у него туристических справочников. 4-я Брестская лежала плохо: заслонив собой часть района и настолько очевидно узурпировав права остальных улиц, что пролагать прочие отсутствовавшие на карте Брестские сразу оказалось негде. Владлен Семенович огорчился и задумался о причинах своей картографической неудачи, но в конце концов пришел к выводу, что на данный момент район, видимо, не способен уже справиться с присутствием 4-й Брестской — равно как и всех остальных Брестских, не учтенных туристическими справочниками. Архитектурный облик района давно сложился, и впихивать лишние Брестские оказалось некуда. Стало быть, неучтенным улицам не оставалось ничего другого, как пребывать своего рода улицами-призраками, особенно не попадаясь никому на глаза.

Сложив справочники в стопку и сунув их куда пришлось, Владлен Семенович отправился на познавательную прогулку по улице-призраку и вернулся домой страшно удрученным. Улицы, на которой он жил, действительно как бы не существовало. Во-первых, на улице этой не было ни единого места-общественного-пользования: ни магазина, ни столовой, ни школы или, там, детского сада, ни аптеки или библиотеки, ни ЖЭКа какого-нибудь или опорного пункта милиции, ни телефонного автомата, ни туалета, ни даже просто перекрестка того или другого, где можно свернуть на соседнюю улицу... ни-че-го. Во-вторых, жилые дома казались совершенно нежилыми и тупо смотрели своими навсегда занавешенными окнами исключительно внутрь себя. В-третьих, не было здесь ни единого прохожего, ни единого автомобиля... мотоцикла, да что там — велосипеда самого плохонького! И, понятное дело,

никаких голубей на карнизах, никаких кошек и собак — воробья паршивого, и того не было. Жутковато показалось Владлену Семеновичу идти по 4-й Брестской в направлении от Белорусского вокзала. Единственное утешение — что улица довольно скоро кончалась: метров пятьсот или что-то около... и все. Дальше опять шла нормальная Москва. Зато параллельно 4-й Брестской располагались по обе стороны еще другие неучтенные Брестские, заглянуть на которые у Владлена Семеновича вдруг не стало мужества. Он вообразил себе целый город, лишенный признаков существования, — черную дыру в центре столицы, в которую провалился кусок жизни... ужас.

Впрочем, одна достопримечательность на 4-й Брестской все-таки имела место и находилась, как ни странно, в доме номер 3а — именно том, где жил Владлен Семенович. Здесь была организация под непонятым и непривлекательным для него названием «Научно-исследовательский институт четвертичного рельефа». Постояв у таблички, Владлен Семенович покачал головой, сказал себе: «М-да...» — и отправился от первого подъезда к своему, последнему. На лестничной клетке первого этажа чувство порядка привычно взбунтовалось в нем, с неприязнью отметив номер квартиры напротив его собственной — 3. Эта тройка не нравилась Владлену Семеновичу: она была неуместной здесь, возле трех квартир под номерами 254, 255 и 256. Владлен Семенович вошел в квартиру 256 и запер за собой дверь.

Иногда у него возникало впечатление, что на 4-й Брестской он жил один и что все остальные квартиры во всех остальных домах на самом деле существовали как бы для отвода глаз. Не то чтобы Владлен Семенович совсем никогда не видел жильцов или не разговаривал с ними. И видел, и разговаривал, и даже был знаком с некоторыми из соседей.

Например, с Соколовыми со второго этажа (их квартира располагалась прямо над его, и однажды они его несильно залили), с Иваном Петровичем (с ним он иногда встречался у мусорных контейнеров: мысль о том, что пора выбросить мусор, посещала их, похоже, в одно и то же время), с молодой мамой Лидочкой и двумя ее грустными мальчуганами, потерявшими как-то у подъезда двадцать копеек (Владлен Семенович отдал им свои, сделав вид, что нашел пропажу)...

Были у него, конечно, и другие знакомцы, однако почему-то производили они впечатление полуживых. Как, в общем-то, и все на 4-й Брестской: люди здесь словно избегали жизни. Владлену Семеновичу никогда не удавалось увидеть хотя бы приоткрытое окно, услышать хотя бы приглушенный звук музыки, телефонный звонок, пылесос, молоток... Никто не сушил белья ни во дворе, ни на балконах, никто не выгуливал собак, никто не звал никого обедать или ужинать, никто не привозил в тарахтящих грузовиках новой мебели. Соседи не ходили друг к другу в гости и не принимали гостей у себя. Почтальона и того никогда не было видно: почта попадала в почтовые ящики неизвестно как, хотя доставлялась безукоризненно. Впрочем, здесь и все-то было безукоризненно: лампочки над подъездами и на лестничных клетках не перегорали, бумажек на тротуарах не валялось, дети не забывали во дворах скакалок и мячиков... Да и детей, казалось, никаких не было — кроме, вот, Лидочкиных. А уж о старушках у подъездов и говорить нечего: в любое время дня скамейки пустовали.

Между тем жизнь, конечно, происходила... во всяком случае, опустошались почтовые ящики. Иногда возле них можно было перекинуться словом с вынимающими почту соседями: те поспешно говорили «здравствуйте» и сразу же исчезали

из виду — даже стука закрывающейся двери не оставалось в безвоздушном, казалось, пространстве.

— А что, Иван Петрович, — спросил он раз своего мусорного знакомого, с которым удавалось-таки иногда поговорить, — этот НИИ в первом подъезде — он всегда тут был?

— Он всегда тут был, — отвечал Иван Петрович в свойственной ему экономной манере просто повторять слова собеседника, избегая каких бы то ни было затрат энергии на построение новых конструкций.

— Я потому спрашиваю... мне кажется, на 4-й Брестской, кроме этого НИИ, больше ничего нет.

— На 4-й Брестской, кроме этого НИИ, больше ничего нет, — отвечал Иван Петрович, опустошив в контейнер мусорное ведро и уже развернувшись на положенное количество градусов, достаточное для того, чтобы кратчайшим путем направиться к дому.

— А что такое «четвертичный рельеф», Вам известно? — обратился к его спине Владлен Семенович. Вопрос праздно завис возле самой спины. — Или... или это и самим научным сотрудникам неизвестно? — помог собеседнику Владлен Семенович, сопроводив высказывание изрядной долей иронии.

— Это и самим научным сотрудникам неизвестно, — даже не освобождая конструкцию от иронии, спиной отвечал Иван Петрович.

— Понятно... — усмехнулся Владлен Семенович. — Ну что ж, всех Вам благ!

— Всех Вам благ!

По пути от мусорных контейнеров Владлен Семенович остро ощутил показавшуюся ему естественной потребность все-таки узнать, что означает загадочный «четвертичный рельеф»: постучать в дверь НИИ, извиниться в изысканных

выражениях и по-своему спросить, с чем, дескать, этот четвертичный рельеф едят.

С мусорным ведром в руках он зашел в первый подъезд и оказался около замурованной двери. Поставив возле нее некоторое время, Владлен Семенович вышел на улицу: убедиться в том, что он перепутал подъезд и что таблички «Научно-исследовательский институт четвертичного рельефа» не висит на стене у входа.

Табличка на стене у входа висела.

Тогда он снова вернулся в подъезд: теперь уже чтобы еще раз убедиться в замурованности двери. В замурованности двери не осталось больше никаких сомнений. Владлен Семенович огляделся по сторонам. На лестничной клетке первого этажа находилось кроме замурованной этой двери еще две, не замурованных: на одной из них красовалась металлическая единица и металлическая же табличка с лаконичной фамилией «Бек», на другой была просто наклеена бумажная двойка. Четвертой двери, кстати, не было вообще: похоже, кто-то размещался сразу на двух жилплощадах... Ведомый этими нехорошими подозрениями, Владлен Семенович быстро поднялся на второй этаж, где взорам его предстали квартиры под номерами 4, 5, 6 и 7. Чувство порядка, никогда не дремавшее в нем, настоятельно потребовало наличия тройки во вполне стройной системе чисел — и Владлен Семенович вернулся к замурованной двери, пристально, сантиметр за сантиметром, осмотрев ее. Тройки на ней не было, но Владлен Семенович и так уже знал, где находилась пропавшая тройка.

По дороге к своему восьмому подъезду Владлен Семенович пытался то унять дрожь в коленях, то поставить под сомнение нелегитимность присутствия искомой им тройки

строго напротив его собственной квартиры... — ни то, ни другое ему, впрочем, не удалось. На пороге подъезда он закрыл глаза, умоляя провидение смилостивиться и на сей раз пририсовать слева к имеющейся на злополучной двери цифре еще две, желательно двойку и пятерку, причем именно в этой последовательности... явив страждущему взору нумерологическое чудо — число 253! Когда он открыл глаза, провидение, оказавшееся неумолимым, словно вспышкой молнии, ослепило его привычною одинокой тройкой. Мусорное ведро упало на пол с характерным стуком металла о камень. Подхватив ведро, Владлен Семенович зашпешил к своей квартире, насилиу попал в замочную скважину ходившим в разные стороны ключом и в одно мгновение исчез за дверью, причем хлопнул ею так, что фотографию отца на стене прихожей исказила не свойственная ему при жизни гримаса. Изнутри Владлен Семенович запер дверь и на ключ, и на задвижку, бросил ведро у двери и помчался на кухню, где уселся на стул за холодильник и замер.

Что-то случилось в его жизни. Непостижимо страшное.

16. ВОТ УЖЕ И КУРТКА НАДЕТА...

Из носу у Веры текло. Лев даже не подозревал, что у Веры может течь из носу.

Она сидела на кровати, прикрывшись чем-то облезлым, и говорила, говорила, говорила...

Из носу у Веры текло. Ни о чем другом Лев сейчас не думал. Он, в общем-то, и об этом не думал — только регистрировал, глазами одними: из носу течет, на плечах что-то облезлое, кровать полусломана, вместо книжных полок — доски, поставленные на кирпичи, стекло в окне расколото — и верхняя часть стекла на нижнюю напозла.

Явно неблагополучная семья. Лев и раньше об этом, конечно, догадывался, однако чтобы вот *так*... А в гостях у Веры никогда не бывал: ни к чему оно, вроде, было — бывать, да и роли это не играло: Вера к ним с дедом и так почти каждый день навещалась... стало быть, и ладно, какая разница — он ли к ней, она ли к ним! Она, кстати, жила недалеко, на Песчаных.

Теперь выяснилось, что на 8-й Песчаной, дом 9, квартира 10... а-риф-ме-ти-че-ска-я про-грес-си-я. Лев думал, что пешком доберется, однако Вера сказала, что лучше на автобусе, от метро «Аэропорт». И еще сказала, что сама подойдет к остановке и что они вместе поедут, — а один он, вроде как, заблудится. Ну, вместе так вместе.

Автобус прикатил сразу — номера Лев не разглядел.

— Это какой номер? — спросил он у Веры.

— Триста седьмой.

Лев хотел сказать, что не помнит в их краях триста седьмого номера, но отвлекся на ребенка... мальчика лет пяти-шести, который ходил по автобусу и трогал всех указательным пальчиком.

— Эдик, сядь, да сядь ты наконец! — взывала к нему полная мама в толстой шубе, но Эдик и ухом не вел, а только задумчиво трогал и трогал пассажиров указательным пальчиком. Временами он ненадолго останавливался и рассматривал этот свой пальчик, словно на нем от прикосновений должны были остаться следы.

— Станный какой мальчик, — шепнул Лев Вере.

— Я его не первый раз вижу, он всегда всех трогает.

— Как будто убедиться хочет, что... что мы все действительно есть.

— Его бы не Эдик надо было назвать, а Фома! — Вера улыбнулась.

Ехали и в самом деле дольше, чем Лев предполагал.

— Это потому что в объезд надо, — объяснила Вера. — Пешком гораздо быстрее, но там не пройдешь.

Лев смотрел на Эдика. Эдик тоже смотрел на него — и вдруг подошел к нему и обнял его за ноги. Лев присел, взял мальчика за плечи, заглянул в глаза, совсем тихо сказал: «Спасибо» — и отпустил восвояси. Мальчик кивнул и вернулся к маме. Та, кажется, ругала его.

М-да.

Уже в автобусе Лев понимал, чем дело кончится. Вера сказала, что родители в Ленинград уехали, к бабушке, и это прозвучало странно, поскольку бабушка у Веры умерла. «К другой бабушке, маминой», — возразила Вера, хотя прежде никогда не упоминала о «другой бабушке». Что все это странно, Лев еще тогда почувствовал, когда открыл было рот: сказать деду, куда он... только в самый последний момент взял вдруг да и произнес: «Я в школу, мы там... собираемся». И даже сам головой покачал от неожиданности, а дед Антонио хмыкнул: ну-ну, дескать... собирайтесь!

Вера, стало быть, говорила, говорила, говорила... И получилось, что совсем уже скоро им придется пожениться, потому что, если нет, то тогда — как?

— Придется пожениться, — ответил Лев и прикрыл глаза: чтобы уже не видеть ничего вокруг себя.

А Вера говорила дальше. О том, что теперь ей, конечно, оставаться здесь нельзя: родители выгонят ее, когда узнают про ребенка. Им наплевать, где она будет жить, они и так ждут не дождутся: вот-вот кончится школа и пойдет Вера работать... тем более что и осталось-то всего-ничего: февраль, март, апрель, а в мае уже выпускные. Денег у нас в семье никогда нету, в квартире сам-видишь-как, и отец пьет, он уже из-дому-все-вынес!

Вера выглядит ужасно: лицо распухло, волосы слиплись. У нее совсем другой словарь, чем... чем обычно, за пределами этой квартиры. И пластика совсем другая — жесткая, мелкая. Мелкая-пластика, м-да.

Теперь, конечно, никакого французского, потому что учиться с ребенком невозможно — невозможно и... и стыдно перед ребенком.

— Почему стыдно? — спросил Лев.

— Ну как же, ребенок же! — отвечает Вера, и Лев не понимает.

Лев ничего не понимает. Вера пригласила его, у Веры было вино и торт, и под пальто зимнее она надела легкое летнее платье — сейчас, в феврале, а на запястье — браслет в виде золотой веточки... И здесь, у себя в квартире, она сама подошла ко Льву, положила руки ему на плечи... нет-нет, не то чтобы он был против, разумеется, нет — да этим оно, скорее всего, и должно было закончиться, не сегодня, так вообще — между ними, и они оба знали это, много лет уже знали... так зачем же плакать, и прикрываться чем-то

облезлым, и произносить слова из словаря, которого Лев у нее не помнит?

— ...как же людям-то на глаза-то показаться, когда ребенок-то будет!

— Ребенка не будет, — сказал Лев.

— Ты не можешь решать это за меня, — говорит Вера, и из носу у нее течет. — Даже если ты против, это еще не значит, что я... А я хочу от тебя ребенка, и я рожу его — даже если ты против!

— Дело не в том, против я или нет. Ребенка не будет.

— Я не забеременею?

— Не знаю, но знаю, что ребенка не будет.

— Почему ты так уверен?

Почему он так уверен... Этого не объяснить Вере: даже прежней Вере — не говоря уже о новой, у которой течет из носа и которая Льву незнакома. Просто... просто нет ребенка в пространстве судьбы Льва: пространство судьбы открыто ему — и он видит это пространство, и себя в нем видит, но ребенка... ребенка не видит.

— Куда же он денется, ребенок, если я все-таки забеременею?

«Денется»!.. Прежняя Вера не сказала бы «денется». Но «денется» или «не денется» — Лев не видит ребенка в будущей своей жизни. Ни этого ребенка, ни какого-нибудь другого. «Я никогда не буду отцом», — темной тучкой проплывает в его сознании, и тучка медленно уплывает по небу. По небу будущего.

— Я люблю тебя, — говорит Вера.

Она не должна говорить этого сейчас. Но она говорит — и смотрит на Льва.

Есть фразы, которым, чтобы состояться, необходимо быть повторенными. «Я люблю тебя» не имеет смысла, если на встречу ему тут же не послано ответное «И я тебя». Надо очень точно знать, когда именно произносить «Я люблю тебя».

Ответного «И я тебя» сейчас не послано навстречу Вериному. Не может быть послано.

— Лев? Что ж ты пугаешь меня, Лев...

Все это должно было случиться не так. Всему этому, может быть, вообще не надо было случаться. Но такую-то малость, как неизбежность одного события в ряду других событий, Лев давно уже понимает. Только ведь событие «Я люблю тебя» не в том... не в этом ряду. И после такого события — другие, свои неизбежности. О которых сейчас, вроде, не время.

Он пугает Веру. Пугает — чем? Любящего не испугаешь, любящий бесстрашен. Отсутствие вознаграждения не выбьет почвы из-под его ног. Но Вера напугана — отсутствием вознаграждения.

— Лев, ты любишь меня... львеноч?

— Ни-ког-да не называй меня так!

Это не сказалось — это прокричалось. Прокричалось злобно («я злобный?»). Теперь уже обратного пути нет.

— Не буду, — совсем кротко сказала Вера и вмиг прорисовала тем самым такой прямой и честный обратный путь, что Льву стало стыдно.

Он поднялся с кресла и встал на этот прямой и честный путь, чтобы идти по нему. Чтобы пройти его весь — и оказаться рядом с Верой: не прежней Верой, но той, что перед ним сейчас. Чтобы им сесть друг подле друга — несчастным, растерянным, заплаканным, у которых из носу течет. Школьники. Дети. Дети малые.

— Ты куда, Лев?

— Я... в ванную.

Нет, обратный путь, путь к Вере, слишком прям и слишком честен: страшно на нем. И Лев идет в ванную (зачем бы?), включает воду — и вода бежит из крана.

На полочке перед зеркалом — опасная бритва. Подумать только, что кто-то в наше время, вот в это время, пользуется еще опасной бритвой... странные люди. Опасную бритву надо наточивать об такую специальную ленту-не-ленту — и бритва становится невероятно острой. Кажется, остроту проверяют, рассекая волос, — вжик! Один такой вжик — и жизни как не бывало, особенно если запереться в ванной изнутри. На то, чтобы выломать дверь, уйдут часы — и этих часов хватит на... на-на-наа, на-на-наа, на-на-наа-наааа — сороковая симфония Моцарта. И тогда — все. Все?

Только как же в таком случае с пространством его судьбы, где, хоть и нет ребенка, но само пространство просматривается хорошо, — что будет с этим пространством, куда исчезнет оно? И может ли оно так вот взять и исчезнуть, если Лев видит его сейчас: Льву восемнадцать, двадцать, Льву тридцать ... дальше не видно. Пока не видно или вообще не видно? Но там, после тридцати, неважно — на данный момент неважно. На данный момент важно, что за этим его походом в ванную простираются годы — *годы жизни*. Цепочка лет, крепкая цепочка: звено к звену. Если разорвать цепочку прямо здесь, то другой-то конец останется все равно. Что будет с ним... с этими звеньями, звеном к звену? Куда они упадут?

С трудом оторвав взгляд от бритвы, Лев перевел было глаза на свое отражение в зеркале, но не было в зеркале его отражения. Из зеркала смотрел на него дед Антонио: смотрел грустно и строго. Только глаза у деда Антонио были красные.

— Уйди отсюда, мальчик, — сказал дед Антонио и добавил: — Куда-нибудь.

По дороге в комнату Веры Лев знал уже, куда.

— Я к Леночке, Вера, — бросил он на ходу. — Леночка знает, что делать.

Надо к Леночке. Дед Антонио святой. Святой не поймет: святые — они люди ограниченные. А Леночка... Леночка это знает. «Она в грехе живет», — сказала про нее тетя Нора. И потом... Леночка почти посторонний человек, с посторонними легче.

Вот уже сказаны какие-то слова Вере. Вот уже и куртка надета...

17. ПОЛОЖЕНИЕ

Лестница, улица, автобус.

Ища в кармане куртки мелочь, Лев нащупал среди монеток что-то продолговатое. Оказалось — Верин тоненький браслет, золотая веточка... как она попала к нему в карман?

Триста седьмой подкатил сразу же, словно за углом стоял и ждал: Льву опять не удалось ни улицу рассмотреть, ни на дом, где он только что был, хоть взгляд бросить. Окна в автобусе заледенели, не видно ничего — и остановок шофер не объявляет.

— Вы не скажете мне, когда метро «Аэропорт» будет? — спрашивает Лев у сидящей поблизости женщины, чье лицо скрыто за высоко поднятым меховым воротником.

— Она конечная, всем там выходить, — отвечает женщина, не поворачивая к нему лица.

Так и случилось: Лев вышел вместе со всеми. Послал виноватый вздох Усиевичу и спустился в метро: ему сейчас в центр, к Леночке...

— Лев? Господи... откуда? Ты надолго? Ты... зайдешь?

«Нет, я на минутку. Я не зайду. Я вижу, что я не вовремя. Что ты собралась куда-то. Я лучше в другой раз».

— Я зайду. Я надолго. — И голос при этом, подумать только, жесткий!

Леночка отступает в переднюю. На Леночке черное платье и белая накидка. Пахнет шанелью номер пять — это серьезно. А вот, господа, андерманир штук, неплохой вид — «Chanel №5» стоит.

— Ты уходить хотела?

— Да нет пока... Почему у тебя глаза красные, плакал? Случилось что-нибудь?

Лев кивает.

— С дедом?

— Нет, со мной.

Вздох облегчения. Все понятно, в общем: что уж такое может случиться со Львом, если с дедом все в порядке! Дед не допустил бы.

— Ну, рассказывай.

Она произносит это так, словно у них со Львом заведено беседовать по душам. Слово Лев то и дело приходит к ней делиться подробностями своей жизни, и если она чего-то и не знает, то какой-то мелочи, о которой за пять минут можно доложить. Эх, Леночка, Леночка! «Рассказывай!»... Прямо тут, что ли, в передней?

Лев прошел в комнату, отодвинув Леночку к дверному косяку.

Леночке действительно было пора уходить. Владимир Афанасьевич посидит подождет, конечно, сколько-то — он человек терпеливый, но увы, не свободный... А свободных где ж найти... Леночке уже под сорок. Да и не нужно ей как-то свободных теперь. Теперь ей нравится, чего уж греха таить, не когда ее любят — любят-любят-а-пригубят-да-погубят! — ей нравится, когда ее... ой, как немножко стыдно! — боготворят. Или, во всяком случае, предпочитают кому-то... кому-нибудь, все равно кому. Хоть и белобрысой Наташе из какого-то тусклого и среднего учебного заведения: Наташа, конечно, догадывается, что у ее Владимира Афанасьевича есть некая Прекрасная Дама, но пока все тихо. И Леночка с Владимиром Афанасьевичем могут иногда ужинать в «Паланге»... дальше «Паланги» дело, правда, не идет, но кто знает? Сейчас Владимир Афанасьевич ждет ее в «Паланге», тоскуя по своему рольмопсу, — очень уж он любит рольмопс. Иногда Леночке кажется, что рольмопс Владимир Афанасьевич любит даже

больше, чем ее, — что он боготворит рольмопс, но это уж во все какая-то глупость... приходит же такое в голову!

— Ты говори, Лев, я слушаю.

Лев смотрит на Леночкины бусы: красивые бусы, янтарные. Одна бусинка круглая, другая прямоугольная. Круглая — прямоугольная — круглая — прямоугольная — круглая — прямоугольная... и так до бесконечности, и никогда не прервется этот ряд. Теперь уже Лев понимает, что пришел зря. Ему не найти в себе сил рассказать этим бесконечным бусам историю коротенького их с Верой грехопадения. Сколько там у них все длилось... минут пятнадцать? Пятнадцать минут — и прошлой жизни как не бывало! Что знают об этом Леночкины бесконечные бусы... или все-таки знают что-нибудь?

— Ты не слушаешь, — сказал Лев. — Ты спешишь. Ты всегда спешишь.

— А вот и неправда! — сразу же разгневалась Леночка. — Я отнюдь не всегда спешу. Ты ничего не знаешь о моем «всегда»! Мое «всегда» — оно совсем другое. Мое «всегда» — это сидение здесь в одиночестве, в четырех стенах, — сидение часами, днями, годами... когда ты не приходишь!

— Ты сама это выбрала, — напомнил Лев. — Ты выбрала это, когда мне было шесть лет.

Леночка затосковала. Кажется, сейчас ее начнут обличать — гм, пока не обличат всю-без-остатка. А зачем ее обличать? Ее так просто обличать... так просто, что даже неинтересно! Кукушка, да и все.

— Кукушка я, — сказала она вслух и усмехнулась.

— Иди, — сказал Лев. — Тебя рольмопс ждет. И я пойду.

Рольмопс ушиб Леночке мозжечок. Практически парализовал мозжечок, исключив тем самым всякую возможность не только идти, но и вообще двигаться.

— При чем тут... — еле справилась с губами она, — и вообще... откуда... рольмопс?

Леночка ничего не понимает про меня, зачем я ее мучаю? Она родила меня и одела во все желтое. И так, во всем желтом, отдала деду, который меня передел и воспитал. Она боится меня, она не знает, как со мной говорить! А ничего... пусть узнает. Узнает и ужаснется. Ее все только и делали что щадили, но вот и пора кончать с этим.

— Я, собственно, посоветоваться, — сухо начал Лев, оставив рольмопс катиться в неуказанном направлении. — Насчет... что мне предпринять, если я час назад (как бы это пожестче назвать-то, чтобы Леночка окаменела!) переспал с одной моей одноклассницей. Я слышал, что от этого дети бывают.

Леночка окаменела. «Переспал»? «Дети»? У Льва не может быть детей, он сам дитя! Он во всем желтом... как цыпленок. У цыплят детей не бывает, они бездетные все. Вблизи от Леночкиной головы возникли два чужих слова: «Комсомольская правда». Она попыталась найти этим двум словам место, но свободного места в голове не оказалось.

— А что дед говорит?

— Дед ничего не говорит, он пока не в курсе. Ты первая.

Первая... Леночка не умела быть первой. «Первая любовь» — почему-то вспомнилось ей. Первой любовью был Игорек Рождественский, но он только цветы дарил, в основном ландыши. А больше про это Леночка ничего не знала. Она никогда не была первой — и даже никогда не думала о том, кто и что там, впереди. Сейчас она с ужасом озирала пустое пространство перед собой — и в пространстве этом не было ни души. Леночке самой предстояло броситься вперед и... — и умереть там: она просто не представляла себе, что еще можно делать впереди. И даже оглянулась назад, словно ища тех,

кто шел за нею следом — какие-нибудь толпы людей, поджигающих ее сзади: побыстрее, гражданочка, другим туда же, куда и Вам! Но и там никого не было... она, получается, ото всех оторвалась. Совсем одна в мире. Бедная Леночка!

— Как зовут ее?

Лев усмехнулся: Леночка все-таки большая прелесть. Великое счастье родиться от человека такой чистоты...

— Вера, если это что-нибудь меняет. Вера Кузьмина.

— Я знала! — закричала вдруг Леночка, совсем одна в мире. — Я знала, к чему это все приведет... эти свидания, на которые твой дед смотрел сквозь пальцы. Я знала...

— Знала, а молчала, — отнесся Лев. — Могла бы и предупредить: я-то не знал.

Он чужой мне человек, этот Лев. Сухой чужой человек. С ним невозможно говорить. Он... он мне не сын. Нет, все-таки сын: все вокруг знают, что у нее есть сын по имени Лев. Она не может утверждать, будто у нее нет сына. Боже, зачем было рожать его... «дикое мясо из тебя выйдет, голубушка».

— Что-то надо делать, Лев. Надо с дедом поговорить. Я приду к вам завтра, мы поговорим... вместе, втроем.

— Это и все? — спросил Лев, поднимаясь — Тогда я правда пойду. Привет рольмопсу.

— Он... он замечательный человек!

— И семьянин, небось, хороший, — примирительно сказал Лев. — Только отчество у его детей некрасивое: рольмопсовичи.

— Ты не можешь! Ты не можешь... уходить сейчас! — тихонько взвизгнула Леночка. Как маленькая собачка, которой наступили на маленький хвостик.

— Остаться минут на пять? — поинтересовался Лев, стоя в дверях.

— Иди! — Маленькой собачке еще раз наступили на маленький хвостик. — Иди, я тебя не задерживаю. Ты не советоваться приходил — ты глумиться приходил. Поглумился — и будет. Иди!

— А-а-а... — протянул Лев. — Так вот зачем я приходил. Ну так... с тем и ухожу.

И дверь за ним закрылась — бес-шум-но.

Леночка бросилась к двери. Вернулась. Опять села на диван. Телефон зазвонил — или он и звонил все время?

— Леночка, ты разве дома еще? — Это был рольмопс. — Ты приедешь?

— Я... приду. Я пешком приду. Мне надо подумать кое о чем. По дороге.

— Так тебе идти часа два, — заскучал рольмопс, но Леночка уже положила трубку.

А Лев снова ехал в метро. Один в вагоне — словно сразу весь мир взял и оставил его в покое. Ты неинтересен мне, Лев, — словно сказал ему весь мир, и Лев ответил: взаимно.

«Что вообще тебя интересует?» Это Ольга Тимофеевна, учитель истории: лично ее интересует Лев. Она наблюдает за ним уже второй год — с тех самых пор, как преподает у них. Загадочный Лев, признавшийся ей сразу: «Я ненавижу историю». — «За что же?» — «За то, что она мертвая». Так Ольга Тимофеевна никогда не смотрела на историю, но только так она с тех пор на нее и смотрит. Все, что произошло, — произошло и по-другому быть уже не может. Выбора больше нет. Она смирилась с этим за два последних года, но до сих пор не поняла, что интересует Льва: ведь что-то же интересует его! «Хоть бы она отстала от меня! — думает Лев. — Нашла подопытного кролика...» Он не может признаться ей в том, что его не интересует ни-че-го. Потому что у любого фокуса простая

разгадка — и, если знаешь это, остальное неинтересно. Неважно, какая именно разгадка у данного фокуса, — важно, что какая-нибудь разгадка есть и что она всегда простая.

«Мир прост и глуп», — написал Лев на доске, когда никого не было в классе. Но потом все откуда-то узнали, что это Лев написал... узнали или догадались — и сказали об этом Ольге Тимофеевне. И Ольга Тимофеевна накарябала ему в дневнике: «Прошу обратить внимание на поведение сына, внука!» Лев стер тогда буквы «в» и «н» в слове «внука» и осторожно вписал в освободившееся пространство «с». Получилось красиво и грубо: «Прошу обратить внимание на поведение сына, сука!» — и Лев долго любовался этой надписью. Дома дневника его сроду никто не просматривал. Да у Льва дома и было один дед. Дед Антонио, который считал, что неприлично заглядывать в чужие бумаги. Потом Лев засунул исписанные страницы дневника под боковушку обложки — и послание так никогда и не достигло адресата, кем бы он ни был.

Мир прост и глуп. И ездить за советом к Леночке был напрасный труд. Ведь он знает, что ребенка не будет. От такого знания Льву не радостно и не грустно: это так же, как знать, что он никогда не станет историком. Непременность факта не требует отношения, отношение ничего не изменит.

Вот только дед Антонио... Это к деду Антонио везет его сейчас пустой вагон — и рано или поздно доставит на место, скажет: слезай, пора. А вот тогда... Нет, Лев даже не может представить себе, как рассказать обо всем деду. За деда Лев боится: дед святой. Святые жизни не знают. Надо жизнь от них в стороне держать. Но представить себе, что он ничего не расскажет деду, Лев тоже не может.

Положение.

18. СЕЙЧАС ПЕРЕСТАНЕТ

Часы в прихожей показывают полдвенадцатого. Деда Антонио нет дома.

Из вазы на столике в прихожей торчит свернутая в трубочку записка: так работает домашняя почта.

«Вышел пройтись. А то тебя долго нет, и от этого тревожно. Дед».

Лев присел на маленький детский стульчик в прихожей: стульчик стоял здесь с момента появления Льва в квартире деда — и дед Антонио стульчик убирать не хотел. «Ты всегда будешь садиться на него — и становиться шестилетним львенком. И опять все понимать — с этого стульчика».

Лев прикрыл глаза, равнодушно ощутив теперь уже привычную резь под веками.

Станет он сейчас шестилетним львенком? Смотри-ка... стал!

— Дед Антонио, почему бабушку звали «змея»?

— Бабушку звали «змея», потому что она умела свиваться в кольцо.

— А почему говорят, что она «пропала»? Как это — «пропала»?

— Никто не знает как, Лев. Пропала — и все. В этой стране, видишь ли, люди иногда пропадают...

— Дед Антонио, почему ты меня «львенком» зовешь?

— Ты же пока еще не большой лев и мало что можешь...

— А большой все может?

— Конечно, все. Он царь зверей.

— Каких зверей?

— Всех. Вообще всех зверей.

— И людей?

— Про людей — не знаю.

Лев хорошо помнил этот разговор. И пришедшую после него легкость: когда-нибудь я все смогу. Ничего, что пока не все получается: настанет время — и я смогу. Интересно, оно уже настало, это время, — или я до сих пор львенок? «Львенок», — сказала Вера. Значит, пока львенок. Я не могу сделать то, что было сегодня, *не* бывшим. Жизнь линейна — и прошлое неотменимо. На то и существует история, чтобы документировать неотменимость прошлого. Именно поэтому я не люблю историю. Иван Грозный никогда не станет Иваном Кротким. Пушкин никогда не застрелит Дантеса. Революция пятого года не победит никогда. Вот и все, что нужно понять. И никакой лев, никакой царь *не может* изменить того, что уже случилось. Настоящая сила не там, где влияют на будущее, — настоящая сила там, где меняют прошлое. Где Иван Грозный становится Иваном Кротким, Пушкину удастся застрелить Дантеса и революция пятого года торжествует. А историческая необходимость... исторически необходимо только одно: чтобы добро побеждало зло. Но за это у нас, слава Богу, отвечает грамматика: предложение «добро побеждает зло» справедливо всегда, оно в обе стороны справедливо. Так что история может не волноваться.

Он встал со стульчика и направился к двери. Маршруты деда Антонио были ему давно и хорошо известны. Но сейчас это знание не нужно Льву, потому что дед Антонио ушел в никуда. Такого маршрута не знал Лев — и просто пошел как пошло... пошло — налево.

Он направлялся в прошлое деда Антонио — в совсем не-далекое, правда, прошлое... сколько? — час назад, полчаса назад дед, должно быть, шел здесь. Или не шел? Какая разница — шел, не шел! Впервые за весь этот невыносимо длинный вечер Лев улыбнулся: если дед Антонио и не шел здесь, то

что мешает Льву изменить *хотя бы* это, ближайшее к нему, прошлое? А каким образом... да вот каким: берется, значит, желаемое событие — и *назначается* прошлым. Берется смертоносный выстрел Пушкина в грудь Дантесу, в самое сердце, чтоб не мучился, — берется и, стало быть, назначается фактом. И Дантес падает на снег у Черной речки, а Пушкин...

Времени на то, чтобы разобраться с Пушкиным, который отныне жив и невредим и должен, получается, создать великое множество новых бессмертных произведений, у Льва не было — Лев шел по пути деда Антонио или по тому пути, который назначил «путем деда Антонио». Надо постараться не думать, надо постараться стать собакой: собаку нюх ведет, а не мысль. Чтобы не думать, он про себя принялся повторять — в такт быстрым шагам по февральскому снежку: деда, деда, деда, деда... Голова сделалась пуста, и слово «деда» сначала расчленилось на слоги — де-да-де-да-де-да-де-да, — а потом слоги эти потеряли всякое значение и могли быть теперь заменены любыми другими, скажем — при-бе-жа-ли-в-из-бу-де-ти-тя-тя-тя-тя-на-ши-се-ти...

Скоро от детей этих совсем не стало покоя, и Лев побежал. Он бежал по какому-то незнакомому двору, по обеим сторонам которого тянулись проволочные заграждения — сети! — образовавшие узенький коридор. По коридору этому и бежал Лев, отбиваясь от надоедливых детей... — пока сети наконец не вытолкнули прямо перед ним мертвеца: дед Антонио, белый от встречной поземки, медленно брел в направлении к нему. Казалось, дед ничего не видел, но, дойдя до Льва, остановился и отчитался:

— Я не знаю, жив ли я на данный момент.

— Ты, слава Богу, жив, — выдохнул Лев и прижал холодного деда Антонио к себе. — Только ты очень заснеженный.

— Я заснеженный артист республики, — сказал дед и улыбнулся.

Они насилу выбрались из этого проволочного двора: ни тот ни другой не помнили, как очутились тут. А когда выбрались, дед уже знал все подробности этого дня — все, кроме встречи с Леночкой, только так и не говорил пока ничего. Вдруг сказал: яблоко хочешь? — и протянул Льву яблоко.

— Поздно, — крутя яблоко в руках, полуулыбнулся Лев. — Грехопадение произошло уже... Дед Антонио, говори что-нибудь, наконец!

— Что ж говорить? — развел руками тот. — «Грехопадение»! Ну и словарь у тебя... твоё преосвященство! Что говорить-то мне?

— Ну... как все дальше теперь будет!

— Поживем — увидим, — буднично сказал дед Антонио.

Лев подождал еще чего-нибудь, но ничего больше не получил. Кроме короткого вопроса:

— Так Вера одна там сейчас?

И они — на такси, которое дед Антонио мгновенно выколдовал из темноты, — поехали к Вере: 8-я Песчаная, дом 9, квартира 10... а-риф-ме-ти-че-ска-я про-грес-си-я.

— *Восьмая Песчаная?* — с усмешкой в голосе спросил шофер. — Ну, садитесь. Там разберемся.

И — разобрался: опытного таксиста выколдовал дед Антонио. Правда, ехали чуть ли не в два раза дольше, чем на автобусе.

Вера открыла дверь, даже не спросив, кто там. А увидев Антона Петровича, вздохнула настолько явно счастливым вздохом, что Лев просто остолбенел на пороге. Между тем Антон Петрович уже бросил на спинку засаленного плюшевого кресла щегольское свое пальто с бобровым воротником,

осмотрелся по сторонам, сказал: «М-да... невесело тут жить» — и, взяв Веру за руку, повел ее в кухню.

— К чаю у нас что? — услышал Лев, все еще стоя в прихожей.

— Торт... правда, начатый уже, — прошелестела Вера.

— Закончим, — пообещал дед Антонио. — Ставь чайник.

— Он вскипел только что, опять... Я ждала вас все время.

Антон Петрович сразу уселся за стол и, отхлебывая из огромной чашки, которую сам же в буфете и нашел, принял за торт — словно за этим как раз и явился... во втором-то часу ночи. Глядя на него, Вера вдруг сказала:

— Какое счастье, что Вы есть! Какое счастье...

— Садись. — Дед Антонио подвинул к ней стул. — И ты присаживайся, Лев. Чего вы оба выстроились тут передо мной? Я же вам не генерал... я вам... этот, как его, заснеженный артист республики.

— Заснеженный... — повторила Вера и улыбнулась.

— Ну не идиот ли, прости Господи, все эти почетные звания придумывает! Не может человек быть «заслуженным», никак не может — он только заслужившим может быть ... причем не заслужившим вообще, а заслужившим что-нибудь. Скажем, заслуживший пинок под зад... артист республики — извините, конечно, за выражение. «Заслуженный»! Как будто я подарок какой-нибудь — заслуженный кем-то...

Помолчали.

— Антон Петрович, — совсем тихо сказала Вера, — Лев не виноват ни в чем. Это я... я одна.

— Ве-е-ра, — нахмурился Антон Петрович. — Я же вас не судить пришел, Бог с тобой. Я вас утешать пришел: сказать, что дураки вы, мол... и все такое.

— Нет, нет, Антон Петрович, Лев тут совсем ни при чем! — Похоже, она давно приготовила свою речь, и надо было дать ей возможность эту речь произнести. — Лев даже не догадывался, какая я... могу быть. Он в гости пришел, он не знал ничего! Лев ведь меня не любит, это я его люблю — вот и... вот и получилось так, Вы простите меня. Не «простите», конечно... глупо так говорить, я знаю, что нет мне прощения, но Лев — он такой волшебный... таких даже не бывает: как будто Вы его сами... из воздуха... как голубя! Что-то я не то говорю, но Вы только не перебивайте, пожалуйста, а то я запутаюсь. Я и так запутываюсь... что за чем говорить: долго очень репетировала, почти четыре часа. А случилось вот что... я, Антон Петрович, вдруг стала как безумная и себя не узнала даже. Потом, Лев ушел уже, я пыталась вспомнить, когда ж это я раздеться-то успела, — и не вспомнила. Вспомнила только, что я со всеми простилась: с родителями, со школой, с жизнью... даже со Львом простилась и — вниз прыгнула. Я тогда уже все понимала, я понимала, что я делаю, что я *это* делаю. Понимала, а делала — словно не понимала. Все сознание ушло, только радость и страх остались. Радость потому, что все кончено уже было со мною... и ни о чем можно не думать теперь. А страх — что меня отец убьет, он строгий... он, в общем, животное — простите, что я так говорю, но Вы ведь с ним не знакомы. Он тут поблизости на секретном заводе работает и — наверное, от этого — пьет, и бьет маму, и мама тогда кричит — как я, когда она меня бьет, она еще хуже, чем отец бьет... больше! Потому что отец руками бьет, а она обязательно чем-нибудь... даже один раз она меня сапогом била и каблуком попала вот сюда, над глазом... только Вы не волнуйтесь. Все равно она меня убить не может, она опомнится! А отец — он может, я знаю... он такой часто становится совсем темный, страшный.

И я, когда это делала, то понимала: конец мне, всему конец. Но Лев не понимал, я видела! В нем ни страха, ни радости не было — удивление одно... изумление. Я-то уже сразу знала, что потеряла все, — я только потом опомнилась, когда он ушел, а я все повторяла... я точно не скажу, я приблизительно: *о, как ты долго будешь вспоминать та-та-та-та, та-та-та-та-та-та, и в городах задумчивых искать ту улицу, которой нет на плане.* И я понимала, что у меня ничего и не было никогда, — один французский был. Только вот... по-французски больше теперь мне не говорить, нельзя мне стало по-французски. Ну, это ничего, глупости, по-французски говорить и необязательно. Вот... и еще я сказать хотела, что, если отец ничего мне не сделает, а я ребеночка рожу, то, Вы не думайте, никто не узнает, что это от Льва. Я все для Льва сделать могу, но убить ребеночка не смогу, мне жалко очень... Я, честное слово, вот чем хотите клянусь, никогда Льва не выдам! Я же понимаю, что Лев не как все... мы. Что он не просто так на свет появился — жизнь свою прожить. Только вот... глаза ему беречь надо, а он забывает. Так что... так что Вы не ругайте меня, Антон Петрович, ради Бога.

Антон Петрович замотал головой так, что у него щеки запрыгали.

— Нет, девочка, нет, я... я защищать тебя буду! Святость в тебе...

— Не надо! — крикнула Вера и испугалась, что кричит. — Не надо, Антон Петрович, миленький, не надо так со мной, я не стою. Я боюсь, когда так...

— Святость в тебе, — угрюмо повторил Антон Петрович. — Ее ни в ком не осталось — в тебе только осталась. Ты ничего не говори родителям, ладно? Ты попробуй промолчать, а как живот видно будет — я тебя к себе заберу. И станешь ты со

мной жить — до самой смерти моей. А Льва мы к маме отправим.

Насчет Льва дед Антонио пошутить хотел — видит Бог, только пошутить хотел. Не надо было так шутить, дед Антонио.

— К маме, к маме, — пропел он, чтобы как-то усугубить... и тем самым на нет свести смысл страшных своих слов.

Лев испуганно вскинул голову:

— Деда... так ты меня — от себя? Из-за этой вот...

— Что значит — «этой вот»? — собрался было срочно остановить его дед Антонио, но не успел.

— Из-за этой вот... кошки? Ну, вперед тогда, деда! Весело тебе с ней будет. На старости лет.

Вот, стало быть, и все.

Спустя три — три? — года разорвал, значит, Лев наконец серебряную паутинку. Крепкую серебряную паутинку в руках Антонио Феери. Паутинка лопнула со свистом — и под свист этот Лев пулей вылетел из комнаты.

— Львенок! — так дед Антонио не кричал никогда: он весь в крик ушел — ничего не оставив за пределами крика. И криком вышел — весь, потому что, когда, выкрикнув «львенок», снова открыл рот, слов во рту уже не было. Дед Антонио глотнул воздуха — немного, четверть глотка — и начал медленно крениться вбок, пока не почувствовал, что падает, и не ухватился за край стола.

— Антон Петрович!.. — Бросившись к нему, Вера едва успела удержать его от падения лицом вниз.

Она трясла деда Антонио, пытаясь вспомнить, где у них в доме нашатырный спирт, но тот уже пришел в себя и тихо попросил:

— Верочка, капли бы какие-нибудь — сердечные, валокордин или что...

Рюмка с каплями тут же и возникла перед его глазами, благоухая эфирными маслами, — дед Антонио легонько поцеловал на лету запястье Веры.

— Ой, что Вы, Антон Петрович... — смутилась та, но руки не отдернула. — Может быть, скорую помощь, а? Вдруг что-нибудь... совсем серьезное?

— Нет, лучше бы такси, — попросил дед Антонио и покачал головой: — Какой же я дурак, дурак старый... испортил все вам обоим! Но Вы умница, за Вас я покоен — и потом у нас с Вами уговор, правда?

— Правда, — солгала Вера.

Она долго стояла у окна, прижав к груди руки и как будто все еще продолжая видеть так долго плутовавшее, но наконец нашедшее 8-ю Песчаную и теперь увозившее деда Антонио такси. Потом подошла к зеркалу и некоторое время смотрела на свое отражение, пытаясь представить себе, что беременна. Но ничего такого в зеркале не отразилось — отразились кожа да кости и сосульки волос...

— Кошка! — сказала она своему отражению и, осмотревшись по сторонам, деловито добавила: — Ну что ж...

А дед Антонио, полускрючившись на заднем сидении такси, ехал и с удивлением прислушивался к стуку сердца, которое то и дело сбивалось — словно забыло какую-то мелодию и, все пытаясь и пытаясь вспомнить, никак не могло найти правильного рисунка... останавливалось — и возвращалось к самому началу, где опять топталось на месте и опять ошибалось в количестве тактов.

— Ну чего, отец, плохо? — спросил шофер.

— Пройдет, — пообещал дед Антонио.

— А то! — заверил его шофер. — Ты не бойсь, я тебя как пушинку домчу!

И домчал-таки как пушинку — не тряхнув вообще ни разу и ни слова не говоря.

Пушинкою же взлетел дед Антонио на третий свой этаж, даже не подумав по дороге, что сердце — сердце, которое болело, — предпочло бы лифт.

— Львенок, прости меня! — крикнул он с порога.

Лев сидел на маленьком стульчике в прихожей. С открытыми глазами — воспаленными, распухшими. Уснул? Впрочем, крик деда Антонио он, скорее всего, глазами и услышал — глаза внезапно ожили, и бросились к деду Антонио, и прильнули к нему, и ввели его в гостиную, где дед Антонио сразу же не сел даже, а осел в кресло.

— Нехорошо тебе?

— Хорошо, львенок, хорошо. Теперь хорошо. Я так испугался, что... что уже не увижу тебя. Что никогда не увижу! — Он сделал несколько осторожных вдохов и сморщился от боли. — Прости меня.

— Да что ты, деда...

— Просто скажи: прощаю, мол, — и все.

— Прощаю, мол, — испуганно проговорил Лев. — Я врача вызову.

— Нет-нет, я сам, — одними губами попросил его дед Антонио и закрыл глаза.

На лбу его вдруг образовалось множество капелек. Лев стер капельки. Они были ледяными. Дед начал задыхаться.

Лев сорвался было к телефону, но замер на пути, пригвожденный к месту волной холодного воздуха: она примчалась сзади, от оставленного в кресле деда Антонио. Одним шагом перемахнув через эту волну, Лев громко сказал ей одно только слово: «нет» — и волна отхлынула. А Лев держал уже руки деда Антонио в своих руках — и руки деда Антонио были

даже холоднее, чем — только что — ледяные капельки на лбу. И еще руки были безжизненными. Как это может быть... этого же никак не может быть, дед Антонио здоров, он на сердце никогда не жаловался, у него все хорошо, а сердце сейчас отпустит!

Сейчас отпустит.

Сейчас отпустит.

Сейчас.

— Деда, деда... — зашептал Лев, — деда, послушай-ка: во ку... во кузнице, во ку... во кузнице, во кузнице молодые кузнецы, во кузнице молодые кузнецы! Они... они куют, они... они куют, они куют, приговаривают, к себе Дунюшку приманивают: «Пойдем, пойдем, Дуня, пойдем, пойдем, Дуня, пойдем, Дуня, в огород, в огород, сорвем, Дуня, лопушок, лопушок!» Слышишь, деда? Слушай, что я говорю тебе: во ку... говорю, во кузнице, во ку... во кузнице, во кузнице молодые кузнецы, во кузнице молодые кузнецы! Слушай, что я говорю: они... они куют, они... они куют, они куют, приговаривают, к себе Дунюшку приманивают...

Лев скандировал пустые эти, неизвестно как залетевшие в его обезумевшее сознание слова громким, страшным шепотом — скандировал с яростью, с нечеловеческим отчаянием, сжимая в такт случайному, но безупречному ритму руки деда Антонио, которые — не отвечали.

— Что? — вдруг открыл глаза дед Антонио, сердцем поймав настойчивое чередование ударных и безударных слогов.

Но Лев ничего уже не мог ответить на это «что»: не осталось у него сил — никаких. Ни единой силы не осталось. Кружилась голова, метались точки перед глазами — и знобкий липучий пот тек по всему телу. Он отпустил руки деда Антонио.

Дед Антонио потер грудь и вопросительно посмотрел на Льва — совсем, вроде, не понимая, что происходит и почему Лев такой потный.

— Голова закружилась, — отчитался Лев. — Сейчас перестанет.

КАК ПРЕВРАЩАТЬ ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ В КРАСНЫЙ

Пусть ассистент, продемонстрировав публике плотную черную повязку, завяжет вам глаза и выведет вас в центр манежа. Туда тем временем вынесут металлический штатив с висящими на приделанных к нему крючках тремя атласными плащ-накидками (две из них красные, третья — черная). Сделайте вид, что пытаетесь вслепую снять со штатива красный плащ и, «не сумев» его найти, покажите зрителям жестами, что удивлены и огорчены.

Откликнувшись на просьбу ассистента помочь вам найти среди плащей плащ красного цвета, помощник из зрителей подойдет к штативу и укажет на безусловно красный плащ. После того как ассистент подведет вас к этому плащу и положит на него вашу руку, резким движением сдерните плащ с крючка. Плащ, еще мгновение назад бывший красным, оказывается — зеленым. Накиньте плащ на плечи и, покачав головой, снимите и отбросьте его в сторону.

Вызванный ассистентом из публики второй помощник, разумеется, укажет на другой красный плащ, но история повторится: сдернутый вами с крючка плащ превратится из красного теперь уже в синий. Примерьте его и отбросьте так же, как первый.

Теперь потребуйте, чтобы вам развязали глаза. Выразительно взглянув сначала на ассистента, потом на помощников из публики, подойдите к оставшемуся на штативе черному плащу, сдерните его с крючка — и черный плащ у всех на глазах мгновенно превратится

в красный. В нем и уходите за кулисы, подобрав по дороге два других плаща.

Комментарий

Этот вот уже несколько веков известный трюк требует большой предварительной подготовки. Сшейте три красных полотнища из тонкого атласа с зеленым, синим и черным полотнищами так, чтобы в результате получилось три двойных покрывала, лицевая и оборотная стороны которых имеют разные цвета. Изготовьте из этих покрывал своего рода «пододеяльники» с вырезом 30 x 30 см. К внутренней стороне «пододеяльников», строго напротив выреза, прикрепите зеленую, синюю и красную «стропы»: сильно дернув за них вы сможете вывернуть «пододеяльники» наизнанку. Именно это вам и предстоит незаметно проделывать, когда вы будете сдергивать плащ с крючка.

Осталось потренироваться, чтобы вырез при накидывании плаща всегда оказывался с внутренней стороны и не был виден тогда, когда вы бросаете плащ на пол и забираете его с арены.

Легкость скольжения внешней и внутренней поверхностей «пододеяльника» относительно друг друга обеспечивается гладкостью атласа. Следует только помнить, что удерживать эти атласные «пододеяльники» в руках будет не так просто.

19. НА ПАМЯТЬ ОБ ЭТОЙ ВСТРЕЧЕ

— Печальный клоун Петя Миронов.

Так он и отрекомендовался, когда услышал из-за двери нетерпеливое феериевское *кто-там-да-кто-же*, спешившее навстречу звонку.

— Петя Миронов?.. — обмер Антон Петрович: это была его первая встреча с печальным клоуном, и вообще-то только однажды упомянутым Леночкой: слава Богу еще, что имя запомнилось!

Он отступил в прихожую — и, едва только Петя Миронов вошел, неожиданно для себя обнял печального клоуна, которому тоже ничего не оставалось, как неуклюже обхватить Антона Петровича за плечи.

Так и стояли они: смущенные и не понимающие, выходить из странного этого положения или не выходить, пока Антон Петрович не спросил:

— Из странного этого положения выходить-то будем как-нибудь?

— Будем, — сказал печальный клоун Петя Миронов и разжал руки со словами: — Извините, Антон Петрович.

— Милый Вы человек, — покачал головой тот. — Вот... вину мою на себя взяли. А ведь это я сам на Вас набросился. Так что Вы лучше давайте-ка... извиняйте меня: это я от отчаяния на Вас набросился.

— Вы... Вы в отчаянии? — Петя Миронов решил не искать других выражений.

Антон Петрович подтвердил, что в отчаянии. Объяснил, что жизни ему осталось максимум полгода: рак — и что узнал он об этом три дня назад, от кого узнал — неважно, узнал — и узнал, но тут все точно. Рассчитывал, дескать, от

болезни сердца умереть, как интеллигентный человек, — так нет же!

— Ну, и... — взяв Петю Миронова под локоть, Антон Петрович повел ошарашенного гостя на кухню, — никому об этом не сказал и говорить не собираюсь. Вы, получается, первый и последний. Сейчас чай пить будем. Вы с чем пришли-то?

— Ой, — смутился Петя Миронов и завывивал из сумки на боку конфеты какие-то, коробку. — С конфетами. — А у самого слезы во все глаза.

— Да я не про это «с чем», — улыбнулся Антон Петрович.

— Тогда я ни с чем, — сказал Петя Миронов сквозь слезы во все глаза и положил коробку на краешек стола. — Вы... — он взглянул Антонио Феери в самое сердце, — действительно никому сообщать не будете... об этом?

— Никому. Скажите спасибо, что Вам сообщил.

— Спасибо, — сказал Петя Миронов и сел на стул.

Он ведь правда пришел к Антону Петровичу ни с чем...но с этим ни с чем не к кому ему было больше прийти. Даже если бы жива была мама, обсуждать с мамой это свое ни с чем ни в коем случае не следовало: мамам полагается быть уверенными в том, что их дети в полном порядке. Особенно когда те в полном беспорядке, а именно в полном беспорядке и пребывал печальный клоун Петя Миронов. Ибо жизнь казалась ему б-о-л-е-е н-е-в-ы-н-о-с-и-м-о-й. Вплоть до вот... последних секунд, превративших его собственные невзгоды в пыль и даже уже развеявших эту пыль по ветру.

— Антон Петрович, тогда...

— Только не вздумайте сейчас заявить: тогда я пойду!

— Да что Вы, Господь с Вами... Я что сказать хотел: тогда, хотел я сказать... тогда я за этим, считайте, и пришел: чтобы

Вы мне сообщили... Я только не понимаю, куда мне с этим теперь — деваться.

— Некуда Вам с этим теперь деваться, — развел руками Антон Петрович. — Простите меня: не должен я был. Но я правда... от отчаяния. И еще от того, что Леночка... Елена Фертова, дочка моя, говорила про Вас однажды. Появился, говорила, у нас недавно еще один такой, как ты, — печальный клоун, Петя Миронов.

— Она так сказала? Спасибо ей... Ох, Антон Петрович, я теперь уж с Вами буду... до конца. Вы же знаете?

— Знаю, знаю, Петя. Только Вы не бойтесь ничего — я-то ведь ничего не боюсь. Я просто совсем не готов: у меня Лев. Внук мой, Лев, семнадцать лет, десятый класс вот-вот заканчивает. И Леночка, дочка... проблематичная. Но главное — Лев. У него любовь... или не любовь, но Вера, она одноклассница его, может от него забеременеть, то есть уже забеременела... или не забеременела, я не знаю, я растерян, я не готов. Мне надо познакомить Вас со Львом, Петя, он не справится с жизнью без меня, он капли в глаза закапывать забывает, его Ратнер пасет... ох, что ж Вы так совсем ничего не знаете-то! Ратнер — это экстрасенс один, они на каждом шагу теперь — и еще больше будет, скоро уже будет... это за-раза такая страшная, понимаете?

Печальный клоун Петя Миронов смотрел на него и понимал — все.

До этого он видел Антонио Феери только на арене. И только один раз: Петя пришел в цирк на Цветной слишком поздно, Антонио Феери не выступал уже. А потом вдруг дал представление, одно-единственное, «Фокусы, изжившие себя»... — говорили, для того дал, чтобы убить Маневича, — и якобы вскоре после этого Маневич действительно

умер. Но Петя не верил. Даже тогда не верил, когда афиша с кроликом, у которого лицо Маневича оказалось, сразу после представления пропала: на другой день пришли люди на работу, а афиши — нету. Как никогда и не было. И на месте афиши — пустое место. Но все равно Антонио Феери не мог хотеть убить... пусть и Маневича... смешно. Достаточно ведь просто один раз Антонио Феери увидеть, лицо его увидеть — и все же понятно же сразу!.. Петя был на «Фокусах, изживших себя», о них потом молва шла по всей Москве — люди чуть ли не демонстрации у цирка устраивали, чтобы программу повторили, но дело не в этом. А в том, что после представления Петя Миронов попросту заболел болезнью под названием «Антонио Феери». Вот уже скоро три года он думать ни о чем не мог, кроме вот: как познакомиться с Антонио Феери... и — говорить с ним, изредка навещать, помогать ему в... во всем просто, все равно в чем! Просто — *быть* возле этого человека, потому что *не* быть около него — раз есть он, вот же, прямо рядом, в этом городе, в этой профессии... хорошо, не в этой, а в смежной, — глупость и опять глупость. Это как жить в Париже и не бывать на Монмартре.

Но вся беда в том, что был Петя Миронов воспитанный мальчик. Воспитанный мамой в Лебедяни — тихой яблочной Лебедяни под Липецком, где только и можно растить воспитанных мальчиков. Понимающих, что... глупость и опять глупость, но не приближающихся к кумирам. Шанс встретиться в каких-нибудь естественных обстоятельствах, говорил себе Петя, у них имеется, остальное — судьба. Однако судьба оказалась скупа: Антонио Феери дал, значит, одно представление и в цирк на Цветной, где Петя тогда уже начал работать, не вернулся.

— Я так всегда хотел встретиться с Вами, Антон Петрович... — сказал печальный клоун Петя Миронов. — Я так хотел учиться у Вас — всему!

— Учитесь, — сухо ответил Антонио Феери. — У Вас есть полгода. Но это — максимум. Успеть бы познакомить Вас со Львом. Так с чем Вы пришли?

— Ни с чем, — опять признался Петя Миронов. — Просто мне надо было или прийти к вам, или — или тогда уж... или тогда уж все смысла не имело.

— А Вам зачем смысл?

— Ну как же... — сразу начал сбиваться Петя, — как же «зачем»? Когда Вы из форганга только выходили, всем было понятно, что смысл, Ваш смысл, — есть...

— *Всем* было понятно? — поднял брови Антон Петрович. — *И Вам* было понятно? Так в чем же он, мой смысл, — не поделитесь?

— Вы же ба-лан-си-ро-ва-ли! — с улыбкой сумасшедшего напомнил ему Петя. — Между правдой и неправдой балансировали... между да и нет, между «я» и «не я» — между всем и всем! Этого никто не умеет... балансировать: все обязательно либо там, либо тут, а Вы — между. И я хотел бы так... — мне кажется, что в этом-то как раз и искусство, все искусство: быть — между.

— Что ж Вы такое говорите-то... — опешил Антон Петрович.

— Неправильное? — ужаснулся Петя.

— Да в том-то и дело, что правильное! Только сам я обозначить этого все никак не мог, ну никак не мог... а Вы пришли — и обозначили, печальный клоун Петя Миронов... Надо мне посмотреть Вас в работе... обязательно бы.

— Да у меня только так... у меня только репризы отдельные...

— Значит, репризы и посмотрю... вот со Львом специально приду и специально на Вас посмотрю.

Нет, он, печальный клоун Петя Миронов, не заслужил такого: чтобы сам Антонио Феери, *специально*, его репризы пришел смотреть... Умиравший, Господи, Антонио Феери! Что же делать, что ж теперь делать...-то!

— Вы, Петя, об этом не думайте... зачем думать об этом! Так бывает... всегда.

— Я об этом не думать — не могу, Антон Петрович... в плохое время мы встретились.

— В самое хорошее, Петя: между жизнью и смертью — ба-лан-си-ро-вать будем! Чудесное слово такое, задумчивое... «ба-лан-си-ро-вать». А потом я качнусь в одну сторону и — поминай как звали. Но Вам еще долго после меня — ба-лан-си-ро-вать.

— Можно все-таки спросить, Антон Петрович... как Вам стало известно?

— У меня приятель один старый, фронтовой, есть. Врач. Вот я к нему и ходил на обследование, заметив кое-что у себя... на себе. А между нами врать, видите ли, не принято.

— И он ничего не назначил... лечения, там, или чего-нибудь?

— Петя Вы... Миронов, не терзайте себя. Какое лечение, дорогой мой! Химия? Умрешь так же скоро, только очень ослабевшим... а мне зачем — ослабевшим?

— Вам — незачем, — честно сказал Петя.

Они молча пили чай с конфетами.

— Я вот только что, — сказал вдруг Антон Петрович, — название для аттракциона придумал... если бы сейчас его делать стал: «Ассорти». Жалко, что Вы раньше — лет эдак десять назад — с конфетами этими не пришли! Глупые у меня

названия были — «Полчаса чудес», «Фокусы, изжившие себя»... — все «с отношением», а зачем оно — отношение? Не надо мир обольщать — и воевать с ним не надо, надо вот так: ассорти... Подарить Вам это название — для Вашего спектакля будущего или просто на счастье, подарить?

— Подарить! — слабым эхом откликнулся Петя Мионов. — Я с ним что-нибудь сделаю... Я для Вас одного сделаю — можно?

— Делайте, — распорядился Антон Петрович. — Что угодно делайте, только назовите «Ассорти». На память об этой встрече.

20. НЕТ

В поликлинике сказали вот что: деду надо чаще бывать на воздухе. После очередного, сезонного, обследования сказали. Молодой розовощекий участковый (выглядел он так, что это надо было через запятые писать: молодой, розовощекий, участковый!) надавал рецептов и велел деду не забывать свою поликлинику.

«Своей» была поликлиника «старых большевиков». «Старых большевиков», которые пока сохранялись, но однажды должны были вымереть все... — и что тогда с поликлиникой, кто в нее потом ходить будет, когда все вымрут?

Дед Антонио не понимал, почему именно эта поликлиника приняла на себя ответственность за его здоровье. Старым большевиком дед никогда не был. «Меня, видите ли, прикрепи-ли, — произносил он по слогам и разводил руками. — Наверное, решили: ой, какой хорошенький, прикрепим-ка его во-о-он туда и станем любоваться».

— Ну па-ап, — не понимала Леночка, — чего ты, я прямо не знаю! Ты же заслуженный, вот и прикрепили...

— Туда на коне въезжать надо, с шапкой наголо, — пытался оправдаться дед.

— «С шашкой наголо» это называется, — нервно поправляла Леночка. — Вояка...

А что, и вояка! Просто воевал по-другому... но, кстати, бригада цирковая только по передовой и ездил — вполне могло шарахнуть как следует. Между прочим, сам генерал Ефимов ему тогда сказал — покурить к нему подошел после выступления: «Ты, артист, голову-то не вешай. Под пулю лезть — дело, как говорится, не хитрое. А вот голубя белого из ниоткуда достать — живую птицу мира, Духа Святого, как говорится...»

На этом месте генерал Ефимов притормозил, потому что голос подвел: захрипел. Но он тут же взял голос в руки — цыц, дескать! — и достойно закончил высказывание: «Дай-ка расцелую тебя, как говорится, за голубя этого... я голубя живьем не помню когда последний раз и видал, а люблю».

И расцеловал. Хоть и грозный, говорят, был: с кем попало не расцеловывался. Контузило его потом, генерала Ефимова, — и все бредил он, рассказывали, белым голубем, Духом Святым. С тем и демобилизовался.

Так что было дело, Леночка, воевали... Только поликлиника старых большевиков тут все равно ни при чем, конечно.

Льву нравилось сопровождать деда сюда. Шли от Маяковской, мимо Театра Сатиры и почти тут же заворачивали налево, потом еще раз налево, в крооохотный переулочек, в самом начале которого старых большевиков и прятали от большевиков — прочих. Лекарства там были чуть получше — кажется, врачи немножко поопытнее — вроде как, но уж такой чтобы совсем головокружительной разницы не особенно наблюдалось. За исключением одного момента: коридоры были пусты. Печальных очередей, как в других поликлиниках, видеть не приходилось: лечащий врач назначал время — и пациент входил в кабинет по часам, а освободится — следующий уже на подходе. Так что в коридорах Лев, дожидаясь деда Антонио, обычно один сидел. «Вы к кому?» — с удивлением спрашивали его иногда люди-в-белых-халатах. «Я... ни к кому, я деда жду».

С сердцем у деда ничего угрожающего, слава Богу, не оказалось. «Сердца не обнаружено, — пошутил Олег Григорьевич (молодой, розовощекий, участковый!), аккуратно снимая с лица Льва счастливую улыбку и пряча ее в нагрудный карман халата. — Но зато имеются другие органы, поддерживающие жизнедеятельность!»

Лев не стал острить в ответ: готовых острот, которых требовала ситуация, у него с собой не было. Так что он ограничился тем, что было, — спасибо да бутылкой армянского коньяка, давным-давно кем-то подаренной деду Антонио. Коньяку Олег Григорьевич обрадовался привычной радостью советского врача.

Из поликлиники пошли как обычно. Всю дорогу дед Антонио сетовал на отсутствие у него сердца: «Вот урод-то Царя Небесного! Без сердца живу...» Остановились на Пушкинской, у фонтана. «Посидим?» — предложил дед.

Присели на спинку наполовину запорошенной снегом лавочки.

Они часто сидели здесь летом — выбирая подветренную сторону, чтобы брызги от фонтана падали на них.

— Когда я умру... — начал было дед, но Лев остановил его:

— ...ты никогда не умрешь. Ты не из таких. Ты, в самом крайнем случае, перейдешь в качественно новое состояние.

— Ага, — недолго думая согласился дед. — Когда я перейду в качественно новое состояние, ты приходи сюда иногда летом — брызги ловить. Я здесь с тобой разговаривать буду. Спросишь о чем-нибудь — я и отвечу. Спросишь, который час, а я отвечу — он посмотрел на часы: — полпятого, дескать.

— Я не дам тебе перейти в качественно новое состояние.

— Мучитель! — вздохнул дед Антонио и озаботился: — Вообще никогда не дашь? Я, собственно, к тому, что рано или поздно это со всеми случается... И со мной случится — причем умру, заверяю тебя, не хуже других!

— Не сомневаюсь. — Лев рассматривал след от снежинки на запястье: один брызг.

Так оно, конечно, и будет, дед Антонио правильно говорит, — и как он, Лев, сможет этому воспрепятствовать? Никак. Такого-фокуса-я-не-знаю.

— Вот... научил бы ты меня мгновенье останавливать, чем так просто сидеть!

— Нашел себе Мефистофеля, Фауст! — смеется дед Антонио и ест снег со спинки скамейки. Потом говорит голосом будничным — вторничным, например, когда до выходных еще почти неделю пилить: — Я ведь, Лев, простой советский фокусник, нет?

— Нет! Ты великий советский фокусник.

— Великих советских не бывает — бывают или великие, или советские, — по секрету сообщает дед Антонио, педантично оглядевшись вокруг. — А потом... не в наше, милый, время мгновения останавливать... пусть лучше не задерживаются. Проходите, товарищи, не задерживайтесь у выхода!

— Да ну тебя!.. Снег прекрати есть, не то весна раньше времени настанет.

Дед Антонио оттирает уста кончиком шарфа: правда твоя, дескать, — и потом ни с того ни с сего повторяет:

— Простой, значит, советский фокусник... тут и весь тебе мой сказ Бажова. Но ты, Лев... — И — ух-какой-взгляд из-под включенных снежных бровей: такого Лев, пожалуй, не знает!

— Но... я, деда? — Лев снова чувствует себя шестилетним.

Что-то случилось с дедом Антонио: он задыхается... устал, наверное, домой пора, хватит тут прохладиться, — однако ж перчаткой своей (железной?) сдавливая предплечье Льва:

— ...ты, Лев, права не имеешь! Не имеешь права быть простым советским — даже и просто простым не имеешь права быть. — И с усмешкой: — Не за то воевали!

Поди разбери его...

— Ты о чем, дед Антонио?

— Да так. Это я так, Лев.

Ясное дело: «так». Только бы вот понять еще, каким быть-то тогда... А с другой стороны, на простого советского он, пожалуй, давно уже не тянет.

«Ты хоть знаешь, что вокруг тебя?» — то и дело спрашивала его историчка и страдала.

Ты-хоть-знаешь-что-вокруг-тебя? М-м-м... андерманир штук, прекрасный вид — Советский Союз стоит! Конечно, он знал — кто ж не знает? Другое дело, что знание такое было ему вроде как и ни к чему: на нем, знании этом, никогда ничего не удавалось построить. Да и не пытался он, впрочем, строить — другие строили. У них получалось. Ясное дело: чтобы получалось — надо пытаться. Но Лев и пытаться не хотел. Даже не то чтобы все вокруг было чужое... свое было, что говорить! Свой город, своя семья, своя школа. Свой цирк. Но существовало все это — свое! — в системе координат, по поводу которой не было у Льва никаких собственных представлений. Те же представления, которые были... — не его были. Он случайно ловил их в воздухе — в густом московском воздухе, где собирались и плотно сосуществовали представления всей страны... даже не то чтобы представления — слухи, мифы, сплетни. Слухи-мифы-сплетни этой огромной, говорили, страны, у которой конца-края нету. Огромная страна, говорили, строила коммунизм... то есть некую обще-ствен-но-ис-то-ри-че-ску-ю-фор-ма-цию — определенного типа. Льву это было все равно. Так же все равно, как и то, что где-то в этой стране есть у него, говорили, некий отец, даже и не один... а чертова прорва отцов, на которых Лев, кстати, поставил крест — на всех своих отцах. Да и на остальном — тоже.

«Ты-же-просто-темный-человек-Лев», — говорила ему историчка и страдала.

А сам он — не страдал. Откуда-то было известно ему, что рано или поздно все так и так изменится. На место отца-подкидной-доски придет отец-инженер, потом — отец-гребец, потом — рольмопс, на место социализма — коммунизм или что-то вроде, за ним — опять, небось, капитализм... или что у них там, по порядку. Льва интересовало другое. То, что одинаково — сегодня, завтра, всегда.

— Дед Антонио, а Бог к нам в гости придет? — Это Льву сколько же... кажется, пять лет, до переезда к деду еще.

— Бог по гостям не ходит, ему некогда.

Некогда...

Вот с Богом Лев бы охотно поговорил — и тогда, и теперь. Не так бы поговорил, как обычно: ты ему что-нибудь говоришь, а он молчит... — нет, по-настоящему бы поговорил.

— Скажите, Бог, — сказал бы Лев, — Вы правда все можете?

И Бог ответил бы, все или не все.

Если все, тогда... пусть ничего не меняется! Пусть дед Антонио не становится старше. Пусть Леночка всегда сидит на софе у себя в квартире и не навещается к ним время от времени. Пусть Лев не переходит из класса в класс, не заканчивает школы.

Что-ты-будешь-делать-когда-вырастешь?

Кирилл Брянцев сразу тогда определился: «Буду в партию вступать», а Лев добавил: «Вступать, и вступать, и вступать... и опять вступать». Про себя же самого Лев сказал: «Я не знаю». Он и правда не знал. Он боялся будущего. Боялся новизны его, боялся, что оно придет и потребует чего-нибудь... чего у Льва нету. И придется сказать: «Этого у меня нету». Тут будущее выгонит его, как дети однажды выгнали из скверика рядом с Леночкиным домом, потому что у Льва ничего с собой не было, — куда он тогда пойдет?

— Ты понимаешь, — сказал он деду, машинально подавая ему руку и помогая сойти с эскалатора, — у меня же нету ничего... вообще ничего нету. — Протиснувшаяся сбоку от них положительная женщина покачала головой: дескать, вот горе-то!

— То есть... как? — дед Антонио остановился, перекрыв дорогу полному эскалатору народа.

Народ повалил на них сверху, как снег.

— Просто совсем ничего у меня нету! — кричал Лев сквозь снег. — Но хуже всего не это, деда! Хуже всего, что мне и не надо ничего...

— Как же так, как же оно так? — одними губами спрашивал дед Антонио, пытаясь заглянуть ему в глаза, но снова и снова будучи заслоняем очередным ворохом несущейся мимо одежды.

— Я не знаю... но все не годится, все не годится никуда. Мне не на что опереться!

— На меня обопричь! — на ходу предложил ему какой-то бугай и толкнул его так, что Лев почти упал головой в снег.

Опереться пришлось на деда Антонио, возникшего рядом.

— Эх, Лев, Лев... большой ведь уже мальчик!

Большой? Большой. А ничего — ни-че-го-шень-ки, деда! — не умеет он, мальчик этот. И сам ты ничему не научил его... ничему такому.

По приходе Лев принялся сортировать рецепты, только что выписанные в поликлинике: сам дед этим никогда не занимался. Среди рецептов обнаружилась записка — от молодого, розовощекого, участкового: «Позвоните мне, Лев. Это очень важно».

— Давай обедать начинать, деда? Там картошка в холодильнике и котлеты вчерашние... хватит ведь нам?

— И останется! — отозвался дед, направляясь к кухне.

Оставшись один в комнате, Лев набрал номер телефона.

— Ты чего такой? — спросил дед, когда Лев, войдя в кухню, плюхнулся на стул.

— Какой — «такой»? Я нормальный.

Отобедав на скорую руку, Лев улетучился-по-делам — так он сказал деду Антонио.

На улице мела метель, андерманир штук, плохой вид — снег стеной стоит.

«Последний дедов снег?» — сам у себя спросил Лев.

И ответил сам себе: «Нет».

21. ВПЕРЕД, ВЛАДЛЕН СЕМЕНОВИЧ

Глазков в продаже не было — вот что интересно. И посмотрели на Владлена Семеновича с недоумением: «Какие “глазки”?» Какие, какие... для дверей, вот какие! Можно подумать, он в молочный зашел — про глазки спросить! Вон, пройдитесь по подъездам да посмотрите, на скольких дверях глазки, — чего ж недоумевать-то? Где-то ведь их берут, если на стольких дверях! Тем более — в такое время живем, когда все под подозрением. Так что бдительность — первое дело.

Глазок Владлену Семеновичу понадобился для того, чтобы наблюдать за квартирой под номером 3, а то надоело ему дверь на каждое топтанье в подъезде открывать, да и перед жильцами двух других квартир неудобно — будто он за ними следит! В то время как за ними-то ему чего следить? Живут там две семьи бесцветные — и пусть себе живут.

А вот с квартирой под номером 3, как ему чувство порядка подсказывает, лучше разобраться: входить туда входят, а вот назад... назад далеко не все выходят! И на душе от этого — неприятно. Не квартира, а Бермудский треугольник какой-то — недаром, наверное, под номером 3. Однажды туда некий гражданин даже с ребенком зашел, так хоть бы ребенка назад выпустили!.. Ан нет, и ребенок пропал: как все в этой квартире пропадало.

Владлен Семенович, не будь дурак, справки-то про квартиру, конечно, навел. Первым делом в 09 позвонил и женским голосом попросил телефон и адрес Научно-исследовательского института четвертичного рельефа.

— Какого рельефа? — злобно переспросили в трубке.

— Чет-вер-тич-но-го! — отчеканил Владлен Семенович, чуть не забыв, что он женщина.

— Нету телефона такого в справочной базе Москвы. И адреса такого нету, — через подозрительно короткое время сказала телефонистка и мстительно добавила: — И рельефа такого нету.

— Есть! — взвизгнул Владлен Семенович. — Причем прямо у меня в доме.

— Тогда у себя в доме и спрашивайте, гражданочка!

Позлившись сколько положено на беспробудное-русское-хамство, Владлен Семенович решил попытать счастья как мужчина и на поприще этом достиг больших успехов. Телефона НИИ четвертичного рельефа ему, правда, все равно не дали, но дали объяснения: этот институт мог быть учреждением закрытого типа, а телефоны учреждений закрытого типа в справочники не вносятся. Кроме того, дали совет: «Вы, мужчинка, в Академию Наук СССР позвоните. Или в Комитет. Дать телефоны?»

Вместо этого Владлен Семенович позвонил рыбаку-милиционеру и без обиняков спросил:

— Лексеич, у тебя тут в третьей квартире кто, извини, проживает?

— Это какая ж такая третья-то, — озаботился тот, внезапно замолк, а потом спросил с неизвестно откуда взявшейся личной неприязнью: — А тебе зачем?

— Да вот... — разбежался было Владлен Семенович, однако Бог спас — затормозил: — Ходят тут, видишь ли, всякие.

— И пусть ходят, пусть, — принялся увещевать его Лексеич, — им там ходить положено, у них там институт мозга.

— Какого мозга, когда четвертичного рельефа? — возмутился Владлен Семенович.

— Четвертичного рельефа — это в первом подъезде, глаза-то разуй! — возмутился Лексеич в ответ. — Ты ж меня про третью квартиру спрашиваешь, которая в восьмом подъезде,

правильно? Там институт мозга как раз и есть, но так его просто в народе называют.

— А не в народе?

— Вот... ты прямо банный лист! Не в народе его «НИИ человеческих ресурсов» называют, доволен?

— Лексеич, ты извини... — понимая, что перебарщивает, осторожно прилип еще раз Владлен Семенович, — но почему в одном и том же доме два НИИ, в то время как на всей остальной улице больше вообще ничего нету? И потом, тот НИИ, который четвертичного рельефа, он замурован...

— Если б я знал, что ты такой, — совсем странно начал Лексеич, но не закончил, а опять предался увещеваниям: — Тебе-то что до первого подъезда, когда ты в восьмом живешь? Живешь в восьмом — и живи. Кого там в первом подъезде замуровали — дело не твое. Мое это дело, потому как участковый там я. А к улице претензии — так смотреть надо было как следует, когда менялся!

На этом месте Владлену Семеновичу вдруг стало казаться, что не такие уж они и друзья с Лексеичем.

— Не нравится мне все это, — сказал он, обобщая.

— Не нравится — не ешь, — поставил крест на их дружбе Лексеич.

А глазок Владлену Семеновичу скоро достали — по знакомству. По цепочке знакомств: началось все с жетонов, которые вместо пятаков в метро опускают (их один с завода по десять штук за тот же пятак продавал), а кончилось — магазином скобяных изделий: там глазок, стало быть, и отыскался, под прилавком. Прибалтийский глазок, как выяснилось... хотя, казалось бы, за чем им там у себя в Прибалтике наблюдать-то особенно?

Владлен Семенович, между нами говоря, мастер на все руки был. До этого в глаза глазка не видел, а поставил — за полчаса.

Как тут и был глазок! Припадай теперь к нему и смотри себе вдоволь на лестничную площадку — благодать. Правда, люди через этот глазок инопланетян напоминали — яйцеобразными, значит, формами... шутила, небось, с нами Прибалтика! Впрочем, Владлена Семеновича никакими формами было не удивить: он у себя в метро всяких форм насмотрелся, так что и яйцеобразность ничуть его не отвлекала — человек в корень зрел.

Потом Владлен Семенович еще стремянку себе небольшую купил, чтобы на уровне глазка сидеть, значит... а то ведь, думал он, ноги затекать будут. И совершенно правильно, надо сказать, думал! Вот только сидеть на стремянке не очень удобно было: прислониться не к чему — так что пару раз, задремав, он сверзился на пол и не больно, но обидно расшибся. После этого Владлен Семенович решил тело к стремянке привязывать, да потом плюнул и заставил себя получше ночами высыпаться — чтобы днем бдительности не терять. И пошло дело: выспится как следует, правила личной гигиены соблюдет, пару бутербродов с чем Бог послал приготовит и — к глазку, на стремянку! Потому что основной народ в институте мозга уже к девяти собирался.

Первой всегда приходила некая особа полупреклонного возраста и полоумного вида, которую Владлен Семенович про себя окрестил «Лотта Ввеймаре». Правда, отнюдь не потому окрестил, что хотя бы смутное имел представление о достославной фрау Кестнер, а исключительно потому, что лет уже двадцать праздно таскал в памяти эту самую «Лотту Ввеймаре», не умея воспользоваться ею по назначению. «Лотта Ввеймаре» досталась ему от одного рыбака-очкарика на берегу Москва-реки: снимая с крючка вертлявую рыбину, тот злился и все приговаривал: «Да что ж ты, милая, крутишься-то, как Лотта Ввеймаре!» Теперь Владлен Семенович страшно

радовался тому, что у никчемного до этого имени наконец появился носитель — и какой! Его Лотта Ввеймаре тоже, вроде той рыбины, постоянно крутилась во все стороны: будто хотела проверить, не подсматривают ли за нею. Проверить этого Лотта Ввеймаре, впрочем, никогда не успевала, ибо дольше секунды взгляд ее безумных глаз ни на чем не останавливался.

Едва только Лотта Ввеймаре исчезала из виду, в пространство глазка немедленно — будто и правда следя за нею — падал страшный включенный дядька, похожий на волка. Ключей у него с собой никогда не было, и, убедившись в этом лишний раз, он закрывал глаза, нащупывал над дверью звонок и принимался давить на кнопку. Лотта Ввеймаре обычно выходила не сразу: выждав минуты две-три, она с каждым раз новым удивлением осторожно приоткрывала дверь, словно никого не ждала, — и, воспользовавшись моментом, волк с немыслимой ловкостью просачивался в щель. Лотта Ввеймаре вздыхала, качала головой и, еще раз пристально оглядев лестничную площадку, опять закрывала дверь.

Дальше начиналось время, которое Владлен Семенович называл «час между волком и собакой». В дверь на страшной скорости один за другим вбегали мало чем — кроме пола, да и то не сильно — отличавшиеся друг от друга научные, видимо, сотрудники. Каждый из них непостижимым образом напоминал как Лотту Ввеймаре, так и волка — впрочем, Владлен Семенович решил, что виноват в этом все-таки прибалтийский глазок. В хорошие дни сотрудников набиралось до пятидесяти — и было совершенно непонятно, как все они могут помещаться в квартире, которая по величине едва ли сильно отличалась от остальных.

Последним на работу обычно приходил бесцветный человек со здоровенным псом, и на этом «час между волком

и собакой» заканчивался: у двери в квартиру 3 наступал временный покой.

Если бы дело ограничивалось только сотрудниками, Владлен Семенович — однажды досконально изучив их, — может быть, и прекратил бы свои наблюдения. Но кроме сотрудников имелись посетители — вот они-то и беспокоили Владлена Семеновича. Причем беспокоили, прежде всего, тем, что редко кто из них выходил обратно. На первых порах Владлен Семенович заподозрил совсем неладное — убийство и все такое, — но потом с огромным просто облечением увидел, что уже мертвые, по его расчетам, люди снова появлялись у двери под номером 3 — и бесстрашно переступали порог квартиры. А однажды случилось нечто совсем необъяснимое: у двери института мозга вдруг обозначился, причем в штатском, Лексеич, у которого, по мнению Владлена Семеновича, отродясь и мозга-то никакого не было. Мысль о том, что Лексеич наконец всерьез заинтересовался происходящим здесь, даже не успела навестить Владлена Семеновича: Лексеич молниеносно вынул из кармана ключ и вошел в институт, как домой. Увидев это, Владлен Семенович неожиданно для себя плюнул на пол со словами: «Тьфу, нечистая сила!» Потом он долго размышлял о том, почему и зачем сделал и сказал так, а не как-нибудь иначе, но ни к чему положительному не пришел, а то, к чему пришел... — не стоит об этом.

Тем более что Лексеич обратно в тот день так и не появился.

Раза три Владлен Семенович подлавливал Лотту Веймаре возле почтовых ящиков, когда она забирала институтскую почту. Непринужденно, как ему казалось, вынимая из своего ящика «Вечернюю Москву», он пробовал завести с полоумной разговор, но полоумная смотрела на него так, словно полоумным был он. Хотя держал Владлен Семенович себя

пристойно — всего-то обычно и спрашивал: почту, дескать, вынимаете? — Лотта Ввеймаре вместо ответа постоянно давала ему один и тот же прямой вопрос: «Вы, мужчина, в своем уме или как?» — «Я-то в своем уме, — отвечал он, — а вот Вы — в своем?» — «Я Вас не понимаю», — всякий раз признавалась она, и признание ее звучало честно. После третьего раза Владлен Семенович решил больше не искушать судьбу и забирал свою газету после того, как Лотта Ввеймаре уже побывала у почтовых ящиков. И то ли ему это казалось, то ли в самом деле Лотта Ввеймаре испытывала признательность за его отсутствие, но иногда, припав к глазку и видя возвращающуюся к себе Лотту Ввеймаре с почтой под мышкой, он ловил благодарный взгляд в свою сторону. «Вот дура-то!» — качал тогда головой Владлен Семенович и отчего-то терял покой.

А двадцать первого февраля Лотта Ввеймаре не пришла на работу, и волк с закрытыми, как всегда, глазами напрасно минут десять нажимал на кнопку звонка, — после чего он даже открыл глаза и осмотрел дверь. Через некоторое время кто-то из подошедших позднее сотрудников отпер ее для волка своим ключом.

Лотта Ввеймаре на работе, стало быть, так и не нарисовалась, за почтой в положенное время никто не вышел — и Владлен Семенович, на удивление себе самому, незамедлительно решил этим воспользоваться: позвонить в дверь института и сообщить тому, кто выйдет на звонок, что почта уже пришла. Неважнецкий, конечно, повод для звонка, но лучше чем ничего.

Звонить, однако, не понадобилось: видимо, из-за отсутствия Лотты Ввеймаре жизнь института сегодня не подчинялась законам повседневности — дверь была приоткрыта. Вперед, Владлен Семенович.

22. ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО Я НЕ СУЩЕСТВУЮ

Мать честная, курица лесная!.. Именно так — образно — и подумал Владлен Семенович, вглядываясь в длинный светлый коридор, начинавшийся сразу за дверью и сильно напоминавший больничный. У истока этого коридора, видимо, как раз и должна была сидеть Лотта Веймаре, но не сидела. Напоминала о ней только растянутая по вертикали кофта цвета уныния, повешенная на спинку стула так продуманно, что каждой из пол по обеим сторонам стула не хватало до паркета одинаково маленького количества сантиметров. «Умеет кофты вешать!» — восхитился автором этой бытовой композиции Владлен Семенович, сжался в комочек, чтобы не слишком бросаться в глаза, и бесшумно покатился по коридору.

Бросаться в глаза было, правда, некому: коридор пустовал. Осторожно продвигаясь вдоль закрытых дверей по обе его стороны, Владлен Семенович удивлялся отсутствию у сотрудников института — и-н-с-т-и-т-у-т-а м-о-з-г-а! — всякого стремления к рациональной организации труда: ни на одной из находившихся в поле его зрения дверей не было указано ни имени, ни должности размещенного за ней лица — только порядковый номер кабинета. «Как они тут находят друг друга, ума не приложу!» — откровенно признался себе Владлен Семенович, причем в тот самый момент, когда два человека в синих халатах повезли нечто, напоминавшее операционный стол с водворенным на него телом, из одной произвольно взятой дальней двери в другую произвольно взятую дальнюю дверь. Владлен Семенович людьми в синих халатах замечен, слава Богу, не был — он перекрестился и осторожно покатился дальше,

размышляя о том, в какую бы из дверей закатиться, чтобы уж не прогадать. Ему мечталась, например, сумрачная научная лаборатория (полки вдоль стен, полные прозрачных склянок с трепещущими в них посетительскими мозгами), но отнюдь не улыбалось закатиться в какую-нибудь пошлую библиотеку. Поэтому он укатывался все дальше и дальше, между тем как коридору, казалось, конца не было.

Постепенно Владлен Семенович начинал понимать, что институт мозга и НИИ четвертичного рельефа суть одно и то же учреждение, занимающее почти весь первый этаж восьмиподъездного дома. И, видимо, не только первый этаж, но и подвал: на пути то и дело встречались перекрестки, причем по обеим сторонам каждого перпендикулярного коридорчика были видны ступени, ведущие вниз. Незванный гость чувствовал себя попавшим в подземный город и время от времени испытывал удушье, несмотря на то, что находился только на верхнем уровне сколько-то-уровневого помещения.

Устав катиться, Владлен Семенович остановился, набрал в легкие побольше воздуха и неслышно, как он умел, приоткрыл одну из дверей. За дверью обнаружилась одинокая дама с закрытыми глазами — из «посетителей». Он еще раньше обращал на нее внимание: тучная, что твоя нива, дама эта, почти не умещавшаяся в глазке, приходила в институт приблизительно раз в месяц. Сейчас она сидела в каком-то страшном кресле, напоминающем электрический стул, и производила впечатление, мягко говоря, не живой. Приглядевшись, Владлен Семенович заметил, что дама все-таки жива и дышит, воздал хвалу милосердному пока Богу и снова вышел в коридор. Прямо навстречу ему вывернулся откуда-то один из сотрудников, тоже старый

знакомец, волк, но он, как ни странно, вообще не обратил внимания на Владлена Семеновича, словно тот был невидимым. Владлен Семенович даже обернулся вслед: не опомнится ли, дескать, торопыга и не удивится ли... — ничуть не бывало!

Тем не менее, едва ли следовало искушать судьбу — и на скрип двери впереди Владлен Семенович, бесшумно юркнув в как раз подвернувшийся коридорчик, спустился на уровень ниже. Уровень был, может, и не последним, однако Владлен Семенович на исследование вертикалей не решился и осмотрелся пока по горизонтали. Подвал оказался оборудованным какой-то сложной техникой с разноцветными лампочками, которые, вроде бы, не нуждались ни в чьем неусыпном контроле и беспечно перемигивались в приятной полутьме. В их обществе Владлен Семенович немножко успокоился, но ухо продолжал держать остро: исключать возможность внезапной встречи с подземным стражем было никак нельзя.

Он двинулся вперед, решив не сворачивать: ему хотелось дойти до замураванной стены и убедиться в том, что институт мозга и есть НИИ четвертичного рельефа — или наоборот. Однако не сворачивать не получилось: коридор начал петлять и явно уходил вправо, непосредственно перед этим вдруг опустев от оборудования. Пребывание здесь утратило смысл: смотреть оказалось совершенно не на что. Подземелье напоминало бункер, сооруженный на случай войны или стихийного бедствия. Переходов на более низкие уровни, о которых размечтался было Владлен Семенович, вроде, не наблюдалось. Он отправился назад, но, дойдя до третьего перекрестка, засомневался, здесь ли сворачивал... Постепенно становилось понятно, что так уж совсем

просто найти обратный путь не удастся. Владлен Семенович постепенно начинал взмокать. Как-то вдруг само собой вспомнилось, что он пенсионер... в сущности, старик.

Весь потный, в-сущности-старик метался по подземному лабиринту, пока ситуация не разрешилась, прямо сказать, вульгарно: в одном из коридорчиков обозначилась на стене белая табличка с черной надписью «Пожарный выход» и красной стрелкой внизу, показывавшей вправо. Двигаясь по стрелкам, он в конце концов оказался у двери, запертой на массивную железную задвижку, причем с его стороны. Взявшись за нее, Владлен Семенович сразу ощутил: задвижка хорошо смазана и без труда поддается... Осталось приготовиться к худшему — за дверью могло оказаться что угодно.

Оказалась за дверью всего-навсего обледеневшая каменная лестница, которая вела наверх. В клетчатой рубашке с короткими рукавами и рваных трениках василькового цвета Владлен Семенович вышел в незнакомый двор. Температура окружающей среды была явно не весняная, градусов 15, минус. Кругом снег. Время — обеденное. Пришлось затрусить на месте, изображая из себя этакого... пенсионера-бегуна — знать бы еще ему, в какую сторону направиться! Ай, да ладно, побежал налево и, обогнув дом, оказался на улице. Мороз щипал... ну, все понятно.

Улица была пустой и незнакомой вообще. Владлен Семенович снова выбрал левый уклон и, изображая бег (бежать... как бежать — было трудно: одышка), направился вперед. Улица оказалась длинной, ни на одной из сторон не обозначенной и ни с какой другой не пересекающейся. «Елки-палки, я хотя бы в Москве или нет?» — все больше отчаивался Владлен Семенович, понимая, что замерзает всерьез. Ниче-

го не оставалось, как устремиться к первому попавшемуся подъезду и позвонить в первую попавшуюся дверь.

— Кто там? — У-у-у... тут определенно никаких шансов: голос женский, пенсионный. Я бы на ее месте не открыл, что бы ни сказали.

— Меня зовут Владлен Семенович, и я... я потерялся. Я раздет...

— Интересно! — правдиво прозвучало из-за двери, и дверь приоткрылась, задержавшись на цепочке. Над цепочкой были седые букли и чуть подведенные черным глаза цвета речной воды. Женское лицо производило впечатление не то чтобы состарившегося — скорее, какого-то пергаментного, ветхого.

— Ну и вовсе Вы не раздеты... — разочарованно протянули из-за двери. — Вы одеты. Только очень легко.

— Пустите меня, пожалуйста, я вот-вот простужусь... уже простудился.

— Насовсем пустить? — уточнили из-за двери.

— Нет-нет, — крикнул Владлен Семенович, — всего на несколько минут, я вызову такси и уеду.

— А у меня телефона нет... от меня Вам такси не вызвать. Тут автомат около дома, мы по нему обычно звоним.

— Тогда две копейки дайте мне, пожалуйста, — откровенно уже стуча зубами, тихо попросил Владлен Семенович.

— Вы бедны? — посочувствовали из-за двери.

Владлен Семенович отвернулся от речной воды и направился к выходу из подъезда с намерением сесть на лавочке около дома и замерзнуть насмерть.

Так что даже и не спрашивайте, как и почему он уже минут через пятнадцать оказался завернутым в одеяло и сидящим у стола.

— Выпейте водки и закусите пастилой, — услышал он. Рука с идеально подстриженными ноготочками подвинула к нему почти доверху наполненный водкой граненый стакан и розетку с желтоватой пастилой. — Могу еще предложить варенье, крыжовенного.

— Нет, — прохрипел Владлен Семенович. — Пастила — это к водке самое оно.

— Вы не подумайте только, что я Вас спаиваю, — зависло в воздухе. — Просто всегда, чтобы избежать простуды, лучше выпить. Кстати, Вы мне представились, а я Вам — нет. Меня зовут Софья Павловна Королева.

— Очень приятно.

— Вы далеко отсюда живете?

— Я не знаю, где я сейчас... — Владлен Семенович покопился на глухую оконную штору.

— Ладно, потом сообразим. Видимо, Вам надо принять горячую ванну с горчицей, не то воспаление легких заработаете. В нашем возрасте это опасно. Я пойду воды налью.

— Спасибо Вам. А Вы... Вы разве не спросите меня, как я оказался в таком положении?

— Нет, — уже от двери ответила Софья Павловна. — Мне это безразлично.

Войдя в ванную, он увидел на стиральной машине коричневые вельветовые брюки, пуловер в тон брюкам и белую рубашку. Рядом с ними лежал толстый темно-синий халат.

— Это все от моего мужа осталось. И много чего еще осталось, верхняя одежда тоже.

Когда Владлен Семенович, облаченный во все мужнино, снова вошел в кухню, Софья Павловна, взглянув на него, вздрогнула и пробормотала: «Извините, ради Бога...»

— Это Вы извините, — поняв в чем дело, ответил незванный гость. — Я сейчас пойду уже. Вещи потом занесу при случае.

— Нет-нет, чаю выпейте и посидите немного, — запротестовала хозяйка. — Нельзя на мороз разгоряченным, Вы что!

Название улицы, на которой жила Софья Павловна, не сказало Владлену Семеновичу ровным счетом ничего.

— Неудивительно, — улыбнулась та. — Улицу нашу никто не знает... да и откуда бы, спрашивается? Название ее ни на одном из домов не указано, в справочниках она не значится — да и нигде не значится.

— Я тоже живу на улице, которая не значится нигде, — на 4-й Брестской... Но у нас, по крайней мере, в начале улицы название на первом доме стоит.

— Это все разные степени засекреченности, — кивнула Софья Петровна. — 4-я Брестская, видимо, где-то у Белорусского, там трудно совсем засекретить. А наш район — один из самых засекреченных в Москве, мы около Марьиной рощи находимся... гиблое место. Многие даже в уме повреждаются, — доверительно сообщила она, понизив голос. — Считают, что и их самих не существует. Я тоже на пути к этому.

— На пути к...

— К сумасшествию, — помогла ему Софья Павловна. — Пока муж был жив, мы еще друг друга как-то убеждали, что реальные, а теперь... теперь я в сомнении, но тут это у всех. Хотя, казалось бы, именно у меня сопротивляемость выше должна быть, как раз из-за мужа: мужу-то моему про такие засекреченные районы Москвы все было известно. По службе.

Из дальнейшего разговора, который затянулся до позднего вечера, выяснилось, что скончавшийся три года на-

зад муж Софьи Павловны работал начальником первого отдела... неважно где, Владлен Семенович, да и какая теперь кому разница. Таких, как муж, и поселяли на засекреченных улицах, или чаще — в засекреченных районах Москвы, состав населения которых тщательно контролировался... Вы ведь понимаете, Владлен Семенович, Вы и сами на засекреченной своей улице не случайно, наверное, оказались. Ну, вот видите, участковый помог — доверяет Вам, значит, да и как не доверять, когда имя у Вас Владлен, понятно же...

Владлен Семенович про имя смолчал, но признался, что на 4-ой Брестской он, вообще-то, новенький.

— Наверное, раз новенький, не вполне Вы там себя хорошо чувствуете, правда ведь? Вы там хоть разговариваете с кем-нибудь?

Владлен Семенович рассказал о Соколовых, об Иване Петровиче.

— Никакой он не Иван Петрович, имя явно придуманное! — рассмеялась Софья Павловна. — И Соколовы — придуманная фамилия: больно нейтральная. Да в таких местах под своими именами и не живут.

— Я под своим живу, — не по делу встрял Владлен Семенович, с осторожным состраданием взглянув на Софью Павловну.

— Не бойтесь обидеть меня, — поспешно сказала она. — Я же сама предупредила Вас, что нахожусь на пути к сумасшествию. Да и Вы на том же пути, об заклад бьюсь. Только Вы в самом начале пути...

А ведь точно!.. И Владлен Семенович рассказал ей о своих наблюдениях за 4-й Брестской, о людях, словно избегающих жить, о двух НИИ в его доме.

— Вот-вот, — кивала Софья Павловна. — Но на самом деле все это, конечно, абсолютно не так, как Вы рассказываете. На самом деле, 4-я Брестская, хоть и засекреченная, — вполне нормальная улица... только Вам, Владлен Семенович, уже начинает мерещиться всякое. Как и всем нам, из таких районов. А вот что касается Вашей истории про эти НИИ, то, извините меня, она — бред: Институт мозга, я точно знаю, совсем в другом месте находится. В общем, Вы бредите — и поверьте, я знаю, что говорю: сама брежу.

— Но как-то ведь я оказался здесь, у Вас! — воскликнул Владлен Семенович, упрямо не желая расписываться в собственной невменяемости.

— А почему Вы так уверены, что Вы *здесь, у меня?* — с интересом посмотрела на него Софья Павловна. — Это крайне сомнительно. Если учесть, что я не существую.

23. ПАЛ АНДРЕИЧ ПРОТРЕЗВЕЛ

Стыдно, стыдно, стыдно. Так говорил себе дед Антонио, но ничего не предпринимал. А должен был! Должен был, да все откладывал: куда откладывал? Словно в столбняке находился: собирался каждый день — и ни с места.

Что касается Льва, то Лев нес какую-то чушь — полную и окончательную, как победа социализма во всем мире. Будто бы в школе все до одного знали: Вера потому больше не учится, что уехала в Ленинград, к бабушке, где сейчас ее родители. Бабушка якобы болела — и там, в Ленинграде, собрались все родственники... А вот Вериной улицы, 8-й Песчаной, Лев, по его словам, не нашел. Песчаные улицы с номерами начинались 1-й и заканчивались 3-й Песчаной, дальше ничего не было.

— Как же это — «ничего», Лев? Не может быть, чтобы ничего!

— Да нет, улицы-то там и дальше есть разные... да только вот никаких Песчаных с номерами нету уже. С номерами только две, плюс просто Песчаная... Новопесчаная, имеется еще площадь Песчаная и Песчаные переулки, их тоже сколько-то, но они не в счет. А триста седьмой автобус, на котором мы тогда к Вере добирались, больше от метро «Аэропорт» не ходит.

— Триста седьмой оттуда и вообще никогда не ходил, насколько я помню...

— В тот вечер ходил! И мальчик еще в нем ехал, Эдик, который всех пассажиров пальчиком трогал! И Вера сказала, что она Эдика этого не впервые видела — он, будто бы, всегда всех трогает...

— Кто-то из вас... — из нас — с ума сходит, Лев. Закажи такси, таксист любую улицу сам найдет.

— Как таксист может найти то, чего больше нет? Я и в справочную звонил... не существует, говорят, такой улицы в Москве.

— Однако в тот вечер таксист ведь нас на нее привез!

— Вечер такой был, деда... особенный такой вечер. И Вера была, и 8-я Песчаная была. Но исчезли.

— Да как же исчезли-то, Лев?

— Как бабушка...

Наконец — после двухнедельного перерыва — Лев снова пошел в школу... слава Богу, что хоть это. А то деду Антонио неловко было бы в третий раз звонить завучу и рассказывать про головокружения, которые, дескать, теперь у Льва случаются постоянно, — не было у Льва таких уж постоянных головокружений. Лев просто оставался дома — словно чувствовал что-то... но как, как мог он чувствовать, когда неоткуда было ему узнать правду про деда Антонио? Старые большевики исключались: он с пристрастием допросил участкового врача о состоянии своего здоровья... — тот был спокоен, как дитя! А Митя, фронтовой Митя, под пистолетом ничего Льву не сказал бы.

Но сегодня Лев вернулся в школу — так что, даст Бог, перестраховщик он старый, этот дед Антонио!

Переждав полчаса после ухода Льва, Антон Петрович набрал справочную и минут десять поругался с телефонистской, пытавшейся втемяшить ему, что не мог, ну не мог он посещать кого бы то ни было две недели назад на 8-й Песчаной улице, ибо нету такой в природе. Была ли когда-нибудь раньше... да кто ж знает, гражданин? Может, теперь это улица Сальвадора Альенде, но вряд ли: вроде бы, та была раньше 7-я... Вот 2-я Песчаная теперь — определенно Георгиу-Дежа. Кто живет на Сальвадора Альенде 9,

квартира 10?.. а Вам кто нужен-то, гражданин?.. Вот Вера Кузьмина там уж точно не живет, там вообще не Кузьмины живут!.. Нет, не могу сказать, кто живет. Во-первых, это не 8-я Песчаная, про которую Вы спрашивали, а Сальвадора Альенде, про которого... про которую Вы не спрашивали. Во-вторых, Вер Кузьминых в Москве десятки, если не сотни... Не-со-вер-шен-но-лет-ня-я? Несовершеннолетних, гражданин, в телефонных справочниках вообще не указывают! В милиции разбейтесь... в отделе по делам несовершеннолетних.

Дед Антонио насилу отдышался после этой перепалки. Сердце колотилось, как... как два сердца! Надо было срочно переодеться в выходное и ехать искать 8-ю Песчаную, потому что завтра у Льва могут опять начаться «головокружения», а послезавтра... послезавтра может не наступить. Переодеться, стало быть, в выходное — и вперед.

Он заказал такси по телефону. Куда ехать... на 8-ю Песчаную, я покажу где.

Уже через двадцать минут ухмыляющийся таксист открывал переднюю дверцу явно полоумному пассажиру — по-вечернему одетому и надушенному старцу с портфелем... в белых перчатках (дед Антонио, Вы же не в цирк, ей-богу... вот уж поспешишь — людей насмешишь!).

«К Соколу!» — скомандовал старец так, как если бы командовал: «К Яру!»

Когда часа через полтора таксист отчаялся ездить по задворкам, дед Антонио отпустил его. На улице Сальвадора Альенде, которая действительно напоминала 8-ю Песчаную. Правда, в тот вечер, помнится, шел сильный снег, а сейчас ясно, морозно... эх, лучше б наоборот: может, запомнилось бы отчетливее! Надетое на деда Антонио выглядело — здесь,

среди этих Песчаных — нелепей некуда: эго он забылся-то, облачаясь в «выходное», совсем рассеянным стал перед смертью. Вроде и в цирк уж сто лет как не ездил, а старые привычки к «выходному» определенного типа, гляди-ка, все живут. Устроить, что ли, представление прямо здесь? Вот, господи, андерманир штук, дурацкий вид — иллюзионист на снегу стоит! Ха-ха.

Дом 9 находился прямо перед ним и тоже как будто бы ничем не отличался от нужного ему по улице 8-й Песчаной. Может, 8-я Песчаная все-таки действительно называется теперь улицей Альенде... Дед Антонио поднялся на третий этаж первого подъезда — вот она, квартира 10. Та же дверь или нет — поди пойми: тогда он так волновался, что не до двери ему было... Нажал на кнопку звонка. И еще раз. И еще. Никто не открыл.

Такой шутки с собой дед Антонио не ожидал никак. Любое развитие событий было бы лучше этого. Он вдруг сразу сильно устал и, подложив под себя портфель, опустился на ступеньку лестницы, ведущей наверх. Сидеть здесь и ждать? Время какое-то совсем глупое, позднее утро. Если хозяйка квартиры, кем бы они ни были, на работе, ждать придется часов шесть. А если это родители Веры, и они в Ленинграде... Посидев минут двадцать, дед Антонио решил было уже подниматься, однако увидел прямо перед собой красивую молодую женщину из квартиры 11: она собралась выходить, но, заметив его, остановилась в дверях. И не было в ней ни испуга, ни недоверия:

— Простите, Вы ждете кого-нибудь?

— Может быть, — честно сказал дед Антонио и отрекомендовался: — Антон Петрович. Фертов.

— Маша. Я могу Вам чем-нибудь помочь?

— Вы очень поможете мне, если скажете, как называлась ваша улица раньше. Потому что я совсем не уверен, что я оказался там, где мне хотелось бы оказаться.

— 7-я Песчаная. Она сравнительно давно стала улицей Альенде.

— Значит, я и в самом деле сижу не там, где надо. Мне 8-ю Песчаную вообще-то найти бы... это очень важно.

— Вижу, что важно, — улыбнулась хозяйка квартиры 11. — Вам только цветов не хватает — при таком параде.

— Это я сдуру, — сказал Антон Петрович, — сам не рад. Но в действительности все прозаичнее гораздо. Я по делу на 8-ю Песчаную, а не... не жениться, как может показаться. — И он развел руками: дескать, не судите строго безумного старика.

— Восьмая, восьмая, восьмая... — зашевелила губами Маша. — А Вы знаете, боюсь, что восьмой-то и нет никакой. Исчезают улицы...

— Как Вы сказали? — с испугом спросил Антон Петрович.

— Переименовываются, я имела в виду! — поспешила исправиться она. — Может быть, та, что идет параллельно нашей, и была когда-то 8-я Песчаная, но я не помню.

— А со старожилками знакомы какими-нибудь?

— С теми, которые на лавочках сидят? Это обычно и есть старожилы... но сейчас зима у нас, вот ведь незадача. Хотя, знаете что... тут неподалеку Пал Андреич живет, Мартынов. Смешной старикан такой, с отцом моим очень дружил. Вот кто Вам нужен: он сюда, на Песчаные, не то в тридцатых, не то в сороковых переехал! Я к нему свою младшую, Настю, на скрипку вожу. Жалко, пьет он... Ну что, хотите, провожу Вас к Пал Андреичу? Если он, конечно, еще трезвый... — Тут Маша улыбнулась и, посмотрев на часы, щедро пообеща-

ла: — Да нет, пока должен быть как стеклышко, времени начало первого только!

На вид Пал Андреич оказался сердитым, что Антону Петровичу немедленно понравилось. Маша ушла почти сразу, представив их друг другу: «Пал Андреич Мартынов, скрипач и пьяница, — Антон Петрович Фертов, фокусник и... и пижон». Рассмеялась, бодро поправила Антону Петровичу бабочку, извинилась за все и, смутясь, добавила: «Я Вас сразу узнала, детей ведь в цирк водят».

Общий язык они с Пал Андреичем нашли мгновенно — и тут же вдвоем принялись смеяться над нарядом деда Антонио. А отсмеявшись и как следует (за раньше уже откупоренной перцовкой) отзнакомившись, заговорили о вещах странных, странных...

— Фокус ведь не в том, — Мартынов подкинул слово «фокус» так высоко, как мог, и подождал, пока оно долетит до Антона Петровича, — чтобы Вам, господин фокусник, убедить меня — который тут пятьдесят почти лет прожил! — в наличии поблизости от нас 8-й Песчаной... Вы же не признания этого факта от меня добиваетесь? Вы же от меня добиваетесь, чтобы я Вам путь туда объяснил... А я пути — не знаю.

— Но у нас ведь умозрительный разговор происходит — на скрипочке, так сказать, господин скрипач! На скрипочке, а не на ба-ра-ба-не! — При необходимости Антон Петрович тоже умел делать жесткие... жестковатые акценты. — Так что... мне практической-то пользы от Вас и не надо. Соответствующую Песчаную я и сам найду, уж поверьте. Но можете Вы — как старожил — мне объяснить, что за чертовщина тут у Вас с Песчаными происходит? Вот чего я от Вас добиваюсь, дорогой Вы мой Пал Андреич!

— Ах, можно подумать, что эта чертовщина только у нас тут и только с Песчаными происходит! Вы вот, скажите, на Усиевича-то откуда переехали?

— Из центра, — раскаялся Антон Петрович.

— Ну-у-у... — Мартынов закатил глаза в небеси, — тогда простительно. Вы там в центре совсем как дети малые, что с Вас возьмешь! Я, представьте себе, долго размышлял о том, почему... Ведь, казалось бы, наоборот все должно быть: историческая застройка, ошибки в датировке, поздние реконструкции и прочее... Так нет же! Верите тому, что видите, — и баста. Я решил в конце концов, что это близость Кремля так на вас действует.

— Кремль-то тут при чем? — обиделся за весь центр Москвы Антон Петрович.

— При том. При том, что пропитываетесь вы там — в центре, вблизи от Кремля, — духом времени, насквозь пропитываетесь!

— А вы тут, на окраинах?

— Ну, мы... мы все-таки проветриваемся иногда, — хохотнул Мартынов и мечтательно заглянул в пустую бутылку из-под перцовки.

— Вы только не лезьте туда, Пал Андреич, — попросил осторожный собутыльник.

— Да зачем же! — Пал Андреич сходил на кухню и принес оттуда новую бутылку, теперь шампанского. — Хорошему гостю, — объяснил, — хорошие напитки. Шампанское, между прочим, французское. Взятка. За скрипку.

Выпили шампанского.

— Вы мне, Антон Петрович, вот что скажите: неужели Вы всерьез верите, что там у Вас — ммм... в сердце нашей родины — хотя опять же, конечно, непонятно, что сердцем

считать, — все так, как и выглядит? — Он покачал головой. — Дитя... че-ло-ве-че-ско-е дитя! Вы думаете, там нет потайных улиц, площадей потайных? Вот хоть и на кольце Садовом — кроме тех шестнадцати улиц и шестнадцати площадей, которые Садовое кольцо составляют, — глупое ведь число-то, 16, ничего в мире по шестнадцать не бывает — всего либо по три, либо по семь! Ммм... Садово-Одоевская какая-нибудь улица, Садово-Оружейная, Садово-Басманная — это я просто воображаю себе, что там может быть, а там все может быть, Антон Петрович. Там же поблизости Скородом-Земляной-город снесли, а это сотни улочек, переулочков, проулков! Или, по-вашему, зачем было единственную просто Садовую называть Большой Садовой, если ни Малой, ни Средней Садовой не было и нет? Топонимика, господин фокусник, дело серьезное...

— Вы, Пал Андреич, еще помните, что Вы скрипач? — Антон Петрович спросил это без тени язвительности — к счастью, точно так и был услышан.

— Я, разрешите представиться, этимолог, — отозвался тот, — если Вам, маг и волшебник, это что-нибудь говорит. Институт языкознания АН СССР. Скрипка — чепуха, пустяки, глупости. Природный талант, да руки давно-о-о не те. Дрожат. Пью-с. А с историей градостроительства Вы не шутите, друг мой... Вот, говорят, в братских славянских странах — в Югославии, во всяком случае, — такие вещи хорошо понимают. Сербы, например, старых табличек с названиями улиц не удаляют. Если улицу переименовывают, так новую табличку просто над старой вешают: чтобы оба названия видно было. Я слышал, в Белграде, например, есть улицы, на которых по три-четыре таблички сразу, — так что там улицу потерять ох как не просто: это только на вид, дескать, здесь

у нас одна улица, а на самом деле — несколько, и у каждой — своя память! Вот и получается: ничего важнее топонимики нет... ибо что такое топонимика, скажите мне? Топонимика — это действительность языка, а язык, Его Величество Язык, — единственный, кто помнит. Можно видимостью во круг пальца обвести, формой обмануть, силуэтом одурачить, но не именем! По одежке встречают, по уму провожают, по имени помнят...

Они опять выпили.

— Вот, голубчик мой, — становясь все более нежным, продолжал Пал Андреич — Нескучный дворец и Нескучный сад... они с чего так названы? Понятно, Вы скажете, что там усадьба «Нескучное» стояла — которая в первой половине девятнадцатого века некоторое время в царском владении находилась ... ну, и?

— Вы к тому, что где-то было имение «Скучное» — и были поблизости, или даже есть до сих пор, «Скучный дворец» и «Скучный сад»? — не то скептически, не то нет продолжил Антон Петрович.

— Да ясно же, как Божий день! — расцвел улыбкой Мартынов. — Тут ведь все просто. Например, улица 1-я Хорошевская имеет в топонимике положительный и отрицательный след: идя по положительному, приходим, скажем, ко 2-й Хорошевской (иначе зачем Первая?), идя по отрицательному — к одной, по крайней мере, Плоховской (иначе зачем Хорошевская?).

— Вы пьяны, скрипач! — сказал Антон Петрович.

— Я почти всегда пьян, — ответил тот, — так что это ничего не меняет. Ни во мне, ни в окружающей меня действительности. Рекомендую обратить внимание на второе.

— Если следовать Вашей логике... — начал Антон Петрович.

— ...все и будет в порядке, — навсегда закончил Мартынов и разлил по стаканам остатки шампанского. — Потому как по логике моей получается, что никаких случайных имен в мире нет и быть не может. То есть все правильно получается, скажу я Вам по большому секрету... маги умеют секреты хранить?

— Умеют, — сухо заверил маг, волшебным образом не пьянея вообще. — Дело у меня, Пал Андреич... человека найти, на 8-й Песчаной, помните?

— Помню, — глухо отозвался тот. — Помню, к сожалению. Только помочь не могу — сказал же: пути не знаю. И Вам узнавать не советую: опасное дело... а человек Вы уж больно симпатичный. Они ведь, Антон Петрович, пространства-то эти... — не пересекаются и между собой только парадоксальным образом связаны. То есть не попасть Вам отсюда туда. А назад, оттуда сюда, — уж и подавно.

— Да я же побывал там... — против воли вырвалось у Антона Петровича.

Пал Андреич протрезвел.

24. И ОНИ ОБНЯЛИСЬ

Следующим был портвейн — прекрасный, кстати, только уже ни гостю, ни хозяину неважно было, какого качества портвейн... Пился он машинально — с таким же успехом это мог быть компот. Или бульон. Потому что и вечер, и разговор становились все темнее. Теперь, правда, повествовательная инициатива перешла к Антону Петровичу: Мартынов расспрашивал его о 8-й Песчаной и требовал деталей, деталей, деталей... Но в конце концов не выдержал:

— Одним словом... все так же, как здесь, получается?

— «Здесь» — это Вы что все-таки имеете в виду, Пал Андреич?

— Да понять бы Вам уже... — начал было тот, но махнул рукой. — А Льва Вы не спросили, каким образом он домой добрался?

— Нет, но на автобусе, наверное, — на том же, на каком приехал... ммм, триста седьмом. — Тут Антон Петрович вздохнул и опустил голову: — Который к нам на «Аэропорт» сроду не ходил.

— Кто бы сомневался, — пробормотал Мартынов. — Если у нас в Москве номера автобусов — только от 1 до 299, а после 299 — сразу 500, где-то эти двести-одна-штука-автобусов должны же обнаружиться? Только не говорите мне, что их не существует!.. Хоть таксисты-то как выглядели, машины их как выглядели?

— Не помню. Вот... странное дело, совсем не помню! — попытался сосредоточиться, но тут же и сдался Антон Петрович.

Мартынов помотал головой, потом усмехнулся:

— А ведь, так-то разобраться, и не должны помнить: кто помнит, как Харон выглядел? Не было у Харона характерных черт — и зачем бы они ему? Пассажиров только отвлекать!..

— Весельчак Вы, — без улыбки сказал Антон Петрович.

— Да нет, — махнул рукой тот, — какое веселье... Боюсь я за Вас. Кажется мне, что такие походы к добру не приводят.

Противоестественные они. Нельзя вторгаться в логику пространств. Я, кстати, полагал, что и невозможно оно — до последнего времени полагал... гм, до последнего просто мига. Но Вы вот сидите передо мной и подтверждаете все то, что я в своей голове дурной годами строил — и уже ведь разрушить было хотел: за ненадобностью. Мне бы и радоваться, так сказать, подтверждению, а — страшно. Оказывается, еще тоньше эта стенка между мирами... может, и нету никакой стенки-то! Ну, тогда понятно, понятно... что понятно? — предупредил он вопрос Антона Петровича. — Да то понятно, куда все исчезает... люди исчезают куда. И в моей вот жизни исчезали, да и в Вашей, определено. А тут проще простого получается: сел в беспризорный миг своей жизни не в тот автобус — и поминай как звали! Или вот... свернул слишком поспешно, или окликнули не вовремя, оступился — и... все понятно.

— Все понятно, — эхом повторил Антонио Феери. — У меня ведь, знаете, жена исчезла, Джулия. Женщина-змея. И не нашли никогда. Один чешуйчатый комбинезон на полу в костюмерной остался, словно она из кожи змеиной выскользнула.

— Язык! — грозно крикнул Пал Андреич. — Язык нельзя провоцировать, глупые, глупые вы люди... и как вам только в голову могло прийти — женщина-змея? Вы и ребенка назвали Лев... слава Богу, что хоть Лев, а не Заяц!

— Я был против! — взбунтовался Антон Петрович. — А женщина-змея — это амплуа такое цирковое... никто не виноват.

— Вы ведь опять не понимаете...

— Это я-то не понимаю? — И — усмешка: не Антона Петровича усмешка, но Антонио Феери. — Это я-то, по-вашему, не понимаю — человек цирка, который с детства любой толщины стенку между мирами игнорировать умеет? Мы все, цирковые, между мирами летаем, это один мой знакомый друг,

Петя Миронов, печальный клоун, лучше всех понял. Он про фокусы говорил, но не в фокусах дело! Я, вот, дочку на арене перепиливал — догадайтесь, как это ощущается... когда не знаешь, соединишь ли опять, а сам остришь, шуточки отпускаешь — только б не думать, что всяко ведь может закончиться! Но кого хотите возьмите — акробата на подкидной доске возьмите, кто он — пространству... пространствам? Он существо, пространства — соединяющее... скользящее из одного пространства — в другое, и там, в другом, рискующее — пропáть. А канатоходец, Вашу «логику пространств» — взры-ва-ю-щий!.. Так ведь и весь цирковой народец: дунул — и нет нас... фокусник накинуд плащ — и растаял, воздушная гимнастка золотой пылью осыпалась, да что там, дрессировщик, комок воли: когда тигр раскрывает пасть и в прыжке над ним замирает, куда, Вы думаете, исчезает дрессировщик? В *то* пространство, драгоценный Вы мой! Ах, Пал Андреич, Пал Андреич... забыли Вы таки, что и сами скрипач, совсем забыли! А вспомнили бы — и для Вас бы стенки не существовало, и сами бы Вы — смычком между мирами, логике пространства вопреки...

— Тише-тише-тише, — зашелестел Пал Андреич, словно рану заговаривая, — Вы же не знаете, Вы не понимаете сами, что говорите, есть страшные края, милый мой, есть страшные края, чудовищные... чтó знает про них светлое искусство?

— Светлое?

— Светлое, а другим не бывает искусство, светлый Вы человек! Спросите скрипочку мою: знаешь про страшные края? И она ответит: откуда? Светлое искусство не ходит туда, музыка не ходит... они не могут там, они там умрут.

(«Вот это, — думал дед Антонио, — вот это! Это я скажу Льву... только бы не забыть интонацию: спросите-скрипочку-мою, спросите-скрипочку-мою...»)

А Пал Андреич усакал уже вперед, на коне — поди успеи за ним — и махал флагом, и кричал: *другие* пространства, я не знаю их по именам, они везде, они... и вот уже не слышно его, совсем не слышно больше.

Вернувшись, Мартынов был смущенным и растерянным, флаг за спиной прятал.

— Мы про эти страшные края, — словно оправдываясь, закончил он, — только и узнаем, что из языка... язык все знает по именам, все помнит.

— Мне жить осталось пару месяцев, — внезапно услышал свой голос Антон Петрович. — И тогда, наверное, — в страшные края. Рак легких у меня. Недавно диагноз поставили.

— После? — почти беззвучно спросил Мартынов.

— После — чего? — поднял глаза Антон Петрович, но тут же и опустил их. — Да, после... три дня спустя. И, что забавно, — никогда прежде никаких проблем с легкими!

— Вот Вам и... Ох. Я догадывался, что это не безнаказанно, я боялся Вам говорить, я догадывался, нельзя вторгаться в логику пространств. — Пал Андреич поднялся со стула, подошел к окну. — Вот, — сказал, — смотрите: вся панорама Москвы на ладони. Где, где, где они... все эти 8-е Песчаные, 25-е Тверские-Ямские, 160-е Парковые?

— Со Львом теперь что будет, — в никуда произнес Антон Петрович, не то спросив, не то... не спросив.

— Львы следы хвостом заметать умеют. Львы оживать умеют.

Дед Антонио поспешно взглянул на Пал Андреича: ему показалось, что, вроде, и не Пал Андреич это сказал. А тому, похоже, и самому непонятно было, сказал он это или не сказал. Впрочем, кому бы сказанное ни принадлежало, покой сошел на деда Антонио. И прилетели в сердце старые слова: «*Второе*

естество лвово. Егда спит, а очи его бдита. Тако и Господь наш рече ко иудеом, якоже: Азъ сплю, а очи мои божественна и сердце бдита». И принесли с собой новые: «Третье естество лвово. Егда отбегае лвица, хвостом своим покрывает стопы своя. Да не может ловець осочити слѣда его». А за ними, новыми словами, и другие еще — как бы вдогонку: «Первое естество лвово. Егда бо раждает лвица мъртво и слепо раждает, сидит же и блюдет до третьего дъни. По трех же днех придет левъ и дунет в ноздри ему и оживет».

— Пал Андреич, Вы старославянский или древнерусский знаете?

— Иначе бы я этимологом не был, — пробурчал Пал Андреич. — Льву про диагноз сказали?

— Никому не сказал. Пете Миронову, печальному клоуну, сказал только. И вот Вам теперь. Но я смирился уже с этим, а Вы вот лучше объясните мне то, чего я не понимаю — эти улицы, которых нет на плане... ой, Вера так сказала: «Ту улицу, которой нет на плане...»

— Она — знала? — Пал Андреич снова сел. — Неужели знала, что 8-й Песчаной нет на плане? Я всегда догадывался, что они о нас знают гораздо больше, чем мы о них. Им-то туда-сюда можно, они люди привилегированные! А это, «Из памяти твоей я выну этот день», — это Ахматова.

О, как ты долго будешь вспоминать
Внезапную тоску неназванных желаний
И в городах задумчивых искать
Ту улицу, которой нет на плане...

— ...я запишу потом, Вера целиком не помнила. Хотя... — Антон Петрович осторожно потряс головой. — Эти улицы,

которых нет на плане, там объекты обязательно какие-то засекреченные — или что?

— Да что угодно... а диагноз — точный, Вы уверены?

— Уверен, конечно, мой приятель фронтовой ставил... почему Вы так сказали: «да что угодно»? Разве мы не о засекреченных объектах говорим?

Пал Андреич снова встал, подошел к окну:

— Посмотрите же на это... на это нагромождение всего! Частью засекречено, частью перестроено, частью забыто, частью вообще и замечено никем не было никогда... что — планы? Это ведь тоже только картинки! А потом, ГУГК и ГлавАПУ — они же политические организации, милый человек... Ну да, Вам аббревиатуры такие ничего не говорят: Главное управление геодезии и картографии, ГУГК, и Главное архитектурно-планировочное управление города Москвы, ГлавАПУ, ха, почти ГПУ, — там Машин отец, друг мой большой, работал. В Мосгоргеотресте так называемом... Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ. Вместе с ним мы и возились со всем этим — со всякими планами старыми: с мичуринским, это первая половина XVIII века, с картами из справочников «Вся Москва». А особенно — с планами регулирования улиц, вот где сам черт ногу сломит... Они в конце XIX века при Городской думе составлялись, чтобы контролировать новую застройку и перестройку старых зданий. Улицы ведь периодически требуется перекраивать — выпрямлять, расширять, соединять, разбивать, другие прокладывать, ну да... улицы, площади, переулки, проезды, всю паутину эту.

— А мы, значит, видим только то, что, так сказать, зарегистрировано... паспортизовано...

— Именно... — развел руками Пал Андреич. — Чему придан статус существования! Между тем как тут еще целый город в городе, о котором мало кто знает, да и зачем знать? Запрещено знать. Засекреченное-то — оно, в отличие от неизвестного, забытого и так далее, под контролем. Да только и с ним непросто: как уследишь за тем, чего официально не существует? За невидимым-то! — Он вздохнул. — Жалко, выпили мы с Вами все...

— А это — что? — Антон Петрович поставил на стол бутылку явно дорогого армянского коньяка.

— Не знаю, — честно, как перед лицом закона, признался Мартынов. — Откуда взялось-то... это?

— Да фокусник я, — кисло сказал Антон Петрович и так же кисло добавил: — Иногда. Так о чем я? М-м-м... Вера, которую я ищу, внука моего подружка, тоже ведь говорила, что отец ее на секретном заводе работает, — вспомнил Антон Петрович.

— Ну вот, видите...

Вынув по случаю коньяка тяжелые круглые рюмки, Пал Андреич сначала прикоснулся к бутылке указательным пальцем — дескать, не исчезла бы! — и только потом открыл ее, качая головой: «Фокусник...». Наконец наполнил рюмки и произнес:

— По четвертому кругу? За Вас, Антон Петрович!.. Кстати, о кругах — точнее, о кольцах. Машин отец знаете что о них говорил — о Бульварном кольце, о Садовом, об окружной дороге, вообще — о пристрастии строителей Москвы во все времена к идее кольца... кольцо А, кольцо Б, кольцо В, кольцо Г — он говорил, что кольца эти не что иное, как магические попытки удержать невидимый город в разумных границах. Невидимый город, расползающийся в разные стороны.

— Почему магические?

— Ну... бульвары, сады — они, скорее, своего рода, как бы это сказать, заклинания... Скорее, заклинания, чем — ограды. Подлинные, настоящие ограды из камня ведь тоже были когда-то... да не помогали, видно: стену Белого города помните? Так вот, если б ее не разобрали, Белый город взорвался бы: разнесло бы на части — как не было. С видимой-то застройкой какие проблемы: не стало в Белом городе места, значит, не стало — начали строить за стеной, за пределами Белого города. Потому что понятно: куда ж тут еще строить, когда занято все! Однако разобрали стену — почему? Да чтобы *невидимые* улицы, площади, переулки — вся эта потаенная Москва — не повалили ее: их ведь не отконтролировать и в невидимом мире ничего не запретить! А тогда... тогда беда: невидимый город поглотит видимую Москву. Так мне Машин отец объяснял, а уж он в этом знал толк.

— Как умер Машин отец?

— Не догадываетесь? Пропал. Вышел из дому... м-да, на заре —

И с той поры,
И с той поры,
И с той поры исчез.

— Я Льву маленькому читал это стихотворение... и он сказал: фокус-покус. — Дед Антонио вздохнул. — А мне всегда казалось, что оно про Джулию.

— Оно про всех нас... Все мы исчезнем — в этих улицах, в этом городе, на этой земле. Но что касается Машиного отца, тут я знаю немножко предысторию. Он точную, подробную карту Москвы всю жизнь вычерчивал... ну, и пропал. Столкнулся с интересами тех, кому не надо было, чтобы такая карта существовала. И кто не хотел, чтобы по карте этой

8-ю Песчаную, например, найти было можно: ведь 8-ю Песчаную, чего уж темнить, найти-то, конечно, можно — просто знать надо, как туда добраться. Вот... все думают, что нет в каком-нибудь, например, месте сквозного прохода, а он есть. Думают, там стена... а там — лаз. Думают, река, ан — брод! Да и подземные переходы не забывайте: знать только надо, где они на поверхность выходят. Нырнул в Замоскворечьи — вынырнул в Петровском-Разумовском.

— Знать бы, почему 8-ю Песчаную засекретили...

— Ох, — Пал Андреич налил себе еще коньяку и «освежил» коньяк в рюмке Антона Петровича, — Вы... Вы беспечный человек! Вам мало того, что с Вами уже произошло? Вы хотите... чего Вы хотите — пропасть? Уйти и не вернуться?

— А скажите мне честно, Пал Андреич... карта Машиного отца у Вас?

— Да ни за что! Ни в коем случае... — откуда у меня карта, Вы с ума сошли?

Антон Петрович пожевал губами — и сказал... как приговор огласил:

— Вы пожилой человек, Пал Андреич. И не вечный. И одинокий, судя по всему. Если с Вами случится что-нибудь...

— Нету у меня карты, не-ту! Надо просто прекратить говорить об этом: нету карты. Я бы давно уже исчез, если б она была у меня, — не понимаете? Да и нигде ее нет, уверяю Вас. Не должно ее просто быть — иначе все меняться начнет... *все*, Антон Петрович! Потому что — потому что в начале было слово, потому что не карта приспособливается к жизни, а жизнь — к карте.

— Вы хотите сказать, что не найти мне 8-й Песчаной? Но Лев-то, Лев-то проник ведь как-то туда, в потаенную эту Вашу Москву!

— Так с проводником... проводник у него был, Вера. Иначе туда не попадают. Обязательно какой-нибудь человек оттуда помочь должен.

— А второй раз, когда на такси? Когда мы уже без Веры были?

— Ну, это не знаю... это у вас со Львом спросить надо — или у таксиста. Всякие чудеса бывают. Потому как мне, например, странно совсем не то, что вы туда попали. Странно то, что вы после этого отсюда не исчезли. Пока не исчезли.

Антон Петрович долго тер виски. Потом опустил руки на стол, побарабанил по столу пальцами.

— Вы потрясающий собеседник, — сказал. — Но у меня есть простая задача: найти Веру. Мне кажется, от этого зависит ее жизнь. Поскольку все, что произошло...

— А ничего и не произошло, — мягко остановил его Пал Андреич, встряв между словами, места между которыми — не было. — То, что произошло, произошло на 8-й Песчаной. Которой не существует.

Они в молчании допили коньяк. Никто опять не опьянел.

— Еще бутылку выколдуете?

— Да нет, поеду. Поздно уже. Лев, небось, весь извелся.

— Ну, с Богом, дорогой мой. Адрес свой оставьте мне. Телефон — тоже. И они обнялись.

КАК ЗАСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА ИСЧЕЗАТЬ ПОД ЧЕРНЫМ ПОКРЫВАЛОМ

Попросите помощника выкатить на манеж прямоугольный черный ящик и пригласите на арену ассистентку. Пусть, опираясь на руку помощника, ассистентка, одетая в черное трико, — под тихую музыку — поднимется на ящик и сядет в позу лотоса.

Сняв со стоящего поблизости штатива черное покрывало, накройте им ассистентку и, обходя ящик, сделайте несколько магических пассов. Затем поднимите руки над головой находящейся под покрывалом ассистентки — покрывало начнет «оседать», словно ассистентка тает под ним.

Наконец покрывало опускается на ящик и теперь выглядит, как скатерть. Музыка смолкает.

Сдерните покрывало с ящика и, поочередно откидывая переднюю, заднюю и боковые стенки ящика, сразу же приводите их в прежнее положение. С любой стороны зрителям будет видно, что ящик, черный изнутри, пуст. После этого откиньте все стенки уже одновременно и, вращая ящик, закрепленный на поворотном круге, покажите зрителям, что верхняя крышка соединена с дном четырьмя тонкими опорами.

Ассистентка исчезла.

Теперь помощник — по вашей просьбе захлопнув все стенки ящика — может увезти его со сцены.

Комментарий

Разгадка этого традиционного, но всегда интересного зрителям фокуса, разумеется, в конструкции ящика. Будучи черным снаружи и изнутри, он кажется небольшим, но на самом деле размер его таков, что на дне ящика способна разместиться свернувшаяся калачиком ассистентка.

На массивной, медленно вращающейся опоре, встроенной в поворотный круг и способной подниматься и опускаться, ассистентка, скрытая под черным покрывалом, погружается на самое дно ящика, сворачивается калачиком в нижней части ящика, равной одной пятой его высоты, и задерживает над собой черные шторы.

Поочередное откидывание стенок ящика и возврат их в прежнее положение имеет целью отвлечь внимание зрителей от величины ящика. Когда вы в последний раз откинете сразу все стенки, зрители уже привыкли воспринимать четыре пятых объема как все внутреннее пространство и не заметят, что нижняя часть ящика закрыта со всех четырех сторон.

25. НА АПЛОДИСМЕНТЫ НИКТО НЕ ВЫШЕЛ

Он придет!

О-куда-мне-бежать-от-шагов-моего-божества...

Некуда бежать. Хотя, наверное, уморительное было бы зрелище: Петя Миронов, печальный клоун, улепетьвающий из манежа от фокусника Антонио Феери. Обхохочешься. Гораздо смешнее того, с чем Петя Миронов обычно выступает: одна миниатюра в первом отделении. Финальная часть дипломной программы, за которую он получил Гран-при в Варне, на фестивале артистов цирка. Дипломная программа называлась «Я вам не клоун». Тогда, помнится, подошел к нему чрезвычайно вежливый пожилой голландец и через гэбэшного, понятное дело, русского переводчика предложил ангажемент в своем цирке в Амстердаме. Петя Миронов, стремительно похолодев, стремительно же и отказался: сказал переводчику, что его в цирке на Цветном ждут. В цирке на Цветном никто его тогда не ждал. Однако по приезду в Москву Петю Миронова сразу же пригласили именно на Цветной — и он все гадал, за программу дипломную или за такой поспешный отказ от ангажемента в Амстердаме.

В цирке на Цветном Петя Миронов и увидел впервые Антонио Феери. С «Фокусами, изжившими себя». «Вот посмотришь, это настоящий мастер», — пообещал Пете жонглер Игорь Загайнов, и Петя приготовился смотреть мастерство. Филигранную работу рук, знающих наизусть каждый миллиметр воздуха. Безупречную последовательность точных трюков, к которым не подкапаешься. Блистательную совокупность виртуозных обманов.

Но Антонио Феери появился на арене — и Петя Миронов сразу забыл, зачем пришел. Он даже и то забыл, куда он пришел. Потому что, казалось, не помнил он, не знал он ничего этого — ни истоптанного им вдоль и поперек кругло-

го пространства манежа, обнесенного низким барьером, ни чистого света, идущего ниоткуда, ни молчащей пропасти зрительного зала... Никогда прежде не бывал в сих краях Петя Мионов и даже представить себе не мог, какие высокие стихии дремлют здесь, какая древняя сила таится под сводами, как чувствуется присутствие Бога.

Всю ночь и все следующее утро после «Фокусов, изживших себя» Петя Мионов жил с ощущением попавшего в шторм и уже простившегося с жизнью морехода, которого капризница-судьба грациозным мизинчиком — просто так, случайно оказавшись поблизости, — вытолкнула на тихий берег. Даже на репетицию брел он по тихому этому берегу, брел и смеялся — не то от счастья, не то от того, что сошел с ума. Он ничего не знал и не понимал больше, он слился со всем вокруг на тихом берегу и сам превратился в маленькую часть окрестного ландшафта — камешек, отшлифованный водой, пучок сухой травы, несомый ветром, пустую пачку из-под сигарет марки «Князь Серебряный»...

Вот эта-то вот пустая пачка из-под сигарет марки «Князь Серебряный», непонятно кем принесенная в окрестный ландшафт, и заставила Петю Миронова остановиться. Обернуться. Поднять «Князя Серебряного» с земли. Фабрика «Ява», Москва. Совсем они, что ли, там... на фабрике-ява-москва в уме повредились — сигареты с такими названиями выпускать? Петя Мионов вообще-то и сам курил, года три уже как, но «Князя Серебряного» никогда в табачных киосках не видел. А тут — вот, пожалуйста... Что-то было такое с дурацкой пустой пачкой этой... в жизни его совсем неуместное.

Петя Мионов огляделся вокруг и понял, что опять забрел куда-то. Такое с ним часто бывало, и в глубине души он даже немножко гордился этим, охотно вспоминая мамыны

рассказы о Михаиле Чехове: как тот опаздывал на репетиции, заглядевшись по пути на играющих детей или случайно заблудившись на незнакомых улицах. Откуда маме было об этом известно — это он всегда забывал спросить.

«Так-с... и где же мы теперь?» — попытался сориентироваться Петя Миронов и принялся искать табличку с названием улицы... нет, кажется, переулка.

Но увидел табачный киоск, а в нем — сигареты «Князь Серебряный».

— Это новые ведь совсем, правда? — спросил он через обычное для табачного киоска крохотное окошечко у невидимой киоскерши, подав двадцать пять копеек и попросив пачку «Князя Серебряного».

— Что значит «новые»? — ответила та мужским голосом.

— Ну... раньше, вроде, не выпускались такие сигареты, — от всего сразу растерялся Петя Миронов.

— Всегда выпускались, — сказал голос и добавил: — Еще что-нибудь?

— Да нет, спасибо...

Окошечко захлопнулось со словами: «Дует очень сильно».

Петя Миронов смотрел на выставленные за стеклом киоска пачки. Ну, понятно, «Опал», «ТУ-134», «Стюардесса», «Явьявская», этот вот... «Князь Серебряный». А к ним — смотри-ка: «Бородинская панорама», таких я тоже не встречал, даже «Marlboro» (странно... в свободной продаже, дорогие, наверное), «ВДНХ»... и их не помню. Что-то случилось с табачной промышленностью за последнюю ночь: он насчитал пять новых сортов сигарет, о которых еще вчера и понятия не имел.

Со странным чувством нездешности Петя Миронов побрел от киоска, снова погружившись в состояние камешка, отшлифованного водой, и внутри себя ведя вот уже два часа как начатый

разговор с Антонио Феери. Улица, по которой шел Петя, была ему незнакома: это здесь-то, в районе, который он, Петя Миронов, уже наизусть знал! На одном из домов прочитал под старым фонарем идущую небольшим полукругом надпись: «6-й Неглинный пер.»... ну, понятно, запутался в Неглинных переулках, их тут, кажется, пруд пруди. Дойдя до конца переулка, свернул куда сердце велело — налево — и оказался на Голофтеевской улице. Это какая ж такая — Голофтеевская? Ох, большой город Москва, никогда в нем не освоишься!

На Голофтеевской улице был огромный универмаг с надписью «Голофтеевский пассаж». Петя Миронов решил зайти внутрь погреться. На первом этаже Голофтеевского пассажа обнаружилось маленькое пустое кафе. Все равно на репетицию он уже опоздал... а тут так замечательно пахло кофе!

— Кофе, пожалуйста, — сказал он миловидной девушке, с явным интересом читавшей книгу.

— Пожалуйста... какой? — спросила девушка, оторвавшись от чтения.

— Ну... обычный, — растерялся он и, подумав, что мог бы заказать и двойной, исправился: — Нет, двойной.

— Двойной какой?

На этот вопрос Петя Миронов приличествующего ответа не знал и поинтересовался:

— А какие у Вас... двойные — бывают?

— Да разные бывают, — рассмеялась девушка. — Есть экстра, есть люкс, есть кофе-крем, есть с карамелью, есть меланж... вот же, здесь написано. — И она с улыбкой кивнула на табличку, около которой Петя Миронов стоял.

— Кофе-крем, двойной, — сказал он, дурак дураком.

Случилось что-то за ночь и с кофейной промышленностью...

Положив книгу на стойку, девушка отошла к высокому серебристому цилиндру, а Петя Миронов посмотрел на обложку. На обложке было написано «Плановое хозяйство СССР». Подивившись прочитанному, он минуты две подождал кофе, рассчитался и, потоптавшись в нерешительности, уселся за один из десятка пустых столиков, поближе к стойке. Девушка вернулась к чтению.

Кофе-крем, в высоком прозрачном стакане, оказался с большим количеством сливок и очень сладким. Петя глядел по сторонам: куда хватает взгляда — ни единого покупателя. Похоже, что он один во всем универмаге...

— Извините, у Вас тут всегда так пусто? — спросил он девушку, обводя глазами казавшееся окаменелым пространство.

— Почему всегда... — никак не ответила на его вопрос девушка, и, допив кофе, он поднялся идти.

— К цирку мне куда лучше? — на всякий случай спросил он.

— К какому? — опять захотела уточнений девушка... да что ж это такое-то сегодня! — Если к Цветному бульвару, то сейчас прямо, через торговый зал и там — через восточный выход. А если к цирку на Петровке...

— Нет, мне к Цветному, спасибо, — машинально ответил Петя Миронов и отправился прямо, через торговый зал, запоздало размышляя о том, что ж это у нас сейчас за цирк-то такой на Петровке, где никакого цирка Петя отродясь не видел...

В пустом торговом зале, по обеим сторонам которого были расположены разные отделы, шаги Пети Миронова шелестели довольно внятно. Ему даже казалось, что шаги эти были слышны продавщицам, с интересом поглядывавшим на него из-за прилавков. Не зная зачем, он зашел в один из отделов, оказавшийся отделом писчебумажных принадлежностей.

Толстая тетенька-продавщица подошла к нему от дальнего конца прилавка и остановилась.

— Мне... тетрадей школьных... в клетку... пять, — с трудом нашелся он.

— С конями или с челюскинцами?

— Все равно, — сдался Петя Миронов и вынул 10 копеек.

— Я дам Вам с конями, — сделала за него выбор толстая тетенька-продавщица, оприходовала 10 копеек в кассе и протянула ему тетради.

— Спасибо, — сказал он и, отойдя в сторонку, взгляделся в коней, скакавших по обложкам — ровно там, где, по его представлению, полагалось смиренно сидеть Ленину, Пушкину или Лермонтову. Обложки были странного — оранжевого — цвета. Кони же при ближайшем рассмотрении оказались квадригой с фронтона Большого театра. Видимо, Петя Миронов, печальный клоун, сильно отстал в своих представлениях об атрибутах современной советской школы.

О том, какой из выходов восточный, думать, слава Богу, не пришлось: на той стороне торгового зала выход был единственным. «На Неглинный бульвар» — прочитал Петя, облегченно вздохнул и заторопился наружу, с улыбкой взглянув на указывающую в противоположную сторону стрелку, возле которой некий шутник явно стер две первые буквы надписи, в результате чего стрелка обещала выход на Глинную улицу.

Путь к Цветному Петя Миронов прошагал автоматически, продолжая прерванный было разговор с Антонио Феери, а возле самого цирка ждал его еще один сюрприз — из тех, на которые то утро оказалось таким богатым: исчезла афиша с кроликом. Уже на служебном входе выяснилось, что никто не знал, куда и как она исчезла, и что «Фокусы, изжившие себя» повторяться не будут.

— Почему? — спросил Петя Миронов у кого пришлось, и кто пришлось ответил, закатив глаза к потолку:

— Там запретили.

— Так я и думал. Сволочи, — неосторожно сказал Петя Миронов, и собеседника как ветром сдуло.

С того самого утра все и пошло странно в жизни Пети Миронова, да только рассказать об этих странностях было как-то некому... — вот разве только Антонио Феери, косвенным образом имевшему отношение к утру, с которого все началось. И на котором все закончилось. Потому что когда два-три дня спустя Петя по пути с репетиции решил зайти в Голофтеевский пассаж и нарочно отправился домой по Неглинной, никакого входа в пассаж он нигде не обнаружил. Не нашлось в ее окрестностях ни Неглинного бульвара, ни Голофтеевской улицы, ни даже 6-го Неглинного переулка... ничего. И сигарет «Князь Серебряный» — равно как и «Бородинская панорама» или «ВДНХ» — не нашлось тоже: ни там, ни в каком-либо другом табачном киоске, продавцы которых смотрели на Петю Миронова как на сумасшедшего и отказывались сознаваться в том, что все эти марки находятся у них под прилавком. К сожалению, пачки от «Князя Серебряного» у Пети Миронова не осталось. Странно, кстати, куда она могла деться: он точно помнил, что пачку пустую не выбрасывал. Хоть и не берег: думал, что «Князь Серебряный» теперь везде есть! В общем, прижать продавцов табачных киосков к стенке ему было нечем.

Оранжевые тетради с квадригой тоже не произвели ни на кого особого впечатления: за кулисами, вынув одну из них из сумки, когда рядом было особенно много народа, Петя, в общем-то, привлек было к ней внимание, но известная врушка Лика Антонова тут же сказала, что видела такие и что якобы тетради эти производятся «на экспорт».

Тут-то Петя Миронов и начал сомневаться в собственной вменяемости. Могло ли все, что приходило ему на память из того утра, быть каким-нибудь сном наяву, бредом, наваждением — или все-таки соответствующие события действительно имели место?

Петя Миронов потерял покой, чуть ли не ежедневно навдываясь на Неглинную и часами кружа вокруг нее в разное время суток, а иногда и приставая к прохожим с вопросами, ответов на которые никто не знал. Из положительных результатов этого кружения можно было назвать лишь один, да и то сомнительно положительный: некий полоумного вида дед поделился с Петей воспоминанием о том, что матушка сего деда рассказывала ему в детстве, будто обычно делала закупки именно в Голофтеевском пассаже. Петя Миронов почесал в затылке и оставил полоумного деда там, где встретил, — на Неглинной улице у магазина «Охотник»: дед собирался купить дрови, чтобы она, по его словам, кое у кого в заднице засела.

Чем больше времени проходило, тем сильнее Петя Миронов сомневался в себе. Он уже не верил даже тому, что своими глазами видел выступление Антонио Феери... собственно, это, в конце концов, — помимо совершенно очевидного преклонения перед Антоном Петровичем — и привело его к фокуснику. Впрочем, поговорить о своих сомнениях, мучивших его уже третий год, Петя Миронов, как мы помним, тогда так и не успел.

А сегодня Антон Петрович пришел в цирк, чтобы смотреть Петю. Неважно и неинтересно, откуда все знают о приходе «самого Феери», хоть Петя об этом ни единым словом не обмолвился. «Цирк — дело такое», — любит повторять Сережа, скрипка преклонных лет.

Цирк — дело такое.

Выбежав из форганга в белом балахоне Пьеро, с густо напудренным лицом и красным набалдашником носа, Петя Миронов, печальный клоун, раз десять споткнулся по пути (публика хохочет) и упал — споткнувшись уже в последний раз — ровно посередине манежа: комком ветоши. Свет сузился до желтого круга, в котором и лежал неподвижный Пьеро. Он лежал долго — настолько долго, что публика, как всегда, принялась нервничать: уже были слышны отдельные хлопки, свист и разные нехорошие выкрики (почему публика всегда считает, что клоунам надо грубить?). Внезапно флейта в оркестре не спеша произнесла одну — только одну и не слишком пространную — фразу. Кучка ветоши встрепенулась — Петя Миронов поднял голову, и публика зааплодировала: на лице его было уже нарисовано другое лицо — арбузно-красное лицо жизнерадостного кретина. Когда публика отрадовалась свое, арбузно-красное лицо, дождавшись тишины, тихо произнесло белыми губами:

— Я вам не клоун.

И аплодисменты взвились снова.

А Петя Миронов начал сдирать с лица арбузно-красную краску — слой за слоем. И бросать слои в сторону, пока там не выросла целая красная гора, причем лоскутков алой кожи все прибавлялось и прибавлялось...

Наконец печальный клоун поднял лицо к публике: теперь это было черное лицо с непропорционально большими белками глаз и явным переизбытком белоснежных зубов. Лицо хохотало вовсю, а тело принялось выделять головокружительные кульбиты — публика неистовствовала.

Внезапно Петя Миронов замер.

Зал ждал продолжения.

— Я вам не клоун, — напомнил он и сорвал с лица черную маску, под которой снова обнаружилось белое лицо Пьеро. Этот Пьеро воровато огляделся по сторонам, быстро нацелил на нос все тот же красный набалдашник и бросился к свисавшему из-под купола канату. Шпрыхталмейстер Бруно засвистел в милицейский свисток: дескать, канат не трогать! — но, в желом своем балахоне, Петя Миронов, отдуваясь, уже забирался все выше и выше. Желтое пятно света ползло вслед за ним. Ах, Пете Миронову не следовало никуда забираться: невооруженным глазом было видно, что печальный клоун не приспособлен к лазанию по канату! Он не умел, он тратил слишком много сил, да и без того казался старым и несчастным... Красный набалдашник носа сполз за ухо, наклеенные по бокам якобы лысой головы волосы отклеились и свисали со щек, балахон обвивался вокруг каната, брюхо мешало, толстенная попа колыхалась над залом... А когда лопнула единственная пуговица на единственной бретельке, поддерживавшей штаны, и они сползли на огромные ботинки, вниз повалились уродливые «подложки» — из ваты, мятой газеты, грязной губки... Петя Миронов в круглом пятне желтого света беспомощно повис над залом, держась за канат теперь только одной рукой. Ладонь второй он поднял прямо перед собой: она была в крови. Но — потный и счастливый — он собрал последние, видимо, силы и рывком преодолел оставшийся метр, который отделял его от купола цирка... ботинки вместе со штанами полетели в черную хохочущую бездну под ним — и несчастные худые голые ноги в широких пестрых трусах закачались под куполом.

Оглушительным звоном оркестровая тарелка в одно мгновение прекратила истерический хохот публики. И, один на один с залом, в полной тишине клоун отчаянным, тонким голосом вдруг выкрикнул, сорвавшись на писк:

— Я! Вам! Не! Клоун!..

...и, отпустив канат, бросился вниз, в крошечную тьму.

Страховки на нем не было.

Казалось, он падал целую минуту — не столько камнем, сколько птицей: расправив рукава белого балахона, как крылья.

Удар тела о жесткую поверхность поверг зал в ужас.

И вспыхнул свет.

Ослепительный дневной свет.

Восемь пожарников стояли вдоль барьера, растянув над манежем спасительный брезент. На брезенте — живой и не-вредимый — лежал Петя Миронов, печальный клоун.

Жмурясь от света, он прикрывал глаза тыльной стороной ладони и словно не понимал, что происходит. Потом понял, поднялся во весь рост: щуплый, вымазанный пудрой и помадой, без штанов и ботинок, в свисающем лохмотьями рваном балахоне — и пошел по брезенту в сторону кулис.

Публика молчала — и было слышно, как идущий, словно в беспамятстве, повторяет одно и то же: я-вам-не-клоун, я-вам-не-клоун, я-вам-не-клоун...

Стало совсем тихо.

Пожарники свернули брезент и без всяких поклонов удалились.

— Антракт, — негромко сказал шпрыхштальмейстер Бруно и ушел, ничего не дожидаясь.

Где-то наверху заплакал ребенок.

Дед Антонио, сидевший в пятом ряду, с краю, поднялся и стал быстро спускаться по ступенькам к манежу.

Перешагнув барьер, он исчез в форганге.

Публика вдруг вспомнила, что после окончания циркового номера принято хлопать. На аплодисменты никто не вышел.

26. КАК ФИЛИН

Мордвинов был недоволен.

— Ты зачем привел его сюда? — спросил он Колю Петрова.

— За такими, как он, будущее, — кисло отчитался тот.

— Ты еще салют отдай, пионер, — поморщился Мордвинов. — Какое будущее, ты что... с дуба рухнул, Коля?

— Вот увидите. Он же массы за собой повести может.

— Какие массы, что ты, Коля, гонишь!

Коле Петрову казалось, что с Мордвиновым нужно разговаривать именно так. Но Мордвинова это оскорбляло. Из того, что он аппаратчик, для него отнюдь не следовало, что он дурак. А для Коли Петрова, видимо, следовало — это-то и оскорбляло Мордвинова.

Да, Мордвинов приехал в Москву из сибирских лесов, да, «пошел на повышение»... но оно когда-а-а еще было! Теперь Мордвинов всем москвичам москвич и у него на плечах, тьфу ты... в его ведении — целый НИИ. Хоть и в просторечии, но институт мозга, между прочим! Он возглавляет коллектив отличных специалистов. Работающих с отличными кондукторами. Мордвинов называл экстрасенсов кондукторами — так, вслед за ним, и остальные их называли. Ему нравилась разнузданная многозначность этого наименования — и особенно нравилось в ней то, что нужное институту значение кондуктора было упрятано в слове совсем глубоко: замучаешься добираться. Только образованные люди знают, что «кондуктор» — это еще и проводник, проводник электричества. Конечно, экстрасенсы не электричество через себя проводят, но, поскольку хрен их знает, чего они там проводят, то можно сказать — электричество.

Образованным человеком Мордвинов не был и даже не считал себя таковым. Потому-то его отношения с сотрудниками

и были предельно честными и предельно хамскими. «Вы, яйцеголовые, — говорил он им, — мне своими теориями мозги не забивайте, не для того у меня мозги. А для того у меня мозги, чтобы работу вам давать. И денег давать». Ну и чего ж... правильно: так, как умел добывать деньги Мордвинов, никто не умел. Зарплаты и те вполне пристойные были: все знакомые завидовали, как скажешь при случае: «Двести пятьдесят плюс тринадцатая. Плюс премии». Очень неплохо.

И что «повышенная секретность» — тоже красиво. Женам мужьям особенно нравилось: «Мой (моя) в секретном НИИ одном... даже мне не говорит, чем занимается». — «В оборонке, небось». — «Да уж наверное». Хотя насчет оборонки — это лихо, конечно... а с другой стороны, чем черт не шутит! Поговаривали ведь, что вообще все без исключения НИИ на оборону работали — может, и правда.

Конечные цели исследований, проводимых в НИИЧР, были, кажется, одному Мордвинову известны — иначе с чего бы ему деньги давали? Но, конечно, не факт, что известны. Тоже ведь мелкая сошка. Был бы крупная — тут в НИИ не сидел бы. А сидел бы в Кремле. Правда, там, вроде, НИИ никаких не бывает... или бывают? Ах, время, время... восьмидесятые! Никто ничего не знает. Никто не знает даже, знает или не знает. Шорохи одни: там шевельнется, тут шевельнется, а прислушаешься — и нет ничего! Так... суета и ловля ветра. И — кто-то-там-наверху-хорошо-ко-мне-относится, как сказал великий буржуазный писатель Курт Воннегут — или наоборот: кто-то-там-наверху-плохо-ко-мне-относится, как не сказал, стало быть, великий буржуазный писатель Курт Воннегут. А уж что он имел в виду или не имел в виду — не нашего ума дело. Да у нас и ума-то никакого нету — один мозг.

Коля Петров вышел от Мордвинова расстроенным. Не столько потому, что Мордвинов сопротивлялся (сопротивлялся-то сопротивлялся, но потом все равно ведь согласился!), сколько потому, что он, Коля Петров, никак не мог найти верного тона по отношению к сибиряку, а тон, который находил, Мордвинову не нравился. «Опять не в струю», — смеялись над Колей в отделе воздействия, где он давно уже трудился на полставки, а хотел целую. Мордвинов же целой не давал: говорил, что по штатному расписанию не положено. Можно подумать, для такого НИИ, как их, кто-то заранее составлял штатное расписание!.. Однако выходить с Мордвиновым на прямой разговор о второй половине ставки Коля Петров не решался, понимая, что филологическое образование для работы в институте мозга, скорее всего, не козырь. Его и устроили-то по блату: Колин глубоко партийный отец нашел сюда какие-то ходы, а непутевому сыну сказал: «Побудь пока у Мордвинова, потом посмотрим... Работа не пыльная». Коля Петров проработал у Мордвинова уже три с лишним года, но «потом» так и не настало. Колины обязанности состояли в том, чтобы планировать встречи с кондукторами, договариваться о времени их прихода в институт и иногда переносить договоренности с одного дня на другой — в случае, например, болезни кондуктора или возникновения у кондуктора занятости «по основному месту работы». Кроме того, Коле Петрову полагалось хранить всю документацию отдела, то есть следить за тем, чтобы папки с личными делами кондукторов всегда находились на месте, а именно — в сейфах. Других полномочий у него не было.

— Ты чего смурной? — спросил ждавший его в пустом сегодня отделе Демонстратнер.

— Нет-нет, в порядке все, — взбодрился Коля Петров. — Мордвинов обрадовался сильно. Будешь кондуктором, у нас.

Демонстратнер догадался, что «у нас» — это в Колином отделе.

— Лучше бы не кондуктором, а вагоновожатым, — сострил он.

— До тебя так уже острили, — обрубил Коля Петров.

Демонстратнер про НИИЧР мало что знал: Коля Петров сообщил ему, понятное дело, только тот минимум информации, который разрешалось предъявлять потенциальным сотрудникам, — чтобы они хоть приблизительно понимали, куда приглашены. Иными словами, знал Демонстратнер, что Коля Петров предлагает ему «работу или наподобие» в каком-то научно-исследовательском заведении, где занимаются человеческими ресурсами... правда, словосочетания «человеческие ресурсы» Демонстратнер не понимал, но спросить стеснялся. И еще знал Демонстратнер, что к работе в институте привлекают людей с так называемыми необычными способностями. Необычных способностей он у себя самого не наблюдал и потому с трудом понимал, о чем вообще идет речь — о каких таких людях, но не спрашивал и об этом: Коле Петрову, небось, видней...

Теперь пришло время хотя бы частично ознакомить Демонстратнера с тем, в чем состоит высокое назначение кондуктора.

— Ты, Борь, не думай, что тебя сюда на работу... ну, на нормальную такую работу приняли. Я ведь сразу тебе сказал: «работа или наподобие», помнишь? Ну вот... короче, настоящие сотрудники института — это всё люди с соответствующим образованием, которого у тебя нету.

— А у тебя есть? — нетактично спросил Демонстратнер.

— У меня... — растерялся Коля Петров, но успел построить энигму: — Ну, у меня-то филологическое... только дело ведь не во мне. Дело в тебе. Ты, значит, в этом институте не столько сотрудник, сколько... — Он никогда еще не

приводил сюда людей со стороны и не знал тех слов, которые требовались для того, чтобы ввести нового человека в курс дела. — Не столько сотрудник, сколько человеческий ресурс, понимаешь?

Демонстратнер помотал головой.

— Давай разбираться, — широко улыбнулся Коля Петров. — Что такое человеческий ресурс? Человеческий ресурс — это такое, значит, дело... В общем, нас, — тут он заговорил от имени всего НИИЧР, — интересуют человеческие ресурсы... то есть те ресурсы, которые есть у человека, понимаешь? — Не дав Демонстратнеру еще раз помотать головой, он поспешно продолжал. — А у человека много ресурсов, и не все они до сегодняшнего дня как следует выявлены. Наша задача — выявить их как следует... вот. Для этого нам нужны люди. Но не все люди, а только те, которые обладают теми или иными способностями в большей мере, чем остальные.

— «Теми или иными способностями»... это ты что имеешь в виду? — не ко времени захотел определенности Демонстратнер.

— Поясню, — браво начал Коля Петров и, как ни странно, браво же продолжал: — Речь идет о способностях, которые есть у всех, только мало кто знает, что и у него они есть. Человек ведь на все способен, Боря!

В этом месте Демонстратнер с удовольствием закивал.

— Возьмем, например, наш отдел, — интимизировал разговор Коля Петров. — Это отдел воздействия. Кондукторы, с которыми мы работаем, умеют воздействовать на людей. Ты скажешь мне, что все на людей умеют воздействовать. А я отвечу тебе: так оно и есть!

— Тогда в чем же дело-то? Коль, не темни, мне тут все-таки работать...

— Не работать, а... а подрабатывать. Дело же, дорогой мой, в том, что кто-то умеет воздействовать на людей больше, кто-то — меньше. Наши кондукторы — те, в ком способность воздействовать на людей развита чрезвычайно. Это гипнотизеры.

— Ну и при чем тут я? Я не гипнотизер, — обособился Демонстратнер.

— Ты не гипнотизер. Ты воздействуешь на людей не гипнозом... ты воздействуешь на них... я не знаю чем, но твое воздействие очень сильное.

— Положим... — осторожно допустил Демонстратнер. — И — что?

— И — все! И мы это твое воздействие на людей намерены изучать... замерять. Здесь, в институте. Где ты будешь входить в число кондукторов.

— А зачем вы их кондукторами называете?

— Это же термин, Боря! «Кондуктор» означает «проводник», правильно? Иначе говоря, тот, кто передает свою энергию, как бы свой электрический разряд, окружающему миру. Человеку, животному, предмету...

— Живо-отному? — почему-то задержался именно на этой подробности Демонстратнер.

— Да, и животному тоже — *всему* окружающему миру, из кого или чего бы он ни состоял. Но в нашем отделе мы занимаемся воздействием на людей. То есть... мы интересуемся теми, кто умеет оказывать такое воздействие. Понял, что такое кондукторы?

— Подопытные кролики, — подумав, сказал Демонстратнер. — Ты взял меня на работу подопытным кроликом. Мерси, конечно, но меня такая «работа или наподобие» не устраивает.

Коля Петров заулыбался совсем радушно.

— Это почему же и как же это так, Боря?

— В жизни никогда подопытным кроликом не был и не буду. Еще не хватало! — Демонстратнер встал и направился было к двери.

Коля Петров тихо засмеялся

— Ты сядь, тебя все равно отсюда без меня не выпустят. В закрытом ведь учреждении находишься. А в таких учреждениях гости только с разрешения хозяев уходят.

И — метал в голосе. У Коли-то! У Петрова!

Не понимая себя вообще, Демонстратнер подчинился. Снова сел на стул. И тоскливо подумал: «Когда у них в отделе народ-то собираться начинает? Хоть бы пришел кто...»

— Успокоился? — поинтересовался Коля Петров. — Теперь послушай: мне придется тебе одну вещь сказать, не очень такую... приятную. Ты меня сильно подведешь, если откажешься. Видишь ли, в *нашем* институте так не бывает. Если уж кто-то кого-то с собой приводит, значит, это верный человек. Тут же — как получается: будто я недостаточно тебя знаю, а пригласил. Ты сам-то посуди!

С *таким* Колей Петровым Демонстратнер не был знаком. Совсем новый человек сидел перед ним — непонятно что откуда взялось... Вроде, и больше стал, и значительнее, и — определенно! — опаснее.

— Тебе бы раньше подумать, — продолжал этот новый Коля Петров, — идти сюда или не идти... а не приставать ко мне, своди да своди к себе на работу. Я ведь не в бассейн тебя с собой взял... С самого начала понятно было: институт секретный, случайному посетителю тут делать нечего. Как ты мне перед Мордвиновым-то теперь оправдываться предлагаешь — извини, дескать, Мордвинов, осечка вышла... поторопился я, Мордвинов? Ты понимаешь, чем это для меня кончиться может?

Демонстратнер заерзал: Коля Петров ехал на него в танке, между тем как казалось, что тот и на велосипеде ездить не умеет.

— Ты этим всем что сказать-то хочешь, Коля?

— Пока ничего, — улыбнулся тот. — Пока просто попросить тебя хочу: ты не компрометируй меня, ладно? Иначе ведь чушь какая-то получается: я тебе помогаю, в круг тебя, так сказать, ввожу, а ты... выскальзываешь.

— Да не «выскальзываю» я, — скривился из-за последнего слова Демонстратнер. — Я домой ухожу, понимаешь? Не состоялся разговор у нас, понимаешь?

— Это потому, наверное, — очень тихо сказал Коля Петров, — что я разговор правильно строить не умею. Ты посиди тут минутку, я сейчас Ивана Ивановича позову... нам-то с тобой отношения к чему портить?

— Мордвинова? — растерялся Демонстратнер.

— Ну зачем Мордвинова, у Мордвинова имя-отчество... другое.

Иван Иванович Иванов Ивановичем же и оказался — вообще без единого признака: без возраста, без национальной и социальной принадлежности, без пола... Сел верхом на стул перед Демонстратнером и сказал, глядя в упор:

— Что делать будем?

— А какие предложения? — попытался разнuzдаться Демонстратнер.

— Предложения-то... — усмехнулся Иван Иванович. — Да никаких предложений. Пожелания одни. Интересуетесь?

— Интересуюсь, — буркнул Демонстратнер.

— Тогда рассказываю. Пожелание первое — помнить, что Вы находитесь на закрытом объекте специального назначения и, зная его местонахождение и профиль, становитесь носителем секретной информации. Пожелание второе — отдавать себе

отчет в том, что владение этой информацией лишает Вас выбора по отношению к уже сделанным Вам здесь предложениям. Ну, и пожелание третье — иметь в виду, что народ мы тут бесцеремонный и умеем настаивать на своем.

Пожелания очень напоминали угрозы. Демонстратнеру сделалось не по себе.

— Я вот не пойму, — голос немножко подвел его, но... обошлось, — на что я вообще вам сдался? Что во мне такое есть, из-за чего...

— В Вас ничего нет, — не обольщайтесь, — не дал ему договорить Иван Иванович. — И насчет того не обольщайтесь, что Вы тут кому-нибудь особенно нужны. Кондукторы нам, конечно, требуются все время, поэтому наши исследователи постоянно заняты поиском достойных людей. Но Вы, к сожалению, не тот случай.

— Вот как... — Демонстратнер пока не понимал, радоваться ему или огорчаться.

— Вас Коля Петров привел, а Коля Петров не исследователь. Так что... ему не стоило переоценивать собственное чутье. Но теперь поздно об этом говорить: Вы уже здесь. Ну, и придется Вам с нами дружить. За небольшое почасовое вознаграждение. Большое Вам давать пока не за что. А может, и вообще не за что, поживем — увидим.

— С чего начнем? — понимая, что коготок увяз, спросил Демонстратнер.

— С формальностей. Прежде всего Вы подписку дадите о неразглашении любой информации, связанной с НИИ четвертичного рельефа.

— Какого рельефа? — совсем растерялся Демонстратнер.

— Неважно, какого рельефа. — Иван Иванович взял со стола Колину папку и достал из нее — как из своей — листок бумаги

с печатным текстом. — Это мы просто так называемся, чтобы людей досужих не смущать. Читайте и подписывайте.

Печатный текст, кроме собственно обязательства не разглашать информации, касающейся НИИ четвертичного рельефа, содержал в себе только перечень санкций, могущих воспоследовать в случае нарушения данного обязательства: короткий и абстрактный... и страшный — именно этой своей абстрактностью. Вчитываться в слова было бесполезно: они не оставляли в сознании никакого следа.

— Тут, что же, все такую подписку дают? — поинтересовался он. И, не получив ответа, спросил снова: — Про работу мою подробнее где-то можно будет прочесть?

— Там все, что нужно, сказано, — кивнул на листок бумаги Иван Иванович. — В самом начале второго абзаца.

В самом начале второго абзаца стояло, что нижеподписавшийся не возражает против изучения тех из его способностей, которые могут представлять интерес для НИИ четвертичного рельефа.

— А вот... результаты такого изучения — они вам для чего?

— Для составления разнообразных баз данных. Мы же тут наукой занимаемся, — напомнил Иван Иванович. — Чистой наукой. Исследовательское все-таки учреждение.

«Не бывает чистой науки», — сказала Демонстратнеру его сердце. И тут только он осознал, что за весь разговор Иван Иванович ни разу не отвел от него взгляда, да и сейчас продолжал смотреть в упор.

Не мигая.

Как филин.

27. НАЖРУТСЯ...

Все к этому и шло. Софья Павловна знала, что он заблудится, но не провожать же ей было в такое время совершенно постороннего человека!

Когда звонок снова зазвонил, она просто ради порядка спросила: «Вы, Владлен Семенович?» — и, услышав, как он кивнул, открыла ему дверь.

— Черт знает что происходит... — немедленно принялся ругаться тот. — Вы извините меня, но это правда какое-то гиблое место, Вы точно сказали! Автомат возле дома не работает, я пошел другой искать — нету, фонарей на улице — ноль, номера на домах еле видны, насилиу Ваш дом опять нашел — думал, никогда не найду... и потом, сколько ж тут у вас проездов Марьиной рощи-то?

— Официально семнадцать. И еще как минимум столько же, если не больше, которые нигде не числятся. Причем эти все неучтенные проезды не по порядку располагаются. Оно и понятно: где ж столько места-то за один раз взять? Так что неучтенные вклиниваются где попало, в том числе и между учтенными. Я знаю, что, например, между 4-м и 5-м проездами находится 23-й. А неучтенные они так неучтенными и остаются — какая разница, сколько их...

— Действительно, — вдруг сдался Владлен Семенович, на глазах валясь с ног.

— Я Вам в кабинете постелю мужнином. Вы пальто на вешалку повесьте — и по коридору направо.

Посреди ночи Владлен Семенович проснулся от ощущения беспорядка — и, открыв глаза, понял, что спит он у чужих и что не только простыня, одеяло, подушка и сама кровать, но и комната не его. Чувство порядка подняло Владлена Семе-

новича на ноги и заставило оглядеться. Он вспомнил, что находится в кабинете умершего мужа некоей Софьи Павловны Королевой... Муж был, видимо, человек строгий: интерьер выдавал привычку хозяина к спартанскому образу жизни. Больше всего помещение напоминало тюремную камеру. Здесь было только самое необходимое: кровать (одна), стол (один), настольная лампа (одна) и стул (один). Из предметов роскоши имелись допотопное радио (одно) и небольшой книжный шкаф у стены (один). Верхнюю полку книжного шкафа занимали всякие справочники, пять нижних — папки с наклейками, расположенные в соответствии с буквами на этих наклейках. Папки были толстенными, но особого интереса у Владлена Семеновича не вызывали. Буквы на некоторых из них повторялись: например, буква С расплзлась на пять папок, по корешкам которых, как в библиотечных каталогах, стояли подрубрики: Са — Се, Се — Си, Си — Со... и так далее.

Шкаф оказался незапертым, и Владлен Семенович, не зная зачем, открыл его и вынул одну из папок, как раз Са — Се. На картонном листе, находившемся внутри поверх остальных он прочитал: «Савельев — Сергеев (старший)». Перевернув картонный лист, Владлен Семенович просмотрел несколько фотографий одного и того же унылого человека в разные годы его жизни и решил пробежать глазами то, что было на первой странице: «**Савельев Александр Александрович**, род. 12.09. 1933, г. Омутнинск, из рабочей семьи»... дальше на целую страницу шел длинный список родственников до третьего колена, с указанием дат рождения и смерти, рода занятий и мест работы, это Владлен Семенович пропустил. «После окончания семилетней школы (1947 г.) получил среднее образование в ПТУ при Омутнин-

ском металлургическом заводе, поступил на работу на том же заводе, затем — в цех чугунного литья Кировского станкостроительного завода. В 1959 г. был переведен в Москву на работу в литейный цех машиностроительного предприятия № 44-77. В 1961 г. стал кандидатом, в 1963 г. членом КПСС (рекомендации А. Л. Перова, С. Т. Власова и К. С. Зверевой), через год был избран парторгом цеха и оставался им вплоть до 1978 г. С 1963 г. студент Московского вечернего металлургического института, по окончании которого оставлен при парткоме в должности отв. по делам молодежи. В 1972 г. переведен на должность нач. 1-го отдела Московского вечернего металлургического института. В 1956 г. женился на Светлане Ивановне Крыловой (См. **Крылова Светлана Ивановна**), 1935 г. рождения...) — новый список родственников до 3 колена). «В 1957 году родился единственный сын, Иван (см. **Савельев Иван Александрович**). В 1972 г. перешел на должность нач. 1-го отдела Московского вечернего металлургического института. До 1975 года проживал у родителей жены, по адресу: Сущевский вал, д. 17, кв. 31. В 1975 г. получил от института трехкомнатную квартиру во вновь построенном доме по адресу: Москва, 21-й проезд Марьиной рощи, д. 5, кв. 12, где и проживает по настоящее время».

Дальше читать было скучно, и Владлен Семенович в раздумье перевернул пару страниц, гадая, что могло заставить человека собирать биографические сведения о других людях. Однако очередная открывшаяся ему страница поставила на место многое. Здесь он наткнулся на подзаголовок «Особые сведения» и узнал о том, что Савельев Александр Александрович, имея женою высокую и костлявую блондинку, предпочитает пышных брюнеток, особенно несовершенно-

летних, и зачастую проводит с ними веселые часы — в том числе и по некоторым адресам, указанным здесь же. Имена нескольких пышных брюнеток, а также короткие и бесцветные описания их нехитрого жизненного пути предлагались в скобках. Особенный акцент был сделан на несовершеннолетних: возле двух имен стояло слово «информант». Чуть дальше следовал список дат и событий, связанных с этими датами. Приводились сведения о том, где произошла та или иная встреча, что было съедено и выпито, о чем шел разговор и чем сердце успокоилось. Выходило, что сердце у Савельева Александра Александровича всегда успокаивалось одним и тем же, и доказательств тому было, увы, достаточно. Во всяком случае, их с лихвой хватило бы на то, чтобы испортить ему как карьеру, так и семейную жизнь при первой же необходимости. Кроме того, словно этого всего было мало, среди «особых сведений» перечислялись грешки Савельева-сына, за подробной информацией о которых рекомендовалось обратиться к материалу непосредственно о нем. Владлен Семенович так и поступил — правда, не сказать чтобы без отвращения.

Савельева Ивана Александровича не мудрствуя лукаво изобразили малолетним преступником, и основания для этого, судя по обильно представленным фактам, имелись серьезные. Так, Савельев-юниор носил длинные волосы, а к ним — джинсы Levi's, что уже и само по себе никуда не годилось, однако было подкреплено еще и фарцовкой (сигареты «Сamel», жвачка и проч.): перечислялась пара-тройка неудачных походов к гостинице «Россия» якобы «для языковой практики», закончившихся препровождением в местное отделение милиции и всякий раз своевременным вмешательством Савельева-сениора.

Не следовало обладать особой проницательностью, чтобы понять: Савельеву Александру Александровичу в случае необходимости могли весьма и весьма аргументированно пригрозить. Однако необходимости, видимо, так и не возникло, о чем свидетельствовала последняя, весьма корявая, строка «досье»: «Информация не активизировалась».

Похоже, муж Софьи Павловны был, извините за выражение, стукачом или вроде того: казалось невозможным представить себе, что сбор компромата на Савельева и прочих — его хобби. Хотя... как знать: разные у людей увлечения бывают.

Владлен Семенович перевернул страницу: оказалось, строка, только что принятая им за последнюю, таковой не была. Правда, на новой странице находилась всего лишь коротенькая приписка: «Эпоним — Принц Уэльский». Что такое «эпоним», Владлен Семенович не знал.

По прочтении досье у Владлена Семеновича было ощущение, будто он вывалился в дерьме. Решив не особенно вчитываться в другие материалы, Владлен Семенович прошелся по эпонимам и подивился тому, насколько они многообразны и непредсказуемы. Среди одних только Савельевых нашлись Калигула, Нострадамус, Шерлок Холмс, Калиостро, Рузвельт, батя Махно, Япончик... и даже некий совсем странный Савельев с эпонимом «Анна Павлова», а среди, например, Саоновых — Данко, Людовик XIV, Чапай, Домовой, Шершень и множество других. Назначение этих «эпонимов», напомним клички, было не очень понятно, но сдавалось, что использовали их между «своими», хотя кто такие «свои» — оставалось загадкой.

Утром Владлен Семенович был мрачен, наспех позавтракал, церемонно поблагодарил Софью Павловну за заботы

и — пообещав вскорости вернуть одежду вместе с рублем мелочью, занятым у радушной хозяйки на всякий пожарный, — отправился восвояси. Уже на улице он установил, что жила хозяйка в номере 16 по 16-му проезду Марьиной рощи. Запомнив простой этот адрес да еще и проверив себя раз пять, Владлен Семенович глубоко вздохнул и отправился на автобусную остановку.

Утреннее впечатление от района, в котором он находился, оказалось не радостнее ночного. К тому же валил снег — и на десять шагов вперед было ничего не видно. Спрятав лицо в каракулевый воротник, Владлен Семенович шел дальше до тех пор, пока ему не начало казаться, что путь до автобусной остановки гораздо длиннее, чем обещано Софьей Павловной. Однако он продолжал брести, но сколько ни брел — никакой остановки так и не попалось. Через двадцать минут целенаправленного движения Владлен Семенович понял: что-то здесь не так. Он стал идти, прижимаясь к домам и пытаясь разглядеть номера, но номера были далеко не везде, а те, что были, только еще сильнее его запутывали. Рядом с домом номер тридцать два оказался сто четвертый: их разделяла только какая-то небольшая лужайка, на которой скучали под снегом качели-карусели. Пожав плечами, он продолжал поступательное перемещение, и долго шел вдоль домов без номеров — до тех пор, пока перед ним не оказались ворота во двор. Пришлось во двор и войти: больше, вообще говоря, двигаться было некуда. Двор заканчивался полукруглым зданием, напоминавшим имение средней руки. У входа висела табличка «Государственная служба надзора». Надзора за чем — указано не было. Владлен Семенович не стал испытывать судьбу и внутрь, под надзор, не пошел, а пошел назад, поскольку

высокий забор по обеим сторонам строения исключал возможность обогнуть дом.

Выйдя из ворот, он растерянно посмотрел по сторонам. Куда идти, не имело значения: снег обступал его со всех сторон. Владлен Семенович подумал было вернуться к Софье Павловне, но, вспомнив о муже-стукаче, чья одежда была на нем, встряхнул головой и двинулся налево — по улице, название которой ему кое-как удалось разобрать на табличке первого из домов: Складская. В самом начале Складской обнаружилась небольшая забегаловка, в окне которой самовар-во-весь-рост с помятого бумажного плаката за стеклом недвусмысленно намекал на возможность согреться. На вывеске значилось: «Закусочная». Народу внутри оказалось два человека: у самой двери изо всех сил баловался чаем явно прогуливавший занятия школьник, а за одним из столиков справа сидела грустная старуха с грустной собакой у ног. Время от времени старуха отламывала кусочек от лжавшего прямо на столе лаваша и давала его собаке, прихлебывая что-то из чашки, словно это не собака, а она сама должна была запивать сухой лаваш.

Заказав себе чай и пирожок с капустой, Владлен Семенович решил все-таки, что от школьника в данной ситуации проку будет больше, и расположился за соседним с ним столиком.

— Школу прогуливаем?

— Почему это? — сразу возмутился школьник. — Болею я.

— Чем же такое? — миролюбивее некуда продолжал Владлен Семенович.

— Воспаление легких, наверное, — дую на чай так, что брызги разве что до прилавка не долетали, — озабоченно произнес школьник.

— Серьезное заболевание... — посочувствовал Владлен Семенович. — А домой чего не идешь?

— Я здесь болею.

— Ну, тебе видней, — согласился Владлен Семенович. — Район этот хорошо знаешь?

— Конечно, — обрадовал его школьник.

— И как до Белорусской доехать знаешь?

— Зачем же ехать, когда пешком двадцать минут — дворами. Мы так все тут ходим. Автобусов все равно не дождешься, — поделился богатым, видимо, жизненным опытом школьник и, прежде чем Владлен Семенович успел отреагировать, вскочил со стула и направился к двери, по пути отчитавшись:

— Теперь домой болеть пойду.

Владлен Семенович надкусил кислотовый пирожок, поморщился и, допив чай, поспешил на улицу: он внезапно осознал, что в этом «гиблом месте» полагаться придется только на себя. Было утро, и, если до Белорусской всего двадцать минут, рано или поздно он ее найдет. В его распоряжении еще целый день.

Он блуждал несколько часов, все время заходя в какие-то тупики, отогреваясь в подъездах, небольших магазинах с подозрительно богатым ассортиментом товаров (эх, жалко денег при себе нет!) и случайных забегаловках, то тут, то там возникавших из снега. Ближе к четырем, когда метель унялась, он понял, что пропал, что жизнь его пошла наперекосяк и что без посторонней помощи ему уже не вернуться ни в свою квартиру на 4-й Брестской, ни к потайному выходу из злополучного института четвертичного рельефа, ни даже на 16-й проезд Марьиной рощи, к Софье Павловне Королевой. Он словно находился в другом измерении, пути из которого на привычные улицы — нет.

Вдруг Владлен Семенович услышал вдали гармонию. Идя на звук, он увидел деревья и огни за ними. Оттуда слышались голоса — и скоро стало понятно, что ноги вынесли его к месту народного, видимо, гулянья. Он попытался вспомнить, какое сегодня число и по какому поводу может случиться народное гулянье, но отчаялся и просто побрел к людям. Навстречу ему пахло дымом, а из толпы, бабьим голосом, неслась какая-то глупость:

Эх, я не отсель
Да и ты не отсель!
Не ищи меня, миленок,
Замела меня метель!

Владлен Семенович вздрогнул и побежал, борясь с добротным, но чертовски тяжелым стукаческим пальто. Несмотря на то, что уже смеркалось, за деревьями на опушке леса (леса?) и вправду гуляли вовсю. Народу было явно много — Владлен Семенович мысленно перекрестился: такая прорва людей не могла исчезнуть в один миг, как исчез небаловавшийся чаем школьник!

Значит, помогут, в беде не оставят.

Он отдышался и осторожно внедрился в толпу. Оказалось, что гармонист сидел посередине, а вокруг него резвились пожилые какие-то и страшно прыгучие тетки, состязавшиеся в знании устного народного творчества.

— Чего гуляем? — тихо спросил он у стоявшего рядом.

— А чего ж не гулять-то? — удивился тот. — Суббота — вот и гуляем. Вы прямо как первый раз в Марьиной роще.

— Я и есть первый раз... командировочный я, — на редкость удачно соврал Владлен Семенович, запрещая себе вду-

мываться в тот факт, что Марьину рошу вырубili, кажется, еще в конце прошлого века. И что, по всем признакам, гулянка происходила на бывшем здесь когда-то кладбище.

— Поня-а-атно, — обрадовался сосед. — Тогда Вам к Любушке надо, она у нас до командировочных сама не своя.

— Запомню, — поспешно пообещал Владлен Семенович и тут же поменял место: контакт с человеком, настолько сильно погруженным в среду, был опасен.

Следующего своего собеседника он выбирал долго и придирчиво, чтобы в конце концов остановиться на находившемся чуть в отдалении и, как жену чужую, обнимавшем березку пенсионере его возраста. Вблизи пенсионер оказался совсем пьяным, и Владлен Семенович решил было продолжать свою селективную деятельность, но пенсионер вдруг отпустил березку и сел на снег.

— Вы на снегу не сидите, — озаботился Владлен Семенович. — Замерзнете.

— Трусишка-зайка серенький, смотри не замерзай! — пропел пенсионер и заулыбался во весь щербатый рот.

— Вы местный? — спросил Владлен Семенович.

— Мы не местные, мы небесные! — И пенсионер, заливаясь на редкость тонким смехом, принялся хлопать рукавицами по снегу.

Не будучи в состоянии разделить его радость, Владлен Семенович бросился поднимать пенсионера со снега.

— Уйди-уйди-уйди, — заверещал тот, снова вцепляясь в березу, — уйди, чтоб глаза мои тебя не видели! Карау-у-ул! Убивают!

А поскольку Владлен Семенович, пыхтя, пытался теперь уже оторвать его от березы, пенсионер начал лягаться, да с такой злобой, что Владлен Семенович махнул рукой:

— Ну и замерзай тут, придурок!

— Сам придурок! — не полез за словом в карман пенсионер, но тут же потерял интерес к Владлену Семеновичу и забубнил о своем: — Ишь, разгулялись на костях, нечистая сила, управы на них нету... костры жгут... на гармониях играют... частушки поют — прямо как живые! А этот еще за грудки хватает да тащит к себе в логово, того и гляди съест... ох, съест! — и покатился по снегу, опять заливаясь тоненьким своим смехом. — Съесть-то он съест, да кто ж ему даст! Вы об Игнатъича зубы сломаете, вурдалаки-оборотни... шабаш, видите ли, устроили... ничего... мы немецких супостатов победили и вас победим! Те тоже во все стороны ползли, как и вы ползете... тоже проглотить нас хотели, да не тут-то было...

Игнатъич снова уже катался по снегу, только не смеялся больше. Наоборот, всхлипывал теперь — пьяненькими своими слезами плакал, и не понять было, что у него тут всерьез, что как...

— А ведь и проглотят за здорово живешь, коммунисты-партейные-рвачи-первостатейные... хоть и зубы сломают, да ведь живьем же проглотят, оглянуться не успеешь... Первая улица Марьиной Рощи вчера еще была, а сегодня сплыла... Толяна как ветром унесло... Толян мой бедный, собутыльник бесценный... Где же вы теперь, друзья-однополчане, нет, вы мне скажите, где друзья-однополчане, Толян где? А тут за грудки хватают... не боюсь я вас... мы не местные, мы небесные!

Игнатъич перестал кататься по снегу и, озираясь по сторонам, но не замечая больше Владлена Семеновича, вытащил из-за пазухи бутылку... надолго приложился к ней. Потом, насилиу оторвавшись от горлышка, ртом снега хватил, бутылку опять за пазуху спрятал — и опять кататься, и опять

всхлипывать. Да только не слышно уже было, чего он там себе бормотал. А потом обмяк и затих.

— Игнатъич, — потормошил его Владлен Семенович, — Игнатъич, дорогой, вставай ты, чтоб тебя черти съели!

Только Игнатъич, вроде, и не дышал уже. Так не бывать же тому... нам чужого не надо, но и своего не отдадим! Война так война, мать вашу, Второй Белорусский — вперед, на приступ!

Взвалив бесчувственного Игнатъича на себя, Владлен Семенович волок его сквозь толпу, распахивая зевак, внимавших прыгучим теткам с частушками во рту. Куда тащил он раненого своего боевого товарища, не знал Владлен Семенович: снаряды грохотали, пули свистели, солдаты кричали и падали... не было больше видно, где земля, где небо, где право, где лево, где свои, где чужие — и, глядя прямо перед собой, рядовой Владлен Семенович Потапов шел куда глаза глядели и помнил только одно: остановка — смерть. Он шел через лес, проваливаясь в снег почти по пояс, продираясь сквозь густые заросли каких-то колючих кустов и, кажется, отморозив уже ноги: пальцев не чувствовалось. Ничего, ничего, говорил он Игнатъичу, терпи, осталось немного, вот уж и взрывы не слышны — или это меня контузило? Вон уже и свет, смотри, Игнатъич, да открой же ты глаза, мы пришли к своим, Игнатъич!

Откуда-то Владлен Семенович знал, что перед ним станция метро... только станции этой он, изучивший московский метрополитен вдоль и поперек, не видел никогда. Ах, да какая разница, метро есть метро, в метро наши, метро не подведет!

«Калибровская» было написано над станцией... простите?

Он втащил боевого товарища в вестибюль, прислонил к радиатору и сел рядом. Прорвались! Пар от них шел такой,

что поздний пассажир, взглянув на двух пьяниц, привалившихся друг к другу, покачал головой и сказал себе с укором: «Вот когда милиция действительно нужна — ее нет!»

Между тем Игнатъич, не то очнувшись, не то протрезвев, с изумлением изучал тяжело дышавшего рядом с ним собутыльника, чье лицо и руки были исцарапаны в кровь.

— Эй, — осторожно толкнул он собутыльника. — Хватит тут лежать, по домам поехали... Тебе до какой?

— Мне до «Белорусской», — едва вспомнил Владлен Семенович.

— Это следующая, — посмотрел на табличку над эскалатором Игнатъич. — А мне — в противоположную, к «Новослободской», тоже следующая... вперед, однополчанин!

И, едва попав пятаками в отверстия автоматов, они — снова в обнимку — отправились к приветливо журчавшему эскалатору, а вскорости благополучно сошли с него и даже удостоились замечания дежурной, выполненного в непередаваемой на письме модальности:

— Нажрутся...

28. ПЕРВОГОДЕКАБРЯТЫСЯЧАДЕВЯТЬСОТ- ВОСЕМЬДЕСЯТВОСЬМОГОГОДА

Прошло уже два года.

То есть на полтора года больше, чем... — чем.

Лев одно понимал: ни в коем случае нельзя обозначать словами это «чем». Ни в коем случае нельзя ходить на ту сторону слов. Чего бы оно ни стоило, надо оставаться на этой стороне: сказать значит начать. Повернуть рычаг и открыть — шлюз. И хлынет вода. И смоев все с лица земли.

Лев, Лев, не ходи на ту сторону слов.

В последнее время он постоянно разговаривает сам с собой. Это потому, что больше мало с кем есть. Вера исчезла. Она исчезла так, как исчезла когда-то, еще до рождения Льва, Джулия Давнини, женщина-змея — в отличие от той оставив после себя не змеиную кожу, а тоненькую золотую веточку — единственное из имевшихся у нее украшений. Что до деда Антонио... дед Антонио теперь плохой собеседник. После той ночи, когда он приехал на такси во втором часу и ничего не рассказал, а лег на диван и тут же хотел подняться с дивана да передумал, и остался сидеть на самом краешке, и правый уголок рта прямо на глазах у Льва пополз вниз. А Лев тогда еще сказал: «Деда, у тебя линия рта... странная», — и попытался пальцами придать этой линии обычную форму, но не смог... Потом, через несколько дней позвонил тот чудной Пал Андреич, Лев не смог говорить с ним и честно сказал почему, так что Пал Андреич не звонил больше.

В общем, после всего этого дед Антонио — плохой собеседник.

То есть, нет, не так. Говорить-то с ним можно сколько угодно, только вот... дед глупости часто говорит. Не всегда,

конечно. Но бывает. Леночку это бесит, и она то и дело повторяет: «Когда ему надо, он понимает просто все!» Сначала Лев после таких слов сразу же ссорился с ней чуть ли не навсегда, но теперь устал. Теперь ему все равно, что думает Леночка.

Иногда — редко — дед Антонио действительно понимает «просто все». Нужно только суметь не пропустить это время, нужно только научиться не помогать самому деду Антонио убеждать его, Льва, в том, что дело безнадежное.

Между тем единственное, чем дед занят сейчас, — это поиски Льва, постоянные поиски Льва.

— Где Лев? — требовательно спрашивает он у Льва. — Позовите мне, пожалуйста, Льва.

С тем Львом, который перед ним, дед Антонио на «Вы». Наверное, того Льва, который перед ним, он воспринимает как... как медбрата или кого-нибудь в этом роде.

— Простите, я просил позвать Льва. Где Лев?

Было время, когда у Льва сохранялась еще надежда, что дед Антонио все-таки узнает его. «Это я — Лев», — говорил он, настаивал он, сердился он, кричал он, несколько раз, вот дурак-то, даже предъявив деду паспорт и прося сравнить фотографию на паспорте с его лицом. Но дед Антонио смотрел на Льва честными своими глазами и — не слышал. А переждав этот шквал аргументов, кивал, улыбался и снова с нетерпением повторял:

— Простите, я просил позвать Льва. Где Лев?

Однако иногда он прекращал поиски, потому что внезапно находил Льва.

— Лев, — говорил он, — где ты был? Я просил их позвать тебя, но они не звали.

— Кто «они», деда?

— Леночка... и другие.

Леночку-и-других, причем *всех* других, дед Антонио узнавал. И ни на минуту не терял. Ему казалось, что они — Леночка-и-другие — постоянно около него. А вот Льва никогда не было.

— Я был здесь, деда. Я и сейчас здесь.

— Ну, слава Богу, Лев, слава Богу. Я думал, что опять потерял тебя. Я все время тебя теряю. А мне нужно сказать тебе одну вещь. Я боюсь, что не успею. Спросите-скрипочку-мою... Слушай меня, пока я не сбился.

На этом месте он всегда сбивался — и опять начинал искать Льва. Потому-то Льву так важно и было поймать момент, пока дед Антонио не подошел еще к своему «мне нужно сказать тебе одну вещь». Если Льву это удавалось, деда Антонио — прежнего, нормального деда Антонио — могло хватить и на час, и на два, и даже, например, на всю первую (но никогда — на вторую) половину дня. Продолжительность такого состояния зависела от темы разговора. Дед Антонио мог часами говорить о фокусах — то есть как раз о том, чего Лев добивался от него всю свою жизнь, но никогда не получал, — хоть о конкретных фокусах, хоть о фокусах вообще. Лев выводил его на эту тему — и дед говорил, говорил, говорил... да только Лев не слушал. Теперь ему уже было не нужно о фокусах. Теперь, когда дед Антонио мог каждую минуту... — Лев, Лев, не ходи на ту сторону слова!.. — разговоры о фокусах казались неуместными, несвоевременными, никчемными.

— Ты запоминаешь, Лев?

— Я запоминаю, деда!

Дед Антонио, слава Богу, не заставлял его повторять то, что он запоминал... — и что сначала действительно пытался

запомнить, даже записать! Однако вскоре Лев оставил эту затею, потому как не было, не было в нем — внутри у него — ничего, кроме андерманир штук. Не было памяти. Не было сил. Не было терпения. Один андерманир штук — главная тайна Льва. *Его* собственный андерманир штук — единственное, что принадлежит ему в этом мире.

С дедом Антонио ничего не случится, пока Лев лечит его этим лекарством — андерманир штук. Одну ложечку утром, натошак, около семи, дед рано просыпается:

А вот, господа, андерманир штук — хороший вид, город Палерма стоит, барская фамилия по улицам гуляет и нищих тальянских деньгами оделяет.

Вторую — сразу после завтрака, в восемь:

А вот, извольте видеть, андерманир штук — другой вид, Успенский собор в Москве стоит, своих нищих в шею бьют, ничего не дают.

Третью ложечку — перед тем как Льву на работу уходить (ему к одиннадцати):

А вот андерманир штук — другой вид, город Аривань стоит, князь Иван Федорович въезжает и войска созывает, посмотри, как турки валяются, как чурки.

Четвертую ложечку — до обеда (Лев успеваает с работы прийти разогреть деду еду), в три часа дня:

А вот, государыни, андерманир штук — еще один вид: в городе Цареграде стоит султан на ограде. Он рукой махает, Омер-пашу призывает: «Омер-паша, наш городок не стоит ни гроша!» Вот подбежал русский солдат, банником хватить его в лоб, тот и повалился, как сноп!

Пятую ложечку — перед выходом на работу, в четыре:

А вот, друзья, андерманир штук — город Вена, где живет прекрасная Елена, мастерица французские хлебы печь.

Затопила она печь, посадила хлебов пять, а вынула тридцать пять. Все хлебы хорошие, поджарые, сверху пригорели, снизу подопрели, по краям тесто, а в середине пресно.

Шестая ложечка — натошак перед ужином (Лев уже опять дома: он до семи работает), в половине восьмого:

А вот, господа, андерманир штук — город Краков. Продают торговки раков. Сидят торговки все красные и кричат: раки прекрасные! Что ни рак — стоит четвертак, а мы за десяток дивный берем только три гривны, да каждому для придачи даем гривну сдачи.

И, наконец, седьмая ложечка — в десять:

А вот андерманир штук — город Париж, поглядишь — угоришь, где все по моде, были б денежки в комоде, барышни на шлюпках, в широких юбках, в шляпках модных, никуда не годных. А кто не был в Париже, так купите лыжи: завтра будете в Париже.

А на ночь, на каждую ночь, между одиннадцатью и двенадцатью — андерманир штук полностью.

И по ночам — если дед Антонио просыпается и Льва зовет: столько раз, значит, сколько зовет.

Все это не вслух, разумеется. Все это, разумеется, в сердце своем.

Лев знал, что держит деда Антонио — он. Несколько раз возил его в поликлинику на обследования, несколько раз врачи приходили сами — по одному или по два. И никто из них не понимал, что происходит с болезнью деда. Один Лев понимал — все.

Причем понимал тоже не вслух. Понимал тоже в сердце своем.

Нет, он не то чтобы приговорил деда Антонио к вечной жизни... но дед Антонио просто не должен был, просто не

мог — сейчас: слишком рано, слишком рано... — Лев, Лев, не ходи на ту сторону слов!

И он поднимал глаза к небу, смотрел на облака — и проносил:

— Мы так не договаривались.

Он не знал никаких молитв, но у него был андерманир штук. Не молитва, нет, ни Боже упаси: стишок-не-стишок, прибаутка-не-прибаутка... не поймешь что, одним словом. Да и неважно, что. Но *это* действовало, Лев знал. Нужно только было соблюдать расписание, потому что один раз пропустить андерманир штук или даже просто опоздать — и тогда все напрасно. Тогда уже не догнать этого ручейка: ты в Вене — он в Кракове, ты в Кракове — он в Париже! Но пока все в порядке... в порядке и будет: Лев *не может* забыть расписания — что бы ни происходило вокруг.

Впрочем, происходить ли происходящему, — это тоже зависело от Льва. И более злой собаки, чем Лев, не было ни у одного хозяина на свете. Он подпускал к деду только троих доверенных: Леночку, Константиняныча и Петю Миронова. Причем никто из них не знал правды. Знали только, что у деда Антонио случился инсульт и что теперь дед поправляется.

Посещения «доверенных» всегда происходили только под надзором Льва: незадолго до их прихода Лев пытался, и чаще всего удачно, запустить тему фокусов — и на этой теме, как на саночках, дед Антонио благополучно скользил по заснеженным дорожкам памяти, да так умело, что никому и в голову не приходило считать его полоумным. Правда, произносилась им время от времени то одна, то другая странная вещь, но... человек-же-после-инсульта!

Больше всех на свете Лев сейчас был благодарен Леночке. Даже не столько Леночке, сколько ее рольмопсу — это роль-

мопса осенила идея просто-таки невероятной замечательности: пристроить Льва в какую-то научную библиотеку, которой заведовал его старый приятель. В отдел каталогов. Услышав об этом, Леночка тогда настолько обрадовалась, что даже купила себе новое платье — с блестками, на случай чего. А то очень уж она заволновалась накануне, когда, спросив Льва о том, чем он намерен теперь, после окончания школы заняться, услышала беспечный ответ... что-то вроде: пойду поработаю где-нибудь от дома недалеко, с дедом-то иначе — как?

Леночка тоже не знала как, но тут появился рольмопс с букетом калл и развел руками чужую для него беду. Научная библиотека находилась от дома ближе не придумаешь: на 1-й улице Усиевича.

— Это совсем рядом с дедом где-то, — опознала адрес счастливая Леночка и захлопала в ладошки.

— Ну, приблизительно, — согласился рольмопс. — Только найти трудно, там объект специального назначения один... или что-то вроде. Но Льва встретят.

Леночка с пониманием закивала: рольмопса постоянно окутывали какие-то — страшные, хотелось бы ей думать, — тайны, придававшие его ухаживаниям за ней особую обреченность. Словно в любую минуту он мог исчезнуть навсегда... — и Леночке начинало казаться, что она уже ждет этого момента или, во всяком случае, не имеет ничего против: трагическая для нее, но красивая развязка...

— Библиотека — это на время, — серьезно и печально сказала она Льву, словно отдавая его против воли в руки спецслужб, — то есть до армии.

— Не возьмут меня в армию, Леночка, — сообщил ей Лев.

— Ты болен? — с материнским ужасом спросила та.

— Да нет, — заверил он ее, — не волнуйся.

И Леночка тут же успокоилась — попыталась спросить только насчет учиться-куда-нибудь... но вопроса не получилось, да и отшутился Лев:

— Чему ж мне учиться, когда у меня способностей — никаких? Вообще ведь ни к чему способностей нет, ты разве не в курсе?

Леночка только ручкой махнула: да ну его... как же это может быть, чтобы никаких способностей не было, — такой красивый мальчик! Ну ладно, пусть поработает, пока не определится.

Место работы настолько не интересовало Льва, что ему и в голову не пришло пойти взглянуть на него. Начинать надо было через неделю, в пятницу обещали позвонить: договориться, во сколько точно в понедельник утром забрать Льва около его подъезда, потому как с первого раза, дескать, не всегда библиотеку эту и найдешь.

Однако найти библиотеку оказалось проще простого, она располагалась минутах в десяти ходьбы от дома, что обрадовало Льва безмерно: дед Антонио был, значит, совсем под боком. Лев даже не понял, зачем ему нужен провожатый. В одном только месте — там, где, по мнению Льва, глухая кирпичная стена вплотную смыкалась с жилым домом, — обнаружился с правой стороны проходик — узенький, но достаточный для того, чтобы сквозь него можно было протиснуться.

— Это единственный путь сюда? — с изумлением спросил Лев у попутчика, средних лет человека, представившегося как Александр Алексеевич... нет, как Алексей Александрович, Лев точно не запомнил.

— Почему же единственный! — рассмеялся попутчик. — Просто все остальные... обходить далеко. Я Вам как раз и хотел кратчайший показать.

— Спасибо, — сразу все понял Лев и даже растрогался.

Адрес новой работы был 1-я улица Усиевича, дом 8. Прежде Лев и не догадывался, что, кроме улицы Усиевича как таковой — улицы, на которой он жил вот уже тринадцать лет, — существуют еще и другие улицы других Усиевичей... или того же самого Усиевича? Знать бы еще, кто он такой.

В библиотеке знали. Лия Вольфовна, заведующая отделом каталогов, прищурившись, некоторое время смотрела на него, потом отчетливо произнесла:

— Григорий Александрович Усиевич — это, чтоб Вам было известно, видный партийный деятель и красный командир, убитый белогвардейцами в Западной Сибири. Между прочим, 2-я улица Усиевича с 1922 года существует!

— А 1-я?

— Нрав, я вижу, веселый у Вас, — ни к селу, ни к городу произнесла Лия Вольфовна. — Пройдите, пожалуйста, на свое рабочее место.

Рабочим местом Льва оказалась половина стола, вторая половина которого была в несколько этажей заставлена каталожными ящичками.

— Ваша обязанность — перенести всю информацию со старых карточек на новые. Печатать умеете?

Лев помотал головой.

Лия Вольфовна вздохнула и бесстыдно произнесла: — Как же мне надоели эти протезе! — Потом добавила: — Ну, что... от руки тогда переписывать будете. Писать-то умеете хоть?

— Писать умею, — заверил ее Лев.

— Пишите, — распорядилась Лия Вольфовна и ушла, оставив Льва один на один с ящиками. Других сотрудников

в каталожном отделе не оказалось, так что у Лии Вольфовны в подчинении был только он.

Так вот безрадостно и началась его работа — первая в жизни.

— Деда, — сказал он, придя домой на обеденный перерыв, — библиотека-то, оказывается, совсем близко

— Молодец, — похвалил дед Антонио. — А где Лев?

Теперь Антон Петрович знает, что Лев работает в библиотеке на 1-й улице Усиевича: Лев даже пару раз брал деда Антонио с собой на работу. Тот смиренно сидел в каталожном отделе, поглядывая в окно и считая людей на улице.

— Ты чего людей считаешь? — спрашивал Лев.

— Потому что это важно! А потом... мне надо тебе одну вещь сказать. Дело, видишь ли, не в том, чтобы этой картой не пользоваться, — дело в том, чтобы карты этой вообще не имелось, не существовало в природе... Спросите-скрипочку-мою! Ты слушай внимательно, львенок, пока я не сбился, — начал было дед и — сбился.

Лев подошел к нему сзади, обнял деда Антонио за плечи: они вместе смотрели на улицу.

— Деда, деда... — вздохнул Лев, — ты прямо как старая графиня, про карты: тройка, семерка, туз...

— При чем тут графиня! — раздраженно махнул рукой дед Антонио. — Она про какие карты — про игральные. А я тебе про какую? Про точную карту Москвы!

«Лучше бы уж про тройку-семерку-туза, — про себя вздыхал Лев. — На них бы денег выиграть — и на работу не ходить...»

Но дед Антонио уже блуждал где-то, совершенно не интересуясь больше Львом. Со скрипочкой, происхождения которой в воспоминаниях деда так никогда и не удавалось

установить. А то вдруг замирал и начинал хватать воздух ртом... Лев пугался, но оно быстро проходило.

— Что, деда, что?

— Кольца! Четыре кольца... давят.

— Какие кольца, деда?

И — перечисление уже опять больного духа:

— Какие... а, б, в, г... — вот какие!

Но зато прошло уже два года, уже и три скоро пройдет! И потом еще много лет пройдет — вот им всем, хм... Леночке-и-другим, как дед Антонио говорит. Пусть никто, ни одна живая душа в мире не узнает, что *на самом деле* с дедом Антонио. Да, у него был инсульт... микроинсульт, но это не смертельно. Даже хорошо, что у него был микроинсульт... так, по крайней мере, дед Антонио ни о чем другом не узнает, а то как бы от него скрывать, что... Лев, Лев, не ходи на ту сторону слов, есть у тебя андерманир штук — им и живи. У него одна только сторона, эта, а той стороны никакой нет.

И никто Льву не опасен: сколько хочет деда держать — столько и будет! Захочет еще сто лет держать — сто лет и будет...

Петя Миронов, печальный клоун, сидит молча. Он уже с полчаса как пришел, около трех, с воскресным визитом, деду цветок принес, орхидею — специальную, корешок в пробирку запечатан... импортная орхидея. Долго жить может, только пробирку открывать нельзя. А сама орхидея — в коробке пластмассовой. Дед как взглянул на цветок — так полчаса и сидит на него смотрит: словно так всегда теперь будет. Лев попробовал у него коробку из рук взять — не отдает коробку дед, головой мотает, набычился, Льва позвать просит... опасно, лучше не тревожить его.

А Петя Миронов, печальный клоун, сидит молча. И как дед Антонио на цветок смотрит — так Петя Миронов на деда Антонио смотрит: не отрываясь. Тоже — словно так всегда теперь будет.

И какая-то между ними работа происходит: между дедом Антонио и Петей Мироновым... через этот цветок какая-то работа происходит. Словно они, дед Антонио и Петя Миронов, одно и то же понять пытаются, ан — не понимают. Лев в сторонке сидит... сидит наблюдает за той работой, которая происходит: дед Антонио вглядывается в цветок, а Петя Миронов вглядывается в деда Антонио. Нет... неправильная последовательность: Петя Миронов вглядывается в деда Антонио, а дед Антонио вглядывается в цветок. Теперь понятно? Да, теперь понятно: Петя Миронов имеет что-то сказать деду Антонио, что-то важное сказать... — и для этого выбрал цветок. Орхидею.

Лев встряхивает головой и догадывается: ему не нужно смотреть на орхидею. И на деда Антонио не нужно смотреть. Ему нужно смотреть на того, на кого никто сейчас не смотрит... на Петю Миронова. И услышать сообщение Пети Миронова, печального клоуна.

И Лев слышит это сообщение, он слышит это сообщение, но трудно различить слова...

...антонпетровичэтовамнотольконепотомучтовыбольнымисвамиобазнаемчемпритомчтолевдумаетбудтони-
вамнимнеэтонеизвестнотолькоделоневэтомантонпетро-
вичавцветкевысмотритенанегосмотритеголубчикантон-
петровичивыпойметеизачемяпришелснимянемогнеприй-
тиснимяувиделеговкиоскеименяосенилчтоэтовыпойме-
теэтовынеможенепонятьэтонесловаантонпетровичэто-

другое вы смотрите на цветы, вы поймете что происходит с вами именно это с вами и происходит вы смотрите на цветок антон петрович вот так он живет эта орхидея так он может прожить долгоя не помню сколько я читала на упаковке но упаковка вы бросил мне стало жутко читать просто поверьте что долго очень долго потому что пробирка запечатана потому что корень запечатан в пробирку а цветок в пластмассовую коробку и вся композиция называется вечность антон петрович нолевни в чем не виноват он думает что спасает вас но он спасает себя а антон петрович дорогой я не знаю как он это делает нето быя поверьте менето быя уж несомневайтесь...

Гул, гул, гул в голове...

— Петя, — говорит Лев, — пожалуйста, пойдемте в кухню, пусть дед на цветок смотрит, а мы с Вами покурим, и я скажу Вам кое-что...

— Я скажу Вам кое-что, Петя Миронов, печальный клоун, — продолжает Лев, закуривая (он полгода уже курит, а дед Антонио все равно не замечает, даже запаха дыма не чувствует)... закуривая, стало быть, и протягивая сигареты Пете Миронову, который шарахается от них так, слово его током ударило. — Я, собственно, даже не скажу — я спрошу: что Вы понимаете в этом, Петя Миронов? И какое отношение это имеет к Вам, Петя Миронов, печальный клоун?

Не отрывая взгляда от указательного пальца Льва — пальца, теперь толкающего пачку с сигаретами к самому краю стола, — Петя Миронов, печальный клоун, отвечает так:

— Я не клоун, Лев.

— Я знаю, помню, но при чем тут...

— Я не клоун, Лев, и Вы не клоун, и с этим все в порядке.

— А с чем не в порядке?

— Откуда у Вас эти сигареты... вот эти вот сигареты... «Бородинская панорама» — откуда они у Вас?

Бац! «Бородинская панорама» упала на пол: указательному пальцу Льва не удалось задержать падение панорамы.

— Из киоска, — как на духу отвечает он.

— Из киоска — где, Лев?

Ох, странный он, Петя Миронов, печальный клоун! Из киоска — где... да какая разница, где! И потом... что ж про сигареты говорить, когда последний раз здесь Петя Миронов — пусть и не знает он об этом еще. Но Лев сейчас скажет ему... слова бы только найти. Он чудесный, Петя Миронов, он замечательный, прав дед Антонио, и мы могли бы хорошо дружить, да не получится. Потому что не надо было ему приносить орхидею в пластмассовой коробке, с корнем, запечатанным в пробирку, — это может потревожить деда Антонио, это может сбить с толку Льва, а тут все так хрупко, Петя Миронов, печальный клоун!

— Из киоска... около библиотеки моей!

Сейчас я начну расставаться с Петей Мироновым, печальным клоуном. Кстати, жалко, что мы с ним на «Вы»... на сколько он меня старше, лет на семь, нет, надо все-таки на «Вы», если на семь.

— Вы говорите, десять минут ходьбы отсюда, Лев? Вы знаете дорогу?

— Я по ней каждый день хожу, а... что?

— Лучше не спрашивайте меня ни о чем... пока не спрашивайте. Просто проводите меня туда, можете?

— Сейчас? (На кухонных часах — двадцать минут четвертого, деда обедом кормить скоро.)

— Сейчас.

Значит, я отложу расставание с Петей Мироновым. Просто... когда он позвонит в следующий раз, я скажу, что дед Антонио сейчас плохо себя чувствует, — и в следующий-следующий раз то же скажу, и в следующий-следующий-следующий. Даже лучше, что — так.

— Конечно, могу, идемте.

Лев заглядывает в комнату деда Антонио. Тот все так же держит пластмассовую коробку в руках, вновь и вновь пытаясь разгадать ее тайну — тайну, которую давно разгадал Лев. Деду Антонио не разгадать ее самому, долго еще не разгадать — и Лев тихонько прикрывает дверь в его комнату.

— Идемте, Петя, если... если Вам так нужно.

Лев ведет его дворами — к кирпичной стене, кажущейся глухой, это здесь, говорит он, с правой стороны есть проходик, можно, разумеется, и другим путем, но тогда крюк делать надо, я всегда тут иду, чтобы быстрее, сигаретный киоск он сразу же за стеной, Вы вернетесь, конечно, да нет, Лев, спасибо, я сигарет только куплю, «Бородинской панорамы», и домой, у меня дела еще, я позвоню на днях... — минуточку!

Петя Миронов, печальный клоун, остановился в проходке... проходике, повернулся ко Льву. На тонких его губах была улыбка — не улыбка даже... просто губы прижаты друг к другу и чуть растянуты.

— Лев, — сказал он, не меняя выражения лица, — я не договорил. Я не клоун, Лев, и Вы не клоун. Но и дед Антонио тоже не клоун... вот это, собственно, и есть то, чего я не договорил. — Он вздохнул, словно собирался карабкаться по канату, и повторил — очень четко и очень ясно: — Но и дед Антонио тоже не клоун. Отпустите его, Лев.

И кирпичная стена сомкнулась за ним. Петя ушел. Ушел купить табак.

Лев посмотрел на часы. Без двадцати четыре. Через двадцать минут — андерманир штук... город Вена, где живет прекрасная Елена, мастерица французские хлебы печь. Затопила она печь, посадила хлебов пять, а вынула тридцать пять. Все хлебы хорошие, поджарые, сверху пригорели, снизу подопрели, по краям тесто, а в середине пресно.

Обед у Льва уже стоял на плите: бульон на первое и курица с пюре на второе. Хороший такой желтый бульон, горячий... — дед обязательно скажет: «Вскипел-бульон-потек-во-храм», он так всегда говорит.

Лев поднял глаза на окно гостиной и словно увидел деда Антонио — сидящего на краешке дивана с пластмассовой коробкой, где запечатана орхидея... Сидящего на краешке дивана и думающего — думающего и изо всех своих маленьких теперь сил тщетно и опять тщетно пытающегося прочитывать сообщение дарителя, Пети Миронова, печального клоуна, который ушел купить табак: вынеклоунголубчикантонпетровичвынеклоун... но как трудно деду Антонио различить слова!

Лев остановился. Без десяти четыре: теперь только подняться в лифте и — андерманир штук, пятый на сегодня.

вынеклоунголубчикантонпетровичвынеклоун

И Лев опустил глаза. Лев повернулся к дому спиной. И помчался от дома по Усиевича, к «Аэропорту», выбросив из головы — все. Когда он, запыхавшись, остановился у входа в метро, на часах было пять минут пятого.

Ручеек андерманир штук уже убежал дальше.
Без него.

И без деда Антонио.
Первогодикабрятысячадевятсотвосемьдесятвосьмогогода.

КАК ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ НЕНУЖНЫХ ЗОНТИКОВ

Попросите вывезти на манеж большое двухстороннее зеркало, помещенное на площадку с колесиками. Развертывая его то в одну, то в другую сторону, ассистент покажет зрителям, что это самое обычное зеркало.

Примите из рук ассистента ведро с разноцветными зонтиками и поиграйте с ними, словно бы примеряя и выбирая наиболее вам подходящий. Остановившись на самом, с вашей точки зрения, лучшем, положите его на ковер и поставьте ведро с оставшимися зонтиками приблизительно в пяти метрах от зеркала, строго посередине отражающей плоскости.

Теперь, по одному доставая оставшиеся зонтики из ведра, очередное бросайте их в сторону зеркала. При соприкосновении с отражающей поверхностью зонтик как бы взрывается, причем взрыв сопровождается яркой вспышкой соответствующего цвета — в этом сиянии зонтик исчезает из виду, словно проваливаясь в зеркало.

Когда ненужных вам зонтиков больше не останется, поднимите с ковра тот, что понравился, и, раскрыв его над собой, раскланяйтесь.

Пусть ассистент, увозя зеркало с манежа, подхватит по пути пустое ведро.

Комментарий

Для этого несложного трюка требуется двустороннее прямоугольное зеркало величиной приблизительно 2 м на 1 м. Установите зеркало вертикально на деревянной или пластиковой площадке, размеры которой 2 м на 2 м. К площадке снизу прикрепите колесики: они дадут ей

возможность катиться по поверхности арены (ковер имеет смысл заменить на пластиковое покрытие).

Приобретите также шесть-семь обычных зонтиков (не автоматов) разного цвета, с прямой ручкой. Не забудьте надеть на острия зонтиков резиновые шарики: они нужны для того, чтобы не разбить зеркало при ударе об него зонтика. Необходимо позаботиться о том, чтобы все зонтики были прочно застегнуты на кнопку или «липучку»: это не даст им возможности раскрыться в воздухе.

Зонтики следует бросать таким образом, чтобы каждый из них летел параллельно поверхности арены и острием, на которое надет шарик, точно попадал в самый центр зеркала.

Ни в зеркале, ни в зонтиках нет никакого секрета: разумеется, зонтики не проваливаются в зеркало — чтобы они исчезли, просто переведите их в иную систему пространственных координат, и они перестанут быть видны.

Достигается это за счет игры светом — разноцветных вспышек, трансформирующих систему пространственных координат и отвлекающих внимание зрителей от того, что зонтики попросту собираются в воздушный карман на другой стороне зеркала.

Увозя реквизит после окончания номера, необходимо осторожно подталкивать зеркалом находящийся позади него воздушный карман с зонтиками до тех пор, пока зеркало не исчезнет в кулисах.

29. ОН МАШИНАЛЬНО ВЫБРАЛ ПЕРВОЕ

— Приветствую, Сусанна Викторовна, — с трудом снисходя к малым мира сего, едва кланялся вахтерше Демонстратнер. Та, не отрываясь от чтения, шестым чувством — более чем естественным в этих стенах — определяла его присутствие и махала ему всегда одной и той же закладкой из книжки. Сусанна Викторовна постоянно читала, причем Демонстратнер подозревал, что и книжка была одна и та же.

Он уже приходил в НИИЧР словно к себе домой.

Демонстратнер хорошо помнил, как Коля Петров по телефону пригласил его на первую официальную встречу в отдел воздействия. Телефонный разговор был совсем короткий. А когда он закончился, Демонстратнер долго стоял с трубкой, прижатой к уху, и слушал гудки. Наслушавшись гудков вдоволь, он, помнится, аккуратно положил трубку и стоя задумался о том, что же все-таки могло потребоваться от него в институте мозга.

Как минимум, мог потребоваться мозг... «Ну, этого-то у нас навалом!» — утешился он тогда и стал думать дальше, решив так: пора бы ему наконец признаться себе в том, что же он все-таки умеет. Он подозревал, что признание такое может причинить боль, поскольку умел он, вроде бы, только то, чему научил его Коля Петров. А научил его Коля Петров дурачить людей. Но признаваться себе в этом Демонстратнер не спешил — ему хотелось признаться себе в чем-нибудь другом.

И, бросив взгляд в зеркало, он, стыдно вспомнить, признался себе в любви. В зеркале отразился импозантный темноволосый дядя с монументальными чертами лица, явно

имевший что сказать миру. «Если бы твоя внешность так беспардонно не обманывала, — давным-давно, перед разводом, заметила жена Аля, застегивая пуговицы на пальтишке их общей дочери, индифферентной ко всему на свете (теперь обе они жили не то в Белоруссии, не то в Молдавии), — цены бы тебе не было». А так — цена ему, получалось, есть. Пятнадцать рублей за один приход: именно во столько Демонстратнера оценивал НИИЧР.

Ну, пятнадцать значит пятнадцать — теперь уже это не имело значения, ибо на данный момент самооценка Демонстратнера была такой высокой, что ему и столько за приход казался бы копейками. Навещая институт раз или два в месяц, он просто делал науке одолжение, всем своим видом как бы говоря: ничего, наука, придет время — сочтемся. В отделе воздействия его не полюбили. Впрочем, показывать это никто не решался: Демонстратнер настолько выпадал из привычных институтских представлений о том, какими бывают кондукторы, что сотрудники — просто на всякий случай — держались от него подальше. Ну его, дескать... кто знает, какая такая сила в этом субчике заключена! Притом что никто — убей Бог! — не понимал, зачем надо изучать человека, не наделенного никакими паранормальными способностями. Правда, Алеша Попович, говорят, был на его представлении, психологических опытах, — и вот та-а-ам... Но чего только не говорят!

Алеша Попович руководил исследованиями не очевидных больше никому демонстратнеровских талантов, а Алеша Попович и сам тоже тот еще фрукт! Его, в отличие от Демонстратнера, в отделе воздействия боготворили, да толку-то что! Алешу Поповича, одинокого волка (волка он

напоминал даже внешне), настолько не интересовало, кто и как к нему относится, что любить его, по словам безнадежно влюбленной-таки именно в него Катюши, было как «Материализм и эмпириокритицизм» изучать: бесполезно. К тому же, за Алешей Поповичем водилась репутация самого непредсказуемого руководителя в мире: стремясь к одному ему ведомому берегу, он настолько часто и резко крутил штурвал, что команду швыряло от борта к борту и постоянно рвало.

К несчастью, Алеша Попович был гений. Это никому в отделе не нравилось, и все не только любили, но и жалели Алешу Поповича, зато это ужасно нравилось Демонстратнеру, самолюбие которого сильно щекотало — просто до смерти зацекатывало, — что его, Демонстратнера, именно гению на растерзание отдали. Сначала Демонстратнер стеснялся Алеши Поповича и кротко сетовал на свою несостоятельность как гипнотизера, но от этого маленького комплекса Алеша Попович избавил его быстро.

— Вам, дорогой человек, — говорил Алеша Попович, — гипнотизером зачем надо быть? Тут у нас при отделе воздействия и без Вас гипнотизер на гипнотизере и гипнотизером погоняет... Скучно ими заниматься, однообразный они народ, да и закоснелый, тяжелый. Чернорабочие экстрасенсорики... с грубыми энергиями работают, примордиальными. Тысячи и тысячи лет этой традиции, а взять с нее — нечего. Взять вообще мало с кого что можно... а вот Вы мне интересны.

— Да чем же? — млея от удовольствия, что в его присутствии поносят гипнотизеров, ластился к Алеше Поповичу Демонстратнер — перед гипнотизерами с детства, как и любой простой смертный, благоговевший.

— Как это — «чем же», дорогой Вы человек, — недоумевал Алеша Попович. — Вы к информанту в самую душу проникаете, в святая святых ходите — и хоть бы Вам что! Вы ведь шельма, Борис Никодимыч, такая, каких свет не видывал: Вы ножничками своими тут чик-чик, там чик-чик — и информант Ваш навеки. А следов — никаких! Вы все можете... Вы информанта мать родную продать заставите, и он Вас за это еще благодарить будет. Таких, как Вы, мерзавцев сегодня как раз и надо изучать в первую очередь: у Коли Петрова нюх! Он недаром говорит, что будущее не за гипнотизерами, не за телекинетиками или пирокинетиками какими-нибудь, а за такими, как Вы, негодяями.

Вот эти вот слова — типа «шельма», «мерзавец», «негодяй» — немножко кололи слух Демонстратнера, как-то так подкорчивало его от них, под ложечкой от них немножко сосало — как бывает, когда съешь что-нибудь неточное, а что — черт его знает, но... мутит, вроде, и ведет не туда, да что ж поделаешь, что ж поделаешь: вкусно было, обильно было — не раскаиваюсь! Он, Демонстратнер, предпочел бы, конечно, без таких слов, но, если нельзя, — ладно, стерплю, не барышня кисейная. Да и не говорит больше никому — проверено! — слов этих про него Алеша Попович, даже и Коле Петрову не говорит. Похоже, что и не любит он Колю Петрова, а его, Бориса Ратнера, — любит. Сам ведь признавался: «Станешь ведь, — признавался, — и змею очковую любить, если она — объект твоего исследования!» Сам-то Демонстратнер, может, и предпочел бы, чтобы его как ни то по-другому любили, но, если взять Колю Петрова, — того вообще никак не любят.

Второй комплекс, тоже, впрочем, небольшой, от которого освободил Демонстратнера Алеша Попович, был именно

комплекс благодарности Коле Петрову. До встречи с Алешей Поповичем Демонстратнер время от времени с неудовольствием вспоминал, что программу ему не кто иной как Коля Петров придумал и что самому ему ни в жизнь бы до такого не додуматься. А по Алеше Поповичу получалось, что ничем феномен Борис Ратнер никому на свете особенно и не обязан, что это натура у него такая и что натура-то и привела его к психологическим опытам. И было оно похоже на правду, потому как интерес к альтернативщикам у Демонстратнера задолго до появления Коли Петрова возник. А что касается «работы с тонкими энергиями» — на это он и вообще без всякой помощи набрел. Да и обнаружил он в себе все-таки одно достоинство в тот памятный день, когда наслушался гудков вдоволь. Достоинство или нет — трудно сказать, но сведение об этом пришло как откровение: он, Борис Ратнер, всегда умел забалтывать людей.

Ему даже показалось, будто способность забалтывать людей обнаружилась у него еще в утробе матери, — хоть совсем надежных доказательств на сей счет из тех времен, конечно, не было. Зато имелись доказательства из более поздних периодов. Так, лет в пять ему удавалось настолько забалтывать родителей за обедом, что им уже не хватало времени следить за тем, ест он котлету с картошкой или сразу, допустим, арбуз. Демонстратнер-дитя садился за стол, раскрывал рот — и уже через совсем мало минут слышал мамино: «Да помолчи ты, голова от тебя пухнет!» Между тем именно такую цель Демонстратнер-дитя перед собой и ставил, ибо пухнувшая голова лишала мать физической возможности контролировать рацион малолетнего оратора. Или позднее: приходя домой после наступления темноты, за что всех его ровесников (это он знал точно!) ругали, а некоторых даже

и пороли, — Демонстратнер-дитя прямо с порога раздражался монологом такой продолжительности, каковой, по его мнению, должно было хватить, чтобы родители напрочь забыли о своих намерениях поставить ему на вид время его возвращения. И — хватало.

В школе учителя то и дело восхищались: «Ну и хорошо же у тебя, Боря, язык подвешен! Прямая тебе дорога в пропагандисты...» Кто такие пропагандисты, Демонстратнер тогда еще не знал, но слово ему нравилось. А уж когда узнал — и подавно.

И он стал готовить себя в пропагандисты. Правда, довольно скоро выяснилось, что конкретно на пропагандистов нигде не учат, и Демонстратнер занялся физикой: ему понравилось проникать внутрь всего и смотреть, как оно там сочленялось, крутилось, жило... А вот от чего он просто без ума был — так это от преобразования энергии: любой в любую. Словно начальная, не преобразованная пока ни во что, энергия не устраивала его, раздражала, выводила из себя. Он любил загадки: когда на поверхности ничего, а внутри — до фига чего.

Но это так, для ума, а для сердца... для сердца оставалось говорение, главная его страсть. Как ни странно, именно занимаясь физикой, Демонстратнер вдруг уловил одно странное подобие: он сам был своего рода генератором, преобразовывавшим энергию слова в энергию действия. Он установил, что, будучи ребенком, пользовался самым простым способом преобразования: дабы из начальной энергии могла получиться конечная, начальной энергии просто должно было быть много — и, не зная тогда других способов, он прибегал к забалтыванию, к созданию критической массы слов, рано или поздно провоцировавшей физическое

действие адресата. С возрастом Демонстратнер стал понимать, в каком направлении работать: слов не обязательно должно быть много — иногда оказывалось довольно и немногих, но эффективных слов. Когда Демонстратнер-подросток открыл эту закономерность, он понял, что предела совершенству — нет, и отныне забалтывал собеседника только тогда, когда плохо знал его. Но достаточно было располагать о ком-нибудь хоть какими сведениями, чтобы тут же отказаться от стратегии забалтывания и прибегнуть к другой стратегии — стратегии, которую сам он называл «охотой». Его охота не была грубой погоней за дичью — со всякими пиф-пафами и улюлюканьями. Нет, Демонстратнер охотился по-другому — гораздо гуманнее, как казалось ему: расставляя силки, устанавливая капканы, развешивая невидимые прочные нити и выкапывая глубокие ямы, которые он никогда не забывал прикрыть сверху ветками и присыпать листьями. Зная дороги, по каким ходила его дичь, он всегда был уверен в том, что деваться ей с этих дорог некуда и что рано или поздно она, дичь, — как бы по собственной оплошности и никого ни в чем не только не обвиняя, но и не подозревая — придет к нему в руки.

А разговаривать с Демонстратнером-подростком и, позднее, с Демонстратнером-юношей любили все: от одноклассников и учителей до бабуль на скамеечках. Его редкостная манера никогда не затягивать жертву на собственную территорию, но убивать ее только и исключительно на территории, принадлежащей ей самой, была настолько подкупающей, что устоять против этой манеры не было ну просто никакой возможности.

Совершенствуя и совершенствуя свой опыт, Демонстратнер в конце концов раз и навсегда понял самый главный закон

межличностной коммуникации: собеседник считает разговор интересным, полезным и нужным только в том случае, если это разговор о нем самом. Отныне талантливый юноша направил совокупные усилия на то, чтобы полностью убрать себя из любого разговора, предоставив собеседнику все речевое пространство целиком и давая знать о себе самом только тогда, когда разговор начинал пробуксовывать. Все остальное время Демонстратнер занимался исключительно тем, чтобы помочь собеседнику выразить себя, — точными и емкими словами указывая партнеру те аспекты его личности, где наблюдалась известная недовыраженность. Из ситуации общения выходили довольными оба: собеседник — вдоволь наговорившись о себе самом, Демонстратнер — с кучей добровольно предоставленной ему информации, которую иначе пришлось бы добывать месяцами. Тем более что скоро Демонстратнеру это очень и очень понадобилось.

Дело в том, что со временем его перестали интересовать вопросы преобразования различных энергий друг в друга: единственный тип преобразования, которому он остался верен, — преобразование речевой энергии в энергию действия. Физику в институте курсе на третьем он почти забросил, но этого никто не заметил: на тот момент Демонстратнер уже так хорошо умел и забалтывать, и охотиться, что сдать любой экзамен по любому предмету — не на «отлично», конечно, но «отлично» ему и не требовалось — не представляло для него большого труда.

А «отлично» почему не требовалось... да потому, что к третьему курсу спрос на его речевые способности обозначился из тех кругов, которым безразличны отметки сотрудничающих с ними. Они, круги эти, вполне и сами могли повлиять на отметки в случае необходимости.

Его тогда вызвали в первый отдел и попросили оказать посильную помощь в одном скользком деле: нужно было «разговорить» кого-то из сокурсников, подозревавшегося в связях с иностранцами. Крепких связей там никаких не оказалось, а случайными круги не интересовались, но работой Демонстратнера остались довольны и предложили ему постоянное сотрудничество. Он хотел было ускользнуть — не из принципиальных соображений, а скорее на всякий случай, но его так хвалили, что он согласился. Отныне учиться ему нужно было только для того, чтобы «находиться в среде» — и он «находился в среде», пока не закончил физфак. Потом среда поменялась, но задания остались прежними.

Когда Демонстратнер, альтернативно увлекшись «тонкими энергиями», уволился из своего КБ по собственному желанию, его на время потеряли. Но он знал, что это на время, и попытался использовать время на полную катушку. С помощью Коли он успел сделать программу, выступить с ней раз пятьдесят и прийти на первую встречу в НИИЧР. Тут-то все немножко и запуталось в его жизни.

Первая встреча в НИИЧР — с загадочным и жестким Иваном Ивановичем — вызвала у Демонстратнера недоумение. Иван Иванович, скорее всего, представлял те же круги, что и он сам, но темой их разговора это не стало — и получилась какая-то странность: Демонстратнеру угрожали из учреждения, где он был своим! Но в том-то и дело, что был... да сплыл. Сплыл оттуда, откуда не сплывают. И Демонстратнер чуть-чуть напрягся. Однако, как выяснилось впоследствии, — зря.

Бесконтрольно поприходить в НИИЧР ему дали раз пять, а потом позвонили. Пригласили. Поулыбались стремительным

переменам в его жизни. Сообщили, что немножко — «впол- глаза» — наблюдали за его сложными эволюциями. И — пред- ложили относиться к институту мозга как к новой «среде», что было для Демонстратнера гром среди ясного неба. Оказывается, это не Ивану Ивановичу предстояло следить за ним, а ему за Иваном Ивановичем. Ситуация становилась забавной. Конечно, тот факт, что он должен был следить за Иваном Ива- новичем отнюдь и отнюдь не исключал того факта, что Иван Иванович должен был следить за ним, но такое равновесие, понятно, нравилось ему больше, чем изначальный перевес сил на стороне противника.

Впрочем, следить за Иваном Ивановичем конкретно Де- монстратнеру не очень удавалось: пути их не пересекались. Однако сведения о других сотрудниках института мозга он поставлять не забывал — правда, в довольно вялом режиме. Не то НИИЧР не особенно интересовал демонстратнеров- ских кураторов, не то время пока не настало.

Самого же Демонстратнера изучали в НИИЧР странно. Сначала он было размечтался, что его — как тех, кого он ви- дел в других отделах, когда Коля Петров показывал ему, где что в институте мозга находится, — тоже посадят в сложной конструкции кресло и облепят датчиками, но Алеша Попович работал с ним совсем по-другому: он расхохотался, уз- нав, что Демонстратнер так уважает датчики, и объяснил, что до датчиков еще далеко.

Забыть пришлось пока и о кресле сложной конструк- ции — Демонстратнера посадили на обыкновенный стул и, не подключив к нему просто-таки вообще ничего (несмо- тря на Алешины объяснения, это показалось ему унижитель- ным), просили то отвечать на вопросы, то следовать всяким указаниям — например, говорить что в голову взбредет...

Произносимое, правда, записывалось на диктофон — «для последующей работы с материалом», но, по мнению Демонстратнера, вульгарный диктофон не мог иметь отношения к высокой науке.

Один из постоянных экспериментов — на него в отделе, видимо, обращали особое внимание и предавались ему с особой страстью, — заключался в том, чтобы выявлять ассоциативные поля Демонстратнера. Предлагались слова, которым надо было — не задумываясь — сопоставить любые другие слова или цепочки слов: их, в свою очередь, следовало достроить до имеющего смысл целого. Многие задания имели характер тестов: тогда от Демонстратнера требовалось просто отвечать на огромное количество вопросов — тоже не задумываясь. Когда задания подобного типа настолько перестали интересовать его, что, машинально выполняя их, он то и дело принимался думать о совершенно посторонних вещах, Алеша Попович наконец пообещал перевести его в ближайшее время на детектор лжи. Демонстратнер взбодрился, предвкушая, что вот тут-то как раз и начнется самое интересное, однако ничего интересного не случилось: по условиям эксперимента, самому ему, оказывается, не полагалось знать, когда детектор лжи регистрирует, что произносимое Демонстратнером есть правда, когда — что ложь. «Зачем Вам это знать? — смеялся Алеша Попович. — Кому уж как не Вам известно, правду Вы говорите или лжете!» Тут, кстати, Алеша Попович ошибался: Демонстратнер давно уже понятия не имел, где правда, где ложь, но Алеше Поповичу, разумеется, в этом не признавался. Забавно было бы узнать, что из его вранья детектор лжи считает правдой!

С детектором лжи Демонстратнер работал несколько месяцев, перепробовав все известные ему речевые жанры: от

собственной биографии, всякий раз при очередном пересказе получавшейся непохожей ни на один из предшествующих вариантов, до анекдотов, выдаваемых им за случаи из собственной жизни.

Наконец настало время датчиков — особой радости, увы, не принесших: эти металлические штучки, которые сажались ему на разные части тела и которые должны были регистрировать всё подряд, скоро перестали замечаться им — и Демонстратнеру сделалось так же скучно, как и на обыкновенном стуле или в обществе детектора лжи. Исследуемый не понимал ни целей исследования, ни его структуры, ни тем более собственной роли во всем этом: с таким же успехом вместо него можно было бы изучать кого угодно. Но Алеша Попович продолжал называть его «феноменом» и выражать радость от того, что с Демонстратнером поручили работать именно ему. Впрочем, был Алеша Попович хитрован, и раскрутить его на какой-нибудь разговор по душам казалось Демонстратнеру невозможным. Только однажды это удалось — правда, Демонстратнер в конце концов пожалел об удавшемся: Алеша Попович, улыбаясь безмятежной своей улыбкой ученого, произносил вещи, по поводу которых не очень понятно было — нравятся они Демонстратнеру или нет.

«Вы же, дорогой мой человек, — соловьем-разбойником заливался перед ним Алеша Попович, — уникам, говорю Вам это без всякого преувеличения. Этики для Вас не существует вообще, да и на что она Вам, по чести-то говоря? С такой степенью приспособляемости к окружающей среде, как у Вас, иметь этику было бы попросту баловством! Это как жабе иметь постоянную температуру тела... зачем ей она? Если жаба все равно подстраивается под температуру

окружающей среды — когда бы ей этою постоянной температурой воспользоваться? Вы жаба, друг мой, жаба от этики, шедевр природы.

Когда начитанный Коля Петров вел меня на Ваше выступление, он представил мне Вас как человека без свойств... Музиля знаете? Нет, конечно, но его все сейчас читают, так надо — вот и Коля Петров читает. Но Коля Петров ничего не понимает! Это Вы-то — человек без свойств? Вы человек со *всеми* свойствами, Вы не один человек, Вы *все люди* сразу, Вы умеете быть — любым: каким обстоятельства требуют — таким Вы и будете, и каждая Ваша ипостась — Вы подлинный! Ибо все, что Вы ни скажете, все, что Вы ни делаете — все одно вранье, Вы следите за ходом моей мысли?.. в Вас правды — ни на вздох, ни на пол-интонации... феноменально! Само понятие “правда” в Вашем присутствии утрачивает смысл, правды возле Вас — в Вас самом! — размножаются, как кролики, мир перестает быть бинарной системой, “да” и “нет” исчезают, день отныне не сменяется ночью, прекращаются морские приливы и отливы, земля останавливается... и все это делаете Вы, Борис Никодимович! Вы стерли противоречия, мановением руки установили гармонию — тоскливейшее из всех возможных состояний мира, Вы бог, я преклоняюсь перед Вами.

Я наблюдал за тем, как натренировано на сегодняшний день Ваше тело. Допускаю, что наедине с собой Вы можете быть и другим, но в полевых условиях — а Вы здесь у нас пребываете все-таки в полевых условиях — оно слушается Вас беспрекословно. Ваше тело реагирует одинаково — на всё, это какое-то чудо физиологическое. Как потрясающе Вы умеете владеть собой! Я не видел — да боюсь, что и никто не видел, — ничего подобного, Борис Никодимович: Вы

способны заставить себя испытывать комфорт в любой ситуации... я постоянно пытаюсь вывести Вас из равновесия, но это удастся мне лишь на тысячную долю секунды — и тут же душа Ваша, как ванька-встанька, возвращается в прежнее положение — б-е-з-м-я-т-е-ж-н-о-с-т-и, и при этом Вашим нервным окончаниям, Вашим мышцам, Вашим мускулам, Вашим кровеносным сосудам — им все равно, что Вы испытываете... нет, не так, они не дают Вам ничего испытывать. Любой импульс, поступающий изнутри, гасится на поверхности, любой импульс, поступающий с поверхности, — гасится внутри. Вы какой-то просто унус мундус юнговский, в котором материя и психика не различаются! Я, ей-богу, не знаю, сколько лет мне потребуется на разгадку “феномена Ратнера”, но, если я разгадаю ее — и если еще не будет слишком поздно, тогда...»

Увы, он не сказал, что — тогда.

Разочаровав, между прочим, Демонстратнера — так и не понявшего, чувствовать ему себя польщенным или нет. Он машинально выбрал первое.

30. ПОТОМУ ЧТО НАСТАЛО ВРЕМЯ

А вот что касается пророчества Коли Петрова... то оно постепенно сбывалось, убеждая Демонстратнера в том, что прав был Коля Петров, говоря о нем как о «человеке будущего»!

Страна теперь кишела экстрасенсами всех мастей, и Демонстратнер, с его уже четырехлетним непрерывным стажем в профессии, казался большинству начинающих мэтром. Имя его периодически мелькало то здесь, то там, и — как человек, научившийся держать нос по ветру, — Демонстратнер уже подумывал о том, что мотание по клубам и дальние командировки, пожалуй, уже не для него. Коля Петров, отношения с которым выровнялись сами собой, хоть прежней близости и не было, тоже советовал оставить «эстраду». По-другому он место пребывания Демонстратнера никогда не называл, и Демонстратнера это, кстати, злило. Его теперь и вообще многое злило в Коле Петрове: например, то, что львиную долю демонстратнеровских заслуг Коля Петров продолжал приписывать себе... но с этим мы, ничего, еще разберемся.

Тем более что и оставить «эстраду» уже было ради чего. Покровители Демонстратнера очень одобрили его идею — надо сказать, собственную, демонстратнеровскую, — создать школу для экстрасенсов или как бы там ее ни называть... не в названии дело. Демонстратнер, между прочим, все более склонялся к самому простому названию — типа «Школа Бориса Ратнера», тем более что имя на данный момент уже примелькалось. Особенно после того, как Демонстратнер получил время на телевидении.

Телевидение было подарком все тех же покровителей. Однажды, три дня беспробудно кутя в закрытых кругах, Демон-

стратнер показал там хмельным гостям одну из своих штук: составил парочку психологических карт личности — и имел такой успех, что через несколько дней из закрытых кругов к нему обратились с просьбой «снять порчу». Впрочем, просьба — действительно обозначенная как просьба — становилась, будучи переданной через такие инстанции, настоящим, по меньшей мере, пожеланием. О том, чтобы отказаться, не могло быть и речи — и Демонстратнер злился, последними словами ругая себя за свою слабость к кутежам в закрытых кругах. Мало того что он не знал, как снимают порчу, — он и слова-то «порча», в сущности, толком не понимал. Между тем снимать ее, эту самую порчу, предстояло уже послезавтра.

Демонстратнер до сих пор со смехом вспоминал, как он перебирал карточки в библиотечных каталогах, ища хоть какую-нибудь книжку, где случайно могли бы оказаться симптомы порчи... неужели тогда, год назад, он всерьез думал, что заказчик будет ловить его на незнании «предмета» и уличать в отсутствии «навыков»? Наивный! Помнил он и то, как, вздыхая, вышел из библиотеки, про порчу ничего не найдя, и как у самой Лубянки за какое-то немислимое количество рублей купил у нахального спекулянта, разве что не расцеловав его, книгу Забылина «Русский народ». Терпения хватило только дойти до метро — прямо там, на мраморном барьерчике «Дзержинской», он и причастился Забылина. И Бог свидетель: ни одна книга в жизни не листалась им с такой страстью. Сначала он было испугался, что ничего не поймет, ибо, открыв книгу на оглавлении, сразу же попал в часть третью, «Чары», где в порядке перечисления шли не только заговор «при искании клада» и «при собирании папоротника» (необходимость обращения к заговору в случае с папоротником ему уловить не удалось), но и энигмы типа «горы на

ветер», «от преследования гусей», «от жабы в горле», «чтобы испортить, или навязать килы», «икоту напускать», «чары на след» и «противудействие чар на след», а также «старую ленивую лошадь сделать молодой и бодрой» и абсолютно загадочная «скотская клюква»... Последнее показалось Демонстратнеру просто совсем неспортивным по отношению к нему — и он поспешно вернулся к килам, полагая, что, если ему удастся узнать, как испортить, то есть навязать килы, догадается он и как эти килы устранить, удалить, улучшить — или что там еще с килами делают.

Забылин сообщал следующее: «Чтобы испортить кого-либо, необходимо взять шерстяную нитку и навязать на ней узлы. Эту нитку нужно бросить где-либо в таком месте, в котором мог бы наступить на нее тот, кого нужно испортить. При завязке восьми двойных узлов говорятся следующие слова: 1) Выйду я на улицу, 2) брошу в чисто поле, 3) в раз-станье, 4) меж дворы, 5) в луга, 6) в моря, 7) в леса, 8) в зыбучие болота. Когда завяжутся все восемь узлов, то говорится: Хотя и здесь оставлю; куда пойдет, тут и очутится».

Демонстратнер потряс головой и посмотрел вокруг. Вокруг никого не было — за исключением двух подростков, пытавшихся позвонить по телефону-автомату посредством проволоочки. Действие это в глазах Демонстратнера мало отличалось от навязывания узлов на шерстяной нитке и, успокоившись за свое, а также русского народа ментальное здоровье, он продолжил чтение.

«При завязывании каждого из 13 узлов говорится...»

Тут Демонстратнер остановился и вернулся к началу текста — не пропустил ли чего-нибудь, но в предшествующем фрагменте речь действительно шла о восьми двойных узлах... и совершенно непонятно было, откуда взялись «каждый

из 13 узлов» и в каком отношении они находятся к восьми двойным. Поняв, что он в тупике, Демонстратнер сделал над собой усилие и бесстрашно ринулся дальше — причем по мере чтения в животе у него постепенно холодело, поскольку «при завязывании» полагалось произносить следующее:

«По позднему вечеру выйду я на улицу, и откажусь я от Иисуса Христа, от царя земного, от Бога вышнего, от веры православной, от батюшки, от матушки. Предаюсь я к нечистому духу, к окаянной силе, прошу я ей помощи, чтобы она помогла ей и пособила: поступаю я на вора-разбойника, на денного грабильщика, на ночного полунощника, на (имя рек). Я хочу его свержить, хочу я его испортить: хоша среди дня, хоша среди ночи, хоша в чистом поле, хоша в темных лесах, хоша в зыбучих болотах, хоша сонного, хоша дремучего, хоша в терему, хоша за столами дубовыми, хоша со яствами медовыми, хоша пошел бы он и запнулся бы, самого себя заклянул бы. Окаянные духи, придайте мне силы, помогите и пособиите мне, чтобы не было (имя рек) ни в день житья, ни в ночь спанья, ни в час моготы, ни в полчаса терпежу. Хошь бы схватило его грыжами, или стрелами, взяло бы его в минуту или в две и узнал бы он все скорби и печали».

«Ой, мама...» — искренне и громко произнес Демонстратнер, и подростки с проволокой, переглянувшись, начали давиться смехом.

«Закливание произносится, — степенно продолжал Забылин, — обыкновенно вечером; причем заклинатель непременно должен быть без креста. Знатоки этого дела советуют перед началом убить совершенно черного кота или кошку. Коль скоро тот, для кого приготовлено заклинание, наступит на заговоренную нитку, то он споткнется и, если при этом

скажет какое-либо скверное слово, заговор начнет свое действие».

Все-таки сам Забылин, слава тебе Господи, оказался тут ни при чем: в скобках значилось «Доставил г. Никольский, из Мезени». Где была эта Мезень, Демонстратнер не знал, облегченно вздохнул и, озираясь, закрыл страшную книгу. Подростков уже не было — только из автомата празднично торчала многократно перекрученная проволочка. На всякий случай Демонстратнер отошел от нее подальше.

Прочитанное застряло в нем колом. По совести сказать, таких уж совсем ужасов не ожидал Демонстратнер от русского народа. Педантичная бесстрастность перечня необходимых для порчи мер сообщала прочитанному просто какую-то запредельную мрачность... похоже, все было всерьез в этой книге. Отказ от Иисуса Христа, от Бога высшего (написанного — видимо, автоматически — с прописной), а кроме того от батюшки и от матушки вверх Демонстратнера в состояние легкой придурковатости, мешавшей ему понять смысл прочитанного. Ясно было одно: в обратную сторону всю эту прогрессию ужасов ему нипочем было не раскрутить. И, если порча на его послезавтрашний объект действительно навелась таким образом, благоразумнее всего для Демонстратнера было бы сказать: «Я пас», — и продолжать заниматься составлением психологических карт личности.

«Куда-то я совсем не туда залез», — быстро сказал себе Демонстратнер и, взглянув сначала вокруг, потом в окно, воровато перекрестился: нечаянно получилось, что на здание Комитета государственной безопасности. После этого он снова открыл книгу — и, продвигаясь вперед от начала оглавления к концу, словно по минному полю, дошел до заговоров от порчи от колдунов. В соответствующем месте

книги обнаружили не только сами заговоры, но и описание тех действий, которые следовало совершить для снятия порчи. Демонстратнер просветленно вздохнул и понял, что послезавтра он не пропадет.

Правда, ему, исполнителю психологических опытов и почитателю тонких материй, не очень улыбалось превращаться в народного целителя... Но до послезавтра превратиться в какого-нибудь другого целителя было уже не успеть.

Снимать порчу его повезли — выяснилось это, правда, только на месте — в район Киевского. Номера дома на набережной Демонстратнеру увидеть не пришлось: если бы черный автомобиль с занавесками, на котором его доставили, мог въехать прямо в подъезд, то, наверное, так бы и сделал, но, видимо, не мог — и приклеился к ступенькам перед самым входом. Демонстратнер был уверен, что ему тут же, перед тем, как выпускать его на воздух, завяжут глаза, однако — обошлось. Из соображений порядочности он все-таки полуопустил веки в лифте — и приподнял их только в прихожей: дверь квартиры открылась ровно в тот момент, когда закрылась дверь лифта. Сопровождавшие не стали входить внутрь.

— Здравствуйте-добрый-день, — произнес он в темноте, опасаясь, что ему ответит эхо.

Однако из открывшейся двери сбоку кто-то сказал человеческим голосом:

— Здравствуйте-Борис-Никодимович-проходите.

Так Демонстратнер и поступил, оказавшись в просторном коридоре. Чтобы не производить впечатления растерянного гостя, деловито спросил в никуда:

— Где порченный?

— Это «она», Борис Никодимович, порченная, то есть. Она у нас девушка, женского пола.

Поперхнувшись явно чрезмерным количеством половых характеристик, Демонстратнер даже испугался, что не вынесет такой высокой степени предъявляемой ему женственности, и в еще одну дверь, опять открытую кем-то невидимым, вошел с осторожностью. Женственности ему предстало не так много... точнее сказать, совсем нисколько не предстало, поскольку наличная в комнате женственность вовсе даже лежала — на широкой постели, задрапированной чем-то белым. Если бы не этот фон, то женственности на широкой кровати можно было бы и вообще не заметить, поскольку освещала комнату только одна маленькая лампа — благоразумно размещенная над кроватью.

Дверь в комнату закрылась с обратной стороны — и Демонстратнер понял, что лежащей особе никто его не представит: в комнате они были одни. Впрочем, на его счастье, лежащая представилась сама — ну, не то чтобы представилась, но хоть голос подала: в сущности, как собака... собачка.

— Пошел отсюда, — жалобно сказал голос.

Демонстратнер, не подготовившись к такому приему, остановился на полпути к порченой.

— Убирайся, чего пришел! — воззвали к нему с кровати.

Демонстратнер молчал.

— Ты немой или просто неразговорчивый? — Драпировка чуть колыхнулась.

Демонстратнер молчал.

Драпировка зашевелилась, обмоталась вокруг тела и, отделившись от кровати, оказалась около выключателя.

Вспыхнул свет — о-сле-пи-тель-ный: огромная люстра на потолке ударила в Демонстратнера всем своим хрустальным безобразием. Когда глаза его привыкли к избытку электри-

чества, он увидел на кровати бледную девушку — по всему, преступно молодую.

— А ты ничего, — сказала она, спокойно и пристально глядя на него.

Демонстратнер умел выдерживать любой взгляд — выдержал и этот.

— Раздевайся, ложись рядом, — предложила девица, опустив глаза, — впрочем, тут же и воззрившись на него снова.

Демонстратнер принялся раздеваться, незаметно оглядываясь по сторонам. Два мольберта (многовато для одной комнаты), стаканчик с кистями на огромном, заваленном листами ватмана столе, растрепанный альбом...

— Стоп, — сказала девица, когда он дошел до нижнего белья. — Ты, что, автоматический?

Демонстратнер молчал.

— Слушай, ты самый клевый из тех, кого ко мне приводили, — призналась девица. — Садись, вон, в кресло, оно качается. Там где-то плед рядом, в клетку, чтоб ты не замерз.

Демонстратнер накинул плед и принялся раскачиваться в кресле.

— Обидно будет, если у тебя просто такая тактика... А потом вдруг ты заговоришь и скажешь какую-нибудь хрень. Лучше, знаешь, так и молчи всегда. Сиди, качайся и молчи... молчи, скрывайся и таи. Я буду думать, что ты мертвый. Или что ты Тютчев. Кофе хочешь? Там вон кофейник, недавно принесли, и конфеты шоколадные — на полу. Ты тюбики мои просто со стола смахни — и располагайся.

Демонстратнер обстоятельно налил себе кофе, приоткрыл коробку «Золотая нива», взял конфету. Тюбики со стола смахивать не стал.

— Они говорят, что на меня порчу навели, — подтянув коленки к подбородку, девушка с интересом смотрела на Демонстратнера, — что я до этого была все время нормальная, а теперь порченная.

— Глупости, — сказал Демонстратнер. — Ты и теперь нормальная. Как тебя зовут?

— Как меня зовут — не твое дело... Я же не спрашиваю, как тебя зовут. Кстати, здорово, что ты на «ты» со мной.

— Ты же на «ты», — пожал плечами Демонстратнер и отхлебнул кофе.

— Вот и я говорю, — согласилась «порченная». — Только я не потому на «ты», что я вообще такая... Я просто хотела нахамить — и чтобы ты ушел. Мне и дальше на «ты» быть?

— Да чего ж теперь? — улыбнулся Демонстратнер (улыбаться он умел). — А мне и дальше без штанов сидеть?

— Да нет, штаны уже можно надеть... я, между прочим, даже испугалась, когда Вы...

— Мы на «ты».

— ...когда ты раздеваться начал.

— Я знал, — сказал Демонстратнер. — На то и рассчитывал.

— Правда, что ли, ясновидящий? — с опаской спросила «порченная», стараясь не глядеть на то, как Демонстратнер заправляет рубашку в брюки, застегивает молнию.

— Правда, — соврал Демонстратнер.

— Ну, увидь...те меня тогда!

— Да ладно, тебя и так насквозь видно, — опять улыбнулся Демонстратнер. — Нормальная девчонка, умная, симпатичная, миниатюрная... сколько лет-то?

— Неважно, сколько лет. Не так много, чтобы это имело значение.

— Вот, значит... школу ведь скоро заканчивать — или закончила уже? Зако-о-ончила. Учишься, небось, дальше — на творческой какой-нибудь специальности... на художника, небось — судя по интерьеру. На худо-о-ожника. И все, вроде бы, хорошо, а жизнь — дерьмо. Ведь дерьмо? Дерьмо-о-о... Согласен, чего ж тут! Дерьмо она и есть.

— И чего делать?

— Да ничего не делать, ждать. Ждать, потому что скоро все изменится — вообще все.

— И будет не дерьмо! — усмехнулась «порченная».

— Я этого не говорил, — напомнил Демонстратнер. — Может, и дерьмо, но другое дерьмо, новое.

Ох, девочка, ребенок ты совсем! Чистый ребенок — от тебя лавандой, как от фабрики-прачечной, пахнет... хорошо пахнет лавандой. Тебя вокруг пальца обвести — нечего делать! В голову тебе любую дрянь втемяшить можно. Вели тебе с балкона прыгать — прыгнешь, вели в партию вступить — вступишь, а я вот ждать велю — и будешь ждать, куда ж денешься? Чего-нибудь и дождешься... как и все мы дождемся: не сегодня — так завтра, не завтра — так через год, через пять лет, через десять. И все действительно будет по-другому — не потому, что изменится, а потому, что так, как есть, уже никогда не будет. И выветрится запах лаванды...

— Так... просто ждать — и все? — сдаваясь, спросила она.

— Просто ждать — и все. Нет, конечно, делать еще что-нибудь... ну, что полагается, по минимуму. Книжки читать, как ты любишь, — в том числе и запрещенные.

— А Вы откуда знаете?

— Да ясновидящий я, работа у меня такая.

— Гэбист?

— Это папа твой гэбист... извини.

— Ничего, я ж в курсе. А... а скажите, долго я проживу еще? Я потому что... устала и не хотела больше, надоело все.

— Увы, девочка, ты проживешь долго! — ах, что за улыбка у него все-таки... — Вот закончишь учиться и сразу работу получишь, глупую какую-нибудь, не по специальности: кому художники сейчас нужны, в наше-то время? Да и вообще... кому они когда были нужны! А еще раньше... да, наверное, раньше познакомишься на улице — ты же не хочешь, чтобы все было папой-мамой подстроено? — не хочешь... Так вот, познакомишься на улице с долговязым каким-нибудь молодым человеком, бездельником по профессии, родителям даже его не покажешь — бесполезно, не одобряют, а то и навредить могут. Сбежишь с ним за границу... например. Сама ты мало чего добьешься в жизни, поскольку больно уж ты щепетильная, а вот муж твой — он будет знаменитым писателем... каким-нибудь. У Вас родятся дети, двое, мальчик и девочка, и ты посвятишь им свою жизнь, потому что ты будешь сумасшедшая мать, которая все в себе принесет в жертву их будущему. И из них вырастут замечательные люди, а ты станешь нянчить внуков, и цены тебе как бабушке не будет. Умрешь ты близко к восьмидесяти, через несколько лет после смерти мужа, — боготворимая всеми вокруг: красивая, стильная старуха, которую к концу жизни будут осаждать журналисты и требовать мемуаров о твоей жизни с мужем. Но ты никогда не напишешь этих мемуаров, потому что ты умная безымянная девочка.

— Вы все это видите — или... или придумываете? — У умной безымянной девочки были счастливые глаза.

— Я все это вижу, — вздохнув, повторил Демонстратнер.

Или не вижу — ничего. А просто сижу и несу ту же чушь, которой полна твоя голова и которой полна голова каж-

дой малолетней лаванды. Но все, конечно, будет именно так. А если и не так — какая разница? Мне ведь, милая, совершенно все равно, как оно будет: у меня простая задача — дать тебе надежду на то, на что ты хотела бы надеяться. По крайней мере — в ближайшее время: год, два, а там... там ведь и правда все изменится, да меня уж и след простыл!

Девушка подошла к нему, закутанная в белую свою драпировку: ангел. И поцеловала его, куда-то в висок. И сказала: «Спасибо Вам...»

А телефона он ей не дал — сказал только: «Мы обязательно встретимся. Когда тебе опять станет... тяжело, я найду тебя».

Гонорар, через неделю полученный им за визит к «порченной», превышал границы не только разумного, но и действительного. С этого времени он занимался исключительно снятием порчи, лечением от сглаза, заговариванием болезней... — все глубже и глубже проникая в ту среду, о приближении к которой когда-то и мечтать не мог. Среда щедро платила за помощь. А за сведения о среде щедро платили покровители. Как деньгами, так и услугами. Особенно — поддержкой с иголочки новой телевизионной программы, в которой Демонстратнеру недолго думая и без особой шумихи весьма неожиданно предоставили оч-чень хороший кусочек времени. Ибо, как совершенно справедливо заметил не кто-нибудь, а сам Рафалов, «страну — страну, Борис Никодимович, а не отдельных людей! — надо лечить».

И он принялся лечить страну.

Потому что настало время.

31. Я, ПОЖАЛУЙ, СЪЕЗЖУ

И никому, никому до этого не было дела! Что непорядок же во всем... Ночами Владлен Семенович слонялся по квартире, пил валидол, мучился давлением, превозмогал страхи. Снотворное пристрастился употреблять, димедрол: ночью не действует, зато с утра — стоит только на улицу выйти! — бах по башке... и весь день, словно пьяный или во сне, ходишь.

Игнатъича он больше не видел никогда. Наверное, спился давно Игнатъич... Бедный Игнатъич: небось, потому и спился, что кое-какие вещи знал. Если, конечно, спился, а то ведь могли и...

Страхи Владлена Семеновича вдруг одолевать стали — врач, правда, успокоил, что при аритмии это нормально... так и сказал, честное слово: «Если Вам становится страшно, то это нормально», — и Владлен Семенович подумал, что лучше не скажешь.

Правда, по-настоящему страшно становилось редко, чаще — страшненько... то есть и страшно, и весело, как в детстве бывало, когда идет-коза-рогатая, — страшно, что забодает, но разум говорит: «Это ж мамина рука, а не коза — мамина рука не забодает! Только... вдруг все-таки коза?»

И — время от времени игнатъичевские слова всё над Владленом Семеновичем кружились: словно Игнатъич их затем и сказал, чтоб — кружились. А «мы не местные — мы небесные» и вообще никакого покою не давало: как с утра в голову вступит — так, считай, до вечера и будет кружиться, а то и до ночи. Мы не местные, значит, мы небесные... — и-йих! Между прочим, постоянно теперь думал Владлен Семенович, что про жизнь эту проклятую, про наше место в ней ничего ведь другого и знать не надо... вот ведь сказанул

Игнатъич! Прямо как древнегреческий ученый сказал: мы не местные, — говорит, — мы небесные! Не зря человек прожил: такой всемирный закон открыть...

И другие слова Игнатъича приходили: ишь-разгулялись-на-костях-нечистая-сила-управы-на-них-нету-костры-жгут-на-гармониях-играют-частушки-поют-прямо-как-живые-вурдалаки-оборотни-коммунисты-партийные-рвачи-первостатейные... Эх, Игнатъич, Игнатъич! Думал я, что бредил ты в тот вечер в горячке, да не бредил ты. Знаю теперь: не бредил, — только вот громко обо всем этом не скажешь... да и по чину ли мне о таком?

Зато другое — это по чину: «Первая улица Марьиной Рощи вчера еще была, а сегодня сплыла... Толяна как ветром унесло... Толян мой бедный, собутыльник бесценный...»... Это мы выясним, это, Игнатъич, не бойся, потому что порядок должен быть! И кому, как не мне, за ним следить? Я, по-твоему, в метро-то-политене имени Владимира Ильича Ленина что делал? За порядком следил! Вот и карты мне в руки, значит.

К двери входной Владлен Семенович теперь лишний раз старался не подходить — иначе сердце так начинало колотиться, что даже Лотта Ввеймаре с рукавами до полу выглядывала через щелочку в двери: чье же это, дескать, сердце так стучит в подъезде? Или не выглядывала... Владлену Семеновичу теперь много чего казалось... мнилось, мерещилось: голоса, шумы, призраки, тени... Если б было с кем говорить, он бы тому сказал: «Воображение, брат, на старости лет разгулялось». Но говорить было не с кем — и Владлен Семенович тосковал да себя ругал: за всю жизнь ни подруги не нашел, ни деток не наплодил: вот бы, глядишь, поговорили... Софья Павловна приглянулась было, да оборотень она, и муж

ее покойник — вурдалак. Найти бы ее, в глаза ей взглянуть, крестным знаменем осенить — живо, небось, в волчицу превратится, оборотень! А ведь так мило меня принимала... но это потому, небось, что я с 4-й Брестской: думала, такой же вурдалак, как муж-покойник! Хотя оборотень, вурдалак — это, конечно, все фигурально...

Впрочем, не время сейчас было с Софьей Павловной квита́ться: во всей этой чертовщине разбираться пора было — иначе пропадет Москва. Обидно, что со своей улицы начинать не годилось: внимание к себе опасно привлекать — тем более что и живет он прямо напротив ихнего логова. И в Марьино рощу он теперь не ходок: там его тоже, небось, заприметили... да только довольно с них Игнатъича, а он, Владлен Семенович Потапов, им себя в руки нипочем не даст.

Вот и уходил Владлен Семенович подальше от Брестских: чем свет — он уже где-нибудь около Яузы прогуливается. А чего около Яузы — так... и от Брестских далеко, и от Марьиной рощи, благодать! Особенно когда как сейчас — время неспешное, летнее, все разъехались кто куда, гуляй не хочу — и сам черт тебе не брат. Да и дом важный, высотка на Котельнической, близко. Так что, считай, и весну, и лето, и осень Владлен Семенович там прогулял — чинною своей стариковскою походкой... все хорошенько шагами измерил, глазами запомнил, на ус намотал. И знал теперь твердо: тут тоже нечисто, а уж коли и тут нечисто, в случайно выбранном месте, — значит, нигде не чисто.

Начал-то Владлен Семенович грамотно: будто в «Иллюзион» ходить пристрастился. Сперва, правда, чуть было не сдался — оттого, что с билетами трудно оказалось. Но довольно быстро выяснилось: не всегда и не на всё трудно, а если кассиршам примелькаться да понравиться, так и вовсе без проблем.

Ну, шоколадка когда, коробочка конфет — кондитерский-то рядом! Короче, много чего он в «Иллюзионе» посмотрел, да дело не в этом. В «Иллюзион» наведываясь, врос он в Таганку, замечаться в ней перестал... обычный, дескать, старик: усы седые, кепочка белая, рубашка льняная навыпуск — ничего такого, старик как старик, из местных.

— Папаш, на Верхнюю Радищевскую как пройти?

— Да во-о-он же она, сынок: наверх подниметесь — там, значит, и есть Верхняя Радищевская... наверху. А Нижняя — внизу, все как положено. М-да... а Средняя — посередине.

Приятный такой старик, отзывчивый. Еще постоит, вслед посмотрит, проверит: не ошибется ли сынок-то. Не попадет ли на Среднюю вместо Верхней: оступиться ведь просто... шаг не туда — и ты на Средней Радищевской. А то ведь тут Владлен Семенович за несколько недель всякого нагляделся. Раньше, было время, он жизнь свою не так жил: то задумается, то на витрину засмотрится, то монетку под ногами найдет, поднимет: жизнь она дама хитрая... ей отвлечь, одурчить, заморочить — самое первое дело. Только теперь-то уж не проведешь Владлена Семеновича: пристально вперед глядит, не расплывется! И видит Владлен Семенович чудные вещи...

Гуляет, например, себе полная дама с собачкой: хорошо гуляет, долго. Но — вот и нагулялась, домой пошла: между домами скользнула и исчезла, глазом не успеешь моргнуть. И все-то бы правильно, да только как же это она между домами скользнула, когда один дом к другому вплотную пристроен? И нету между ними ни зазора, ни трещинки... впрочем, есть трещинка, гляди-ка, только в трещинку эту полной даме ничем не пролезть. Ан — нет вдруг полной дамы, как и не было... и собачки ее нет. Назавтра, правда, опять появляется

полная дама с собачкой и, что самое интересное, — из трещинки выходит. Из трещинки выходит — в трещинку и исчезает... чудеса!

Или вот еще: мальчика мама зовет, окно открыла — кричит: «Сережа-иди-домой!» И бежит мальчик, Сережа-иди-домой, сломя голову — прямо в стену, аж дух у Владлена Семеновича захватывает. Потом Владлен Семенович глаза поднимет — и видит: уж больно странное то окно, из которого мама кричала, — расположено на доме непонятно, потому как не должно на этом месте окна быть, а есть! Весь вид дома нарушает, поперек всей логики в стене проделано. И понятно, что нету там никакой квартиры за ним: окно есть, а квартиры — нету. Негде ей там поместиться... Ох, прекращать надо снотворное пить!

Только снотворное снотворным, а Владлена Семеновича теперь не обманешь: он все знает. Знает, что не только улицы потайные есть или, там, площади, парки, рощи — есть и дома потайные, и квартиры потайные, и комнаты потайные в них: много чего на этом свете не учтено, не числится, не зарегистрировано. Он вот и Сережу-иди-домой улучил момент спросить: ты в какой квартире живешь-то, пострел? Тот и говорит: в двенадцатой первой. Это как же — двенадцатой первой? А она, говорит, коммунальная, двенадцатая, на три семьи.

Такие дела...

И дружок у Владлена Семеновича еще появился, по «Иллюзиону». Он, дружок этот, больно уж кино любил — и разбирался в нем здорово. Виктор Александрович звали, а по фамилии Клейн. С ним ухо надо было остро держать, он и Владлена Семеновича сразу вычислил: Вы, говорит, новенький, вроде... раньше я Вас в «Иллюзионе» никогда не

встречал. И сразу — звать Вас как и все такое. Пришлось представиться и сказать, что от кино хорошего сам не свой — причем настолько сам не свой, что вот... каждый день как на работу. Потом, понятно, Клейн заудивлялся: от кино сам не свой, а слова «Феллини» никогда не слышал! Ну, Владлен Семенович живо отбрил его, конечно: сказал, что память плохая и так далее... только не поверил ему Клейн все равно. Как возьмется с ним какой ни то фильм обсуждать — так и руками разводит: ничего себе, дескать, собеседничек, работу оператора от работы режиссера отличить не может...

А про местожительство свое соврал ведь Владлен Семенович. Страшновато, конечно, было, что уличит его Клейн, да потом плюнул и решил: была не была, мне с Клейном детей не крестить, уличит — пускай уличает. «На Средней Радищевской», — ответил, а сам дыхание затаил: что Клейн скажет? Клейн же, смотри-ка, ничего не сказал — кивнул только, словно Владлен Семенович какую-нибудь Ульяновскую назвал... Значит, оборотень. Впрочем, ничего удивительного: сразу было видно, если приглядеться, что оборотень и есть. «А я, — говорит, — Виктор Александрович Клейн, на Малой Коммунистической живу». И улыбается оборотневской улыбкой своей. Тут Владлен Семенович, не будь дурак, вопросик ему, в тон: чего ж, дескать, на Малой-то Коммунистической — не на Большой? На что Клейн хитренько так отвечает: «Не каждый сподобливается». Так Владлен Семенович и не понял, правда Клейн на официально не существующей Малой Коммунистической живет или просто пошутил в ответ на его, Владлен-Семенычевскую, «Среднюю Радищевскую». Да спрашивать Клейна не хотелось: еще догадался бы, что Владлен Семенович его раскусил и в самое нутро ему зрит.

Потому как с некоторых пор начал Владлен Семенович их различать... ну, не то чтоб с полувзгляда — присмотреться, конечно, требовалось, но ошибался — редко. Была в них во всех какая-то пониженная степень существования, что ли... потусторонность такая — не то чтоб прозрачность, конечно, но своего рода «протертость», как с тканью бывает, когда она начинает на свет просвечивать. Теперь, вспоминая Софью Павловну, он понимал, почему та показалась ему такой ветхой, такой пергаментной: они все ветхие — даже их дети. Сухие, пергаментные дети — как Сережа-иди-домой — наверное, чтобы сквозь стены проникать, сквозь трещины просачиваться. А в остальном — как мы на вид: точь-в-точь. Но это только на вид...

Когда оборотень Клейн «Среднюю Радищевскую» с аппетитом скушал, Владлен Семенович осмелел — правда, немножко, потому что до конца все-таки неизвестно было, поняли они друг друга или нет. Но первый раунд, кажется, все-таки за Владленом Семеновичем остался. «А чего я сомневаюсь? — возвращаясь домой, увещевал себя он. — Не в самом же деле они оборотни-то... да и не сверхчеловеки какие-нибудь — что обмануть их не обманешь и обхитрить не обхитришь. Обхитрял же Игнатъич-то! Вот и я обхитрил одного... Разговорить бы теперь Клейна остороженько — авось, чего и пойму, наконец».

— Ты, Владлен Семенович, — странно, что они так быстро стали на «ты», — кончал бы прикидываться-то! — улыбнулся своей узенькой улыбкой при очередной встрече Клейн.

Владлен Семенович не то чтоб струхнул, но морозец-то по коже пошел небольшой — хоть и начало июня.

— Да разве я прикидываюсь... не припомню! — Владлен Семенович тоже улыбнулся узенько, как мог, но так узенько, как у Клейна, у него никогда не выходило.

— Постоянно прикидываешься, — заверил его Клейн. — Делаешь вид, что в кино разбираешься, а сам сюда просто от нечего делать приходишь. Чтобы время убить. В кино ты ничего не понимаешь... в настоящем, хорошем кино. Что, разоблачил я тебя?

— Разоблачи-и-ил, — обрадовался Владлен Семенович. — Ты у нас всем разоблачителям разоблачитель.

Гроза миновала, и буря промчалась! Теперь потихоньку можно и на серьезные разговоры выходить — не забывая, конечно, под дурачка работать.

— Странно Москва теперь кроится, — начал как-то Владлен Семенович настолько общо, насколько мог.

— Да уж, — словно только и ждал этого разговора Клейн. — Но почему — «теперь»? Я уже давно сей бардак, извини за выражение, на примете держу. Нету чистоты, Владлен Семенович... Пропала чистота. И с каждым годом все только хуже становится.

— Хуже, — не понял с чем согласился Владлен Семенович. И для надежности добавил: — Гораздо хуже. Скоро и совсем плохо будет.

— Думаешь, скоро? — затосковал Клейн. — А я, видишь ли, все себя надеждами пустыми тешу... Нет, чистки-то, конечно, теперь вряд ли уже возможны, да и не нужны они больше никому. Но каким-то образом качественный состав Москвы все равно бы поменять надо... Вот была хорошая тенденция, с лимитчиками, — я уж было совсем обрадовался, что нужные люди в столицу приедут, как раз бы на наши с Вами улицы, да снобы воспрепятствовали.

— Да... снобы воспрепятствовали, — повторил неизвестное слово Владлен Семенович.

— Э-эх, — ностальгически вздохнул Клейн, — а были ведь времена! По спискам сюда попадали. Я-то списков не видел...

— Я видел, — ошарашил вдруг себя самого Владлен Семенович: один узелок начал, вроде, завязываться. — Приятель у меня был, в Марьиной Роще. Он раньше списки такие составлял. Только теперь они не нужны никому.

— Понятно, — опять вздохнул Клейн. — Тут уж больше, дорогой мой, ничего не отрегулируешь... Обмены, купля-продажа, завещания неправильные — куда от этого денешься! Да и страна-то ведь, согласишься, давно не та.

— Рухнет оно все не ровён час! — с садистским наслаждением (откуда бы!) произнес Владлен Семенович. — И нас под собой погребет.

— Да погоди еще, — узее некуда улыбнулся Клейн, — не торопись, любезный Владлен Семенович. Нас так быстро не погребешь! Прежде чем оно все рухнет, надо еще, чтобы кое-что кое с чем слилось, а при слиянии-то как раз и обозначится в нашу сторону перевес. Это мы их поглотим, а не они нас, так я думаю.

— И — что? — не сориентировался вовремя Владлен Петрович.

— Что! Он говорит — что! — расхохотался Клейн. — А то, мой дорогой, что не даром ведь мы семьдесят лет насмерть стояли... успели ведь хозяйством обзавестись, или как?

Владлен Семенович чувствовал, что теряет нить, и решил вклиниться как бы некстати:

— Одних улиц Соколиной горы сколько... одних Парковых!

Получилось — кстати.

— А я о чем! Плюс все Большие, которым соответствуют Малые и Средние, плюс все Верхние, при которых Нижние и опять же Средние, плюс все нумерованные — типа Соколиной горы, Песчаных, плюс все с историческими,

якобы отмененными названиями, а сколько и вообще не названных... нет, Владлен Семенович, этому всему не просто рухнуть. И потом — нумерация домов, за которой никто веками не следил... лучшее изобретение человечества: отдельная нумерация четных, отдельная — нечетных. Вот уж где сам черт ногу сломит... Пока человек на одной стороне улицы сосредоточен, ему другая совсем не интересна — и наплевать человеку сто раз, какая там нумерация. А там ведь вообще ничто ни за чем не следует, на другой-то стороне!.. И эти добавочные корпуса — тоже неплохое изобретение: корпус Б, корпус В, корпус Г, причем все в глубину уходят, но стоят нестройно: ищи, значит, свищи! Пока в поисках какого-нибудь корпуса Г плутаешь, название улицы забудешь. И, заметь, я не говорю про объекты особого назначения, про закрытые парки, про закрытые транспортные пути, про огромные... бескрайние площади для особого рода торжеств. И про остальное тоже не говорю.

— Господи, сколько же этого всего! — чуть не выдал себя Владлен Семенович.

— А ты будто не знал, — проигнорировал осечку Клейн. — Тоже ведь, небось, по местам заповедным прогуливаешься иногда — или как? Правда, теперь посторонних больно много — прогуливаться противно... Я до середины восьмидесятых *сюда-то* и не ходил почти: только из интереса раз-другой вылазку сделаю — и назад. Подолгу никогда не оставался. — Похоже, Клейн забыл, что у него есть собеседник: стоял, опершись локтями на гранитный парапет Москва-реки, смотрел в блестящую воду, не менявшуюся столетиями, и — бредил. — Да и чего мне тут делать-то было? Жил я — там, работал — там, даже

в кино там ходил... помнишь кинотеатр на 14-ой линии ГУМа? Хотя... что ты про кино знаешь! Там еще во время фестивалей фестивальные фильмы всегда тайком крутили. Я, помню, в семьдесят девятом «Христос остановился в Эболи» Франческо Рози пять раз посмотрел... даже больничным взял, а на 14-ой линии возьми с начальником моим прямым и столкнись. Так он засмеялся, признался, что тоже на больничном, и говорит: «Удачный мы с Вами фильм для больничного выбрали». Э-эх... все же свои были тогда, легко между собой договаривались, проблем — никаких! Потом, после фильма, мы с ними сразу на 15-ую линию отправились, к «Померанцеву» — такой-то ресторанчик ты уж помнишь, там одни наши пировали, потому что вход только с Двинской имелся, ее из этих никто не знал. — Клейн летел над просторами своей памяти, откровенно разговаривая уже с самим собой. — На немецкое пиво отправились с жареными орешками чешскими, хорошо пиво было, хороши орешки! Там мне, кстати, начальник мой прямой и рассказал, что всегда себе любовниц с этой стороны заводил, но на ту сторону их не таскал: принесет им что-нибудь оттуда, авокадо или, там, тоблерона брусочек, — у них глаза как плошки: человек со связями! А мне вот женщины отсюда никогда не нравились: тяжелые они все, издерганные жизнью... Даже когда я их там, на той стороне, встречал — пяти минут хватало, чтобы понять: отсюда. Разница — как между Восточным и Западным Берлином, я для себя это так в былые времена обозначал.

— А работал-то кем, Виктор Александрович? — осторожно встрял совсем притихший собеседник и пожалел: сбил Клейна, дурак!

Но сбить Клейна сейчас было невозможно: он кружил над засекреченной Москвой двуглавым орлом, в разные стороны глядел — весь внимание.

— Да кинокритиком, кем! Я думал, ты меня по фамилии знать должен! Хотя... ах да, ладно, не серчай, забыл я, что ты не киношный. А на этой стороне — тут я задыхался просто. Даже удивлялся, как они здесь вообще жить могут: денег веч-но не хватает, жрать нечего, развлечений приличных ника-ких, город грязный, заплыванный весь. Нет, отношения-то, конечно, кое с кем приходилось поддерживать, как и всем нам, но это так, для проформы, в основном. Сам помнишь, какие указания были: домой отсюда народ не водить, под-робностями жизни ни с кем, кроме тутошних, не делиться, на свою сторону по возможности незаметно переходить, увиденного-прочитанного здесь на той стороне не обсуж-дать... — да, были люди в наше время, которые правил этих держались. Пока держались — все и держалось, а теперь вот плывет в разные стороны... и даже поговорить об этом не с кем.

— Ну, оно и с самого начала обречено было... — осторож-но выстрелил в пустоту Владлен Семенович. — Меня, напри-мер, всегда удивляло, что никто с этой стороны на ту найти дороги не мог: не так ведь оно и трудно, вообще-то говоря, согласись.

— Не скажи, — задумался Клейн. — Все гениально устро-ено было, в соответствии с принципом: что не обозначено, того и нет! Как в кино... А что дороги туда не находили — так, во-первых, и не искали, а во-вторых, как искать то, чего якобы нету? Если ты знаешь, что здесь поворот, ты пово-рачиваешь, а если не знаешь — дальше идешь... вот, соб-ственно и вся премудрость. Нельзя найти то, чего не ищешь.

Нельзя захотеть того, чего не представляешь себе. Нельзя ощутить потребность в том, у чего нет названия. Железная ведь логика-то! А отдельные случайности — не в счет.

— Странно, что разведчиков с их стороны не было, — опять рискнул Владлен Семенович.

— При том наборе санкций, который у нас там имелся в распоряжении? Только идиоты ходили в разведчики... за что, впрочем, и получали по полной программе, — обрубил Клейн, словно он не кинокритик, а заматерелый гэбист. — А потом... одно дело на ту сторону попасть, и совсем другое — с той стороны вернуться. Заходили-то многие — возвращался мало кто. Да и охоту к таким вылазкам еще в середине века отбили: думаете, на этой стороне не видели, что пропадают же люди? Еще как видели. Остальных же случайных гуляк черные вороны по адресам развезли. И потом уж не найти их было — на этой стороне. Потому что основное-то количество тюрем, ты ведь в курсе, как раз на нашей стороне находилось. Понятно, что прежде всего именно для приезжих.

— А вот, — совсем забылся Владлен Семенович, — как насчет почты, писем всяких официальных... да и личных — они-то на ту сторону как доставлялись?

— Нет, ты не только в кино не понимаешь ничего — ты вообще ни в чем ничего не понимаешь! — мелко расхохотался Клейн. — Или на той стороне своих почтовых отделений не было, своей доставки? Тебе же самому почту-то клали в почтовый ящик — или как?

— Да я... — решил вдруг признаться, — на ту сторону недавно попал. Раньше все время на этой жил.

— Думаешь, я не в курсе? — проникновенно спросил Клейн.

Владлен Семенович вскинул глаза:

— Может, и эпоним мой скажешь?

— Пардон? — растерялся Клейн. — Ты о чем? Гм... я-то о том, что уж кого-кого, а меня не обманешь. Я людей с этой стороны за версту вижу... это как, извини, отсутствие породы. Наметанный глаз не обманешь.

— Ты о какой же это породе?

— Да все равно о какой! — забеспечничал Клейн. — Порода не вопрос качества вида, порода — вопрос количества его воспроизведений. Неважно, кого изначально пестовать — эlegantного добермана или слюнявого бульдога: дело не в исходном материале, а в продолжительности его пестования. Чем дольше выдерживается раса, это как вино, тем чище порода... вот и все. Шариков беспородным-то в самом начале только был, а сейчас, через несколько поколений, порода, значит, уже такая есть — «шариковы».

— Какой такой Шариков?

— Ну, да... ты же новичок! Здесь у вас такие книги запрещены были: народ незрелый, не понять могли! Или не так понять. Книжка «Собачье сердце» называется. И это, милый мой, Булгаков. Булгаков Михаил Афанасьевич.

Клейн плюнул в Москва-реку.

— Знаешь, что, Клейн... — совсем удивил себя Владлен Семенович. — Противнее тебя я людей, честно сказать, и не встречал. И сейчас, например, у меня одно только желание... тебе по харе съездить. Так я, пожалуй, съезжу.

32. И ТАЙН НЕ ВЫДАЛ

Огромная банка с водой на журнальном столике.

Атласный халат, накинутый поверх легкого тренировочного костюма.

Мягкие тапочки, в которых так уютно ступням.

Телефон отключен. Убран весь свет, кроме небольшого ночного торшера: в нем тихонько горит лампочка всего в двадцать пять ватт, заключенная в компактный оранжевый абажур, напоминающий апельсин.

Леночка готова к сеансу.

Страна готова к сеансу.

Вот-вот он появится на экране: немолодой, красивый, спокойный Борис Ратнер с мягкими руками и сочным, но сдержанным голосом. «Отдалась бы без крика», — недавно поделилась с Леночкой Нора. Леночка подняла бровки: что за язык, Нора! Впрочем, Леночка и сама поступила бы так же — да и кто бы не поступил... Говорят, что какая-то истеричная девушка даже наложила на себя руки прямо у него в подъезде. Это, конечно, крайность и дурной тон, но девушке можно понять.

Так хорошо, как с Борисом Ратнером, Леночке не было еще ни с кем. Паранойя, говорила себе она, паранойя — получать такое наслаждение у экрана телевизора! Знала бы я, что это возможно, — к чему бы мне все эти идиоты, с которыми я делила жизнь... может быть, исключая все-таки Владимира Афанасьевича. Лев, вот тоже мерзавец, все еще зовет его рольмопс. Конечно, Владимир Афанасьевич не Ратнер, но сам факт того, что они знакомы, что Владимир Афанасьевич так запросто ему звонит... не у каждой женщины есть мужчина, который накоротке с Борисом Ратнером.

— Добрый вечер.

Вот он и пришел к ней, к ней одной. Когда у них в семье впервые появился телевизор, семилетняя Леночка долго была убеждена в том, что дикторы с экрана обращаются именно к ней, — она даже отвечала им, и ей казалось, что они улыбаются в ответ. Впоследствии чувство это никуда не ушло — оно только забилося в один из темных уголков души, откуда Леночка никогда не доставала его... а недавно, вот, достала: такой силы оказалось воздействие на нее Бориса Ратнера.

— Примите удобную позу и постарайтесь в течение следующих десяти-пятнадцати минут забыть обо всем. Обо всем, что беспокоит Вас. Обо всем, что причиняет Вам тревогу. Обо всем, что заставляет Вас огорчаться...

Она забудет. Ей легко забыть обо всем, когда с ней так разговаривают. Может быть, Владимир Афанасьевич рассказывал ему обо мне... да уж конечно, рассказывал. Между ними, мужчинами, какие ж тайны! Мы с Борисом Ратнером, кстати, одного возраста, но на вид мне никто больше тридцати не дает. Может быть, так случится, что мы когда-нибудь окажемся в одной компании. Я и виду не подам, что он так много для меня значит: буду подчеркнута мила с Владимиром Афанасьевичем — который, кстати, этого вполне заслуживает. Но два-три как бы случайные взгляда в сторону... — они-то и расскажут Борису Ратнеру, что я чувствую в его присутствии.

— Давайте вместе подумаем о том, что в жизни каждого из нас есть немало приятных минут, но мы зачастую не умеем воспользоваться ими, не умеем прожить их так, чтобы они запомнились нам, чтобы они поселились в нашем сердце и оттуда согревали нас своим теплом... Закройте глаза

и слушайте, как я считаю до десяти. Когда я произнесу «десять», Вы будете уже далеко.

Я и теперь далеко. Я там, в студии, где какой-нибудь очкастый оператор установил свою камеру так, чтобы приблизить ко мне каждую черточку этого лица...

По другим программам в разное время суток тоже показывали сеансы с экстрасенсами. Кое-кто из Леночкиных знакомых успевал смотреть и их: ей то и дело рассказывали, что такому-то лучше удастся успокаивать нервы, такому-то — налаживать сердечный ритм, а такому-то — убирать шрамы и разглаживать рубцы. Леночка, верившая во все, что показывают, была убеждена: да, вполне и вполне возможно. Но сама она оставалась верной своему единственному — Борису Ратнеру. Да и Владимир Афанасьевич рассказывал про него вещи удивительные, удивительные. Оказывается, Ратнер приходил к нему в институт: мы ведь, как бы это сказать, коллеги, Леночка... не в том, конечно, смысле, что одним и тем же занимаемся, скорее — наоборот. Да нет, так, как он, я, разумеется, не умею, и не проси, Леночка, Господь с тобой! Что он еще может... да он, шельма, много чего может. Но есть вещи, которые на публику просто нельзя выносить. Впрочем, частным образом, говорят, и порчу снимает, и сглаз, и присушить может, и отсушить... и болезнь нехорошую наслать, и на преступника вывести. К нему, знаешь, какого уровня люди обращаются! У нас ведь сейчас всё на этом... ну, у нас, в государстве, я имею в виду. Люди давным-давно поняли, насколько такие вещи серьезные, — это раньше нам внушали: предрассудки, мракобесие, оккультизм. А теперь ни один ответственный работник в новую квартиру не въедет, прежде чем ее экстрасенс посетит, энергетику прощупает, каждый

угол просифонит... Стали соображать наконец, что к чему. Да при чем тут наш институт, Леночка! Мы там все люди ученые, с чудесами на «вы». Это я в частной сфере такой романтик, во всякую чертовщину вот вместе с тобой верю, а на работе я циник и медник, там меня голыми руками не бери. Ах, да какое двуличие, детка! Одноличие-то ты где видала, в какой стране живешь, наивная ты моя? Да у нас, если хочешь, чем ответственный работник высокопоставленнее, тем он в душе суевернее. Только я тебе одной это говорю, а с Борей, например, я ой как строг... когда встречаемся, конечно! Брось, говорю ему, Боря, людям пыль-то в глаза пускать, нехорошо, говорю. Он и думает, что я такой вот крутой. А я его и сам боюсь как огня, да только вида никогда не покажу, хоть съешь меня!

— ...семь.

Леночка уплывала под самые небеса — и там тихонько качалась на волне глухого бархатного голоса, который ублаживал, который утешал всю ее скособоченную, неправильную, напрасную жизнь, который навевал чары, чары, чары...

— Вам хорошо и комфортно. Ваше сердце бьется спокойно и ровно. Ваши плечи расслаблены, дыхание свободно. Никакие посторонние мысли не беспокоят Вас, никакие заботы не напоминают о себе. Вам хорошо и комфортно. Вообразите, что Вы идете по цветущему лугу. Нежаркое солнце чуть пригревает, теплый ветерок колышет Ваши волосы, в воздухе слышно стрекотание кузнечиков. Вам хорошо и комфортно. Никогда в жизни Вам не было так хорошо и комфортно...

Под каким бы предлогом мне с ним встретиться, думает Леночка. Сказать, что на меня порчу наслали? Или сказать, что я присушить кого-нибудь хочу? Или сказать, что... да

вот же! Надо попросить Владимира Афанасьевича, чтобы Ратнер со Львом помог: дескать, замкнулся после смерти деда, не общается ни с кем, в институт не поступает... в общем, не живет нормальной жизнью — словно сглазил кто. И спать не спит — глаза, вон, воспалены постоянно, а все ведь психика!

Леночка выпрямилась в кресле.

— Расслабьтесь, — сказал ей Борис Ратнер. — Расслабьтесь окончательно, сначала сосредоточившись на каждом из участков своего тела, а потом отпуская этот участок на свободу. Сосредоточьтесь на пальцах ног — отпустите на свободу. Сосредоточьтесь на поясице — отпустите на свободу. Сосредоточьтесь на пальцах рук — отпустите на свободу. Сосредоточьтесь на плечевых суставах — отпустите на свободу. Сосредоточьтесь на шейных позвонках... и — отпустите на свободу. Теперь Вы полностью расслабились и уже не чувствуете своего тела. Вы растворены в облаке живительной энергии, Вас больше нет.

Леночка ощущала приближение оргазма и вкус слез на губах. Оказывается, они текли уже давно: тихие, легкие слезы благодарности. Что он делает с ней, этот экстрасенс... этот мужчина, подобных которому не было в ее жизни? Неужели со всеми так? Неужели не для нее одной он устраивает эти свои божественные сеансы? Но надо же еще быть восприимчивым... не всякий ведь так восприимчив, как она, не всякий ведь отвечает на прикосновение этого голоса каждой своей клеточкой!

— ...десять. Я надеюсь, что перед каждым из Вас стоит сейчас сосуд с водой: теперь это вода заряжена энергией жизни и превратилась в биологически активную жидкость, БАЖ. Накройте горлышко сосуда чистой марлей и поставьте

на кухонный стол. С сегодняшнего дня Вы будете пить БАЖ по несколько стаканов в день — и энергия жизни войдет в Вас, распространится по всему Вашему телу, избавит Вас от недомоганий и заболеваний. До следующей встречи. До свидания, Леночка!

Леночка вздрогнула. Паранойя... Ей уже начинает слышаться черт знает что! Она поспешно выключила телевизор, чтобы никакая дурацкая заставка на экране не лишила ее ощущения того неземного блаженства, которое она каждый раз испытывала после сеанса Бориса Ратнера. Леночка откинулась в кресле. Нет, на самом-то деле ей не так уж и много лет. У мамы в ее возрасте появился Маневич — и Леночка видела, как мама была счастлива, когда возвращалась от него. Никто не запрещает стать счастливой в возрасте... в среднем возрасте. Хотя, конечно, не сумеет ей до Ратнера добраться: там вокруг, понятно, таких, как она, пруд пруди. И каждая только и ждет, чтобы... да. Хорошо, что Владимир Афанасьевич скоро придет, а то как-то ей все труднее справляться с собой после этих сеансов.

Владимир Афанасьевич опоздал почти на час: с Ратнером заговорился.

— С каким Ратнером, Владимир Афанасьевич! — Леночка часто обращалась к нему по имени-отчеству: так, ей казалось, интеллигентнее. — Ратнер только что по телевизору был.

— Так он же там в записи, Леночка! Думаешь, человек правда, что ли, каждый день в Останкино ради пятнадцатиминутного ролика катается? Пишется раз в месяц, если не реже, — да и все.

Леночка почувствовала, что ее обманули. Понимая, что краснеет, заспешила в кухню: якобы за едой... и правда за едой, конечно. Собирая закуски на маленький подносик,

она кусала губы и произносила обличительный внутренний монолог, адресованный Ратнеру. Слова в этом монологе попадались не очень хорошие — типа «мошенник», «пижон», «сволочь», а особенно часто почему-то — «бабник». И она еще могла им восхищаться, могла беспечно раскачиваться на волне его голоса! Все это обман, обман... — и тошнит от всего этого просто. Они там, оказывается, ролик гоняют, в то время как она, дура... Ну и пошли Вы, Ратнер, со всеми своими вам-хорошо-и-комфортно! Хотя, в общем-то, он помогает... — шрамика на переносице (устойчивая шутка: «Антонио Феери пилой задел») как не бывало. Или есть? Леночка взглянула на себя в зеркало, чтобы найти шрамик, но, как всегда, залюбовалась. Нет, она хороша еще!

— Меня Лев очень беспокоит, — сказала, вкатывая в гостиную маленький столик на колесах.

— С каких же это пор? — проявил ненужную проницательность Владимир Афанасьевич.

Леночка обиделась и некоторое время побыла обиженной. Когда Владимир Афанасьевич, поев, прижал ее голову к своему плечу, она закапризничала, начала отстраняться...

— Ну, ладно, ладно, Леночка, что там со Львом?

И Леночка смилостивилась. Рассказала, что со Львом... — да так рассказала, что у слушателя могло создаться впечатление, будто Лев — готовый пациент Кашценко.

— Чего делать будем? — без интереса спросил Владимир Афанасьевич.

— Ратнеру бы его показать... больше потому что некому. Не в районную же поликлинику обращаться!

— Есть невропатологи, психиатры...

— Я не дам им глумиться над своим ребенком, — волчицею встrepенулась Леночка.

— У тебя столько денег нет, чтобы к Ратнеру, — некрасиво поставил ей на вид Владимир Афанасьевич и красиво выкрутился: — Да и у меня, боюсь, нет.

— Я никаких денег не пожалею, — сформулировала теоретическую посылку Леночка. — Займу, если надо будет... у хороших людей.

Почувствовав себя исключенным из этого приятного множества, Владимир Афанасьевич заерзал по шелковой обивке дивана. Ему страшно не хотелось обращаться с личной просьбой к Ратнеру, которого он на самом деле всего несколько раз мельком видел в институте и всякий раз «не признавал», поскольку — по служебному своему положению — не снисходил до кондукторов и поскольку видел особую прелесть в устойчивом игнорировании трусивших мимо него знаменитостей. Пусть все кто угодно ищут дружбы с ними, а он их хозяин: захочет — и не будет Ратнера в институте. Ишь, разгуливает по коридору! На нейтрализацию его направить — все паранормальные способности как рукой снимет. Вот еще не хватало: от кондукторов зависеть... Но уж и от Алеши-то Поповича, который с Ратнером работает, зависеть тоже, вроде бы, ни к чему. Э-хе-хе... черт меня вообще дернул хвастаться перед Леночкой знакомством, да что знакомством — дружбой с Ратнером! Цену себе набивал, дурак старый...

— Леночка, ты все-таки подумала бы, зачем нам это все... Дело не в деньгах даже, деньги найдем, но к Ратнеру же в последнюю очередь обращаются, когда остальные средства уже испробованы... и потом, я не хотел бы злоупотреблять моим служебным положением. Я ведь, как бы это тебе сказать, там начальник... что-то вроде директора.

Оп-ля!..

Мордвинов проговорился впервые в жизни.

Видимо, много все-таки значила для него эта тоненькая циркачка с итальянскими глазами, выбегавшая на арену в ослепительном трико и с исключительной сексапильностью подававшая фокуснику всякие штучки... Он, кстати, даже немного ревновал ее к этому фокуснику, который без конца демонстрировал свою абсолютную власть над ассистенткой. Да оно и понятно: в конце выступления ему предстояло ее перепиливать! Ибо именно так — по старой (недоброй!) традиции, заложенной еще Антонио Феери, — и продолжал поступать с Леночкой каждый новый фокусник, чьей ассистенткой она становилась. Казалось, Леночка и вообще была создана исключительно для того, чтобы ее перепиливали: во всяком случае, у фокусников всегда почему-то складывалось именно такое впечатление. А Мордвинов любил ее... — причем не столько за итальянские ее глаза и за ослепительное ее трико, сколько за умение быть-перепиливаемой: ах, неисповедимы пути сердца нашего!

Последняя фраза Владимира Афанасьевича показалась Леночке ослепительнее всяких трико: он — начальник Ратнера? То есть направо-налево командует им — пойдй туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что... и все такое?

Обычно, когда Леночка или кто-нибудь еще проявляли слишком уж живой интерес к его работе, Мордвинов отшучивался. Шуточек таких, почему-то рифмованных, у него при себе всегда было хоть отбавляй: одна другой хуже, — зато действенные. Стоило в ответ на вопрос о роде занятий сказать: «Я работаю в НИИ под названием НИ-НИ» (стишки приписывались какому-то постороннему завлабу, лет десять назад за них не то уволенному, не то убитому), или «Мы просто землеройки перестройки», или «Посылаем атом матом»

и т. п. — все, включая Леночку, отваливали, как моя черешня. Понимая, значит, что серьезы не будет. А тут — на тебе: взял и открыл карты. Леночке! Как же это, а? Плохое, плохое время: бдительности не требует.

Между тем Леночка-то уже мурлыкала... измурлыкалась просто вся. Ей, показалось вдруг приятно сидеть на диване с директором Бориса Ратнера... это, пожалуй, даже лучше, чем с самим Ратнером-в-записи-месячной-давности. И сама государыня Рыбка чтоб была у меня на посылках!.. Ах, как опять захотелось оказаться в одной компании с Ратнером — на сей раз не для того, чтобы бросать на него томные взгляды, а для того, чтобы, почти не взглянув в его сторону, тут же как бы потерять интерес!

— Елена Антоновна, познакомьтесь: это Борис Никодимович, о котором Вы, наверное, слышаны?

— Очень приятно. К сожалению, нет. А чем Вы занимаетесь, простите? Экстрасенсорикой, значит... ну-ну, удач Вам.

И направиться к Владимиру Афанасьевичу: снять пушинку с его пиджака — якобы незаметно.

— Никто в стране, наверное, и представить себе не может, что Ратнер в каком-нибудь НИИ работает.

— Каждый экстрасенс где-нибудь работает. Ты ведь понимаешь, экстрасенсорикой у нас не прокормиться, это вроде как хобби.

— Ты просто раньше не говорил о том, что ты у него директор.

— Не говорил? — Мордвинов был само спокойствие. — Значит, случая не было. Да и какая разница — директор или кто...

Государственные тайны существуют до тех пор, пока существует государство. В существовании государства вокруг него Мордвинов теперь сомневался. С его точки зрения,

государство должно было наводить страх на граждан, а больше могло ничем и не заниматься. То, что находилось вокруг Мордвинова и продолжало выдавать себя за государство — причем за *то же самое* государство! — занималось чем угодно, кроме выполнения основной своей функции. Мордвинов постоянно испытывал чувство стыда за то, что всё везде вот так вот... и что в какой-то момент он и ему подобные могли, вероятно, остановить приближающуюся катастрофу, но не остановили, и теперь, стало быть, ничего не остается, как следить за неминуемым и скорым ее приближением. На этом фоне Мордвинов не знал, что делать со вверенной ему государственной тайной: продолжать хранить ее до тех пор, пока она перестанет быть кому бы то ни было интересной, или... Ясной альтернативы Мордвинов перед собой не видел, ибо тайны он умел только хранить, решительно не представляя себе, на что еще они годятся.

Правда, несколько минут назад выяснилось, что их можно еще и выбалтывать — не выдавать, а именно выбалтывать: по-глупому, ненароком, даже не чувствуя за собой никакой вины. От этого Мордвинову стало очень, очень горько. Лет пять назад, когда он всегда был застегнут на все пуговицы, с ним подобных вещей ни при каких обстоятельствах случиться бы не могло, а теперь — вот, пожалуйста... Самым противным, между прочим, казалось именно полное отсутствие чувства вины. Хотя это-то как раз понятно: вина в том, что граждане болтливы, никогда на них самих не лежит! А лежит она опять же на государстве... или что там у нас вместо него. Значит, не выполняет оно своей основной функции, не внушает гражданам страха.

Мордвинов, кстати, в последнее время просто физически чувствовал, как качалось под его ногами мирозданье...

этакие постоянные подземные ощущались толчки. Телевизор включишь — толчок, заголовок в газете соседа в метро увидишь — толчок, попрошайке в подземном переходе в глаза посмотришь — толчок... Не говоря уже о ценах, каждая из которых — толчок. Он, конечно, сопротивлялся изо всех сил, браво игнорируя и телевизор, и газеты, и попрошаек, но вот цены... — цены игнорировать никак не удавалось. Они постоянно кружились вокруг, лезли в глаза, глумились над ним! И постоянно напоминали, что, если и раньше сотрудники НИИЧР на одном бюджете никуда бы не уехали, то уж теперь-то, когда словосочетание «бюджетная организация» начинало терять смысл, — им и подавно никуда не уехать. Даже пешком не уйти. Между тем совершенно непонятно было, из кого теперь выбивать деньги, поскольку давно уже стало не видно, у кого они водятся.

А если так, то чего ж напрягаться-то? Ровно настолько, насколько государство способно оплатить хранение государственных тайн, их хранить и следует. Больше, значит, они не стоят. У Мордвинова даже возникло злорадное желание немедленно выдать все известные ему государственные тайны вот хотя бы и Леночке, но он привычно взял себя за горло. И тайн не выдал.

33. НА ВАС ПОСЛЕДНЯЯ МОЯ НАДЕЖДА И УПОВАНИЕ

«Дорогая дирекция Московского метрополитена им. В. И. Ленина!

Пишет Вам Потапов Владлен Семенович, русский, 1925 года рождения, участник войны с 1943 г., член КПСС с 1945 г., пенсионер с 1986 года.

Получив за тридцать шесть лет безупречного стажа в Московском метрополитене им. В. И. Ленина звание «Ветеран труда», я считаю Московский метрополитен им. В. И. Ленина моим вторым домом и, хотя вот уже три года как не работаю в нем, а нахожусь на заслуженном отдыхе, до сих пор болею за него сердцем.

Я считаю, что Московский метрополитен им. В. И. Ленина является лицом всего Союза Советских Социалистических Республик и поэтому должен быть образцовым заведением, с которого могли бы брать пример любые организации и учреждения нашей страны. Таким он, по моему личному мнению, и был в течение всех лет моей работы на разных станциях метро, в последнее время — на станции «Белорусская», в качестве дежурного по эскалатору. Бесперебойная работа Московского метрополитена им. В. И. Ленина, строгое соблюдение расписания движения поездов, четкость напечатанных схем, чистота помещений и отсутствие дорожно-транспортных происшествий никогда не оставляли желать лучшего.

Как человек, привыкший к порядку, я считаю, что Московский метрополитен им. В. И. Ленина является наиболее организованной и логически понятной системой

транспортных узлов, в которой только неумный человек не способен разобраться, когда все предельно ясно. Мне всегда было даже просто смешно, когда пассажиры на «Белорусской» обычно спрашивали меня, как проехать на ту или другую станцию. Я постоянно обращал их внимание на то, что Московский метрополитен им. В. И. Ленина весь усеян указателями, которые легко и просто объясняют каждому разумному приезжему направление его дальнейшего движения. Я также все время советовал им смотреть на схемы, вывешенные в каждом вагоне, если у них есть сомнения в том, до какой станции им ехать и где совершить необходимую пересадку, потому что все понятно, как божий день.

Однако же за последнее время со мною произошло много событий. Эти события вызвали мою глубокую озабоченность, и я стал серьезно задумываться о том, куда мне направить информацию о ряде замеченных неполадок. Сначала я хотел обратиться в органы государственной безопасности или в правоохранительные органы. Потом я лучше решил обратиться в партийные органы — как-то: обком или горком моего родного города Москвы. Однако после разговоров с целым рядом товарищей мне стало отчетливо видно, что в вышеупомянутых неполадках как раз и виноваты органы государственной безопасности, правоохранительные и особенно партийные органы, в которые я хотел обратиться. Это означает, что в данный момент своего времени я считаю себя глубоко разочарованным во всех этих органах, особенно в последних органах, то есть партийных. Я понял, что на сегодняшний день доверяю только Московскому метрополитену им. В. И. Ленина, в который я сейчас и обращаюсь после всех моих внутренних мук. Московский метрополитен

им. В. И. Ленина ничем не запятнал себя в моих глазах и остается в них моим последним оплотом порядка и четкости в наше трудное время.

Это письмо я решил для себя написать Московскому метрополитену им. В. И. Ленина как предостережение, потому что один раз я заметил, что пагубные явления закрались и в жизнь подземного транспорта столицы. Правда, я не могу подтвердить это еще раз, потому что, вернувшись в подозрительное место Московского метрополитена им. В. И. Ленина снова, я уже не нашел этих пагубных явлений, но такое положение дел меня не удивило, потому что данные пагубные явления всегда скрыты от человеческого глаза, но иногда видны (мне).

Вы, дорогая дирекция, можете спросить меня, что я имею в виду. Я сейчас расскажу Вам это, чтобы Вам все сразу стало понятно и чтобы Вы вмешались в недостаток на территории Московского метрополитена им. В. И. Ленина, а также по возможности в другие недостатки и, конечно, немедленно искоренили их все. Но я сначала напишу о другом, что не имеет отношения к Московскому метрополитену им. В. И. Ленина, поскольку без этого Вы никогда не поймете, что случилось и как быть.

С помощью известия от моего старого знакомого участкового милиционера, Михаила Алексеевича Николаева, мне несколько лет назад удалось поменять мою квартиру в Черкизове на квартиру в доме № 3а по 4-й Брестской улице, номер квартиры 256. Меня очень удивило, что 4-й Брестской улицы нету в туристических справочниках на картах Москвы. Затем меня еще раньше удивило, что прямо напротив моей квартиры, 256, расположена квартира номер 3, где находится непонятный мне институт четвертичного рельефа, который

находится не в моем подъезде, а в первом, а я в восьмом. Я проник в эту квартиру и увидел, что она не находится ни в каком подъезде, а находится на первом этаже всего дома и под домом. Это устало меня, но я ничего не боюсь.

Когда я покинул научно-исследовательский институт четвертичного рельефа путем выхода из подвала на улицу, я оказался в Марьиной роще, что очень глубоко удивило меня. Там я познакомился с неприятной мне впоследствии Софьей Павловной Королевой, проживающей в доме номер 16 по 16-му проезду Марьиной рощи и являющейся женой, а также вдовой работника органов, которые составляют списки всех жильцов по улицам Марьиной рощи, если их нет на карте, но он умер. Я читал эти списки ночью, а позже найти 16-й проезд Марьиной рощи и гражданку Софью Павловну Королеву мне не удалось. Это произвело на меня плохое впечатление, и я заблудился в Марьиной роще, где встретил человека Игнатъича, который рассказал мне обо всем этом. Но рассказ его мне был не очень понятен, а потом он пропал без вести и, наверное, умер или истреблен.

Заинтересовавшись отсутствующими в природе улицами Москвы, я вернулся домой, на 4-ю Брестскую, и стал летом изучать такие же улицы на Таганке, чтобы меня не заподозрили в том, что я интересуюсь улицами Брестскими и проездами Марьиной рощи, и, возможно, не погубили. На Таганке, в кинотеатре «Иллюзион», я познакомился с Клейном Виктором Александровичем, коммунистом и кинокритиком фильмов, проживающим по отсутствующей улице Малой Коммунистической (номер дома не знаю), и от него я услышал обо всем, что подтвердило слова Игнатъича. Тогда мне стало понятно, что мириться с этим нельзя, и я, извините

за выражение, избил Клейна Виктора Александровича и покинул его.

Наверное, Вам непонятно, что именно мне стало понятно, поэтому я опять сначала объясню это непонятное Вам, а потом вернусь к недостатку в Московском метрополитене им. В. И. Ленина.

Мне стало понятно, что кроме нами всеми любимой Москвы, столицы нашей Родины, города-героя, овеянного славой истории, существует и другая Москва, которую я в этом моем письме буду называть Москва № 2. А обычную Москву, которую мы знаем и любим, я буду называть Москва № 1, чтобы Вы не запутались, потому что разобраться в этих двух городах не совсем просто, как раньше и было со мной, но теперь я разобрался.

Если мы сначала посмотрим на карту Москвы в туристическом справочнике, то мы увидим, что на ней, то есть на карте, помещена не вся Москва, а только Москва № 1, столица нашей Родины. Москвы № 2 на карте Москвы нет. Это Вы легко можете проверить, если посмотрите на карту Москвы, если она у Вас есть. Но она, конечно, есть, потому что Вы относитесь к Московскому метрополитену им. В. И. Ленина, и это означает, что без карты Вам никак нельзя строить дальнейшие станции. Вглядевшись в карту Москвы, сейчас я имею в виду Москву № 1, Вы не увидите на ней многих улиц, переулков, проспектов, площадей, парков культуры и отдыха и других мест общественного пользования. Но Вы сразу не поймете, что ничего этого на карте нет, потому что Вы еще не знаете, что все это на самом деле есть. Чтобы это узнать, необходимо это увидеть. Лично мне все это стало горько и подозрительно, когда я поселился по 4-й Брестской улице, дом номер 3а, как я указал выше

в этом же письме. Потом вся моя подозрительность резко усилилась, после того как я познакомился с Королевой Софьей Павловной, тоже проживающей по проезду, которого нет в природе, а именно 16-му проезду Марьиной рощи, как выше указано. Посмотрите теперь на карту и увидите на ней, что там нет 4-й Брестской улицы и 16-го проезда Марьиной рощи тоже нет, а они есть, я там лично живу и был своей собственной персоной. Если Вам этого мало, то я еще прошу найти Вас на карте в туристическом справочнике Москвы (я опять имею в виду Москву № 1) улицу Малую Коммунистическую и Среднюю Радищевскую, где я сказал Клейну Виктору Александровичу, что я живу, а он совершенно не удивился, что доказывает существование этой последней улицы, где я, конечно, не живу, а только сказал так, но сам он живет на Малой Коммунистической, которой тоже нету в природе. Вы, само собой разумеется, не найдете на карте ни одной, ни другой, и пусть это убедит Вас в том, что такие отсутствующие улицы есть.

Сначала Игнатъич, которого с нами больше, может быть, нет, а потом и сам Клейн Виктор Александрович добровольно рассказывали мне, что внутри нашей Москвы, сейчас я имею в виду Москву № 1, есть еще один другой город, Москва № 2, никому среди нас не известный, кроме меня. Этот город очень большой, но он невидимый, однако не потому невидимый, что его нет, а потому что он как бы засекреченный недостойными быть членами Коммунистической партии Союза Советских Социалистических Республик, а также органами безопасности и правоохранения и другими органами, я не знаю какими и которых, может быть, тоже нет. В этом городе, здесь я уже говорю о Москве № 2, находится много секретных учреждений и мест, которые имеются

в распоряжении для «слуг народа», как я и другие граждане нашей страны в переносном смысле называем недостойных быть членами Коммунистической партии Союза Советских Социалистических Республик. На территории Москвы № 2 располагаются различные специальные распределители продуктов питания и увеселений, а также книг, которые мы не читали, потому что у нас в Москве № 1 они строго запрещены законом. Там еще есть кинотеатры и почтовые отделения, которые приносят почту жителям Москвы № 2.

Если Вы этому не верите, то Вы можете сами сходить в Московскую высшую партийную школу по адресу Садово-Кудринская 9, где еще находится Институт повышения квалификации работников (советской, но это не сказано) печати и Академия общественных наук, но это то же самое, что Высшая партийная школа, как оказалось. Я на прошлой неделе там был вместе с одной случайной женщиной с собачкой, с которой мы два месяца тому назад познакомились на Таганке, поблизости от Средней Радищевской, которой не существует в природе. Я сделал вид, что увлечен этой женщиной, но на самом деле меня только интересовало, где она живет, и все. Потому что она всегда уходила в трещину. Потом она, конечно, пригласила меня к себе домой, где выяснилось, что я тоже могу проходить в трещину, как и она с собачкой, но только надо точно предварительно знать, что там улица, а не трещина. Эта женщина с собачкой работает в Высшей партийной школы, а также Института повышения квалификации буфете, у которых он общий и являющийся специальным распределителем благ, куда она меня пригласила поесть красной рыбы с кофе, и я пошел. Но я это не потому пошел, что хотел их красной рыбы и их кофе, а чтобы на все там посмотреть, и посмотрел.

Все увиденное неприятно поразило и сильно встревожило меня, о чем я раньше, конечно, не знал. Но теперь я узнал, что дом 9 по Садово-Кудринской улице — это никак не дом 9, а чуть ли не целых шесть или больше домов 9, потому что они все стоят в затылок и не видны невооруженным глазом с улицы. С улицы просто так кажется, что перед нами дом 9 по улице Садово-Кудринской, но, когда ты в него войдешь, то можешь идти по специальным переходам из одного дома 9 в другие дома 9 и так далее. Все эти дома представляют собой даже целый маленький город, который, если на Москву нападут (неприятели), может вообще не выходить наружу, а переживать все нападение внутри и выйти оттуда целым и невредимым, когда Москва уже будет отбита своими.

Там у них внутри есть специальные магазины, парикмахерская, спортивная площадка для игры в футбол, столовая и буфет с различными дефицитными продуктами как ананасы, продажа газет и журналов, а также, отдельно, в ларьке, запрещенных законом книг разнообразных писателей. Еще там продаются пластинки и показывают разнообразные запрещенные фильмы и встречи с великими людьми как Игорь Ильинский и Михаил Козаков. Все это очень неприятно. Я еще забыл сказать, что там есть почта и почтовые ящики на имена внутренних людей, которым даже не нужна почта в Москве № 1. И кроме того там есть своя типография с печатными станками и гараж. А мне, как случайному любовнику женщины с собачкой или кому, надо было туда даже выписывать специальный пропуск, потому что через главную дверь, которая закрыта, туда нарочно не входят, а входят по пропуску на несколько часов и потом назад отмечаются через маленький незначительный флигель слева, который с улицы кажется совсем другим, то есть не этого дома (домов).

Если Вы, дорогая дирекция Московского метрополитена им. В. И. Ленина, посетите это место, то Вы, как и я, сойдете с ума (конечно, в переносном смысле этого выражения), потому что этого, кажется, не бывает в нашей советской стране, где все равны, а есть! На этом грустном и отвратительном примере Вы сможете лучше понять, что я имею в виду.

Я имею в виду, что и везде в Москве (общей) так: снаружи проступает только Москва № 1, а внутри в ней находится Москва № 2, недоступная никому, кроме жителей. Эти жители Москвы № 2 могут преспокойно ходить там у себя и все потреблять, и они могут выходить к нам, в Москву № 1 и потреблять наше, но мы, кто живет и трудится в Москве № 1, никогда не можем попасть в Москву № 2 и пользоваться всеми благами, а также потреблять ихнее.

По поведению Клейна Виктора Александровича, женщины с собачкой и ее друзей с работы в буфете видно, что все они смеются и издеваются над нами, какие мы бедные и непросвещенные тут у себя, в Москве № 1. Мне даже стало известно, что они там, в Москве № 2, женятся только друг на друге, чтобы не портить породу, которую Клейн Виктор Александрович, до того как я его избил, при мне в глаза назвал породой «шариковых», как сказал (якобы) один писатель, чьих великих произведений я не читал из-за его запрещенности законом. Эта порода, выходит, и живет в Москве № 2, потому как, чтобы в ней жить, нужно особое разрешение или распоряжение и нужно работать на секретном объекте, но это теперь не выдерживается из-за плохих времен, когда люди меняют свои квартиры на другие. Отсюда в Москву № 2 сейчас попадают не только слуги народа, но и сам народ, которого это все безмерно настораживает. Если

бы у меня не был знакомый участковый милиционер, я сам бы не попал ни за что. Но он думал, что я обрадуюсь и продамся, как все из Москвы № 1, кто попадает в Москву № 2, а я никогда не радуюсь и никогда не продаюсь, потому что настоящий гражданин своей родины и коммунист, который за равенство.

Хоть я ничего не боюсь, но то, что меня очень сильно пугает, — это нижеследующее: что Москва № 2 разрастается и пухнет на глазах, как на дрожжах, и, если так будет продолжаться, то поглотит и вытеснит всю Москву № 1 из общей Москвы, и ее не будет. Между тем как Москва № 1 это и есть сердце нашей Родины и наша историческая гордость, которую мы обязаны сохранить для потомков наших и потомков их потомков, а также так далее, которых у меня, к сожалению, нет (потомков). Мое личное мнение такое, что Москва № 1 висит на волоске, потому что ее видно всю как на ладони, а Москву № 2 не видно даже с Воробьевых гор, и она необозрима зрением человека. Потому что ее нет на картах и даже карт целиком нет, и никто не знает, какой она, Москва № 2, сегодня величины. А индивидуально мне кажется, что она необыкновенно большой величины (и опасности). И все это надо остановить и сделать хоть так, чтобы эта Москва № 2 тоже была видна на картах, а мы знали, сколько еще терпеть и когда ее уже запретить. И сохранять нашу великую Москву № 1 в неприкосновенности. Потому что эта Москва № 1 — она историческая, то есть вечная, а Москва № 2, это, конечно, по моему разумению, — она политическая и падет из-за размножения недостойных быть членами Коммунистической партии Союза Советских Социалистических Республик.

Теперь, когда Вы уже прочитали львиную долю моего письма, Вам все еще непонятно, при чем тут Московский

метрополитен им. В. И. Ленина и как этот объект образцового содержания связан с описанными мною нарушениями социализма. Я поясню Вам это в дальнейшей доле написанного письма.

Когда я читал о Великой Октябрьской Социалистической революции (давно), я понял, что у людей в государстве есть такие объекты стратегического назначения, и что их надо иметь в своих руках, чтобы победить. К этим объектам принадлежит прежде всего и транспортная система, которая из них самый главный. Отсюда мною делается вывод, что Московский метрополитен им. В. И. Ленина есть наш наипервейший объект стратегического назначения, который мы должны удержать в наших руках от недостойных быть членами Коммунистической партии Союза Советских Социалистических Республик. Это именно и вызывает мою большую тревогу в настоящем. Потому что, когда я на народном гулянии познакомился с Игнатъичем и спас его от обморожения конечностей через лес Марьиной рощи, то мы внезапно оказались около станции метро под названием «Калибровская», которой я, будучи прирожденным москвичом и ветераном социалистического труда Московского метрополитена им. В. И. Ленина, был очень неприятно удивлен, так как этой станции в природе не существует. Она находится между станцией «Белорусская» (местоположение которой я знаю, как пять пальцев), и станцией «Новослободская» (которой меня тоже не удивишь), где ее нету, я потом проверял, и ее опять не было. И ее не должно быть, потому что между «Белорусской» и «Новослободской» сроду ничего не было, а теперь есть, но не на схеме линий Московского метрополитена им. В. И. Ленина, которую я тоже тщательно проверил в разных местах. Прошу обратить на это серьезное внимание.

Из этого неприглядного факта можно сделать смелый вывод, который я и делаю, что Москва № 2 подбирается к такому объекту стратегического назначения, как Московский метрополитен им. В. И. Ленина. Но если она захватит и поглотит в себе этот объект стратегического назначения, то, значит, мы проиграли нашу великую битву и что недостойные быть членами Коммунистической партии Союза Советских Социалистических Республик отобрали у нас последний наш оплот и ездят по нему под землей, как хотят, в неизвестных нам направлениях. Такое у меня обоснованное подозрение, от чего мне становится больно и обидно, чего и Вам желаю.

Прошу мне как настоящему безупречному коммунисту и ветерану социалистического труда ответить, какие меры были приняты по искоренению всего вышесказанного.

С искренним приветом,
Потапов Владлен Семенович,
коммунист и пенсионер.

Москва (№ 2, по случайному стечению обстоятельств моей жизни),

2 февраля 1989 года.

P. S.

На Вас последняя моя надежда и упование».

34. ГОЛОС УМЕЛ УЛЫБАТЬСЯ

А у фонтана все оказалось по-старому.

Лев остановился здесь внезапно, чтобы рассмотреть капельку воды на запястьи: один брызг.

Кажется, сегодня он пробыл здесь особенно долго — больше часа: кружа и кружа по дорожке вдоль фонтана.

«Спросишь, который час, а я отвечу», — вспомнил он и спросил:

— Который час?

— Полпятого, — ответил дед Антонио.

— Идти пора, — откликнулся Лев, и какой-то задумчивый прохожий, шедший сбоку, отпрянул от Льва как от чумового: слишком громко, небось, Лев откликнулся.

Так все оно и началось — причем тогда началось, когда ни-что не могло уже начаться. Ничто не должно было начаться.

«Наверное, я с ума сошел», — обрадовался Лев.

— Да нет, — сказал дед Антонио, — с какой стати?

Страшно, значит, Льву не стало — стало весело.

— Вот и слава Богу, — вздохнул дед Антонио. — Так оно и задумывалось.

А ощущение между тем было самое обычное: не то чтобы «голоса»... — один только голос, и даже не то чтобы голос как таковой, еще проще — мысль.

— И что мне теперь с тобой делать, — спросил Лев, — когда ты в таком вот... варианте?

— Это в каком же *таком* варианте-то? — поинтересовался дед Антонио. — В очень удобном варианте — для меня, во всяком случае: ни болей, ни болезни! Да и скрывать, что я болен... что я *был* болен, нам с тобой друг от друга больше не надо.

Лев сидел уже за столиком у окна в Макдональдсе, сам точно не зная, как он попал сюда — первый раз в жизни, между прочим: на столе перед ним были яблочный пирожок и чашка чая.

— Я знал, что ты не... что не совсем ты ушел, — шевелил губами Лев. — Нет, не так: я знал, что это можно отменить. Что тот день, первоедекабрытисчадевятисотвосемьдесятвосьмого года, можно отменить. То есть, назначить не бывшим. И у меня даже вообще ни одной слезинки не было, я просто сам на себя удивлялся: словно ничего не случилось.

— Ничего и не случилось, — подтвердил дед Антонио, — хоть я, конечно, и ушел. Или — перешел в качественно новое состояние, как ты однажды это назвал — здесь же, у фонтана... Вот и в Первом послании коринфянам сказано: «Не все мы умрем, но все изменимся».

— Так — правильно, — подхватил Лев. — Потому что... как же ты иначе разговариваешь со мной?

— Это ты со мной разговариваешь, — поправил дед Антонио. — И до тех пор, пока ты со мной разговариваешь, я буду рядом.

— Значит, всегда и будешь, деда: я с тобой уже никогда разговаривать не прекращу. Меня, знаешь, что тогда... после первого декабря... особенно сильно угнетало? Что ты вот этого не видишь уже, и вот этого, и вон того... И я тебе пытался рассказать, что все очень быстро меняется, но тебя больше не было.

— Я был, — возразил дед Антонио. — Я всегда был, только ты меня не слышал. Чтобы услышать, надо... надо пережить уже, отменить уже, назначить не бывшим. Я так счастлив, что ты пережил! Меня-то как раз больше всего терзало то, что — ни одной слезы. Ты окаменел просто — докричаться

невозможно было. А что касается всего, чего я не видел и не вижу... — так я и сейчас ничего этого не вижу. Мое время прошло, львенки. Так что ты уж... пожалуйста, капли в глаза закапывать не забывай, ладно? А то у нас теперь одна пара глаз — на двоих. Болят глаза-то?

— Да неважно это — отмахнулся Лев. — Ну, болят... немножко. И немножко зрение хуже стало: некоторые точки пространства замутнены, словно там облачко такое висит. Но я закапываю капли, ты не волнуйся... всегда теперь закапываю. А ты чего конкретно не видишь?

— Смешной ты! Как можно рассказать о том, чего я не вижу?

— Ну... — задумался Лев, — ты видишь, например, изменения какие-нибудь?

— Ты бы меня еще спросил, читаю ли я газеты! — Дед Антонио оставался прежним. — Читаю ли газеты, слушаю ли радио, смотрю ли телевизор...

— Ой, телевизор! — опомнился Лев. — Хотя... нет, поздно: Бориса Ратнера мы с тобой уже пропустили.

— Ратнера?

Кажется, дед Антонио действительно был не в курсе. И Лев принялся рассказывать ему о телесеансах, все меньше и меньше удивляясь тому, что они с дедом разговаривают — как в старые времена, как даже до диагноза... той зимой. Это случилось чуть ли не буднично... щелк — и дед Антонио рядом. Фокус-покус.

— Ты великий фокусник, — прервал рассказ о Ратнере Лев. — Только все-таки не великий советский... Советский Союз, похоже, скоро кончится. Наверное, вместе с веком.

— А я ведь знал этот век подростком, — усмехнулся дед Антонио. — И, смотри-ка, ничего хорошего из подростка не

получилось. Э-эх, понять бы, что у нас всех впереди. Неужели — Ратнер?

— Полная нищета у нас впереди. Ратнер же тут вообще ни при чем...

— Как же, ни при чем! — откликнулся дед Антонио. — Ратнер-то этой нищеты главный символ и есть. Один из столпов нищеты. Голову на отсечение даю, что теперь ратнеры начнут плодиться как кролики.

Льву не то чтобы не хотелось спорить — ему казалось просто кощунственным тратить самый первый разговор с дедом на спор — неважно о чем. Надо было удержать это чувство праздника: воскресение деда Антонио!

Ему еще предстояло привыкать к новому деду — Лев знал об этом с того самого вечера у фонтана. И знал, что привыкать будет трудно, мучительно, поскольку существовать им теперь придется не только с одной парой глаз на двоих — ох, паршивых уже, надо сказать, глаз! — но и вообще как сиамским близнецам... даже еще теснее: в общем теле. Так, странным образом, сбывалось то, чего Лев однажды маленьким попросил у Бога: Господи, сделай так, чтобы мы с дедом Антонио ни на минуту не разлучались! Вот и настало это время: Лев обращается к деду когда хочет, а дед Антонио в полном его распоряжении. Изменился же дед только в одном: он никогда не начинал разговор сам. Словно теперь ему требовался некий толчок извне — вопрос или просьба Льва, обращенные непосредственно к нему.

Первые дни Лев только и рассказывал деду Антонио обо всем, что случилось за последние — сколько... семнадцать месяцев: выяснилось, что они оказались необыкновенно долгими, а произойти за них успело всего ничего — по крайней мере, со Львом.

— Я книги читал, деда, читал, читал... — непрерывно. И из твоей библиотеки, дома у нас, и из той, где работаю — ах да, ты тогда уже после инсульта был... короче, Леночка устроила меня в библиотеку, в одну странную какую-то, куда никто не ходил... Я еще и сейчас там. А книги какие... да всякие. Сейчас уже даже не перечислю какие, потому что действительно очень много их было, за всю жизнь компенсация. Я и сейчас читаю, Кастанеду, его все вдруг читать бросились. Правда, я до конца ничего не дочитываю: неинтересно. Мало интересного в книгах, деда! Я и не общаюсь ни с кем... ни с кем практически. Хотя, конечно, сейчас не такое время, чтобы читать, это все говорят. Сейчас такое время, чтобы вокруг смотреть и участвовать в истории. Но я ведь в истории никогда не участвовал, ты знаешь... И потом — какая история! Перестройка-ускорение-гласность, все то же, что и при тебе.

Так он и перескакивал с одного на другое в рассказе своем, а дед Антонио не перебивал его, не останавливал, не задавал вопросов — было похоже, что он ждал чего-то другого, того, о чем Лев все никак не успевал упомянуть, снова и снова теряя нить, кружа вокруг да около, сбиваясь и начиная сначала.

— А с Леночкой мы редко видимся, раз в месяц, нет, реже, — еще с тех пор, как... ну, с похорон, в общем. Когда она поняла, что я на отпевание ее одну пригласил, — такое началось, такие оскорбления... Я пытался, я честно пытался объяснить, почему никого не пригласил больше, — мне казалось, она должна понять. Понять, что я не могу позвонить никому из тех, кто знает тебя, и произнести, что... ты знаешь. Мне казалось, если я произнесу это, вслух это скажу, то потом... потом мне будет ничего уже не отменить. Но Леночка кричала прямо возле церкви, зачем-то вспоминала своих

мужей, одного за другим, зачем-то вспоминала Веру, — которая так и исчезла, деда, прямо как бабушка исчезла, я клянусь! Верить ты мне?

— Верю, — ответил дед Антонио. — В этой стране люди иногда пропадают... Но теперь я знаю как.

— Знаешь? — воскликнул Лев, и Лия Вольфовна, войдя в «каталожную», чуть не уронила на пол ящичек со всеми карточками.

Хуже всего было то, что он уже привык разговаривать вслух. Слава Богу, не постоянно, а то Лия Вольфовна и так давно уже посматривала на него с эдаким... особенным участием. Причины этого участия Лев сначала списывал на ставшее для него уже обычным сострадание окружающих, которые постоянно заглядывали в его вечно красные глаза и давали ему одни и те же советы: «больше спать» или «меньше пить», но позднее сообразил: она, наверное, считает, что не в себе, дескать, молодой человек. Такие же взгляды, когда он вдруг начинал разговаривать сам с собой, теперь то и дело бросали на него люди на улице, соседи по дому... впрочем, Льву было все равно. Похоронив деда, он настолько замкнулся, что «держать лицо» оказалось не для кого. Вот разве для пяти сотрудников библиотеки. Они, как он с усмешкой признался себе несколько месяцев спустя, стали для него самыми близкими людьми, поскольку с остальным миром он и вообще никак не взаимодействовал. Единственным, о ком Лев иногда вспоминал, был печальный клоун Петя Миронов, но и он куда-то исчез после того, как отправился за табаком. Лев иногда говорил себе, что надо бы найти Петю Миронова, да все откладывал. А сам к телефону подходить перестал — с того самого дня, когда, подняв трубку и услышав голос Константинваныча,

не смог сказать ему, что деда Антонио уже нет. И пообещал «попросить, чтоб дед позвонил»... Потом несколько раз кто-то пытался наведаться в гости и стучал в дверь — очень может быть, что Константинваныч или Петя Миронов, но у Льва не было сил открыть и оказаться лицом к лицу с кем бы то ни было, кому пришлось бы сказать: «Деда нет дома, потому что...» Со временем звонки и визиты сделались совсем редкими и в конце концов прекратились.

— Ле-е-ев, — с досадой сказала Лия Вольфовна, — ну можно ли так... с собой разговаривать!

— Извините, — совсем смутился Лев, — я не буду больше.

— Вам эта работа противопоказана, — присела рядом с ним Лия Вольфовна. — И глаза Вы портите, и... сидите тут целыми днями один совсем — поневоле сами с собой заговорите!

Она в первый раз затронула эту тему: видимо, перешагнув все в себе, испугавшись, но, несмотря ни на что, отчаянно ринувшись вперед.

— Это, конечно, не мое дело, Лев, только... Вам ведь так мало лет еще! Самое время поступить... ну, куда-нибудь: в институт или, там, на курсы. Это, повторяю, не мое дело — и, наверное, я уж слишком бесцеремонно в Вашу жизнь вмешиваюсь...

— Лия Вольфовна, я ведь не умею ничего, — вздохнул Лев, почему-то испытывая к ней жалость. — Ни способностей у меня, ни интересов особенных, так что каталожные карточки переписывать — это самое мое дело и есть! Если бы я мог проработать здесь до старости, я считал бы, что прожил счастливую жизнь.

— Да упаси Вас Бог, Лев, что Вы! И потом — кто это Вам сказал, что Вы ничего не умеете?

— Никто не сказал... но оно, вроде, и без того понятно.

— Так не бывает! — проявила категоричность Лия Вольфовна. — Смотрите, как Вы компьютер быстро освоили! Значит, на компьютере работать умеете — это раз. И... и — что Вы еще умеете? — вот! сами с собой разговаривать умеете — два. — Она беспомощно улыбнулась и показалась вдруг Льву до ужаса милой.

— Я не с собой, — неожиданно признался Лев и удивился себе. — Я, в основном, с дедом.

Лия Вольфовна закурила. Спросила через паузу:

— Он... отвечает Вам?

Лев кивнул.

— Как это... как это, наверное, хорошо! — совсем тихо сказала Лия Вольфовна. — А мне вот — оттуда — еще никто никогда не ответил.

Лев тоже достал сигареты. Он не знал, как продолжать этот разговор. Он хотел промолчать но, закурив, вдруг произнес:

— Наверное, Вы просто не слышите. Мне дед объяснял. Что он пытался пробиться, но я не слышал. А я точно не слышал, потому как... потому что все близко еще очень было, остро еще очень было. Надо, видимо... я не понимаю, как сказать, но надо, видимо, не согласиться со случившимся, надо не признать его, понимаете? Надо прошлое отменить... нет, не объяснить мне этого.

Лия Вольфовна смотрела на Льва сквозь дым сигареты и — сквозь внезапные слезы. Лев смутился.

— Я правда не понимаю, как рассказать Вам, Лия Вольфовна! Я и сам-то ведь только с дедом говорю, больше ни с кем. Правда, у меня до деда еще никто из близких не...

— ...а у меня — все, — помогла ему не произнести последнего слова Лия Вольфовна. — Сначала родители, когда я еще

маленькая была, потом муж, он разбился, пять лет назад — дочка, Ирина, во время родов... да, вместе с внучкой. Такая вот я несчастливая. Живу, как Вы знаете, одна, все говорят, синий чулок, мне плевать. Но просто знать бы, где они, как они там...

— Нету никакого «там», Лия Вольфовна. Всё здесь, всё рядом.

Лия Вольфовна вздрогнула — и Лев понял почему. Он сказал это таким голосом, словно знал, о чем речь. Между тем, это само получилось, случайно... это тот-кто-в-нем-сидит-и-говорит говорит. Хотя — глупо, конечно, теперь исправляться. И он тряхнул головой — чтобы вытряхнуть сказанное («тоже мне, оракул!»), но вместо этого продолжал:

— Просто не надо думать, будто есть граница — между «там» и «здесь». Границы нету. Ирине жалко Вас очень, но она ничего сказать не может, она ведь пробует!.. Вот и только что сказала: позавчера пробовала, когда Вы с гвоздиками на Пятницкое пришли. Хотела, дескать, утешить Вас... объяснить, что в цветах главное — венчики, а соединены стебли и венчики или нет, неважно... цветы остаются цветами! Хотела утешить, да напрасно: кричу, кричу, а голоса — не слышно. И никогда не слышно, словно и голоса никакого нет, но я-то, сама-то я, себя слышу, значит, есть голос!

Лев остановился и растерянно посмотрел на Лию Вольфовну.

— Продолжайте, продолжайте, прошу Вас! — тоненько сказала она.

— Что продолжать? — спросил Лев.

— То, что Вы говорили, продолжайте!

— Я... я не помню, — честно ответил Лев. — Видимо, опять с дедом говорил. Извините.

Лия Вольфовна подошла к окну и долго смотрела в пустой двор. Потом обернулась ко Льву и сначала нерешительно, а дальше уже совсем твердо произнесла:

— Все-таки знаете, что... Вам надо оставаться здесь, в библиотеке, Лев. До самой старости оставаться. Вам нельзя туда, Вас там погубят. Я позавчера была на кладбище... с поломанными гвоздиками.

И в ту же самую секунду позвонила Леночка.

— Это... это из дома, — прикрыв трубку рукой, сказал Лев. — Лия Вольфовна кивнула и вышла.

Разговор начался со ссылки на Нору, Нору Аршаковну — с которой ты в последнее время не здороваешься, Лев, это стыдно! Не понимаю, как можно с соседями не здороваться: смотреть им прямо в глаза и не здороваться... как — «не замечаешь»? Это еще хуже, что не замечаешь, она, между прочим, живой человек. Так что постарайся уж... замечать, что вокруг тебя происходит. Но я не об этом, я о том, что Нора мне сказала — да и не только Нора, неважно, кто еще сказал, я и сама замечать стала... в общем, Лев, ты странный в последнее время, говорят, — и я беспокоюсь, я места себе не могу найти. Нет, молчи, Лев, я все-таки пока твоя мать, единственный близкий тебе человек. Короче говоря, мне нужно, чтобы девятнадцатого августа ты был дома, я приду к тебе, часов в двенадцать. Только приберись, пожалуйста... — при чем тут, одна или не одна? Квартира должна всегда выглядеть так, чтобы в ней можно было принять гостей, — вспомни, как у деда Антонио было! Так же и у тебя должно быть, ты весь в деда. Нет, тебе не надо знать, зачем я приду, но уверена, что не разочарую тебя. Пока, Лев, целую — и не заставляй меня... нас до ночи сидеть у запертой двери, ты же знаешь, что я ключи потеряла... и знаешь, что уж я-то, во всяком случае, просижу ведь до ночи!

Лев знал, что Леночка — просидит. Что Леночка добьется своего — даже если ей придется умереть. Было уже все: и у двери сидела, и у Норы ночевала, чтобы утром Льва по выходе из квартиры застать, и в библиотеке по полсутки просиживала... нет спасения от Леночки, когда она убеждена в необходимости того или иного своего поступка. Чаще всего — не только ненужного Льву, но и напрямую вредного для него. Лев давно уже научился чувствовать заранее, с чем придет Леночка. Правда, на сей раз угадать цель ее прихода было трудно: цель как бы смещалась по мере наблюдения. С одной стороны, приход этот, по ощущению, был чем-то опасен, с другой — и вот как раз тут Лев просто вставал в тупик — чуть ли не желанен для него.

— Это очень странно, — сказал он деду Антонио, уже входясь дома. — Я не могу хотеть чьего бы то ни было прихода... вот разве что Пети Миронова, но с ним Леночка точно не придет. Ты сам-то что думаешь?

— Ничего не думаю, — отчитался дед Антонио. — Я и вообще давно понятия не имею, какой у нее круг общения. Тут не мои предчувствия анализировать надо, а твои.

— У меня они совсем смутные, — вздохнул Лев. — Одно понятно: квартиру убирать придется.

— Не было бы счастья... — Голос умел улыбаться.

КАК СООРУЖАТЬ СТЕКЛЯННЫЙ КОЛОКОЛ

Предварительно удалив с манежа весь реквизит, выйдите в центр пустой, ярко освещенной арены. Разведите руки по сторонам и медленно поднимите их над головой, после чего, предварительно вывернув ладони вверх, так же медленно опустите.

По мере опускания вами рук вокруг вас будет образовываться полупрозрачный колокол диаметром почти во весь манеж и высотой

приблизительно пять метров. Оказавшись под колоколом, начинайте обходить его по периметру — при этом можно периодически постукивать металлической ложечкой по стенке колокола: так вы легко убедите зрителей в том, что колокол стеклянный.

По завершении обхода вернитесь в центр арены и снова поднимите руки над головой, предварительно вывернув ладони вверх. Послушному движению ваших рук, стеклянный колокол начнет медленно подниматься с ковра и, достигнув купола цирка, исчезнет — как бы растворившись в воздухе с легким звоном.

Комментарий

Данный трюк требует от исполнителя большой концентрации внимания и умения работать с воздушными плоскостями.

Находясь в центре арены и поднимая руки над головой, сведите — при постоянной концентрации внимания на положении ладоней — четыре воздушные плоскости, по одной с каждой стороны, воедино, а опуская руки — стабилизируйте получающийся таким образом объем, придав ему форму колокола и консистенцию стекла.

После того, как вы обошли колокол по периметру и постучали ложечкой по внутренней поверхности, вам — при повторном поднятии рук — снова предстоит сконцентрировать внимание на положении ладоней. Вывернув ладони вверх, дестабилизируйте колокол, которому на сей раз сообщается консистенция воздуха. Теперь колокол легко способен подняться вверх и опять превратиться в не связанные между собой воздушные плоскости, как бы «растворяющиеся» на глазах публики.

Легкий звон при растворении колокола в воздухе создается ударом ложечки по любому стеклянному предмету, скрытому у вас во второй руке.

35. КАК ЗНАТЬ

А вот что касается серьезной науки...

Серьезной наукой занимались, по слухам, в закрытых научных учреждениях. Список их был не то чтобы засекречен — его просто не существовало. Трудно представить себе документ, способный заключить в себе все исследовательские заведения не только Академии Наук СССР, академий союзных республик, отраслевых академий и многочисленных высших учебных заведений, но и министерств — вкуче с просто не поддающимися счету ведомствами, не говоря уже о так — странно! — называемых коммерческих структурах.

Официально считалось, что, по крайней мере, открыто существовавшие НИИ только и делали что решали узко специальные научные задачи, как об этом не уставали докладывать от природы темным, но любопытным соотечественникам. На самом же деле разветвленная сеть НИИ, о необозримости и бессистемности которой ходили некрасивые слухи, способна была вместить любое количество учреждений любого профиля, созданных для каких угодно причудливых целей. «Затерять» же в сети НИИ то или иное учреждение особого назначения — это уж проще простого, для чего система НИИ, кстати, тоже не в последнюю очередь использовалась.

Научно-исследовательский институт четвертичного рельефа, он же — человеческих ресурсов, он же, в просторечии, — институт мозга, отнюдь и отнюдь не был самым загадочным из известных восьмидесятым и девяностым годам прошлого столетия научных учреждений. Не был он и самым зловещим из них, что бы ни говорили. В беспорядочной системе НИИ — опять же по слухам, игравшим роль Интернета прежних времен, — имелось множество учреждений, ничуть

не менее зловещих, чем институт мозга. Здесь, в институте мозга, по крайней мере, действительно велась научно-исследовательская работа, так что хотя бы назначение свое НИИЧР так или иначе оправдывал. Другое дело характер этой научно-исследовательской работы, однако он критике не подлежал, поскольку НИИЧР проходил по категории «закрытых учреждений особого профиля». Секретнее просто уже и быть и не могло. Впрочем — было. А было потому, что ни один из работавших здесь научных-кадров, неважно, директор Мордвинов или секретарша Сусанна Викторовна, в сущности, не имел представления о подлинном назначении сего заведения. Папка с грифом «Для специального пользования», хранившаяся у Мордвина в сейфе (доступ к ней был запрещен всем, кроме него), содержала в себе такую липу, что только полный профан вроде Мордвина мог опастся ужасных последствий ее «рассекречивания» и пускать слюни от собственной посвященности в «Программу научно-исследовательской деятельности НИИЧР». Ибо именно программа и составляла главную ценность упомянутой папки. Будучи человеком, мягче некуда говоря, мало начитанным, Мордвинов никогда не удивлялся тому, почему сей документ состоял из параграфов, а не из каких-нибудь обычных пронумерованных абзацев, — более того, параграфы-то и делали документ столь значительным в его глазах.

«Программа научно-исследовательской деятельности НИИЧР» воспринималась им как текст чуть ли не боговдохновенный — и, польщенный этой мерой ответственности, Мордвинов, с остервенением ортодокса, хранил верность только данному чтиву и практически не прикасался к другой печатной продукции. Включая, стыдно сказать, и центральные газеты, редкие обращения к которым казались Мордвинову

изменой Тексту, *предательством и скотоложесством*. Последнее выражение употреблялось Мордвиновым как личная идиома, так что вникать в ее содержание смысла не имеет.

Всего в Тексте, простиравшемся на полных пятьдесят пять (55) печатных страниц, имелось 55 параграфов, и к концу первого полугодия работы в качестве директора НИИЧР Мордвинов уже знал их почти наизусть. Причем не потому, что обладал такой уж хорошей памятью, — Мордвинов счел своим служебным долгом зазубрить документ на случай его *возгорания* (слово это также употреблялось Мордвиновым в индивидуальном значении, стало быть, и оно не подлежит объяснению) или попадания в руки *неприятеля* (см. предшествующие скобки). В разговорах с сотрудниками он любил взывать к тому или иному параграфу, никогда, впрочем, не вербализуя содержания параграфа, а просто, например, предупреждая: «Боюсь, это будет нарушением параграфа 3». В параграфе 3 между тем говорилось, что «научно-исследовательская деятельность института призвана содействовать развитию гармонических сторон совершенного человека будущего — подлинного венца творения». Видимо, этот венец творения все же представлялся Мордвинову существом хрупким, раз, например, просьба какого-нибудь заурядного завлаба об оказании ему разовой материальной помощи могла вступить в противоречие с вектором вышеупомянутого развития.

Пристальнее всего Мордвинов следил за тем, чтобы та или иная из прочно засевших в нем формулировок «Программы...» ненароком не выскочила наружу, открыв, таким образом, присутствующим доступ к тайному знанию. О том, что изошренная витиеватость, равно как и научная несостоятельность этих формулировок вообще исключали возможность воспользоваться хотя бы одной из них, Мордвинов, разумеется, не

догадывался. Однако само наличие в его голове герметичного знания крайне возвышало Мордвинова в собственных глазах, а значит, и в глазах его сотрудников, бдительно следивших — понятное дело — за выражением глаз начальника.

Под руководством Мордвинова в НИИЧР конца восьмидесятых — начала девяностых обитало пятьдесят пять сотрудников, точно по количеству страниц и параграфов «Программы...». Такая симметричность радовала его сердце — но, увы, только до тех пор, пока по какому-то левому звонку в институт не пришел Коля Петров. Мордвинов ничего не имел против Коли Петрова лично, но поклялся себе никогда не давать ему полной ставки, чтобы количество сотрудников института все-таки не превысило количества страниц и параграфов «Программы...». Стало быть, Коля Петров был обречен как на полставки, так на постоянное раздражение директора при виде его — вне зависимости от Колиных заслуг перед НИИЧР.

К сожалению, распределить кондукторов по параграфам или параграфы по кондукторам (так, чтобы на одного кондуктора или наоборот приходился один параграф или наоборот) Мордвинову после, увы, многих и многих попыток не удалось — и с асимметричностью кондукторов и параграфов в конце концов пришлось просто смириться. Однако скрытой целью Мордвинова до сих пор так и оставалось достижение красивой симметрии между количеством сотрудников института, с одной стороны, и количеством кондукторов — с другой. Когда на каждого сотрудника, размышлял Мордвинов, будет приходиться ровно по 55 кондукторов, божественные пропорции сооружения в целом наконец окажутся достойными боговдохновенного текста «Программы научно-исследовательской деятельности НИИЧР». Такие вот грандиозные

планы наполняли беспокойную душу Мордвинова, заставляя его смиряться даже при виде совершенно бездарного, на его взгляд, Ратнера, приведенного научным сотрудником номер пятьдесят пять с половиной — Колей Петровым, угрожавшим симметрии параграфов, но, тем не менее, вносившим свою лепту в возведение величественного сооружения будущего.

Заняться группировкой кондукторов еще и по типу присущих им паранормальных способностей у Мордвинова ума уже не хватало, а то бы он, вне всякого сомнения, с удовольствием выстроил пятидесятипятиместную конструкцию из присущих человеку пятидесяти пяти паранормальных способностей, одной из которых — и только одной! — следовало бы обладать каждому из пятидесяти пяти кондукторов. Но — увы, стольких паранормальных способностей Мордвинов даже и перечислить не мог, а мог, в самом крайнем случае, тридцать с небольшим (те есть ровно столько, сколько поименовывалось в «Программе...») — повторим, *только* в самом крайнем случае и только перечислить, потому как за тремя четвертями названий ничего для него не стояло. При том что соответствующие способности нигде в программе и не комментировались. К тому времени, когда Мордвинов получил НИИЧР от своего предшественника, профиль института давно определился, терминология была полностью обкатана, а употребление ее автоматизировано до предела — так что шанса хоть когда-нибудь узнать значение того или иного из постоянно летавших вокруг него слов у Мордвинова, увы, не имелось. Спрашивать же сотрудников о том, что все эти слова значат, Мордвинов считал ниже своего достоинства, да и не был он до конца уверен в том, что правильно выговорит слова. Так что большинством из них он пользовался как ругательными — особенно нравилось ему слово

«дермавидение», которое он произносил со смягченным «эр», причем чаще всего в пейоративных контекстах типа: «До чего ж надоело мне все это дерьмовидение!»

Стало быть, кто из сотрудников чем занимается, Мордвинов понятия не имел, однако обожал то и дело открывать двери во все лаборатории подряд и произносить что-нибудь вроде: «Мышки-крысы не беспокоят?» или «Как живете, как животик?» Не будет большим преувеличением сказать, что сотрудники НИИЧР ненавидели Мордвинова и считали его полным кретином, — охотно, впрочем, признавая за ним право директорствовать, принося денежки-в-ключовике. Мордвинов, кстати, совсем не обольщался на сей счет и, отвечая сотрудникам той же ненавистью и тем же презрением, продолжал терроризировать их своим бездарным контролем.

В НИИЧР знали, что, не разбираясь ни в чем вообще, Мордвинов благоговел перед телекинетиками, каким-то непонятым образом освоив-таки значение слова «телекинез». Со скучным взглядом отдавая должное сведениям об умеющих читать письма в закрытых конвертах или запоминать целые страницы, испещренные цифрами, Мордвинов начал таять, встречая в рапортах описания спровоцированных могучей мыслью телекинетика незначительных колебаний подвешенного на ниточку перышка. Власть над предметным миром директор НИИЧР ценил превыше всего — вероятно, так и видя перед собой начиненные взрывными боеголовками ракеты, падающие от пристального взгляда советского экстрасенса на территорию самого неприятеля. Понятно, что о посещавших Мордвинова видениях подобного свойства можно было только догадываться, ибо кто ж, кроме него, знал о содержании параграфов программы, раскрывав-

шей смысл совокупных усилий пятидесяти пяти с половиной сотрудников НИИЧР!

Между прочим, догадки такие были отнюдь и отнюдь не беспочвенными: «Программа научно-исследовательской деятельности НИИЧР», хоть и не поддерживая их напрямую, утверждала возможность использования паранормальных способностей личности «как в мирное, так и в военное время». Более точно об этом в соответствующих разделах «Программы...» говорилось:

«§ 7

В целях обеспечения государственной безопасности НИИЧР привлекает к работе людей, наделенных способностями, уровень владения которыми переводит эти способности в разряд паранормальных. В работе с такими людьми сотрудники института исходят из того, что способности, присущие им, могут быть присущи и другим, однако в гораздо меньшей степени. Выявлению механизмов гиперразвития обычных человеческих способностей и посвящена деятельность института.

§ 8

Областью исследования НИИЧР являются нижеперечисленные феномены:

Биоинтроскопия / интродивение

Биомагнетизм

Биорезонансная терапия/диагностика и нейтрализация геопатогенных и технопатогенных зон

Биоэнерготерапия / психоэнергетическая подпитка

Волевой метеорологизм

Гипноз / внушение

Гештальт-визуализация

Дальновидение
Декорпорация / экстериоризация
Дермавидение
Духовидство (спиритизм)
Инвольтация
Левитация
Лозоходство (биолокация, даузинг) / радиэстезия
Мантика (астрология, хиромантия, онейроскопия, онейрокритика, пресмология, ясновидение)
Материализация, дематериализация предметов
Прекогниция, про- и ретроскопия
Полтергейст / пирогеия, пирокинез
Психометрия
Пси-проводимость
Психография / пондемоторное письмо
Психодиагностика
Психофотография
Странствования в духе
Телекинез / психокинез
Телепатия / чувственная, мыслимая
Телепортация
Телестезия
Транскомуникация
Фотографическая память
Хилинг (целительство)

§ 9

Главными целями изучения вышеупомянутых способностей сотрудниками НИИЧР является выявление природы этих способностей, а также управление ими как в мирное, так и в военное время».

Понятно, что Мордвинов, начиненный непереработанной информацией подобного рода, считал себя ответственным за судьбы человечества — и в настоящее время, и в необозримо далеком будущем. Мера возложенной на него ответственности не тяготила его — напротив, делала легким как пух: херувимом, серафимом, архангелом, летающим над помраченными безднами и зрящим сквозь них вплоть до пупа, извините за выражение, земли. И мощными крыльями выбивал он из каждого, кто попадался ему на пути, деньги под исследования, которые, согласно §7, велись под его руководством «в целях обеспечения государственной безопасности».

Разумеется, у большинства из тех, кто выделял ему требуемые суммы, не имелось — в отличие от самого архангела науки Мордвинова — никаких заблуждений на предмет того, зачем НИИЧР был нужен на самом деле. Ибо в этом отношении НИИЧР ничем не отличался от прочих заведений подобного типа, существовавших, как хорошо знали в верхах, исключительно для того, чтобы запираить в четырех стенах как можно более многочисленные группы образованных людей, ставить перед ними противоречащие здравому смыслу и заведомо невыполнимые задачи, назначать этим людям некую форму материального стимулирования и таким образом изолировать их от прочего общества, в прямом смысле слова обезглавливая последнее.

Что касается конкретно НИИЧР, то кроме этой, основной, выполнял он и еще одну, не менее — если не более — ответственную задачу: собирать все в тех же четырех стенах и, понятное дело, опять-таки изолировать от прочего общества не только ученых, но и тех, кто наделен паранормальными способностями. Последним — именно их

в институте вслед за Мордвиновым называли «кондукторами» — полагалось находиться под постоянным контролем специалистов, занимавшихся изучением способностей кондукторов для того, чтобы... чтобы — вроде как в случае с «мирным атомом» — поставить данные способности на службу человечеству... ммм, по крайней мере, той его части, которая размещена на территории Союза Советских Социалистических Республик. Как именно данные способности могли бы служить человечеству, знать кондукторам, разумеется, не полагалось. Впрочем, даже и не зная этого, кондукторы охотно делились со специалистами всем, что умели, и позволяли нацеплять на себя самые разнообразные датчики, провода от которых, в частности, шли в подвальное помещение института, к сложным машинам, преобразовывавшим одни виды энергии в другие и возвращавшие эти другие энергии назад, датчикам, нацепленным на кондукторов...

Если бы кондукторы были в контакте не только с изучающими их возможности специалистами, но и друг с другом, они, кондукторы, может быть, и замечали бы, что некоторые из тех, кто прежде сотрудничал с институтом, больше никогда уже не приходят сюда. Но на то и существовал в институте координатор встреч Коля Петров, чтобы кондукторы никогда не пересекались друг с другом на вверенной ему территории: уж за этим-то он следил бдительнее некуда. Тем более что — по заведенному Мордвиновым порядку — входить в помещение НИИЧР и выходить из него полагалось через разные двери. Кое-кто из них, наверное, думал, будто никаких других кондукторов при институте и нет вовсе... как знать.

36. НЕЛЬЗЯ

— У нас тут в центре революция, — виновато сообщила Леночка Льву по телефону. — Так что прийти не получается.

Так начались быстрые девяностые.

Революция 1991 года прошла мимо Льва. Даже не столько мимо Льва, сколько вообще мимо северной части Ленинградского проспекта, оставшейся равнодушной к революции. Лев, челночком ходивший по коротенькой ниточке между домом и библиотекой, мог бы о революции ничего больше и не узнать, если бы не коллеги. Они бросались под танки, смущали солдат гвоздиками, дежурили у Белого дома, но пару раз все-таки заглянули на работу: якобы поделиться новостями, однако похоже было — похвастаться. Впрочем, хвастаться особенно было не перед кем: в библиотеке сидели только Лев и Лия Вольфовна, равнодушная к революции, как северная часть Ленинградского проспекта. Сам Лев, может быть, и пошел бы вместе с библиотечными к Белому дому, но Лия Вольфовна сказала ему: «*Эта буря не твоя*», — он согласился. И эта буря была не его. Похоже, что своей бури у него просто не было.

Участие Лии Вольфовны к тому, как он жил свою жизнь, уже перестало удивлять его. А что у них были за отношения — Бог знает! Кажется, Лия Вольфовна решила присматривать за Львом. Напоминать ему о том, что следует наконец получить талоны и успеть купить какой-нибудь еды. Напоминать, что зарплаты в следующем месяце не выдадут и неплохо бы отложить какое-то количество денег в этом. Напоминать, что в магазинах теперь шаром покати, но зато на каждом шагу рынки. Что пора поменять зимнюю куртку на более легкую, что пора переставить часы на летнее или зимнее время, что пора постричься... По крайней мере, половину всего этого

Лев и сам помнил, но всякий раз вежливо благодарил Лию Вольфовну за заботу — и видел, как та радовалась.

А к революционерам Лев и Лия Вольфовна присоединились лишь в последний день, когда те, позвонив, строго сказали, что сегодня всем надо наконец слиться-со-своим-народом — иначе, дескать, они не русские и не интеллигенты. Лия Вольфовна, язвительно подтвердив, что они со Львом не русские и не интеллигенты, все-таки сказала: надо сходить, там демонстрация, вроде... День запомнился Льву эйфорическим маршем в сторону Лубянки: люди плакали, пели, плясали, размахивали над головами чем пришлось и кричали: «Не бойтесь ничего!»... в общем, сумасшедший дом. Но еще больше запомнилось Льву столь же эйфорическое ощущение, что назавтра он проснется в новой стране. А вот, господа, андерманир штук, другой вид: новая страна стоит...

В стране он назавтра проснулся той же самой. Не изменилось решительным образом ничего — словно никакого такого особенного дня накануне и не было. Ничего не изменилось и через неделю. И через месяц. Потом, в самом конце года страна, показалось, исчезла, но тут же выяснилось, что никуда она не исчезла, а просто по-другому теперь называется. Привыкнуть к новому названию было трудно, поскольку оно относилось ко все той же стране. Впрочем, Лев знал, что дело не в этом. Он знал, что дело ни в чем из того, что происходит вокруг.

— Это как с фокусами, — говорил он деду Антонию. — То есть, дело всегда в том, во что верят зрители, а не в том, во что верит фокусник, так ведь?

— Так, да не так, — вздыхал дед Антонию. — Зрители верят в то, во что хотят верить, а вот научить их хотеть верить именно в это — задача фокусника... Только беда-то, видишь

ли, в том, что новые фокусники не могут научить верить: они сами не верят ни во что...

— А ты веришь, дед Антонио?

— Я только в тебя верю, — был ответ. И — короткий смехок: — Но оно и понятно: я же целиком от тебя завишу!

— Это как?

— Да так же, как ты от меня зависел, когда тебя в шесть лет ко мне привезли... всего в желтом, — рассмеялся дед Антонио. — Забудь я о тебе тогда на неделю — и не было б тебя.

— Может, и к лучшему бы, — подумал Лев и услышал: «Вот дурак-то, прости господи!» — Дед Антонио читал мысли.

На этом разговоре и закончился рабочий день, короткий сегодня.

— Лев, — крикнула Лия Вольфовна из своего кабинета. — На часы-то смóтрите? Я ушла, до понедельника!

— До понедельника, Лия Вольфовна...

А Лев с дедом Антонио отравились, значит, гулять — причем прямо от библиотеки, по Москве № 2, как называл бы это Владлен Семенович. Впрочем, ни дурацкого названия «Москва № 2», ни самого Владлена Семеновича они не знали... во всяком случае, пока. Ну, не знали — и не знали.

Лев любил эти прогулки больше всего на свете. Они напоминали ему «колыбельную», которую пел — то есть, нараспев говорил — маленькому Льву дед. А вот, господа, андерманир штук — новый вид: Ходынская улица бурлит... андерманир штук — другой вид: Зыковская улица гудит... андерманир штук — богатый вид: 3-й, 4-й, 5-й — вплоть до 15-го — Боткинский проезд шумит, и так далее.

Проводником был дед Антонио, ему же принадлежала и сама идея прогулок по Территории: так они в конце концов обозначили все, официально не существовавшее. Лев пока не

мог ориентироваться на Территории один. Не раз случалось так, что внезапно где-нибудь среди неизвестных ему улиц возникала в нем маленькая паника. Впрочем, рядом всегда был дед Антонио, тихонько командовавший: «А теперь направо, в эту арку, львенок, вот... так хорошо, иди дальше через двор прямо до упора, правильно... видишь эту скошенную стену? Нам под нее и — прямо, до первого перекрестка: свернешь налево — там и будет Ленинградский проспект, совсем близко от “Динамо”»...

Правда, постепенно Лев учился находить обратный путь и сам. Дело было, оказывается, вовсе не в улицах. Дело было в дворах — и теперь наконец до Льва дошел тайный смысл выражения «ходить дворами»... а еще дело было в переулках и переулочках, тупиках и тупичках и, конечно, в самых разнообразных перекрестках, являвшихся в действительности средоточием гораздо большего числа лучей, чем три или даже четыре: то и дело лучей оказывалось пять, шесть, семь... сколько угодно! Следовало просто быть гораздо внимательнее, чем Лев привык, — и тогда на Территории начинала проступать потаенная география Москвы: сложная и запутанная настолько, что Лев столбенел просто на каждом шагу.

— Любой город есть палимпсест, Лев... чего ж столбенеть-то? — удивлялся дед Антонио.

— Как же я мог всего этого не видеть, дед Антонио? Как мы все могли этого не видеть?

— Да мы же москвичи, Лев! А москвич — это тот, кто знает не только то, что в Москве есть, но и то, чего в Москве нет. Так же, например, твердо, как он знает, что в Москве есть Новая Басманная улица, знает он, что Старой Басманной улицы нет в Москве, а есть вместо нее улица Карла Маркса... вот, по которой мы с тобой сейчас и идем.

Москвичу — ммм... если он, конечно, не родился в прошлом веке, но тогда вероятность того, что он до сих пор жив, довольно мала! — и в голову не придет искать Старую Басманную. Что же касается приезжих, так называемых гостей столицы, — они знают только то, что в Москве есть. Есть, например, Новая Басманная — значит, и Старая Басманная есть. Ну и... ищут эту Старую Басманную, ищут — и находят. Смотри, Лев, мы сейчас с тобой на Старую Басманную именно с Карла Маркса выходим... андерманир штук — прекрасный вид: Старая Басманная стоит!

«Стояли» кроме Старой Басманной еще и улица Хапиловская, улица Ирнинская, улица Немецкая, а также Немецкая слобода как таковая... И никуда все это, оказывается, не девалось — просто давно использовалось «для особых целей», как говорил дед Антонио. Для особых целей и особых людей. И особые эти люди сновали туда-сюда по Немецкой улице точно так же, как только что — проходившие по улице Карла Маркса, в *другой* Москве. А здесь, на Немецкой улице, то и дело была слышна немецкая речь, с лотков продавали франкфуртские жареные колбаски, в витринах магазинов высились горки из фигурного марципана... в общем, забыть о том, что ты в Немецкой слободе, было невозможно.

— Как же это ты так хорошо ориентируешься на Территории? — удивлялся Лев, и дед Антонио со смехом отвечал:

— Мне и самому странно! Наверное, потому ориентируюсь, что умер. Это, видимо, со смертью приходит: человек становится Хароном и может перевозить души с одного берега Леты на другой.

— Ты не умер, — настаивал Лев, игнорируя веселость деда Антонио.

— Ну не умер, так не умер, — легко соглашался тот. — Тебе, конечно, видней.

А Песчаные они давно исходили — все, сколько было. Было же — пруд пруди... Понятно, что начали с того дома на той Песчаной, где Вера жила, — найти его деду Антонио теперь было просто. Правда, Веры там не оказалось, соседи сказали, что семья давно переехала, никто не знал или не помнил куда. Но и с того дня, когда Лев убежал от Веры и деда Антонио под снег, прошли уже годы... три года.

— Ты не думай, деда... у Веры нету от меня ребенка, я знаю. Есть вещи, которые я знаю. — Это было последним, что Лев сказал деду Антонио о Вере, когда они в очередной раз возвращались с Песчаных.

Дед Антонио только вздохнул тогда.

Он и сейчас вздохнул: узнав, что опять не умер.

Между тем навстречу Льву шла совсем растерянная девушка — маленькая, в длинном черном пальто и красном берете. И с огромными пакетами в обеих руках... три или четыре пакета, смотреть страшно.

— Извините, пожалуйста, — начала она осторожно.

— За что? — машинально спросил Лев.

— Нет... — смутилась девушка, — просто Вы с собой, по моему, как раз разговаривали, но это ничего, так бывает, я тоже с собой часто разговариваю... мне просто спросить надо: я почему-то не могу никак метро найти, совсем заблудилась.

— Метро... — повторил Лев. — Какое метро?

— Любое... но лучше всего «Бауманскую» или «Красные Ворота». Я так понимаю, что мы где-то между ними? Вы вообще-то москвич?

— Москвич, только вот на Территории я...

— На Территории?..

— А давайте я сколько-нибудь Ваших пакетов подержу?

— Спасибо... Я вообще-то этот район, — девушка недоверчиво огляделась, — просто наизусть знаю, у меня бабушка тут недалеко живет («Красная Шапочка», — подумал Лев), но вот же — потерялась вдруг, как так может быть? Даже смешно, прямо Марьиная роща какая-то! Меня Лиза зовут.

— Не бойтесь, — сказал Лев. — Меня Лев зовут.

— Я не боюсь, — ответила Лиза и улыбнулась. — Я львов не боюсь. У меня у самой дедушка был Лев.

— Нет, я не о том, что Лев... Не бойтесь, что Вы потерялись, я найду сейчас метро. Очень быстро.

Как же они шли-то сюда с дедом... там один перекресток такой, нет, площадь... ну да, где Земляной вал — и проезд один, как его... Мясницкий. Мясницкий?

— Мясницкий, Лев, — тихо сказал дед Антонио, — не репутай с Кировским.

Они пошли направо и шли полчаса или даже больше

— Давайте шоколадку с изюмом и с орехами с Немецкой улицы съедим по дороге, пока у меня одна рука свободная? — Лиза достала из сумки шоколадку и, оторвав часть обертки сверху, протянула Льву: — Кусайте, Лев! Только руку мне не откусите... — Она прыснула.

Минуты через три Лев, крутя головой в разные стороны, стоял в самом начале Мясницкого проезда и держал в руках три пакета. Лизы рядом не было. А он ведь и отвлекся-то, вроде, на секунду.

— Ли-за, — позвал он, благо прохожих рядом не оказалось.

— Я здесь, Лев, — откуда-то слева отозвалась невидимая Лиза. — Но я Вас не вижу.

— А вал видите — земляной, в двух шагах от Вас?

— В двух шагах?.. Ах да, вижу.

Они столкнулись нос к носу в проломных воротах Земляного вала. И засмеялись. И вышли за ворота: перед ними был памятник Лермонтову.

— Тут я уже знаю, — сказала Лиза. — Только вот ворота эти — странные. Ну да ладно, спасибо Вам... за компанию.

— Пожалуйста... но мне ведь тоже к метро, я пакеты Вам через площадь донесу, они тяжелые.

— Это потому, что я накупила сдуру всего немецкого. Ненавижу магазины, но тут... тут они какие-то другие, ностальгические.

— Ностальгические?

— Ну, в смысле... Мы в Германии двенадцать лет жили. Я детство вспомнила. А шоколадка называется «Альпен Гольд», «Альпийское золото», я такие знаю... с глиняной кринкой, в которой молоко плещется, — вот тут, видите? — Она разгладила оторванный клочок этикетки и показала Льву кринку. — Это Альпы и есть.

— Где красные шапочки водятся и где их бабушки живут, — не очень чтобы к месту сказал Лев.

Лиза расхохоталась:

— Смотрите, а я и не подумала! Красная Шапочка шла к бабушке — это ничего, что я, на самом деле, от бабушки шла, — и встретила льва...

Лев помотал головой и подумал: «Какая веселая она... Лиза», — а вслух сказал:

— Давайте тут на скамеечке около Лермонтова посидим...

Но Лиза уже снова хохотала:

— Ну вот... сказка начинается! А лев Красной Шапочке и говорит: «Давай, Красная Шапочка, на скамеечке посидим...»

Теперь уже хохотали они оба — сидя на скамеечке и додая «Альпийское золото».

— Вы чего в жизни делаете? — спросила Лиза. — Я в Пя-таке учусь... ой, извините, в училище 1905 года. Между прочим, у нас там как раз выставка работ студенческих — на нее моих три вещи взяли, это впервые вообще, хотите, проведу? — Она, слава Богу, так и забыла в этот раз дожидаться ответа на вопрос, «чего в жизни» делает Лев.

Выставка оказалась гораздо меньше, чем Лев ожидал. Впрочем, он до этого на двух всего выставках и побывал, в Пушкинском, причем многочасовые очереди, казалось, навеки отбили у него любовь к изобразительному искусству. Да и глаза... с ними, несмотря на регулярные теперь закапывания, становилось все хуже.

— Давайте только не с меня начнем, ладно?

И она принялась подробно представлять работы своих однокашников, то и дело с ними же и здороваясь и объясняя Льву: «Это Пашка, тот, который вон там висит... с проекциями яблоч на кирпичную стену, а вон Вика, видите — привет, Вика! — это у нее такие, помните, дли-и-инные люди, в несколько раз сложенные...»

Работы самой Лизы — три небольших акварели — висели отдельно, там, где стена служила переборкой между залами: одна под другой.

— Я на живописи учусь... — виновато сказала она Льву, — поэтому так... а то тут многие кто на дизайне, кто на реставрации: просто чтоб Вы знали... Это только так, этюды, я их тут неподалеку делала, в Марьиной роще.

Картины так и назывались «Марьиная роща. Этюд 1», «Марьиная роща. Этюд 2» и «Марьиная роща. Этюд 3». Сверху — надпись: «Е. Литвинова».

— У меня Марьиных рощ множество... — торопясь, объясняла она, — эти даже и не самые лучшие, просто что под руку

попалось. Вы можете не говорить ничего, если не нравится. Ой, и если нравится, — спохватилась она, — тоже можете ничего не говорить!

Лев уже некоторое время не слышал Лизы. Он смотрел на ее акварели и понимал только одно: они были странными. Городские пейзажи, все три: дома, люди, автомобили, — в катастрофически сложном нагромождении друг на друга... даже непонятно, как Лиза вообще могла сохранить суверенность каждого отдельного изображения, как у нее все не стекло вместе — не превратилось в перламутровую воду, не сбежало с бумаги.

— Очень много... слов, — сказал Лев, даже не подумав, как это может прозвучать. — Или это у меня глаза дурят.

— Видите, да? — обрадовалась Лиза. — Терпения, знаете, сколько требовалось — сто раз дожидаться, чтобы все как следует высохло!.. Но такой уж это район — или только мне кажется, что такой. Что улицы сквозь друг друга проступают, просвечивают... ну, что одни улицы прямо по другим проложены — или что в каждой улице много других улиц, зданий, пешеходов. А то все считают, что Марьино роща — район не населенный! По-моему, наоборот — перенаселенный... Но я это сама только тогда увидела, когда на этюды туда пошла: села на какую-то приступочку, перед собой посмотрела — и все как начнет слоиться перед глазами, словно у меня астигматизм... это, знаете, когда ось смещена? Все двойится, троекратно, четвертится... мне ужасно хотелось, чтобы это было видно, — видно?

— Видно, — сказал Лев, усмехнувшись. — Особенно моими глазами. И... знаете что, Лиза, — нам терять друг друга никак нельзя.

— Знаю, — кивнула Лиза, не глядя на него, а глядя на «Марьино рощу. Этюд 2». — Нельзя.

37. ВТРОЕМ

— Он пьяный, у него руки трясутся!

Нет, конечно, она права. Не надо ее туда водить больше. Надо либо другого учителя, либо в музыкальную попробовать... ух, это сколько ж денег-то теперь потребуется? У меня, небось, и десятой части нет.

— Хорошо, хорошо, Настя, довольно. Я схожу к Павлу Андреевичу и расскажу ему...

— Ничего не рассказывай только, мам! Мне его жалко, он такой... такой волшебный, я так его люблю-у-у! — Настя заревела, как маленькая корова. — Только я не могу все это видеть: он пьет вино, а потом засыпает — и скрипка прямо на пол падает... я все время боюсь, что не поймаю! А она дорога-а-ая, он сам говорил!

Маша пришла к Пал Андреичу в субботу, в половине девятого утра. Он явно проследовал к двери прямым — от-носительно прямым — путем непосредственно из постели, однако по дороге успел хватануть рюмочку какого-то дрянного вина. Пахло от Пал Андреича этим дрянным вином — когда он лобызаться полез.

— Машенька, душа моя... случилось что?

— Пьянствуем, дядь Паш?

— Да как всегда... чего ж нового-то?

— Нового — что все больше ведь пьянствуем... — вздохнула Маша, поддерживая Пал Андреича под локоть и направляя в сторону гостиной.

— Куда ж Вы меня... в пижаме такого... погодите, я хоть халат накину.

Халат оказался несвежим — в общем-то, просто грязным.

— Это от газет, — защитился Пал Андреич, — я в нем газеты читаю, там краска типографская... мажется, сволочь, оттого и вид такой, но халат стиранный, если что...

— Дядь Паш, милый, Вы не знаете ведь, как мы все Вас любим...

— Знаю, душа моя... а я-то, я-то!

У Маши не было сил начать говорить о том, зачем она пришла.

Путь слезы — одной-единственной — по сухой щеке Пал Андреича был еще виден, но сама слеза пропала в ворота халата.

— Вы чего, дядь Паш?

Ах, Машенька, Машенька... что он мог рассказать ей? Про то, как погиб ее отец — навсегда уйдя туда? Про то, как сам он скоро уйдет туда же, потому что долго уже он терпел и отговаривал себя — годы... но нет больше возможности терпеть — с картой-то в руках! А безнаказанно туда не ходят — вспомнить хоть того же славного фокусника. Фокусник и правда славный был, первоклассный, да только давно уже его, небось, нет. Пал Андреич звонил — не раз, не два, не три... — и на Усиевича навевался, в дверь стучал — разве что соседей не расспрашивал. Там ведь внук остаться должен был, Лев... но не отвечал никто. Не судьба. Про *это*, Машенька, тебе рассказать? Посеять смуту в и без того смущенном сердце твоём?

— Старый я, Машенька. Скоро к папе уйду твоему... той же дорожкой.

— Какой той же... когда *та* неизвестно где? Без вести пропадете?

— Без вести пропаду, — согласился Пал Андреич и потянулся за бутылкой и рюмкой.

— Потому что пьянствуете Вы много... — Маша изо всех сил обняла его за плечи, различив старый-старый запах дорогой-дорогой туалетной воды: это она подарила ему когда-то флакон... «Красный кафтан» назывался, от Герлена, — один ханыга на работу принес и за бесценок продал — в волшебные-восемьдесятые. Она думала, подделка, оказалось — настоящие!

А говорит, халат стирал...

— Красный Вы мой кафтан, — сказала она Пал Андреичу в спину, — не пить бы Вам столько, а?

— Да я не много ведь пью, просто часто...

В общем, ничегошеньки из их разговора не вышло. Под конец Маша наврала как могла, что, дескать, раскапризничалась Настя, не хочет больше на скрипке учиться и на занятия ходить.

— Ну и правильно, — сказал Пал Андреич, — что — скрипка? Баловство одно... божественное одно баловство. Совсем-совсем-совсем не ко времени... не к этому времени, Машенька. Скоро такое происходить начнет, только успевай-поворачиваться! Не мучьте ребеночка.

На том и порешили, стало быть.

— Ну, что, старый, допился? — спросил себя Пал Андреич, проводив Машу и проследив, как она, оборачиваясь на его окно и махая красной варежкой, уходит по двору. — Дети малые и те боятся тебя уже, эх-ма!

Но карту, подробную карту Москвы, так и недосоставленную Машиным отцом, надо было отдать в хорошие руки. И получалось — по всем здравым доводам получалось, — что руки хорошие имелись только у одного человека. Причем у человека, которого он никогда не видел и не знал, увидит ли. Только имя его знал — Лев.

Через какое-то время Пал Андреич прочитал, правда, в случайной одной газете — и его прямо как токком под сердце ударило, — что «существует наконец полная карта Москвы». Такая прямо и была формулировка — не очень, честно сказать, понятная... да просто и совсем непонятная: что значит «существует наконец» — где существует, с каких пор существует? Заново составленная, что ли, и изданная миллионным тиражом — или как? «Существует наконец»!.. Словно вся Москва сто лет знала, что до сих пор не было только *полной* карты, словно вся Москва давно изводилась: карт Москвы, дескать, навалом, а вот *полной* нет как нет... когда же, когда начнет «существовать» эта полная карта Москвы? Тут картографы *наконец* смиловались и, идя навстречу пожеланиям трудящихся, разработали, стало быть, полную карту Москвы. И — шлеп на прилавки магазинов!

В магазины он, конечно, для порядка ходил, непечатаемыми словами ругая себя за доверчивость к печатному слову, — кроме туристических карт с отмеченными на них экскурсионными объектами, ничего ему, понятное дело, не предложили... да еще смотрели с раздражением, когда он новую карту Москвы требовал.

Дома он перерыл все записные книжки, стремясь отыскать хоть какие-нибудь выходы на старых коллег Машиного отца — помня, что ни с кем из них он и знаком-то не был... набрел на бесполое имя «Карен» и вдруг словно увидел перед собой совсем молодого сотрудника Мосгоргеотреста, с которым однажды встречался, чтобы, по просьбе Машиного отца, передать ему какие-то фотографии. Это было большое ура: телефонов имелось два — служебный и домашний. Пал Андреич тут же позвонил по служеб-

ному, тут же услышал мужественное: «На проводе», — и, благоразумно не заостря внимания на формулировке, попросил к телефону Карена. В трубке замялись: это явно и был Карен, поинтересовавшийся, «а кто его спрашивает?» Пал Андреич опять чуть не скорректировал «а кто его спрашивает?» на «а кто меня спрашивает?», — но, задушив в себе себя, представился:

— Карен, это Пал Андреич Мартынов, мы с Вами как-то встречались, если не забыли.

— Конечно, не забыл, — на всякий случай соврал Карен, обманутый высокой степенью фамильярности обращения.

— Спасибо, я так и думал, — усугубил Пал Андреич и как бы невзначай спросил: — Эта полная карта Москвы, о появлении которой уже по всему свету раструбили... что за утка такая газетная? — И, не желая дать Карену опомниться, воспользовался глуповатым, но крепким административным клише: — Мне об этом как доложить прикажете?

— Павел Андреевич, тут дело такое... — заюлил Карен, словно он сам дал ход слишком поспешной информации, — это вовсе не полная карта, это та же самая карта «Патруль», которая и была всегда...

— Всегда? — склочным голосом придрался Пал Андреич и добился хорошего результата.

— Нет, не всегда, конечно, что я говорю... с середины восьмидесятых... ну, эта, которая по заказу ГУВД, мосгоргеострестовская... «Роскартография» которую делала.

— Ах, так это она «существует наконец»... Что за формулировки!

— Плохие, очень плохие формулировки, — всем своим естеством присоединился к Пал Андреичу Карен, опять же словно единолично виноватый в недосмотре. — Но страшного ничего

не случилось, просто карта «Патруль» из-под грифа «секретно» перешла под гриф «для служебного пользования», потому как закончена работа по специальному искажению геометрии... Вы понимаете. Но карту уже вот-вот откроют, а как там дальше, с печатью и насчет достать, — это ведь уже не к нам.

— Спасибо за исчерпывающую информацию, — искреннее некуда сказал Пал Андреич, положил трубку и от души произнес на всю квартиру: — Ну и дурак же из тебя получился, Карен, — пробы негде ставить!

Радоваться повода не оказалось: всю радость портило «специальное искажение геометрии», звучавшее более чем подозрительно и заставившее Пал Андреича резюмировать: «В общем, не было карты — и это не карта. Да еще и неизвестно, где и как доставать». Оставалось одно — воспользоваться той, которая была завещана ему. Правда, совсем уж так воспользоваться ею Пал Андреич не решался: карта словно жила своей жизнью и не то менялась, не то... черт ее знает, — в общем, отправляться с ней в руках «туда», откуда, может быть, и не выйдешь, разумеется, рискованно. Одно дело пропасть самому — другое дело пропасть с картой. Надо бы сделать фотокопию, но как? Нет у него таких знакомых, которые фотокопировать могут...

Когда он, найдя в зимнем пальто сильно помятую уже бумажку, снова пришел по адресу, записанному рукой Антонио Феери, и позвонил в дверь, дверь неожиданно распахнулась так широко, что Пал Андреич даже отступил на шаг назад. Почти так же широко распахнулась навстречу ему и улыбка.

— Здравствуй, девочка... — сконфузился он, — из старших-то есть кто дома?

— Увы, — ответила девочка, — я самая старшая... мне скоро двадцать. Никак не устроит?

Пал Андреич облегченно вздохнул:

— Извините, барышня... на вид Вам лет четырнадцать-пятнадцать!

— Заходите, пожалуйста, — смеясь, ответила та.

Приглашение это внезапно рассердило Пал Андреича:

— Вам говорили, что, прежде чем открывать дверь, надо спрашивать, кто там? А если я преступник? Что ж Вы за беспечная-то такая барышня!..

— Вы на преступника не похожи. Вы на Деда Мороза похожи... если бы сейчас зима была. Меня Лиза зовут, заходите, потому что Вы явно не ко мне. Вы либо ко Льву, либо, скорее всего... но только...

— Я знаю, — сказал Пал Андреич. — Я ко Льву. Меня Пал Андреичем величают.

— Угу. А Лев на работе пока — подождете? Он совсем близко от дома работает...

— Если совсем близко, то я, пожалуй, на работу к нему зайду, — Пал Андреич снова развернулся к двери.

— Лучше бы Вам все-таки здесь подождать, Пал Андреич. Потому что Вы... как бы не обидеть мне Вас, не трезвый... обидела?

Теперь настал Пал-Андреичев черед смеяться.

— Ох, нет, ни в коем случае не обидели! *Так* деликатно этого еще никто не констатировал. Ну, тогда и скрывать нечего. — Он достал из портфеля начатую бутылку какого-то вина и, пройдя в кухню, присел к столу. — Пью я, видите ли... бокалы есть у вас?

— Есть, конечно. — Лиза поставила на стол два простых бокала. — А что пьете... — так и ради Бога, кто ж Вам судья. Наливайте!

— Бравая девочка! — Пал Андреич налил вина в бокалы. — Пойло довольно противное, но для алкоголика ничего. Ваше здоровье.

— Ой, — спрыгнула со стула Лиза, — простите, закуска же должна быть! Это вот... чем закусывают?

Пал Андреич не отвечал: он во все глаза смотрел на Лизину акварель. «Марьино роща. Этюд 2».

— Кто... рисовал? Кто рисовал, спрашиваю я Вас? — Теперь он изо всех сил тряс пустым бокалом.

— Это прямо называется «вскричать», — поежилась Лиза. — Ну, я рисовала... никакой, пожалуйста, паники. Это очень старая работа, первый курс.

— Вы оттуда? Вы человек оттуда?

— «Оттуда»... в смысле — из Марьиной рощи? Нет, не оттуда. Я человек с набережной Тараса Шевченко... бывшей Дорогомиловской. Ближе к Киевскому.

Пал Андреич тихонько поставил бокал на стол и осторожно наполнил его снова. А потом совсем тихо сказал, глядя на «Марьину рощу. Этюд 2»:

— Простите, что я... что я вскричал. Вы так *видели* или Вы так *знали*?

— Мне трудно Вам ответить — Вы дожидесь Льва, пожалуйста. И, пожалуйста, останьтесь трезвым до его прихода, а?

— Поздно, — улыбнулся Пал Андреич. — Вы же сами сказали, что я уже не трезвый. Но я ведь, Лиза, человек пьющий... сильно пьющий — и я не стану более пьяным... нет, скажу по-вашему: более нетрезвым, чем есть. Не беспокойтесь об этом.

— Вы кто? Если, конечно, можно спросить...

— В общем, никто... как сказал Одиссей. Лев никогда не видел меня. Да и с Антоном Петровичем я только раз в жизни встречался, незадолго до его смерти.

— Вы скрипач?

— Ну, вот... все и выяснилось. Антон Петрович рассказывал Льву обо мне... о разговоре нашем? А Лев — Вам, так ведь?

— Почти так... но Вам надо дождаться Льва.

— Вы боитесь меня?

— Нет, — сказала Лиза. — Совсем нет. Я никого не боюсь. Дело вообще не в этом. Просто я не думаю, что я для Вас такой уж ценный собеседник, я... я новичок в этом. — Она отхлебнула вина и проглотила, пытаясь не морщиться. Улыбнулась Пал Андреичу. — Вы знаете, у Льва тут где-то пиво немецкое... из Немецкой слободы. Пейте лучше его.

— Спасибо. Тем более — из Немецкой слободы... когда еще шанс представится!

Пал Андреич пил пиво с блаженным выражением лица и тихо говорил... даже не чтобы говорил — размышлял вслух.

— Вы не можете быть *не ценным* собеседником. Рисуя так, как Вы, — нет, не можете. Вы суть рисуете... А если, к тому же, Вы в это все не посвящены, то есть *были* не посвящены, тогда я понимаю Антона Петровича... еще лучше понимаю. Знаете, что он тогда сказал мне? Ах, Пал Андреич, Пал Андреич, говорит, забыли-таки Вы, что и сами скрипач, совсем забыли. А вспомнили бы — и для Вас бы стенки не существовало, говорит, и сами бы Вы — смычком между мирами, логике пространства вопреки... Я ему еще ответил, что скрипочки не ходят *туда* — и, видит Бог, я уверен был, что не ходят! Скрипочки не ходят, а вот... кисточки — ходят. Но, если кисточки ходят, то и скрипочки должны, правильно? Потому что не может быть так, чтобы у кисточек — одни пути, а у скрипочек — другие. И там, и там — конский волос, так сказать, на дереве... извините. А вот умей Вы на скрипочке

играть — как бы Вы, интересно, сыграли то, что кисточкой пишете? Могли бы — на скрипочке?

— Могла бы, — вздрогнула Лиза. — Я бы... я бы в разных октавах играла — одновременно, если так играют. Но я не знаю, играют ли.

— Вы все могли бы, — не слыша ее, продолжал Пал Андреич. — Потому что и кисточка этого не умела, пока *Вы* ее в руки не взяли. Не умела — суть открывать, ни одна кисточка на свете и ни одна скрипочка на свете суть открывать не умеет, пока рук нет. А тут вот... руки дрожат, на струны не попадают. Но пиво прекрасное, прекрасное...из Немецкой слободы.

— Лев уже здесь, — почти неслышно сказала Лиза и кивнула на дверь: в дверях стоял Лев — и было видно, что он не сию минуту пришел, что давно тут находился. Он смотрел на Пал Андреича — и в воспаленных глазах Льва был покой.

Пал Андреич принялся настолько бесстыдно разглядывать Льва, что в конце концов оба они смутились.

— Простите, — сказал Пал Андреич и отвел глаза. — Мне надо было точно знать, какой Вы.

— А я вот знал, какой Вы, — откликнулся Лев.

— И — какой? — со страхом спросил вдруг Пал Андреич.

— Прекрасный, — просто сказал Лев. — Так и дед о Вас говорил. Он прав. Очень сильно прав. Зачем Вы наливаете себе еще вина?

— А что? — откликнулся тот: с вызовом, черт побери... Не станет же Лев, замечательный Лев, ему трезвость проповедовать!

— Лев? — Лиза не ожидала, что окликнет его, что захочет сейчас вот прямо и спасти Пал Андреича от проповеди. Про-

поведи — Льва? Непонятно... Лев, вроде, не спец по части проповедей.

Но вопрос «А что?» все еще одиноко висел в воздухе — пока не полетел к нему, шурша крылышками, тихий-претихий ответ:

— Ничего-ничего, Пал Андреевич... Я почему спросил — мне показалось, что Вы не хотите больше спиртного. Мне показалось, что Вы выпили достаточно спиртного — на всю оставшуюся Вам жизнь. Мне так показалось. Мне так кажется. Нам с Вами так кажется.

Они смотрели друг на друга.

Это было состязание в продолжительности взгляда.

Лиза поймала себя на том, что ее начинает легонько трясти.

Рука Пал Андреича, полуподнявшая бутылку, застыла над пустым бокалом.

Внезапно Пал Андреич вздохнул и без стука поставил бутылку на стол.

— Чайку выпьем? — беспечно спросил Лев Лизу. — Втроем.

— Выпьем, — сказала она и, почему-то хлюпнув носом, повторила: — Втроем.

КАК НАХОДИТЬ ПОД КОВРОМ ВОЛШЕБНУЮ ПАЛОЧКУ

Стоя на совершенно пустой арене, попросите ассистента скатать ковер и достать забившуюся под него волшебную палочку, без которой вы не хотите покидать арену.

Ассистент, оглядев ковер, даст вам понять, что тот слишком велик и тяжел.

Укоризненно покачайте головой и, уведя ассистента к форгангу, жестом как бы приподнимите ковер над ареной, после чего произнесите:
— Ап!

Ковер начнет медленно подниматься и, оказавшись на высоте приблизительно полуметра, замрет в воздухе.

Попросите ассистента найти волшебную палочку под висящим над ареной ковром. Ассистент, глазами измерив расстояние от ковра до арены, откажется: ему явно не хочется ползать по манежу на животе. Тогда, снова покачав головой, сделайте несколько пассивных шагов в направлении ковра. Ковер, светясь неярко белым светом, растет в воздухе.

Заметив на опилках волшебную палочку, ассистент поднимет ее и протянет вам. Поблагодарите его и сделайте вид, что собираетесь покинуть манеж.

Неожиданно появляющийся из форганга шпехстальмейстер жестами обратит ваше внимание на отсутствие ковра на арене. Принеся извинения, взмахните волшебной палочкой.

В ответ на этот взмах над ареной начнется белое свечение и на высоте полуметра над ареной в воздухе возникнет ковер.

Произнесите:

— Ап!

И ковер плавно опустится на арену.

Комментарий

Данный трюк, только на первый взгляд кажущийся сложным, на самом деле доступен каждому, у кого развиты навыки обращения с воздушными потоками — включая умение образовывать воздушную подушку.

Пусть ассистент еще до выхода на арену спрячет в рукаве «волшебную палочку», которую он якобы найдет под ковром. Действительно заглядывать «волшебную палочку» в опилки не рекомендуется, поскольку во время выступлений других артистов это может привести к травмам.

Чтобы поднять ковер над поверхностью арены, создайте равномерные направленные вверх воздушные потоки по краям ковра — эти воздушные потоки и приподнимут его на полметра в воздух. Следующая ваша задача — перераспределив воздушные потоки, образовать круглую воздушную подушку высотой приблизительно 45 см и «подложить» ее под ковер.

Чтобы ковер «исчез», прибегните к приему разрежения материи: прием должен сопровождаться световым эффектом, возникающим в результате «свечения пыли»: пыль ковра в белом луче прожектора будет выглядеть как серебристое облако.

Понятно, что возвращение ковра на арену осуществляется приемом сгущения материи (природа светового эффекта та же, что и при исчезновении ковра) и опять-таки воздействием воздушных потоков, на сей раз направленных вами вниз.

38. И ЖАЛКО, ЖАЛКО, ЖАЛКО — ВСЕХ.

Такое было время.

Со-ци-о-фре-ни-че-ско-е.

Кажется, где-то в научной или околонучной литературе можно встретить этот термин.

Время, разрушавшееся на глазах — подобно индивиду с разрушающейся психикой, утрачивало присущие ему в течение многих и многих лет признаки (некоторые считают соответствующие признаки времени постоянными, но не будем об этих мечтателях): признак линейности, признак необратимости, признак непрерывности, признак воспроизводимости единиц и прочие... какие там есть еще у времени признаки — дело не наше. Время выходило из-под контроля системы (некоторые считают, что оно и вообще неподконтрольно, но не будем и о них) и начинало выкидывать кренделя: останавливалось, шарахалось назад и, тут же перепрыгивая через себя, делало гигантский бросок вперед, надолго исчезало из виду, снова возникало где попало, шло в разных направлениях, раздираемое противоречиями изнутри — самоуничтожаясь и как ни в чем не бывало творясь вновь.

Молекула под названием «советский строй», и всегда-то существовавшая как энное количество чуть ли не независимых друг от друга, но из чистого упрямства державшихся более или менее сообща атомов, была уже не в силах навязывать им общую среду обитания. Атомы словно рассорились, словно объявили, что отныне знать не знают друг друга, и перестали считаться с присутствием молекулы. Ни один из них не ведал не только о том, что делают другие, но и о том, есть ли вообще какие-нибудь другие, а если есть — и пусть... пусть, пусть.

Система больше не функционировала — функционировали ее звенья, полагаясь лишь на самих себя, создавая собственные правила и собственные исключения, и функционирование этих отдельных звеньев иногда еще принималось за функционирование системы — правда, все реже. И само слово «система» постепенно начинало означать «структура», в громоздких очертаниях которой терялись зависимости, связи, отношения. Элементы структуры пока опознавались как знакомые, но уже теряли самотождественность, на глазах меняя свою природу и то и дело превращаясь в полную противоположность самим себе.

Такое было время.

Со-ци-о-фре-ни-че-ско-е.

Страна галлюцинировала, страна бредила наяву, страна спала с открытыми глазами. Повсюду распространялись страшные слухи о тайных обществах, из которых якобы состоял впечатлительный социум, о тайных силах, управляющих нами *на самом деле*, о тайных договоренностях *наверху*... Люди ловили любые знаки из любых рук, а когда знаки на какое-то время вдруг прекращали поступать, наделяли знаковостью произвольные события, случайные признаки, произнесенные всуе слова. Толкователи разных мастей предлагали — чаще за деньги — понимание смысла всего происходящего, пророки разных мастей — четкие очертания будущего, практики разных мастей — безболезненные способы приспособления к настоящему. Все вокруг внезапно поверили в звезды, в судьбу, в чары, сосредоточились на поисках корней — и в мир вернулись легенды, взявшись за ручки и притворившись явью: о вечных ценностях, о духе предпринимательства и безграничных возможностях человека.

Так и выглядело дежурное меню девяностых: холодная закуска из вечных ценностей, горячее (оно же основное) блюдо с духом предпринимательства и десерт — из безграничных возможностей человека.

Основная часть населения за неимением средств на полный обед довольствовалась в те бедные годы вечными ценностями — слава Богу, что приготовление холодных закусок в России сроду не считалось делом первостепенной важности: накромсали — и на стол. К сервировке тоже никаких претензий: проголодавшиеся девяностые даже не замечали, на чем подавались им вечные ценности — русская и зарубежная классика, а также советская неоклассика (не путать с советской классикой), православная и кри-вославная религия, а также дзен-буддизм, и последние достижения модернистской и постмодернистской западной научной мысли, а также Дейл Карнеги. Бумага между тем была настолько рыхлой, что знаки препинания проваливались насквозь, типографская же краска — настолько едкой, что бессмертные строки навеки отпечатывались не только в сердцах, но и на лицах читателей. Внезапное разрешение приобретать вечные ценности по сколько угодно в одни руки привело к тому, что через некоторое время от холодных закусок всех уже подташнивало, а многих даже и просто рвало этими самыми вечными ценностями. Имелись случаи массового отравления, причем особенно часто — поэзией Серебряного века. Кормившихся исключительно вечными ценностями отличала худоба тела, желтизна лица, нездоровый блеск глаз и неутолимая тоска по вкусной и здоровой пище.

Тех, у кого хватало средств и на холодное, и на горячее, было поменьше. Вечные ценности они потребляли

осторожно, помня, что впереди — основное блюдо. Это от него исходил здоровый дух предпринимательства, разжигавший в едоках стремление, разумеется, предпринимать — в принципе, все равно что. Все равно что и предпринималось, но прежде всего — купля-продажа, причем ничто не оставалось ни в чьем пользовании ни на минуту: купленное словно жгло руки и немедленно должно было быть продано, в то время как проданное тут же становилось предметом купли, чтобы вслед за этим снова стать предметом продажи. Однако впечатление об обилии товаров и денег было ошибочным: в пространстве циркулировали одни и те же товары и одни и те же деньги, которые просто переходили из рук в руки с такой скоростью, что казалось, будто их — много. Впору было делать зарубки на всем, что находилось в обороте: обрабатываемое превращалось в потлач, чья ценность измерялась количеством рук, через которые оно прошло. Понятие «размер» ушло из обихода: любая пара обуви годилась на любую пару ног, эски и эмки на глазах превращались в элочки и иксэлочки и наоборот, семья из пятнадцати человек легко помещалась на восьми квадратных метрах, а семью из двух с половиной человек вполне устраивали двести пятьдесят, со ста рублей давали полторы тысячи сдачи... Дух предпринимательства соблазнял, манил, обещал. Особенностью блюда, распространявшего этот дух, было то, что оно не остывало и, будучи съеденным и даже переваренным одними, могло прекрасно утолить голод других, а утолив его, возвратиться назад — к уже опять проголодавшимся и бросавшим вокруг несытые взгляды.

Однако имелись и люди со средствами: средств этих хватало и на холодное, и на горячее, и на десерт. Большинство из них предпочитало пропустить закуски и основное блюдо

и лакомилось одним десертом, потребляя безграничные возможности человека в безграничном количестве. Над такими витали облачка наслаждения, лица едоков были утомлены и загадочны, голоса тихи и глухи. Эти причисляли себя к знатокам, гурманам, посвященным и могли сутками обсуждать сложные гаммы вкуса, оттенки послевкуся, изящество сервировки. Безграничные возможности человека были не слишком разнообразны по ассортименту, зато настолько утончены и неуловимы, что, теряясь друг в друге, всякий раз приобретали словно незнакомые очертания и казались иными. На облачках наслаждения страна поднялась над собой — на языке гурманов это называлось «вышла в астрал» — и покинула бrenную землю. Никакие следствия отныне не определялись причинами, никакой род не состоял больше из видов, никакая частность уже не соотносилось с целым. Любое событие приобрело мистическую подоплеку, и паранормальное, казалось, окончательно победило нормальное. Понятие нормы постепенно вышло из обихода и удалилось в неизвестном направлении — за ним никто не пошел. Обычные граждане, вчера еще продававшие пирожки собственного изготовления у Курского, принялись оперировать понятиями «тонкие материи», «измененное состояние сознания», «ментальная зависимость», «психотехнологические практики», «психотронное оружие», «геннопродукты»...

Такое было время.

Со-ци-о-фре-ни-че-ско-е.

Впрочем, постепенно и сам социум начал, если не приказывать, то, во всяком случае, отдавать распоряжения долго жить: социальные единицы перестали занимать фиксированные позиции в его составе. Любой мог

уже завтра стать другим человеком: а вот, господа, андерманир штук, прекрасный вид — новый человек стоит! Старые авторитеты уходили в небытие и вдруг опять выпрыгивали из него, новые авторитеты держались на поверхности день-другой, после чего внезапно пропадали и спустя какое-то время предъявлялись миру уже в другом качестве, мелкие сошки приобретали размеры гигантов, гиганты менялись местами и в процессе рокировки усыхали до мелких сошек. Палачи превращались в моралистов, моралисты — в проститутток, проститутки — в милиционеров, милиционеры — в ученых, ученые — в таксистов, таксисты — в депутатов... закономерностей не прослеживалось. Никто не знал, какой частью социофренического узора он станет через миг, каждый хватался за все подряд, оставляя отпечатки пальцев повсюду, повсюду, повсюду... — и пропадаая: на другом попреще, в другой стране, в ином измерении, в черной дыре, в петле Мёбиуса, в воздушном кармане. Кто-то потом видел их где-то — и с ними *все было хорошо*.

Впрочем, все было хорошо и с нами... только очень быстро. «Хорошо, но быстро», — так и говорили тогда, не успевая меняться внутри, да и не понимая, зачем это, в сущности, нужно. Метаморфозы, происходившие во внешнем мире, постепенно переставали регистрироваться миром внутренним. Между тем не только все превращались во всех, но и всё превращалось во всё, тут же забывая о прежней ипостаси. Газетный киоск становился пиццерией, подземный переход — магазином, центральная улица — торговым рядом, булочная — иконной лавкой, часовая мастерская — клиникой психиатра, туалет — рестораном. Иногда, правда, все-таки заботились о том, чтобы преемственность была видна.

Открытый в бывшем общественном туалете на Петровке рестораны назвали «Бывое», салон красоты в бывшем рыбном магазине — «Гидра» (хорошо еще, что не Лернейская!)... Из глубин бассейна «Москва» начал подниматься Храм Христа Спасителя — и пловцы с пловчихами, в плавках, купальниках и резиновых шапочках, молились прямо в воде, чтобы опередить всех.

«Это кайф!» — говорили иностранные журналисты, приезжая в Москву, пьянея от хаоса и заплетающимися иностранными языками нахваливая ветер перемен.

Такое было время.

Со-ци-о-фре-ни-че-ско-е.

...что же касается всех этих львов, дедов антонио, демонстратнеров, вер и лиз, владленсеменычей и паландреичей... ах, они тоже были и не были, возникали и исчезали, двоились-троились-четверились, что-то значили и не значили ничего. Писались и вымарывались страницы, высыхали перьевые и отказывали шариковые ручки, пропадали файлы, зависали компьютеры, терялись дискеты... кому же это все не знакомо! И то, что сегодня казалось правдой, завтра превращалось в фуфлю и забрасывалось куда-нибудь подальше: не вспоминать, не перечитывать, не видеть... Но все равно — не отпускало, подкрадывалось незаметно, хватало за горло, начинало душить... — хохотало и убегало за угол, а там уж — да кто ж там что знает, никто ничего не знает, дорогие мои... Каждый придумывает, каждый пытается понять, объяснить, рассказать — вот на этом, нет, на этом, нет, на этом вот примере: взгляните, как страшно, взгляните, как весело, взгляните, как... как неправильно все в этом мире!

И жалко, жалко, жалко — всех.

39. «АЛЕША ПЕШКОВ»

Работа в милиции до хорошего не доведет. Владлен Семенович всегда это знал, хоть знания своего и стыдился. Да и как не стыдиться, когда не было у Владлена Семеновича совсем уж серьезных оснований на милицию нашу грешить, что бы там про нее ни говорили. А говорили, понятное дело, всякое, только не всякому Владлен Семенович верил, потому как напраслину-то тоже ни к чему наводить. Есть среди милиционеров, конечно, отдельные представители, но они погоды не делают. Владлен Семенович и сам в молодости милиционером стать мечтал... да характером не вышел. «Хрупкости в тебе много, Владлен, — говорил ему покойник потом Кириллов. — Ты даже кошек мучить сызмальства не любил, какой из тебя милиционер?»»

Что правда, то правда: не любил. Приманят, бывало, ребята кошку, навяжут ей на хвост банок консервных, а он возьмет да и удалится. Они ему потом: ты где был-то, Владлен, а он им в ответ: не ваше, дескать, дело, гулял. Только все прекрасно понимали, что нигде он не гулял, а совсем даже наоборот.

Короче, не годился маленький Владлен в милиционеры, в то время как среди товарищей его детских чуть ли не каждый годился. Но это уж кому что на роду написано. Да и потом, со временем, разонравились ему милиционеры — неинтеллигентностью своею разонравились. Матерились больно... а Владлен Семенович мата на дух не выносил, даже про себя никогда матерным словом не ругался, потому что — последнее дело. И анекдотов про половые отношения людей не терпел: выслушает — и головой покачает. Однако анекдоты такие милиционеры в метрополитене имени

В.И.Ленина просто каждый день рассказывали... ну и бросали тем самым тень на форму свою, на погоны свои милицейские. В общем, приучился Владлен Семенович в конце концов думать, что не доводит милиция человека до добра. Да так оно и было.

Вот хоть участкового Лексеича взять: приперся к Владлену Семеновичу на ночь глядя и прямо с порога безнравственный анекдот про половые отношения людей рассказал. Как муж уехал в командировку, а у жены за это время завелся милый друг, которого участковый Лексеич сразу таким словом обозначил, что Владлену Семеновичу дальше и слушать не захотелось, — тем более что знал он прекрасно такие ситуации в жизни, потому как только в них все время и попадал. Кстати, и в подобных ситуациях, по его воспоминаниям, вполне и вполне можно было оставаться милым другом, а во все не обязательно становиться этим... как участковый Лексеич сказал!

Одним словом, нерадушно Владлен Семенович гостя принял: брови насупил, вежливыми словами в квартиру не пригласил, а только кивнул прохладным образом и бросил: «Заходи, коли пришел».

— Ты чего такой неласковый? — поинтересовался участковый Лексеич, одоблив интерес не одним матерным словом.

— Материшься много, — поморщился Владлен Семенович, — а мне все такое претит. Честь милиционера страны роняешь.

Тут же привычно послав честь милиционера страны в направлении ближайшего полового органа, Лексеич неприятным жестом руки похлопал хозяина по плечу и назвал обидным для половой принадлежности последнего понятием «красная девица». Потом незванно ввалился в покои

и прямо в форме сел на диван, приготовленный Владленом Семеновичем для ночного отдыха.

— Поговорить пришел, — сказал.

— Говори, — неприветливо отозвался Владлен Семенович.

— Получается, что не знал я тебя как следует, сущности твоей классовой не разглядел, — сделал некрасивое вступление участковый Лексеич и задумался.

Владлен Семенович решил претерпеть.

— А сущность твоя классовая такая, что не надо было тебя сюда из вонючего твоего Черкизова перетаскивать. Жил бы в вонючем своем Черкизове и в приличных районах не показывался.

Говоря все это, участковый Лексеич одновременно крыл Владлена Семеновича матом.

— Ты вот что, Лексеич, — с мукой в голосе произнес Владлен Семенович, — разговаривай со мной как подобает, а матом не хами, не то я на дверь тебе укажу. Прошла давно наша былая дружба.

— Согласен, прошла, — поддержал участковый Лексеич. — Как мне кляuzu твою передали, так и прошла.

И, продолжая крыть матом, он поведал Владлену Семеновичу, что переслали дескать ему, Лексеичу, из московского метрополитена имени В. И. Ленина письмо с печатью и с просьбой, значит, обратить внимание на классовую и духовную сущность опасного квартироръемщика, проживающего по такому-то известному адресу.

В опасном квартироръемщике Владлен Семенович сразу узнал себя и — не поверил участковому Лексеичу.

— Не мог, — так сразу и сказал Владлен Семенович, — московский метрополитен имени В. И. Ленина ничего этого

про меня написать, как я есть бывший честный работник и заслуженный ветеран труда. Врешь ты, Лексеич, и все нутро у тебя гнилое.

— Мы в мое нутро сейчас не пойдем, — предупредил его участковый Лексеич. — Мы сейчас в твое нутро пойдем и там разберемся. В кляузной душе твоей разберемся. Ты что ж это, засранец, доносы-то строчишь сидишь? Мне ведь тебя за моральный облик отсюда выселить — нечего делать. И жильцы все подпишут, не сомневайся. Будешь где-нибудь в Выхино жизнь свою вонючую доживать.

— Чего-то у тебя все вонючее получается, — не без сарказма заметил Владлен Семенович. — И Черкизово вонючее, и жизнь моя... не лучше ль на себя, кума, оборотиться?

— Это в каком же смысле? — полюбопытствовал участковый Лексеич.

— В том смысле, что... чем кумушек считать трудиться, — расширил контекст Владлен Семенович.

— Вот-вот, — даже обрадовался участковый Лексеич, не забывая материться. — Я, между прочим, сразу подумал, что у тебя крыша, грубо говоря, набок... Так и хотел в метрополитен написать, да решил повидать тебя сначала.

— Повидал? — поинтересовался Владлен Семенович. — Ну и проваливай, откуда пришел.

— Погоди, мне для себя самого интересно... ты, чего, Семеньч, правда — того? — В голосе бывшего друга послышалось вдруг даже какое-то участие смешное. — Про кумовьев заговорил... ни к селу ни к городу. Болееешь?

— Необразованный ты человек, — вздохнул Владлен Семенович. — Даже непонятно, как тебя на той стороне держат. Там же у вас даже запрещенные книги есть, а уж таких-то, наших-то — навалом, поди?

Участковый Лексеич вынул из кармана портсигар, закурил.

«Сейчас пепел на постельное белье стряхивать будет...» — взгрустнулось Владлену Семеновичу. Но гость встал с дивана и подошел к окну — к примуле на подоконнике, значит. Примула в ужасе отпрянула, мгновенно попяв все.

— Не думал я, что все так тяжело, — неизвестно в чем признался участковый Лексеич, стряхивая в примулу первую порцию пепла. Примулу покоробило. — В смысле, что с тобой так все тяжело. Ты, значит, в эту вот галиматью прямо всерьез и веришь? В Москву номер два, в баб, сквозь стены проходящих, в кофе с красной рыбой на Садово-Кудринской? Бедный ты, Семеныч, человек... Это все от одиночества у тебя. Женщину бы нашел себе — и выздоровел. Меня, вон, Любка... одна там — знаешь, как ублажает? Не поверишь!

И участковый Лексеич матом рассказал подробности.

— Уходи-ка ты уже, — попросил Владлен Семенович. — Обо всем ведь поговорили, и мне, понимаешь, спать пора.

— Не, я тебя в беде не брошу, — непрошенно пообещал гость дорогой. — Я у тебя, может, даже на ночь останусь, мозги тебе вправлю, а утром позавтракаем, и я на работу пойду. Жалею я тебя, Семеныч. Как знал, что так будет, — смотри, водочки захватил. Собирай на стол, ну?

И Владлен Семенович отправился на кухне, а в ушах его тихо шелестели слова покойника Кириллова: «Хрупкости в тебе много, Владлен...»

— Ты, значит, меня теперь слушай, я тебе все как есть обобщу, — вилкой гоняя по тарелке ловко и, видимо, не без причин увертывавшийся от него соленый огурчик, проповедовал

участковый Лексеич. — Ты спал и видел сон, понимаешь? Приснилось тебе все это, понимаешь? Ты снотворное пьешь? Ну вот... прекрати немедленно, это от снотворного и происходит. У меня благоверная, вон, тоже накупила себе снотворного без рецепта и глушит не спросясь — так у нее и глюки, вроде твоих! Знаешь, на днях чего отчубучила? Я, говорит, забеременела — и как, говорит, ты думаешь, от кого? Ну, я ей, конечно, — от меня, голуба, а она мне: вот и нет, это от Бориса Ратнера. Он, говорит, по телевизору в меня вошел! Ты Ратнера-то смотришь?

Владлен Семенович сдержанно кивнул.

— Помогает?

— Помогает, — не соврал Владлен Семенович. — Суставы не так болят.

— Во-во! И благоверной моей помогает, потому что долбанутые вы все, на снотворном живете и глючите. У меня, например, от Ратнера ни в одном глазу, я вообще рожу его приятную видеть не могу! А тебя, значит, забирает... Ну, я так и думал: скоро уже вся страна рехнется. Мне кажется, это происки все, Семеныч, демократов происки. Я тут в аптеку районную зашел, что ж вы делаете-то, спрашиваю! Почему снотворное без рецептов отпускаете? А они мне, знают меня там: у нас, Михаил Алексеевич, никаких распоряжений насчет не отпускать нету. Хотят люди спать — пускай, значит, спят. Я оттуда весь как оплеванный вышел: ну, думаю, шкуры барабанные, погодите у меня! Звоню в Минздрав, спрашиваю: были какие распоряжения насчет снотворных от вас? Нет, отвечают, не было. Во! — Лексеич в конце концов поймал сдавшийся в неравном бою огурчик. — Тут какое дело получается — а такое тут дело получается, что со всех сторон нас обложили, друг дорогой...

хоть и бывший! По ящику с ума сводят, в аптеках чем ни попадая травят — вот и ломаются, кто не крепкие! — Нежный огурчик захрустел на крепких зубах Алексеича. — Начинают наяву прямо бредить, вроде благоверной моей. Ну, я ей такого Ратнера прописал, что третий день отлеживается, всю беременность как рукой сняло. И у тебя снимет... не беременность, конечно, а фантазии твои ненужные. Ишь, тоже: Москва номер два! Нету и сроду не было Москвы номер два, ты глаза-то разуй: все же открыто кругом. И карты тут ни при чем: кто на них, на карты эти, смотрит? Тебе оно зачем, чтобы 4-я Брестская на карте была, — ты что, красный следопыт? Спортивное ориентирование, игра «Зарница»? Окстись, Семеныч, когда мы картой пользовались, чтобы по Москве-то ходить? Ты, может, еще где-нибудь пограничный контроль или проволочные заграждения обнаружил? Ну, сходил я на Среднюю твою Радищевскую и на Малую Коммунистическую сходил... и что? Улицы как улицы — нормальное московское народонаселение, не чуднее, чем везде... ты пойди по Арбату пройдишь: вот где сумасшедшие! На прошлой неделе подошел к одному — картину продает: две линии перекрещенные, а посередине — одна женская сиська... сколько, спрашиваю, стоит, — пятьдесят у. е., говорит, товарищ милиционер! Я ему: я те дам — «милиционер», я те дам «уе»! Насилу, понимаешь, сдержался: ушел, говорю, отсюда — и чтоб больше ничего подобного тут не было. Ну, ушел, а я вчера снова туда наведался, проверить, — так опять, падла, стоит и ту же сиську продает! Ну, я чего... плюнул да рукой махнул, думаю: себе дороже, да и не в одной сиське дело. Ты чего молчишь-то, Семеныч?

— Хватит материться-то. И спать я хочу, уйди.

Участковый Алексеич налил себе еще водки, рюмка Владлена Семеновича так нетронутой и стояла.

— Лучше бы водку вместо снотворного пил, пользы больше! Организм не только укрепляет, понимаешь, но и закаляет — от психорасстройства на почве всеобщего помешательства. А институт-то, мозга-то, тебе чем не угодил? Ты Ратнера в глазок свой углядел? Он ведь тоже при институте ошивается.

— Третьего дня только углядел — как входил он, а выходил ли обратно... не выходил, небось, — этого не видел: мне кто-то весь глазок жвачкой залепил, насилиу отскреб!

— Ай, молодцы! — покатился от хохота Алексеич. — Лечат тебя, видишь, от глюков твоих... сама судьба, я имею в виду, лечит. И правильно делает: нечего тебе жизнью секретного учреждения интересоваться! Ишь, что вздумал — «проникать» в институт да по коридорам ходить... я, вот, участковый, а сам, между прочим, ни разу там еще не был: имею уважение. Если такие люди, как Ратнер, с институтом сотрудничают, нам с тобой, Семеныч, там делать нечего, не по зубам нам с тобой это. Э-эх... забудь ты про свою Москву номер два, давай опять задружимся, на рыбалку вместе ходить будем! Я ведь, признаться, понаблюдал за тобой на расстоянии, когда ты пару раз по окрестностям прогуливался, — жуткое же, извини меня, зрелище... Ходишь по сторонам озираешься, будто все тебе чего-то мерещится — ну, куда оно годится? Идешь прямо, стройно, вдруг — бац, сворачиваешь внезапно, причем в самый последний момент, словно тебя вдруг по башке пыльным мешком огрели! Опять же, к домам просто совсем вплотную подходишь, стены трогаешь, щели расковыриваешь, окна считаешь... горестное ведь зрелище, сердце кровью обливается. Был

нормальный мужик, а превратился в привидение какое-то, честное слово!

Соседи жалуются: подозрительный, говорят, в глазок все время смотрит, с каждым заговорить пытается, а чего говорит — непонятно. Ну, скажи, зачем тебе знать, сколько у Петровой с третьего этажа детей и остались ли они жить в этом районе... и звали ли ее мужа Петр Петрович? У нее и муж-то лет десять назад как умер, она сама, небось, точно уже не помнит, как его звали! Ну, шучу, шучу... не набычивайся ты так сразу!

А хочешь, я как профессиональный участковый милиционер скажу? Люди, Владлен Семенович, у нас на 4-й Брестской — да и на всех остальных Брестских, которых тут... много, такие же, как и ты, секретов за ними не водится, никто их для этого района специально не отбирал и досье на них нигде не хранится. Может, конечно, ты насчет Королевой из Марьиной рощи и прав, только мне кажется, что приснилось тебе все это: уснул в чужой комнате, на чужой постели... чужой сон увидел, ха-ха! — расстроенное, брат, у тебя воображение, снотворное пить прекращай. Ну-ка, хряпни вместе со мной — по старой-то памяти... да пойду я, не то правда придется заночевать у тебя тут, а потом мне моя благоверная сыночка от Ратнера родит... с тремя головами!

Хоть и не слушал Владлен Семенович усидевшего за час почти бутылку «Столичной» Алексеича, а присоединиться к тосту за скорое избавление от участкового не преминул. Ох, глаза бы мои Алексеича, дескать, не видали: во-первых, это не без его помощи выписывает кренделя моя старенькая жизнь, а во-вторых, это ему, Алексеичу — человеку необразованному, дрянному и матерному, — родной московский

метрополитен имени Владимира Ильича Ленина только что сдал Владлена Семеновича со всеми потрохами.

Последнее не столько обижало, сколько сильно настораживало Владлена Семеновича. Если дело впрямь обстояло так, как Лексеич его обрисовал, значит, и в метро уже упыри-оборотни. Будь там свои, разве стали бы они письмо бывшего ветерана труда такой контре, как Лексеич, пересылать! Да они бы Лексеича на пушечный выстрел к себе не подпустили. Неужели пал уже и метрополитен имени Владимира Ильича Ленина? Ну, тогда и государство падет, что твой скошенный сноп. Нет метро — нет и государства.

Впрочем, Лексеич, конечно, и соврет не дорого возьмет... видали мы его у двери квартиры номер три — причем со своими личными ключами! Владлен Семенович вздрогнул, почувствовав, как Лексеич, сердечно приобняв его за плечо, уже снова рассказывает ему анекдот про чьи-то посторонние половые отношения. Быть того не может, чтобы московский метрополитен имени Владимира Ильича Ленина да без боя сдался! А может, я и правда сплю? Сплю и вижу сон? И сейчас вот сплю — в обнимку с Лексеичем, и Лексеич прав, что нет никакой Москвы номер два, это все расстроенное мое воображение, снотворное без рецепта, бред, болезнь... Только над чем там сейчас-то хохочет Лексеич — неужели все еще над посторонними половыми отношениями?

— А то, смотри, Владлен Семенович, — слышит он, — как бы люди о тебе самом анекдоты по Москве рассказывать не начали: ходит, дескать, чудак один на букву «м»... жизнь изучает! Смешно ведь выглядишь, Семеныч... и эпоним какой-то, прямо скажем, похабный у тебя: «Алеша Пешков».

40. С ТАКОЙ И СТАТИ

«Школа Бориса Ратнера». Так оно и было написано — на плите высечено: белесыми буквами по темному камню. Впечатление — ме-мо-ри-аль-но-е. Неужели — сбилось?

По всему выходило, что — сбилось. Своя школа в самом сердце Москвы. Веселенький — еврооближенный — особнячок в начале Верхнего Кисловского: между Средним Кисловским и Герцена. Вход через арочку консерваторскую, прямо с Герцена. Все обычно насквозь идут — и так на Средний Кисловский выходят, а Верхний-то Кисловский и промахивают!

Только теперь уж промахивать не будут: «Школа Бориса Ратнера» у всех на устах. Первое в стране учебное заведение *соответствующего профиля* как-никак... а «соответствующий профиль» Коля Петров придумал — фило-о-олог! В свое время насмотревшись Ратнера по телевизору, никто — сказал — и не спросит, какого это, дескать, *соответствующего профиля*?

И что бы вы думали — не спрашивает никто. Хотя у Ратнера ответ, конечно, наготове, да какой ответ! Учебное заведение, которое он возглавляет, *считается* — тут очень важный нюанс: *считается*, ибо называется оно «Школа Бориса Ратнера»! — Академией Тонких Энергий. В документации словосочетание «Академия Тонких Энергий» как бы случайно проскальзывает один раз — в непринципиальном, причем, контексте, потом совсем изредка возникает как аббревиатура, АТЭ, но в качестве названия нигде, конечно не фигурирует. Вкуса на то, чтобы не заведовать *академией*, у Ратнера, слава Богу, хватает. Он заведует *школой*, Школой Бориса Ратнера, которая, конечно, академия, но это в ней якобы не главное. Ух, хитро придумано... хорошо!

В его кабинете иногда слышна консерваторская музыка — какая-нибудь одинокая скрипочка или дуэт: скрипка и виолончель. Время от времени прилетает голос — то один, то другой — навещать. Поэтому Ратнеру кажется, что он в раю, у Христа за пазухой. Впрочем, он знает, что те, кто «на новенького», заберутся и сюда, причем совсем скоро, со дня на день. Один кооперативный магазин в Верхнем Кисловском уже есть... правда, в Среднем Кисловском еще хуже: там какой-то банк строится — плюс возникло недавно некое странное журналистское заведение. Журналистов Ратнер с некоторых пор не любит: они становятся все наглее и наглее.

— Скажите, пожалуйста, — спросила его тут одна пигалица в прямом эфире: он академию свою представлял, — Вы ведь тот самый Ратнер и есть? Тогда ответьте мне: Вас вообще не смущал факт, что всем нам здесь, на телевидении, было доподлинно известно, как делалась Ваша ежедневная передача?

— И как же она делалась? — не раскусил стратегии пронизательной маленькой дрянью Ратнер.

— Ну-у-у, ведь Ваши сеансы давались в записи, это значит, Вы не воздействовали на зрителей непосредственно, как сами им говорили, — и глаза у пронизательной маленькой дрянью были невинны, что твои пластмассовые бусины!

Конечно, Ратнер выкрутился — и не в таких переплетах, девочка, бывали: помним Минздрав, а смертельнее Минздрава ничего уже нет на свете! И последние три года помним: знала бы ты, девочка, чем приходилось заниматься... прямо ведь по старику Забылину — разве только чужих пчел не усыпляли и «скотской клюквой» не промышляли...

Но это так — кстати.

А Верхний Кисловский — место, конечно, хорошее... дорогое. Так что услуга ему оказана была большая — надо отработывать и отработывать. Знать бы еще, как отработывать! Чего-то ведь от него потребуют... — за то, что он «у Христа за пазухой». Ну, ладно, проживем — увидим. А потом — все ведь в такой же ситуации: это только совсем уж лохам кажется, будто каждый из тех, кто пробрался в центр, имеет свои деньги и прочно на них сидит! Ратнеру-то объяснили, как оно на самом деле бывает... да. Бывает, оказывается, всегда одинаково: деньги взяты в долг и счетчик включен. Он всегда включен, сказали ему, иначе счетчик и не нужен. Стало быть, все вокруг слышат то же жужжание, что и Вы. Просто привыкните к этому звуку — тем более что лет Вам уже немало и всякое может случиться.

Последнее замечание прозвучало цинично, но к цинизму кредиторов Ратнер давно привык. Да ему и без этого было о чем думать.

Академию Тонких Энергий он заявил как «высшее учебное заведение, выдающее диплом государственного образца» — «государственного», а ни в коем случае не «международного»: на необходимости именно такой формулировки Ратнер особенно настаивал, хотя все вокруг тратили месяцы на то, чтобы разубедить его. Особенно Рафалов.

— Какого «государственного образца», — суетился Рафалов, — какого, Борис Никодимович! Нет ни государства, ни образца — что, ради всего святого, Вы в виду-то имеете? Вашим тонким-звонким энергиям в *так называемых государственных* учебных заведениях, не обучают, Вы же пионер, миленький мой, пи-о-нер! Да и работаете в коммерческой сфере, не забывайте же... Вы себя не с университетами-

институтами сравнивать должны, а с ларьками овощными, с киосками, где жвачку продают, понятно? Только идиот может подумать, что, поступая на *такую* учебу за *такие* бабки, он потом тому или иному государству служить будет, опомнитесь... Опомнитесь — и объявите «диплом международно-образца», так же все сейчас делают!

Ратнер *не* опомнился и, по выражению Рафалова, уперся рогом, поскольку совершенно точно знал теперь, когда ему имеет смысл упереться рогом, когда — сдать. Так что на данный момент оставалось совсем немного: придумать, кто и на каком основании аккредитует и отлицензирует академию со все еще отсутствующим учебным планом и закроет глаза на то, что в АТЭ не было не только пяти, но и вообще ни одного выпуска... Ибо соблюдение уж первых-то двух условий считалось обязательным, если выпускникам предстояло выдавать дипломы «государственного образца».

Борис Никодимович всегда умел точно рассчитать, где именно и с кем поделиться своими заботами. Но в данном случае расчетов не потребовалось: в штормящей действительности незыблемо продолжал держать курс вперед только один корабль — правда, с гальюна давно уже скинули Железного Феликса, но оказалось, что без него даже лучше. На борт этого корабля привычно и поднялся Ратнер. Говорят, что необходимые распоряжения, касающиеся Академии Тонких Энергий, воспоследовали с корабля немедленно: практически вся команда на тот момент была как нельзя более кстати мучима разнообразными неизлечимыми болезнями и потому испытывала острую потребность в тонких энергиях — причем в оптовом количестве. Именно такое количество тонких энергий Ратнер, как выяснилось, и взял с собой на корабль.

Неизлечимые болезни тут же отступили нестройными рядами, а Школа Бориса Ратнера получила аккредитацию и лицензию уже через полгода, что было отмечено залпами орудий со стороны Белого дома. И, значит, ровно через пять выпусков «диплом государственного образца», на каждом углу поминаемый Ратнером, действительно обещал стать реальностью: увы, на скорость бега времени даже и вышеупомянутый корабль влияния оказать не смог. Впрочем, говорить обо всем этом студентам — на данный момент их насчитывалось около ста двадцати: первый набор, и так проведенный чуть ли не полтора года спустя после выдачи лицензии, — было, разумеется, ни к чему.

Учебный план до сих пор отсутствовал. Тот, что отлицензировали, представлял собой просто-напросто план психологического факультета МГУ, неважно как (ах, если бы это было самой большой загадкой!) попавший к Ратнеру. План, разумеется, более чем годился в качестве объекта лицензирования — особенно повторного, учитывая особенности ситуации! — но заниматься по нему даже и не предполагалось. Во-первых, педагогических сил нужного профиля в ратнеровском кругу даже и за год не завелось, а во-вторых, осуществлять столь продолжительный учебный процесс Ратнер вообще не собирался. Обучение, по его замыслу, должно было быть быстрым — неполных три года, но страшно эффективным: выпускникам обещалась угрожавшая стабильности отечественного образования степень *бакалавра* — при том, что слово это Москва начала 90-х еще не научилась произносить быстро.

Строить учебный процесс предполагалось как систему мастерских: одна умная голова из близлежащего ГИТИСа подсказала Ратнеру, что именно таким образом обучают творческим специальностям.

— Прибавляешь к слову «мастерская» свое имя — и получаешь «мастерскую Ратнера», — поделилась рецептом умная голова и исчезла за заборчиком ГИТИСа.

Оканчивать Школу Бориса Ратнера «по мастерской Бориса Ратнера» показалось Борису же Ратнеру чрезмерно строгой перспективой для выпускников, и он решил прибавлять к слову «мастерская» не свое имя, а название специальности. Таким образом, в диплом выпускника можно было бы записывать «окончил Школу Бориса Ратнера по специальности “Гипноз и суггестия”» ... а что, неплохо. Мастерских на первый год обучения он решил, чтобы не особенно дразнить гусей, объявить три: мастерская, стало быть, гипноза и суггестии, мастерская экстрасенсорной перцепции и мастерская биоэнергетической поддержки. Причем расчет у него был, в основном, на последнюю, но желающих помогать другим среди абитуриентов почти не оказалось (на биоэнергетическую поддержку документы подали всего 19 человек), зато потребность в сверхчувствительности превзошла просто все ожидания: 69 человек! 32 абитуриента обнаружили интерес к гипнозу.

Коля Петров согласился помочь найти преподавателей только на условии заведования кафедрой суггестологии.

— Ты, может быть, совсем с ума сошел, Коля Петров? — осторожно поинтересовался Ратнер, имея в виду: ты, Коля Петров, что о себе воображаешь? Но Коля Петров понял вопрос слишком прямо.

— Нет, — сказал он, — с ума я не сошел, а ты просто, небось, не знаешь, что филологическое образование дает возможность ориентироваться в суггестологии.

— Не знаю, — ответил Ратнер, не добавив, что Коле Петрову он не верит: не верит ничему, им произносимому.

— Тут вот какое дело, — начинал расходиться Коля Петров, — филологический анализ текста всегда предполагает обращение к суггестивному потенциалу, заключенному в литературном произведении.

Ратнер заскучал сразу и сразу же — отключился. Сейчас Коля Петров употребит некоторое количество неуместных именно в данном разговоре терминов (так он делает всегда), после чего сочтет вопрос решенным.

— Мне не нравится, что у тебя такая физиономия, будто я говорю глупости, — прервал объяснения Коля Петров. — Во-первых, ты и вообще склонен относиться к филологии высокомерно, хотя наука это серьезная. Во-вторых, ты с твоим образованием на пушечный выстрел к соответствующей проблематике приближаться не должен, а приближаешься... я же ничего тебе не говорю, правда?

Ратнер устало вздохнул: нет, Коля Петров обнаглел уже просто окончательно. Как бы там ни было, но это он, Борис Ратнер, а отнюдь не Коля Петров с его филологическим образованием — директор Академии Тонких Энергий. И надо наконец расставить все точки над «i».

— Вот что, Коля, — сказал Ратнер. — Сейчас ты на некоторое время замолчишь и будешь слушать меня. Мое образование, образование физика, дает мне не в пример больше прав «приближаться», как ты это называешь, к соответствующей проблематике, чем твоя филология, — так что раз и навсегда заруби это себе где-нибудь. Заведовать кафедрой суггестологии ты можешь только в одном случае: если я соглашусь закрыть глаза на твое образование и *вопреки ему* разрешу тебе заведовать. А убеждать меня в том, что ты и есть наиболее пригодная кандидатура, ни к чему совершенно, понятно? Ты лучше себя в этом убеди.

Тут Коля обиделся и понес совсем какую-то ахинею на счет апеллирования к читателю через подтекст, условности вербальных средств коммуникации и многоплановости мыслеобразов. Ратнер не слушал его. Он думал о том, насколько большой ошибкой будет пойти Коле навстречу. И получалось у него, что гораздо большей ошибкой будет отказаться от предложения Коли, поскольку в этом случае доступ к кондукторам, из которых Ратнер собрался комплектовать преподавательский состав академии, окажется для него закрытым. А больше преподавателей брать негде.

— Значит, так, Коля, — оборвал он его умствования. — Считай, что с данного момента ты завкафедрой. Считай, что это подарок — тебе от меня. И довольно уже аргументов.

Ну, и... преподавательский состав был академии отныне обеспечен. Причем, какой преподавательский состав! Будь у штурвала не Ратнер, а в той или иной степени талантливый или, по крайней мере, совестливый человек, цены бы этому учебному заведению не было. Согласие на работу в академии дали и легендарный дальновидец И. С. Устинов, тончайший практик в области дистанционного считывания информации, и ведущий специалист в области мантики О. С. Вилонова, которую — из-за различения ею в состоянии транса до десяти голосов — называли Вавилоновой, и П. С. Крутицкий, все семьдесят с лишним лет жизни странствовавший в духе, и биоэнергетик милостью Божьей А. А. Струнк, эниолог с мировым именем, — всего около двадцати учителей в самом безукоризненном смысле этого слова. Что побудило их откликнуться на предложение Коли Петрова, знал только Бог — и, может быть, они сами, но неисповедимы пути Господни, и неисповедимы пути мастеров.

Заведование кафедрой экстрасенсорной перцепции было поручено И. С. Устинову, кафедру биоэнергетической поддержки возглавил А. А. Струнк, и только на кафедре гипноза и суггестии воцарился непонятный Коля Петров, который, кстати, втайне считал, что, поставив под удар свое реноме, совершил подвиг во имя науки. Тут он, впрочем, сильно перегибал. Во-первых, никакого реноме у него так и так не было, а во-вторых, единственная его заслуга состояла в том, что он оповестил нескольких кондукторов из НИИЧР о заинтересованности в них академии. Об академии, вообще говоря, они вполне могли бы узнать и без его помощи. Любому понятно, что, если сотрудников засекреченных научных учреждений и не рекомендуется трудоустраивать за пределами данных учреждений, то запретить этим сотрудникам иметь вторую работу где бы то ни было, разумеется, не может и сам Господь Бог. К тому же, Коля попросил, чтобы никто из них не ссылался на него как на источник информации, но, между нами-то говоря, кому бы это нужно!

На момент поступления на работу в академию кондукторы не были знакомы друг с другом лично — это Коле Петрову, может, и стоило бы поставить в заслугу, но в заслугу, скорее, перед НИИЧР, чем перед академией. Стало быть, Коля Петров ничем и не рисковал, сводя кондукторов вместе, — особенно если принять во внимание тот факт, что каждый из них в свое время дал подписку о неразглашении сотрудничества с НИИЧР. Общего прошлого и общего же секретного настоящего кондукторам, получалось, обнаружить не предстояло. Впрочем, конечно, с их-то способностями...

А насчет Коли Петрова в качестве заведующего кафедрой гипноза и суггестии все было ясно с самого начала:

основным местом работы для него по-прежнему оставался НИИЧР — кафедра требовалась ему исключительно как украшение. Впрочем, сотрудники кафедры, тут же и раскусив, с кем они имеют дело, предприняли все необходимое для того, чтобы украшение воспринималось завоём как совершенно естественное и не требующее никаких забот о себе. На кафедре считалось, что, чем реже зав вынужден будет появляться на работе, тем лучше и для него самого, и для сотрудников, и для студентов.

Правда, вот со студентами все было не сильно хорошо. Первый набор в Школу Бориса Ратнера оказался совсем слабым: обучение объявлялось платным, а платить в середине девяностых могли преимущественно те, кто не мог ничего другого. Уже через пять-шесть месяцев половина студентов отсеялась, половина второй половины, продолжая приходить на занятия, начинала подумывать о том, что насмешки друзей и родственников над выбранным ими учебным заведением, скорее всего, закономерны и что пора уже, видимо, заплатить за что-нибудь менее экзотическое. Надо сказать, учителя, увидев, что коридоры академии быстро пустеют, облегченно вздохнули все как один: перспектива воспитания экстрасенсов сотнями была единственным, что омрачало их — в принципе, лучезарное — существование здесь.

Сам Ратнер в аудитории пока не был: он убедил себя, что готовится к «главным боям» и что главные эти бои впереди, где-нибудь к третьему курсу, а с новобранцами ему, дескать, и говорить не о чем. Такая стратегия объяснялась отчасти еще и тем, что стеснялся он своих выдающихся подчиненных — известных, как оказалось, не в близких ему эстрадных кругах, а в далеких от него научных. В научные

же круги ему хода не было: оставалось только заниматься администрированием учебного процесса да удивляться, почему это здесь, в академии, его телевизионная популярность не возбуждает никого, кроме и так возбужденных от природы сотрудников бухгалтерии. Впрочем, у Ратнера хватало ума ими и довольствоваться, с завистью наблюдая за тем, как легкое облачко студентов вьется и вьетсяazole то Устинова, то Вилоновой, то Крутицкого, то Струнка... любимых студентами до обожания, а сотрудниками бухгалтерии и замечаемых с трудом: э-э-э, Крутицкий... это такой дедушка в панаме?

— Крутицкому замену придется искать, — сказал Коля Петров Ратнеру перед самой сессией.

— С какой стати? — ошалел тот. — Нам же студенты тут революцию устроят...

— Сломался Крутицкий, — развел руками Коля Петров, словно говорил о какой-нибудь механической игрушке. — С такой и стати...

41. ТЫСЯЧИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИВШИХ РУБЛЕЙ

Теперь пора было уходить.

А он все не уходил. Он все смотрел и смотрел на карту, не на карту даже — на черно-белую ее копию, к которой постепенно начинал привыкать. Правда, привыкалось трудно — не привыкалось, в общем, совсем, что уж греха таить! Сколько он прожил с разноцветным оригиналом... восемь лет, десять? Маше было пятнадцать, когда пропал ее отец. Пришел тогда к Пал Андреичу, карту на стол тихонько положил, кивнул ему и чуть ли не на цыпочках вышел — Пал Андреич знал куда. И догадывался, что — навсегда, но — молчал. Да и удержишь ли... вот хоть как и его самого сейчас, удержишь ли?

Пал Андреич снова достал из тайника (имелось у него в письменном столе специальное такое пространство, образованное спинками ящиков, не доходившими до задней стенки стола) сложенную ввосьмеро «простыню», которая даже на ощупь была другой, другой, другой... не-зна-комой, чужой, мертвой. Нет, Лев-то, конечно, сделал все, что мог, на небольшом библиотечном своем ксероксе: с самого начала понятно было, что карту придется копировать частями. Потом — помнится, целое воскресенье — Лев и Лиза с линейками, ножницами и клеем собирали эти части, сравнивали с оригиналом, подгоняли друг к другу. По размерам копия не отличалась от оригинала ни на миллиметр, только вот... раздражали Пал Андреича стыки. Он, конечно, об этом ни Льву, ни Лизе и словом не обмолвился, понимая, что как же без стыков-то, если из частей собрано... Но, наверное, стыки эти и сделали карту неживой: в живом стыков не бывает.

А карта Машиного отца, которую Пал Андреич теперь Льву на хранение отдал, живая была. Правда, своей жизнью жила — и не обращала внимания на то, в чьем владении находилась. То и дело доставая ее из тайника, Пал Андреич почти сразу начал замечать, что за время пребывания в столе карта как бы менялась, — возникало впечатление, будто некий неведомый картограф денно и ночью вносил уточнения, добавляя новые и новые детали, корректируя паутину площадей, улиц, переулков... перекрестков и мостов, парков и скверов. Эта работа, видимо, шла постоянно — и Пал Андреич в конце концов отчаялся регистрировать изменения, а просто наблюдал влюбленными глазами за метаморфозами. Карта росла, как ребенок: умнела, выросла, становилась сначала все более интересной и значительной, потом — все более противоречивой и парадоксальной. Потом с ней стало трудно находить общий язык, но Пал Андреич, собственно, не для этого был к ней и приставлен. Он должен был хранить ее — и он хранил. Как зеницу ока.

А вот с черно-белой копией уже несколько месяцев ничего не происходило. Вероятно, дело было еще в бумаге. Первоначальная карта вычерчивалась по гладкой и прохладной поверхности кальки, отчего вычерченное на ней словно бы постоянно танцевало, пританцовывало — чуть соскальзывая то в одну, то в другую сторону: квадраты вдруг трансформировались в прямоугольники, прямоугольники — в ромбы, стороны ромбов складывались, как веер, — и образовывали ломаные прямые, которые, тут же разъезжаясь в разные стороны, давали жизнь новым геометрическим фигурам, заставлявшим старушку Геометрию крепко задуматься. Впрочем, связь изображений с поверхностью кальки, тем не менее, оставалась достаточно прочной, и паутина улиц,

качаемая ветрами — то умеренным-до-сильного, то ветром перемен, — сохраняла в целом свои очертания. А вот бумага, использованная для копии, была какой-то шероховатой, что ли, рыхлой — по такой не танцуют. Изображения будто увязли в этой безысходной поверхности, полупровалились в нее... мертвый узор, выгравированный терпеливым гравёром, явно не хватавшим звезд с неба.

Но главное, конечно, стыки — грубые, не желающие повторять волнение карты прямые... Пал Андреич все водил по ним пальцами, словно стремясь разгладить их, разровнять по поверхности, придать бумаге исходную гладкость и прохладность, да какое там! Даром, что и пальцы не дрожали больше: вот уже несколько месяцев Пал Андреич не испытывал никакой потребности в спиртном и с удивлением взирал на батарею бутылок в закутке между стеной кухни и перегородкой прихожей. Как и когда случилось, что Пал Андреич перестал пить, он не помнил.

Ан — пора, пора было уходить.

«Я готов», — говорил он себе, но медлил, еще медлил. Хотя никаких оснований медлить больше не оставалось. Прихотливая, капризная, живущая своей жизнью и строящая сама себя карта Машиного отца, которая ничего не требовала от него, но ничего ему и не обещала, находилась теперь в надежных руках Льва... он хороший мальчик, его волшебник воспитал, научив Льва всему — не уча, не требуя отчета, не проверяя ни прожитого, ни запомненного. И Лев будет хранить карту Машиного отца — просто хранить, просто предоставлять ей пространство жизни, чтобы карте было куда расти. Лев обещал не показывать карту никому — правда, вот Лиза... Лиза тоже видела карту, держала ее в руках, но Лиза — это Лиза. Странно, что такая грубая

тавтология успокаивала старую его душу, да ведь успокаивала же!

А копия — черно-белая, неподвижная, мертвая — она звала. Она требовала, она обещала. Пойдем, говорила, со мной, пойдем туда, где ты никогда не был, — и я покажу тебе, как оно там. Я объясню тебе, что чем стало, что во что перешло и что куда переместилось. Ах, как будто бы он и сам не знал этого, как будто бы не догадывался! Да и давно, очень давно уже было понятно ему, что просчитался он, этимолог и скрипач Пал Андреич Мартынов...

Он ведь как представлял себе будущее: веселое и трепетное, оно должно было прийти из его Москвы, его *существующей* Москвы, и сказать: баста! И тогда существующая Москва, улыбнувшись, распахнула бы объятия и приняла в себя Москву не существующую: распрямившись, расправившись, разгладившись — как калька. И все, что съехало, сдвинулось, сместилось, нашло бы себе место в составе существующей Москвы, постепенно вжилось бы в нее, прижилось к ней, как новый побег приживается к старому стволу. Улицы его Москвы без обиды впустили бы в себя то, что торчало колом, не вписывалось, не встраивалось в архитектурный ландшафт. Паутина покачалась бы на ветру, потрясла паутинками, привела бы их в гармонию... — и можно было бы легко и спокойно жить свою жизнь дальше, ходить по неведомым улицам и привыкать к ним, переходить с неведомых на ведомые, гулять по ведомым и снова возвращаться на неведомые, не боясь заблудиться, исчезнуть, пропасть... экая была бы красота!

Но так не случилось, этимолог и скрипач Пал Андреич Мартынов, говорил он себе. Недооценил ты, говорил он себе, тяжелых этих, темных этих, душных этих лет, не увидел, как

быстро росла и набирала силу несуществующая Москва, не следил за картой своею! Это она, несуществующая Москва, теперь правила бал: поглотив его Москву и как раз в данный момент переваривая ее — перемалывая, дробя, измельчая... превращая в однородную массу, где терялись все следы исходных форм. То, что торчало колом, не вписывалось, не встраивалось в архитектурный ландшафт, перекорежило его, переломало и посягало теперь на самую память — память места, не ведая только, что память места неуничтожима, что она — язык. О, не так просто прокладываются новые пути, не так легко кроится и перекраивается пространство, не так беззаботно возникает новое на месте старого! Ребенок не появляется на свет раньше, чем ему дано имя. Книга не издаётся прежде, чем придумано заглавие. Улица не возникает, пока нет наименования. Город не строится до того, как его назовут. Ибо в начале было Слово. Ибо в любом начале *есть* Слово. Это оно, Слово, отвечает за то, как все у нас тут и почему все оно так.

Ничего нельзя переименовать. Имя дано один раз — и только одному предмету. Оно всегда с ним, и до тех пор, пока есть имя, есть и он. Никакой предмет никогда никуда не девается, он может только сместиться в сторону, выскользнуть в одно из многих — ах, многих и многих! — измерений многомерного нашего мира, отойти на второй план и сколько угодно долго оставаться там. Но ни один предмет не может исчезнуть, поскольку слово — прозвучало и поскольку оно не наше: оно было и оно есть у Бога, и оно есть Бог.

И нельзя «забыть наименовать»: нет имени — нет и предмета.

И нельзя «забыть наименованное»: не нами именовалось.

Да и защищено все на свете от забвения. Языком защищено: местом, где слово «правый» не может существовать, если нет слова «левый», где каждой Малой улице откликается Большая, каждой Верхней — Нижняя, каждой Северной — Южная... Так что пока существует Новая Басманная, существует и Старая, ибо только Старая Басманная дается в пару Новой Басманной, а не улица Карла Маркса. Улица же Карла Маркса появляется как отклик на имя, на понятно какое имя — и даже если занимает место Старой Басманной, то не уничтожает ее, а просто сдвигает, смещает в сторону, на второй план, в иное измерение. Где «Париж» и «Paris», «Warszawa» и «Warsaw», «Рим» и Roma — разные города, города-двойники, города-близнецы, пусть и неотличимые друг от друга, а не одно и то же: бок о бок стоят, друг друга подерживают...

— Вы не скажете, как пройти на Старую Басманную?

— Конечно, скажу... где-то здесь была, где-то здесь и есть!

А только вот... если нету ни новой, ни старой — тогда как?

Москва не существовавшая напирала со всех сторон, пережевывая и выплевывая целые районы, не говоря уже об улицах, переулочках, тупичках. Откуда ни возмись посыпались вдруг прежние имена: они сыпались вперемешку с нынешними, множа и множа районы, улочки, переулочки, тупички. Подходить к старожилам было бесполезно: они уже не понимали, где находится Большая Дмитровка, где — Пушкинская, только знали, что разные это улицы должны быть, но та улица, на которой мы стоим... — она, вроде, еще не Большая Дмитровка, хоть, вроде, уже и не Пушкинская.

Казалось бы, тайное наконец стало явным... да только не потому, что явное распростерло объятья тайному, а потому что тайное наступило на горло явному. И с этим надо было

что-то делать — не так ли, этимолог и скрипач Пал Андреич Мартынов?

Молодые... — им что? Лев, Лиза — они не в существовавшей когда-то, а в теперь только и существующей Москве освоились... думают, что так и должно, значит, быть. Что другие времена — другие песни! Ах-неправда-милый-Гейне-песни-те-же-что-всегда-слишком-быстро-вянет-время...

Я-то знаю, что так быть не должно.

Что ничего не сдается без боя.

А потому — в бой: за мою Москву, за память места, за Слово, которое было в начале!

Пал Андреич свернул карту и, достав ветхий планшет, аккуратно разместил ее там, как старый солдат — карту военных объектов неприятеля. Посмотрел по сторонам: телевизор, оказывается, включен, а в телевизоре — дым... Белый дом горит. Война ведь, опять война.

Из дому этимолог и скрипач Пал Андреич Мартынов вышел налегке: на одном плече планшет, на другом футляр со скрипкой. У подъезда — здравствуйте-Катерина-Ивановна — бесстыдно развернул карту и нашел на ней 8-ю Песчаную.

— Далеко ли, Пал Андреич?

— На войну, Катерина Ивановна.

— На какую такую?

Ах, Катерина Ивановна, Катерина Ивановна! Идет, значит, война. Не там, у Белого дома, где свои своих бьют, а здесь — рядом с Вами. Здесь существующее с не существующим столкнулось и не существующее одолевает существующее: нежить скрытая жизнь открытую одолевает. Так что без меня никак не обойтись!

Ближе к вечеру все многочисленные Песчаные были исхожены Палом Андреичем вдоль и поперек. Он подолгу стоял

в точках бифуркации, где одна Москва делала резкий поворот к другой, — стоял семафором, постовым, регулировщиком движения: знайте, дескать, пешеходы, знайте, автобусы и машины, что и сюда вот, направо, тоже можно... во-о-он улица, видите? Не хотите воспользоваться этим путем — он короче?

А назад идти — забыл как. Да и не на Песчаных он, вроде... впрочем, что за беда! С ним планшет, а в планшете карта: проходят, дорогие мои, проходят те времена, когда жизнь одних от жизни других изолировать можно было. Нет теперь ничего засекреченного, и он, этимолог и скрипач Пал Андреич Мартынов, — живое тому свидетельство.

Пал Андреич вынул карту и присел на скамеечку у автобусной остановки. Мимо проехал пустой автобус. Номер ноль. Пал Андреич усмехнулся: мутят, дескать, воду, сукины дети, — и разложил карту перед собой. Где же он тут... а-а, вот здесь значит! Хорошо-с...

Кончиком указательного пальца Пал Андреич повел по улице, на которой находился, — в направлении центра, поскольку второй своей стороной улица эта якобы обрывалась в пруд. Палец беспрепятственно двигался вперед... стало быть, к центру, и вдруг — стык. Грубый стык двух листов, склеенных хоть и точно, да не так, не по-аптекарьски точно — и ведь ровно посередине карты. Ах вы, Лев да Лиза, дети вы малые, неразумные!..

На стыке посередине смещалась география Москвы — и смещалась-то на пустык, на самую малость... да только не уловить уже было старыми глазами, где здесь справа тот волосок, который только что порвался слева: перепутались волоски, переплелись.

Пал Андреич аккуратно сложил карту ввосьмеро и направил ее в планшет.

Вздохнул.

Вынул скрипку и заиграл. Фибиха. Поэму.

Он знал, что завтра опять предстоит бой. Бой, в котором ему не победить — разве вот только смычком-между-мирами-логике-пространства-вопреки: так ведь учил его, помнится, волшебник один, Антон Петрович Фертов!

Пал Андреич Мартынов играл до темноты, и редкие прохожие осторожно бросали в его футляр деньги. Тысячи ничего не значивших рублей.

42. ЦЕ-ЛО-ВАТЬ-СЯ

...и появилась еще в те годы игрушка. Странная такая игрушка — Magic Eye называлась.

Лизе такую отец привез.

— Из Америки, — сказала она, смущаясь. — С ними ведь, со всем его кругом, все в порядке. С такими всегда все в порядке. Но дело не в этом. Смотри... У меня был целый альбом, но из него я оставила себе только один лист. Остальное в Пятаке расхватали.

Она протянула Льву листок картона, на котором, в рамке, были изображены пятнышки разных цветов, все неправильной какой-то — специально неправильной — формы. Изображение напоминало коврик.

— Что с этим делают? — спросил Лев.

— На это просто смотрят. Не вглядываясь. Если правильно, то есть опять же не вглядываясь, смотреть, можно увидеть в глубине более крупное изображение — я не буду тебе говорить, какое оно на этом именно листе... увидишь или нет? Я только за зрение твое боюсь. Но я не могла не принести!

Лев увидел более крупное изображение немедленно. Оно оказалось многомерным — словно располагалось в ящике, а не на плоскости. Прямо перед глазами находился большой шар в кольце, напоминавший Сатурн. Под ним — вершины гор, уходящие вдаль. Прямо у подножия гор — всадница с развевающимися волосами несется во весь опор на крылатом коне. И сделано было каждое изображение из «коврика» — разноцветной поверхности, заключенной в рамку.

— Я тоже довольно быстро увидела, — похвасталась Лиза. — А потом стала проверять, видят ли другие — и в Пятаке, и во дворе около дома у нас, где наркоманы и алкоголики. Стран-

ное дело, многие в Пятаке не увидели ничего... художники! Зато наркоманы с алкоголиками увидели почти так же быстро, как я.

Лев, не отрываясь, вглядывался в картонку.

— Кстати, хочешь знать, что Сэм, который всё кактусы галлюциногенные доит, говорил про мои Марьины рощи? Я ему рассказала о том, как Пал Андреич было удивился, а он мне: ничего особенного, дескать, это всем наркоманам известно и многим алкоголикам... И даже просто творческим людям: они, значит, видят, что не только Москва, но и вообще почти любой населенный пункт — многослойные. И что он сам слои видит — у него это от Кастанеды началось и от кактусов. Достать тебе Кастанеду?

— Я читал немножко... один том, кажется. И тот, по моему, не до конца.

Он продолжал всматриваться в рамку.

— Еще Сэм про московскую подземную жизнь рассказывал, про экспедиции туда. Если хочешь, можно организовать, чтобы и мы с тобой... Я просто подумала, что под землей оно все, наверное, еще виднее.

«Красная Шапочка со связями», — обычно подтрунивал над Лизой Лев. Лизу это не обижало: «Я и есть со связями, — смеялась она. — Так уж не повезло... где родиться!» Сначала она рассказала Льву, что происходит из неблагополучной семьи, — и у Льва засосало под ложечкой: Вера... «Безумный день»... браслет в форме веточки, который он хранит до сих пор. Вера так и не подала никакого знака.

Впрочем, скоро выяснилось, что Лизина «неблагополучная семья» неблагополучна в совсем другом отношении: папа на Лубянке, мама в Моссовете, бабушка с дедушкой делали революцию, но теперь, правда, смиренно лежат на Новодевичьем.

Так что Лиза была из «золотой молодежи» — правда, из той ее более чем немногочисленной части, которая скрывала «мажорность» свою как могла. А могла Лиза — блистательно: при виде ее об заклад можно было побиться, что уж к этой-то среде она ни в коем случае не принадлежит. Родители, конечно, крест на ней не поставили, но, заявив, что она «не в мать, не в отца, а в прохожего молодца», бросили все силы на воспитание Макса, младшего брата Лизы, пока еще подававшего те надежды, которые родители с ним связывали. Во всяком случае, Макс не ходил «во двор», к наркоманам и алкоголикам, — в отличие от Лизы, которую «во дворе» считали своей: она то и дело наведывалась сюда к Сэму, «паршивой овце в мажоре», как он сам себя называл. «Мы ведь, Лев, росли с Сэмом вместе, ты понимай это, ладно?» Лев понимал.

Выпавив как-то однажды все сразу, она больше без особой необходимости о семье не заговаривала и была благодарна, благодарна и благодарна Льву за то, что и сам он никогда словом не обмолвился о ее родителях.

— Да оторвись же ты от картинки-то... глаза пожалей! — спохватилась вдруг Лиза. — Лучше скажи, как насчет подземной Москвы. Сэм уже много раз ходил... там, говорит, целые толпы ночами разгуливают и открытия делают. Потайные линии метро, например, открыли, о которых никто наверху и не догадывается даже.

— Погоди с подземной Москвой, Лиза, — сосредоточенно сказал Лев, — тут важнее, тут такое... странное дело такое: когда я смотрю на изображение, глазам не больно вообще, даже наоборот... приятно, легко! Я знал, я всегда знал, что это просто — совсем просто. Главное не всматриваться. Мне это и дед Антонио часто говорит, когда мы с ним вдвоем, без тебя, по Территории ходим. Он мне

все время объясняет, что секрет именно в этом: не всматриваться. И тогда можно входить на Территорию и выходить с Территории где угодно. Тогда не надо знать никаких специальных мест, потому что Территория — она везде. Я принцип-то и сам давно уже понял: чем меньше всматриваешься — тем больше видишь. Я, когда сплю, как раз и не всматриваюсь совсем, понятное дело, а вижу — больше. Но принцип принципом, а вот на практике... ты погоди пока с подземной Москвой. Да и вообще ни к чему она нам с тобой, подземная Москва, — мне, во всяком случае, ни к чему. Мне такое обычно неинтересно...

— Какое?

— Ну, познавательное! Когда направляют усилия на... на объект, скажем, на любой объект — понимаешь? Если не направлять усилий, объект раскрывается сам.

— А про Территорию ты — в связи с Верой?

Лев любил Лизу и за это. За то, что Лиза принимала из его рук — всё. Она была предана Вере с первого же рассказа о ней. В Лизе просто вообще не было ничего дешевого: ни чувства собственности, ни ревности, ни мелочности, ни подозрительности, ни осторожности, ни-че-го — одна бесконечная открытость и доверчивость. «Но я же могу ошибаться, Лиза!» — иногда бунтовал он. — «А я предпочитаю лучше ошибаться вместе с тобой, чем быть правой в одиночестве». Вот тебе и... так.

— Нет, — потряс головой Лев и вдруг замер: он потерял изображение в рамке. — Не в связи с Верой: мне кажется, что Вера из моей жизни насовсем исчезла. Так бывает, что люди пропадают. Вот... Не в связи с Верой, значит, а в связи с картой Пал Андреича.

— К нему бы сходить... — затосковала Лиза. — Мне кажется, он одинокий.

— Его надо оставить в покое, он этого хочет. Мы не должны делаться его «семьей», если ему семья не нужна.

— Брось меня, Лев! — Лиза обняла его. — Мне иногда кажется, я такая дура, что это даже неприличнее, чем мое происхождение.

— Кто бы говорил! — засмеялся Лев, уже опять находясь возле Сатурна, гор и всадницы. — Ты рядом со мной Ломоносов. Я же «просто-темный-человек», вспомни историчку мою. Так и столько не знать, как и сколько я не знаю, — на это особый талант нужен.

— Что ты просто-темный-человек, с этим и не спорит никто. Даже Кастанеду дочитать не можешь, а там ведь... ну да ладно, не моего ума дело. Зато с тобой в мире не страшно, мне это важнее. Не бросай меня, ладно?.. Так насчет карты Пал Андреича — что?

— Насчет карты Пал Андреича... она ведь не на Территории делалась, а изображает — Территорию. Помнишь, я спросил Пал Андреича: как делалась эта карта? И он сказал, что не знает, а потом добавил: карта сама себя строит, сама себя чертит. Вроде, в шутку добавил...

— Страшноватая шутка-то, — поежилась Лиза.

— Человек, передавший карту Пал Андреичу, сам на Территории, похоже, не был никогда — иначе бы он не пропал там потом: уж кому бы, как не ему, Территорию знать! Но вот как он увидел Территорию и на карту ее нанес, на Территорию не заходя, — это вопрос.

— А дед Антонио что говорит?

— Деда Антонио я не спрашивал. Ты же только что свой Magic Eye принесла... — и наталкивает он меня на одну странную мысль. Но ты права: это, скорее, к деду Антонио. Ему, может, и правда видней, чем нам с тобой.

Проводив Лизу, которая ни разу за все это время не осталась на ночь, Лев по дороге домой вел с дедом Антонио долгий разговор, темный разговор.

— Есть странная игрушка, мне ее сегодня Лиза показала, называется Magic Eye, — рассказывал Лев, а дед Антонио слушал. Описать этот Magic Eye оказалось довольно трудно, но в конце концов дед Антонио, кажется, понял, о чем речь.

— Значит, — подытожил он, — чтобы увидеть крупные изображения, ты должен как бы не видеть мелких. Что ж... все сходится, Лев. Сам я сейчас, например, не вижу ничего, однако отсутствие прямого физического зрения почему-то не только не мешает, но даже помогает мне ориентироваться в пространстве. Видимо, зрение не столько способствует пространственному мышлению, сколько... сколько отвлекает. Известно же, что у слепых развивается иногда особый тип видения — необычайно точные представления о пространстве. Либо составитель этой потайной карты был слеп, либо умел не отвлекаться на видимое. В обоих случаях находиться на Территории, чтобы вычертить Территорию, ему тогда, вроде, и ни к чему было. И вообще, знаешь ли... любая карта — предмет мистический: чтобы вычертить ее в физическом мире, надо в идеале уметь висеть в воздухе и, рассматривая пространство сверху, наносить изображения на бумагу.

— Было время, когда люди не летали, но карты и тогда уже имелись, — сказал Лев.

— Так потому я и думаю, что всякая карта не столько срисована с действительности, сколько... увидена в духе. Если это так, то неудивительно, что карта, как ты говоришь, строит и чертит себя сама: дух-то не исчезает никуда.

— И все равно, деда... жутковато как-то, возвращаясь к карте, осознавать, что с момента твоего последнего обращения к ней, она изменилась.

— Все меняется с момента твоего последнего обращения — более или менее сильно, более или менее явно. Только не спрашивай меня, что тут первично — карта или ландшафт.

— Потому что ты ответишь: карта?

— Потому что я отвечаю: карта.

— Я не понимаю, — признался Лев.

— Я тоже, — вздохнул дед Антонио. — Но я это знаю. Теперь знаю.

— Как же тогда Машин отец мог пропасть на Территории, если... — начал Лев и услышал ответ, не успев договорить:

— Так же, как тот, кто способен гениально описать любовь словами, в действительности может не знать любви — и пропадает... погибает при первой же случайной влюбленности! Карта — это ведь только язык... но умение ориентироваться в языке не дает гарантий знания жизни.

— А что дает гарантии знания жизни?

— Смерть, Лев... прости меня за это. Слепота дает гарантию увидеть, глухота — гарантию услышать. С жизнью не может быть иначе.

Ох, долгий разговор, ох, темный разговор...

Пытаясь на следующий день пересказать его Лизе, Лев путался, сердился, начинал сначала. А Лиза, выслушав сбивчивый пересказ, вдруг легко вздохнула и произнесла:

— Жалко, что ты не рисуешь. Потому что рисующим — проще. Во всяком случае, некоторые из них знают: прямой взгляд на вещи ничего не дает, и рисовать имеет смысл только то, что видишь... в духе, как дед Антонио говорит! Я, вот, тоже думала про то, как же все-таки Машин отец карту вычерчивал, — и вдруг

поняла: так, как я мою Марьину рошу писала. Смотрела перед собой, а видела — внутри себя. И писала: не то, на что смотрела, а то, что видела. Потому что каждый наш глаз он и есть Magic Eye: ему через видимость пробиться надо, чтобы сущность увидеть. А тебе-то, с твоими глазами, уж и сам Бог *так* видеть велел! Прости, если это... если это примитивно.

— Пойдем, — сказал Лев. — Пойдем к библиотеке на 1-ю Усиевича — и оттуда начнем. Мне кажется, я уже знаю, как переходить из плана в план. Это нужно делать не глядя — просто будучи уверенным: здесь есть проход.

Они оделись и вышли на улицу: Лиза впереди, Лев — за ней. Она наизусть знала этот короткий путь и, подойдя к стене, привычно пошла вдоль нее, к лазу, через который они со Львом ходили всегда. Протиснувшись в лаз, обернулась: Лев не шел сзади. Лиза хотела было заглянуть за стену, но услышала сбоку:

— Жалко, что ты рисуешь! Потому что не рисующим — проще. Во всяком случае, у некоторых из них нет зрительной памяти!

— Как ты вошел сюда, Лев? — уставилась на него Лиза.

— Как нож в масло, — отчитался Лев. — Пробившись через видимость... то есть строго так, как ты учила.

— Одно дело — учить... — задумчиво сказала она и спросила: — «Чайку по имени Джонатан Ливингстон» принести тебе почитать, Ричарда Баха?

— Я начинал читать, — ответил Лев. — Но мне показалось, что это больше для орнитологов.

— Дурак ты, — засмеялась Лиза. — Дурак и темный человек.

— Пойдем в библиотеку целоваться, — предложил Лев.

И они пошли в библиотеку. Це-ло-вать-ся.

КАК ДЕЛАТЬ ЗРИТЕЛЕЙ НЕВИДИМЫМИ

Начните этот трюк с эффектной световой игры, попросив осветителей вращением разноцветных прожекторов выхватывать из темноты то один, то другой ряд в разных секторах циркового пространства — задерживая свет на каждом из них в течение нескольких секунд. К окончанию этой игры, стоя уже в центре манежа, произнесите:

— А теперь, дамы и господа, давайте познакомимся поближе. Как только я назову номер вашего ряда и название сектора, отвечайте мне, пожалуйста, хором: «Здесь!», — чтобы осветитель знал, куда ему наводить прожектор.

Пожалуйста, первый ряд, сектор А!

— Здесь!

Прожектор высвечивает первый ряд в секторе А каким-нибудь характерным цветом — например, красным.

— Первый ряд, сектор Б!

— Здесь!

Прожектор высвечивает первый ряд — например, синим.

— Первый ряд, сектор В!

— Здесь!

Прожектор высвечивает первый ряд сектора В — например, белым.

— Первый ряд, сектор Г!

— Здесь!

Прожектор высвечивает первый ряд сектора Г — например, желтым.

— Второй ряд, сектор А!

— Здесь!

Прожектор высвечивает второй ряд сектора А (последовательность цветов та же)

— Второй ряд, сектор Б!

— Здесь!

Прожектор высвечивает второй ряд сектора Б.

— Второй ряд, сектор В!

Молчание.

— Второй ряд, сектор В!

Повторите это два-три раза: пусть прожектор мечется по рядам, пока не «найдет» второй ряд сектора В. Ряд пуст: в нем нет ни одного зрителя.

«Спохватившись» во время поклонов, что во втором ряду сектора В все еще отсутствуют зрители, взмахом руки верните их на места.

Комментарий

Найти объяснение этому трюку не так трудно.

Понятно, что зрители второго ряда сектора В никуда не исчезают, — они просто перестают быть видны остальным зрителям.

Чтобы это произошло, поставьте барьеры: сперва звуковой, а потом световой волне — из-за этих барьеров зрители второго ряда сектора В сначала не услышат ваших слов и потому не ответят, а затем окажутся невидимыми.

Успешность трюка зависит от вашего умения сгущать слои воздуха на определенных участках пространства, с одной стороны, и умения создавать из этого сгущенного воздуха светонепроницаемый заслон перед определенными физическими объектами, с другой.

В заключение снимите оба поставленных вами барьера — и пропавшие были зрители снова будут видны окружающим.

43. Е. К.

— Мессия?

— Да нет, не мессия, а «Миссия»... это же разные слова.

— Религиозная, что ли, газета? От какой организации распространяете?

— Ни в коем случае не религиозная! И потом... мы не распространяем — мы дарим. А выпускается газета Ассоциацией журналистов под названием «Культура России». Возьмите, пожалуйста... почитать. Спасибо.

Лев остановился в подземном переходе к «Киевской». Двое хорошо одетых молодых людей — мужчина и женщина — с идиотскими улыбками, выдаваемыми за радостные, почти насильно совали в руки прохожим толстенную газету. Прохожие сопротивлялись, но не особенно дружно. У ног миссионеров лежало еще две аккуратных пачки.

Миссионеров почему-то было жалко.

Постаравшись улыбнуться им в ответ такой же или, по крайней мере, наполовину такой же идиотской улыбкой, Лев принял по одному экземпляру с каждой стороны.

— Хорошего чтения! — сказали ему в спину: это прозвучало не вполне по-русски.

Странно, что миссионеры говорили без акцента.

Оказавшись один в вагоне и усевшись строго в центре, Лев хотел было развернуть газету, но прямо перед собой, над дверью, увидел вдруг небольшую зеленую полоску с текстом и прочитал вслух:

Это наша общая «Миссия»

Газета независимой интеллигенции:
образование, культура, искусство.
Москва, Садово-Кудринская, 9, 565, тел. 244 80 26

— Смотри-ка, — сказал он, опустив глаза к газете, — действительно: «Миссия. Газета независимой интеллигенции». Четвертый выпуск. Как тебе, деда?

— Пижонский подзаголовок, — отозвался дед Антонио. — И название пижонское.

Лев листал газету. Огромные материалы — минимум на полосу. Эко развезло независимую интеллигенцию... Вчитываться не хотелось. На десятой полосе он задержался: «PETER MIRONOFF: Я ОЧНУЛСЯ В БЕРЛИНЕ»...

Прямо под строкой заглавия — огромная фотография.

Пети Миронова.

Печального клоуна.

Сколько же лет прошло?

— Скоро пять, — сказал дед Антонио.

Материал был подписан инициалами — Е. К. Интервью содержало одни ответы — ответы непонятно на что... вопросы не приводились: на их месте стояли многоточия. Прав дед Антонио насчет пижонства. Сбоку от интервью плавало по свободному полю (по свободным полям в этой газете все время что-нибудь плавало) знакомое Льву с детства пятистишие:

И вот однажды на заре
Вошел он в темный лес.
И с той поры,
И с той поры,
И с той поры исчез.

— В этой стране, видишь ли, люди иногда пропадают... — опять, как тогда, сказал дед Антонио.

На «Арбатской» народу, понятное дело, вгрузилось много. А на «Площади Революции» Лев выйти забыл...

— ...

— Надо сказать, что в России я впервые — за пять почти лет. М-да... уже пять. А чувствую себя как... да скорее всего, странно. Я ведь думал, никогда мне здесь уже не бывать. Даже более того: иногда вдруг начинало казаться, что нету на свете никакой России. Что вся эта Россия — одна фантазия. Впрочем, так оно, может быть, и есть.

— ...

— Конечно, я помню, что именно в России я родился и вырос... как такое забыть — да еще всего за пять лет? Но дело тут не в этом — дело тут в том, что, может быть, и сам я тоже только одна фантазия? Чья-нибудь... Может быть, на самом деле меня в реальности и не существует? Кто-то, например, взял и придумал всю мою жизнь... — Вас никогда такие мысли — по Вашему собственному поводу — не посещают? Меня вот всегда посещали — и когда я был здесь, и когда очнулся в Берлине.

— ...

— Вы знаете, если совсем честно, то по поводу того, как именно это случилось, у меня вообще нет никакой объяснительной версии. Кроме одной, но ею я с Вами фактически уже поделился. Я имею в виду, что, если меня кто-то придумал и всю жизнь мою придумал, тогда ничего удивительного в моем перемещении нет — ведь чего только не придумывают! А вот какие обстоятельства сопровождали мое перемещение — это уже совсем другой вопрос. Наверное, раньше я не стал бы отвечать на него, но сегодня... сегодня мне все равно. Перемещение произошло просто и быстро... я, видите ли, и до сих пор не верю, что оно действительно произошло. В какой-то день моей жизни, поговорив с двумя очень памятными для меня людьми... — нет, все-таки не буду называть их имен, на всякий случай, советская закалка! — я оказался в некоей части Москвы, о существовании которой тогда только начинал догадываться. До этого я очень мало знал про «закрытый город» — так я тогда для себя его обозначил. Да и откуда мне, собственно,

было знать, если географических подробностей этого города не было, похоже, указано нигде — ни в справочниках, ни на картах... не знаю, кстати, имелись ли тогда вообще в нашем распоряжении карты Москвы, да и не проверял я всего этого. Только однажды случайно забрел туда: свернул неправильно или как, я же не москвич... ну и заблудился. На силу вышел назад — через «Голофтеевский пассаж». Ну, вот... что-то подобное случилось и в тот день, про который я рассказываю: оказался в местах, мне совсем не известных прежде. Только найти обратную дорогу уже так и не удалось: помню, какое-то время промотался по этому закрытому городу, в конце концов вышел на площадь с триумфальными воротами — думал, Кутузовский... оказалось — Brandenburger Tor. Собственно, и вся история...

— ...

— Да я не то чтобы удивился — я чуть с ума не сошел! Представьте себе, что на моем месте — Вы: в другой стране, вокруг на непонятном языке говорят, знакомых — никаких, в карманах — пусто! Ясно было одно: надо срочно ближайший цирк искать — цеховая солидарность и все такое...

— ...

— Ой, нет, вжился ли я в страну и в язык — это скучная тема... Будем считать, вжился, что об этом говорить? Тут другое гораздо интереснее — какой я вообще опыт приобрел... Потребовалось ведь сначала убедить себя в том, что я не шизофреник! А дальше — что я отныне в любую минуту могу, видимо, оказаться где угодно, физически. И что любой толщины стенка между мирами игнорируется — легко. Мы существа, пространства — соединяющие... существа, скользящие из одного пространства — в другое, и там, в другом, рискующие — пропасть. Цирковой народец: дунул — и нет нас!

— ...

— А вот это хороший очень вопрос... Нет, конечно: едва ли, живя в Москве, я выступал бы здесь с сегодняшней моей программой: для

этого надо было, как минимум, между пространствами научиться скользить — хотя бы один раз скользнуть. Чтобы понять, как это, в сущности, просто. Меня даже удивляет, когда публика вдруг аплодировать начинает! Поверьте мне, каждый из зрителей это легко повторит. Иногда меня так и подмывает крикнуть: идите все сюда, в манеж, и попробуйте сделать, как я, — клянусь, у вас сразу получится. Но — воздерживаюсь, конечно... Ричард Бах, кстати, это очень точно сформулировал: «Надо понять, что ты уже прилетел». И — все. Правда, все! Больше в моих пропаданиях на глазах у публики нет ничего. Один шаг в сторону... в *другую* сторону — и тебя не видно.

— ...

— Но с предметами же еще проще! Им из одной плоскости существования в другую перейти — вообще никаких проблем, если бы мы им не мешали — в том смысле, что не заставляли бы их только в привычных для нас измерениях находиться. Мои «исчезающие предметы» — мячики, кольца, стрелы и все такое — никуда ведь не исчезают! Они просто забрасываются в иные системы координат: здесь ведь тоже... взмах руки — и предмет отправляется туда, куда пожелаешь. Часто другая трудность возникает — как их оттуда достать! Это дети очень хорошо знают: нет ничего проще, чем забросить мячик в чужой сад, а вот заполучить его обратно — задача посерьезнее! Если нет специального навыка по возвращению предметов или если он по какой-то причине не помогает — приходится лично отправляться за тем, что куда-нибудь зашвырнул...

— ...

— Нет-нет, никакой сложной метафизики, забудьте про всякую метафизику вообще! И физика, и метафизика — это только попытки объяснения мира, но ни в коем случае не условия существования в нем. Ведь, чтобы существовать, ни физики, ни метафизики не требуется: великое множество существ вокруг нас знать не знают ни о физике, ни

о метафизике, а пожалуйста — живут и здравствуют, зачем бы иначе они назывались «существами», «сущностями»?

— ...

— ... Да помилюйте же, человек на то и есть человек, чтобы как раз *это* понимать! А потом... если вам нужны *наглядные* примеры других измерений, то вот Вам измерение: наш с Вами разговор! Наш с Вами разговор — как случай существования в измерении слова, в измерении языка. Что такое, скажем, литература, если не иное измерение? Мы читаем литературный текст, погружаясь в него полностью: мы живем в нем, мы знаем, что в этой системе координат возможны вещи, которые невозможны за ее пределами. И почти у каждого — или просто у каждого — есть прочный навык ускользания туда, в *ту* реальность. Или вот... взять еще одну систему координат, о которой сейчас, на близком исходе века, только начинают говорить: так называемая — *плохо* называемая! — виртуальная реальность. Когда мы освоим ее, перед нами встанет все тот же праздный вопрос, который давно уже — во всей своей праздности — веками стоит применительно к литературе: *где* мы реальнее, подлиннее — здесь или там? В то время как мы реальны и подлинны — везде, просто нахождение в каждой системе координат есть *своя* форма существования.

— ...

— А ничего не надо *преодолевать*! Зачем нам вообще агрессивность там, где нет препятствий? Где все открыто, где миры — открыты. Где от нас не требуется ничего взламывать, никуда продираться, ни с чем сталкиваться — требуется только *скользить*! Скользить — меняя способы приспособления к окружающему, но не калеча окружающего и просто не трогая его. Пройти сквозь стену не значит взломать стену — это значит оставить стену именно что нетронутой, это значит пройти сквозь нее, ее — не потревожив. Ведь в противном случае — просто лоб разобьешь, потому как стена крепче лба, очевидно же... Если бы я понимал это в свое время, в моем распоряжении была

бы *вся* Москва, а не только общедоступная ее часть. Но я не понимал этого... и другие не понимали этого: что нас дурачат, что, используя нашу косность, перед нами возводят и возводят барьеры, которые мы сами — заметьте, сами — готовы видеть как преграды, и мы *видим* их как преграды. Но преград — нет, и простое осознание этого факта позволяет менять системы координат по желанию. Я делаю это на арене — правда, публика, аплодируя, ни на минуту не забывает: он клоун, ему можно! Но я не клоун.

— ...

— ...Спасибо, что Вы это помните! Хотя тот номер, «Я вам не клоун»... теперь я вспоминаю о нем с улыбкой: недоумевая, зачем мне нужны были пожарники с натянутым внизу брезентом, если достаточно было просто исчезнуть в воздухе... Впрочем, тогда я слишком боялся, что разобьюсь, — и разбился бы. Теперь страх пропал — и я не разбиваюсь. С тех пор, как я очнулся в Берлине, меня словно подменили... иногда мне даже кажется, что в Берлине очнулся не я, а кто-то другой!

— ...

— Учитель у меня был только один, да и с тем мне даже поговорить как следует не удалось. Но тем не менее научил меня всему именно он: Антон Петрович Фертов... Антонио Феери.

— ...

— Да нет, разумеется, — не исчезать в воздухе и не менять системы координат: это вопрос навыка. Он научил меня большому... Вот кто умел скользить между мирами — непринужденно и недемонстративно! С одним цветком в руках, с одной бабочкой на плече... Вы вот не поверите, но я все надеюсь на встречу с ним. Что он, например, как-нибудь появится в Берлине — хоть и у меня дома, на Knud-Laward-Strasse. Или необязательно там... мало ли где можно встретиться!

— ...

— Да хоть и в измерении языка — почему бы нет? Меня несколько смущает Ваша интонация... извините. Для меня ведь это измерение,

измерение языка, ничуть не менее реально, чем любое другое, а уж для Вас — журналиста! — оно и вообще должно было бы быть основным: или Вы полагаете, что существуете в другой системе координат? Тогда это печально... но пусть Вас это не задевает: я и вообще... печальный клоун.

P. S.

Продолжавшиеся восемь дней гастроли немецкого цирка «Ассорти» в Москве только что закончились. По мнению многих и многих, гвоздем программы стал русский эмигрант Петер Миронофф, лауреат трех международных конкурсов артистов цирка, предложивший зрителям короткую программу под названием «Ich bin schon da» («Я уже здесь»), где печальный клоун — именно в этом амплу работает Петер Миронофф — словно никак не мог найти себе места, постоянно возникая то на арене, то где-нибудь среди зрителей, то под самым куполом, то в оркестре. С такой же легкостью, с которой сам он перемещался из одного пространства в другое по ведомым только ему одному «потайным ходам», перемещался вместе с ним и цирковой реквизит — до тех пор, пока реквизиту не надоело следовать за печальным клоуном. С этого момента реквизит начинал жить самостоятельной жизнью — дразня печального клоуна своим появлением как раз не там, где в данный момент находился сам Петер Миронофф.

P. P. S.

По свидетельству нашего собственного корреспондента в Германии, такой улицы, как Knud-Laward-Strasse, в Берлине не существует.

Е. К.

44. ГОСПОДИ, ПОМОГИ НАМ

Трудно сказать, почему Лиза так спешила домой вечерами. — Лев, ты проводишь меня до метро?

Этот вопрос она задавала ему каждый раз — невзирая на то, что ежедневно он и так провожал ее, причем не до метро, а до самого дома. Нет, не до самого... — дотуда, где она говорила: «Спасибо-как-всегда!» — и, чмокнув его куда попало, убежала вниз, к набережной.

Так у них со Львом было заведено... — и бесполезно спрашивать — кем. Видимо, обоими — во всяком случае, никто из них не возражал. Они и вообще ведь не возражали друг другу, а как им это удавалось... об этом любящих не спрашивают. Они были *любящими* — беззаветно, навсегда, на смерть. Хоть никогда и не вели разговоров об этом: не было необходимости... да и не знали они, пожалуй, что обречены друг на друга с той самой встречи на не существовавшей Немецкой улице, полной шоколадно-марципановых шалостей, — иначе бы точно испугались.

Лиза начинала собираться домой около десяти. Лев знал, что ей пора, — и вопросов не задавал. Но, если бы задал, Лиза, скорей всего, ответила бы, не задумываясь: «Это правильнее». «Правильнее», наверное, и было: днем Лизу совсем не смущало постоянное присутствие деда Антонио где-то поблизости, а вот в ночное время... трудно сказать. Нет, Лиза не то чтобы ощущала его присутствие — она просто всегда знала: дед Антонио здесь, и так оно должно быть.

Недавно она говорила об этом с Сэмом, утащив его подалее от свиты. Лиза одна имела право обращаться с ним подобным образом — с ним, кого боялся не только весь двор, но и вся набережная — иногда даже казалось, что вся Москва.

Это, кстати, бес-ко-неч-но удивляло Лизу, никогда не понимавшую отношения окружающего мира к Сэму. Для нее он с детства был чем-то вроде плюшевой игрушки — только, конечно, не замусоленного зайчика какого-нибудь, а определенно огромного мягкого медведя, которого не столько любишь, сколько ему поклоняешься.

— Сэм, вот если все время кажется, что рядом с одним из друзей твоих кто-то постоянно находится...

— Ты бы кончала с загадками-то своими, — не дослушивал Сэм, — «с одним из твоих друзей!» Говоришь о Льве — и говори. Как будто я не знаю, кого ты в виду имеешь!

— Какая разница — кого? — сердилась Лиза. — Я тебе теоретический вопрос задаю, а не пережитым с тобой делюсь, психиатр!

— Пóнято, — бурчал Сэм. — Если кто-то постоянно рядом, это может быть личный эгрегор.

— Красиво — л-и-ч-н-ы-й э-г-р-е-г-о-р. — Лиза тихонько качалась на детских качелях: малявка малявкой.

— Причем тут — «красиво»? Нормальное название. Это что-то вроде покровителя души.

— Покровитель души... как ты у меня?

— Приблизительно, — обалдел, но не подал виду Сэм. — Под землю-то составить протекцию вам?

— Не, спасибо. Лев не хочет.

— Чего он вообще хочет, Лев твой?

— «Мой!» — Лиза даже засмеялась. — Если бы ты знал, насколько — не мой. Ничей Лев, дикий. Сам по себе. Вне всего.

— Таких не бывает, — поделился опытом Сэм.

— Я тоже думала, не бывает. Оказывается, бывает. Бывает — и ничего не хочет. Ни от кого. Высоко?

— Может, и высоко. Но, может, и нет... это зависит. А кто у него эгрегор? — Сэм подтолкнул Лизу в небеса.

— Секрет, — ответила она, спустившись к нему и снова улетев.

— Пóнято.

Сэм мог умереть за Лизу, и Лиза это знала.

Раньше она тоже могла бы умереть за Сэма, но теперь — не могла, хоть и относилась к нему в точности так, как прежде. И Сэм это знал. На его собственную готовность умереть за Лизу данное знание не влияло.

— Вообще-то я боюсь очень, Сэм.

— Ясное дело! Смотри, как бы опять экстрасенса не вызвали, порченная ты наша.

— Я же не этого боюсь!

— Ну, ты, мать, даешь... думаешь, я не знаю, чего ты боишься? После Ленор-то?

Лиза затормозила качели, чуть ноги не переломав. Довольно качаться, не маленькая.

Ленор пропала уже скоро как два года назад. Мир-без-той-кого-зовут-светлым-именем-Ленора... сокращенно — Ленор, а вообще-то — Лена Норден. Все с каникул приехали — Ленор нету. Она из-под Омска откуда-то была, даже адреса точного не знали. Сэм тогда словно перестал быть. Лиза кормила его с ложечки — как паралитика. Чуть ли не месяц с лишним. Потом он решил поджечь свою квартиру и пропасть без вести: подозревал, что все это папочки его рук дело. Папочки и папочкиных бульдогов, так Сэм подчиненных отца называл. Лиза и он были одного поля ягоды, «гэбэшные дети». Насилу образумила она его тогда... квартира-то при чем — книги, картины! А Ленор, конечно, страшной красоты была — тут ничего не скажешь.

Когда Лиза смотрела на нее, рот сам собой открывался: как такая красота возможна? Сэм делал вид, что это ему не мешало, но это всем мешало — даже прохожим на улице. Даже пассажирам общественного транспорта. И даже самой Ленор. Но Сэмов отец сказал вдруг: «Прекратить!». Как прекратить, почему? Ну, было потом еще два предупреждения, а всего — три, как в сказке. После чего Ленор исчезла — и из ВГИКа, и из общежития... причем следов — никаких. Папочка-то дальше уже только плечиками пожимал: дескать, при чем тут я-то, опомнись, сынку! В общем, ужаснее некуда.

— Я Льва всегда назад отправляю с полдороги, чтобы к дому не подходил.

— Ну, Ли-и-из... — Сэм сел на скамейку и обхватил голову руками. — Не будь ты этой... порченой — или как там тебя! Да уж всё сто лет как собрано на него, не сомневайся.

— На него нечего, совсем нечего, он асоциальный весь!

— Можно подумать, Ленор социальная была...

— Так время теперь другое, уже не так все... безнадежно. И потом, Ленор была — глаз не оторвать, а он обычный, вообще никакой.

— Ох, Лиз... все равно оставь ты его в покое, сослужи службу человеку! Я бы, ей-богу, к Ленор близко не подошел, знай я, что так все будет. И учти, мой папочка рядом с твоим... и с возможностями твоего — ноль, ну чего мне рассказывать-то тебе!

— А личный эгрегор?

— Личный эгрегор — это, конечно, серьезно, однако опять же — смотря кто у него личный эгрегор. И — зачем он при нем.

— А зачем они вообще-то бывают — охранять?

— Когда как...Ты же не говоришь мне ничего! Откуда я могу знать? Давай я женюсь на тебе, и все будут довольны... а ты от меня со Львом гулять будешь и ребенка в подоле принесешь!

Лиза обняла Сэма сзади, подбородок ему в плечо воткнула: эх, Сэм, Сэм, дескать... раньше бы тебе мысль эта пришла — может, и с Ленор ничего не случилось бы.

— Хотя ты, конечно, права насчет того, что время другое. Пусть и два года прошло, а все уже другое.

— Лев бы не согласился с нами. Он, наоборот, считает, что ничего не изменилось вообще. Если по очень большому счету.

— Если по *очень* большому счету, то... он прав. Но очень большой счет у кого же бывает... вот у львов только. Слушай, а ты уже его совсем хорошо знаешь?

— В смысле?.. — Лиза сняла подбородок с плеча Сэма и принялась ходить маленькими кругами. — Нет, совсем хорошо его нельзя знать. Только ты не думай, что он такой загадочный весь, — он, наоборот, скучным кажется. Ничего не читал как следует, не видел как следует... о чем ни спросишь, ну, из того, что людям обычно известно, — не знает. Такое впечатление, что он в заточении рос — и вся жизнь мимо него прошла. Мцыри... Телевизор не смотрит, радио не слушает, к газетам вообще не прикасается. А самое страшное — что интересов ни-ка-ких! Вообще — ни к чему. Разве... вот в Magic Eye совсем влюбился: который уж день оторваться не может.

— И... зачем тебе все это, Лиз?

Лиза ходила кругами.

— Как тебе сказать... Получается, что дело вдруг не во всем этом... читать, смотреть, слушать, трогать.

— А в чем дело?

— Я не знаю, Сэм... честное слово! Но в чем-то другом. Может быть, как раз в том, чтобы *не: не* читать, *не* смотреть, *не* слушать... руками *не* трогать! Только я до конца не уверена. Помнишь, я тебе мои «Марьины рощи» показывала? Хоть ты и говоришь, что все наркоманы так видят, но я-то не наркоманка, Сэм! А спроси меня, как я это увидела... ну, что город слоится, — я ведь не скажу тебе. Я не знаю как! Или вот... тебя возьмем: ты сильно-сильно продвинутый, так? Не возражай только, я серьезно сейчас говорю. В миллион раз больше моего перечитал, в миллион раз больше запомнил, знаешь слова точные и что они значат... типа «личный эгрегор» и так далее. А Лев ничего — ни-че-го! — этого не читал и не знает. М-м-м... — она сжала губы, словно пытаясь заставить себя собраться, — вот птицы летают, да? Но они не могут рассказать как. Мы, люди, можем рассказать, как они летают и как это вообще — летать, а сами — не летаем, понимаешь? Лев — он летает!

— По чему видно, что он летает?

— По *всему!* По тому, как он говорит, как ходит, как улыбается, как в окно смотрит...

— Ты сильно влюблена, — поставил диагноз Сэм.

— Да ни при чем тут это! Лев — он, понимаешь, *новый* человек. Люди такими когда-нибудь потом будут... если нам всем повезет. Когда-нибудь мы поймем, что не на то мы все ставку делаем и что знание — это не сколько книг прочитал, сколько выставок посмотрел, в скольких событиях поучаствовал... Но понимание такое после придет — после того, как мы *все* книги прочитаем, *все* выставки посмотрим, во *всех* событиях поучаствуем, — и в один прекрасный день нам станет ясно: дело не в этом.

— Ну, понятно: не-знание, не-делание... старые дзенские заморочки.

— Вот! Вот же, Сэм... это оно: что нам — нам с тобой и тем, кто вокруг нас, «посвященным», — *все-понятно!* И на всякую новизну, свежесть на всякую — у нас есть дзен, есть православная религия, есть Кастанеда, Сартр, Ошо... — а если без них? Без этих ширм, без этих страховок... как в цирке: на авось! Упадешь — прости-прощай, жизнь, понимаешь?

— Понимаю, — сказал вдруг Сэм и вздохнул. — Это от культуры у нас, от гребаной этой культуры, от просвещения! От Союза этого Советских Социалистических Республик, от... знание — сила. Посмотреть бы на Льва твоего, поговорить бы...

— Он говорить не любит, красноречие чуть ли не грехом считает.

— Нормально. Я тоже в последнее время на разговорчивых смотрю и думаю: «Насмерть бы тебе не заговориться!».

— Хорошая бы у вас с ним встреча получилась... сидели бы да глазами хлопали. А потом, он, по-моему, людей боится.

— Понятно — лев! Будь я лев, я бы тоже настороже был: кто их, этих людей, знает... Только тебе, мать, не позавидуешь. Потому как чего с этим всем делать — ох... По краю ходите вы, оба.

— Даст Бог, пронесет.

А больше Лизе и в самом деле надеяться было не на что. Она, в общем-то, знала: насчет всего происходящего прав Лев, а не она. Да, времена другие. Да, много чего стало можно. Да, да, да... Но из тех кругов, куда немилосердная судьба занесла Лизу, было видно и кое-что еще — то, что очень и очень мало кому было видно: ничего не менялось вокруг.

Мама скупала и скупала ваучеры и акции. Отец расширял отдел на Лубянке. «Остов слишком крепкий», — часто говорил Лев, когда она пыталась настаивать на том, что все-же-меняется-Лев!

Остов слишком крепкий. На него можно надеть новехонькое здание, но понятно же, *что* это за здание. И она, Лиза, придет к этому зданию на этюды — и напишет старые кости, видные на просвет, и ей скажут: «Какой глаз!» Ох-хо, мы обманутое поколение... Нас вырастили в этой стране, вырастили под *ее* потребности, приспособив к жизни *в ней*, — и как раз тогда, когда мы стали взрослыми, с-о-в-е-р-ш-е-н-н-о-л-е-т-н-и-м-и, выяснилось: страны, для которой нас вырастили и приспособили, больше нет. Что теперь будет с нами? Волки вырастили волчонка и сказали ему: живи среди овец. Зайцы вырастили зайчонка и послали жить среди лис. Вороны вырастили вороненка и отправили в курятник. Господи, помоги нам всем — волчатам, зайчатам, воронятам!

Господи, помоги нам.

45. И НЕ СТАЛО ДЕВОЧКИ

Две Москвы не сразу слились — и не в конце восьмидесятых, когда городские карты выпускать начали да улицы рассекречивать. Годы на это потребовались — даже в начале девяностых ничего еще не было ясно. Все казалось, будто возможно невозможное: что мы будем жить дальше, двигаться в обоих направлениях... ах, как смешно! Ах, как смешно, как глупо, как мило!

А ближе к середине девяностых — что ж, там многое было хорошо понятно, и выбравшаяся на поверхность тайная Москва уже вовсю орудовала в Москве явной, уже чувствовала себя хозяйкой положения, уже плевала на то, как-все-тут-у-вас-было... И поздно стало горевать, поздно.

Библиотека на 1-й улице Усиевича расформировывалась, денег на ее содержание не было. Фонды передавались, как жетсы, в ЦНБ. Лия Вольфовна отправлялась на пенсию.

— Что ты будешь делать, Лев? — строго спросила Леночка.

Лев пожал плечами. В библиотеке он проработал все десять лет после школы.

— Трудно сказать... я ж ничему не учился. Не умею ничего. Да и не хочу ничего.

— Ты убиваешь меня! — сказала Леночка Льву.

— Он убивает меня, — сказала Леночка Мордвинову. — У него паралич всех желаний. Что-то надо предпринимать... что-то предпринимать! Когда еще договаривались, чтобы Ратнер его посмотрел... Не удивлюсь, если ты к разговору с Ратнером так потом и не вернулся!

— Но революция же была, Леночка... а дальше уж как-то не до этого стало, прости.

— Ах, в этой стране всегда революция!

С Ратнером Мордвинов между тем и вообще тогда не говорил: понадеялся, что Леночка в конце концов забудет или откажется от этой своей затеи. А потом телесеансы запретили, ажиотаж вокруг Ратнера с годами прекратился, но Мордвинову было известно, что тот довольно долго целительствовал частным образом, а не так давно открыл какую-то школу для экстрасенсов при поддержке сверху — «очень сверху», как доложили Мордвинову. Видимо, более «сверху», чем полагалось знать директору НИИЧР. Однако в НИИЧР Ратнер продолжал приходить и старой стратегии института по отношению к нему и ему подобным никто еще не отменял... да и кому отменять, когда такое в стране!

Тем не менее, никак у Мордвинова не получалось пере-силить себя и небрежно бросить Коле Петрову на ходу: «Когда Ратнер в следующий раз объявится, пусть заглянет ко мне». Фраза эта была для него в некотором смысле противоестественной, поскольку все в институте знали: Мордвинов с кондукторами не общается. Кондукторам полагалось взаимодействовать только с прикрепленными к ним сотруdnиками — обычно одним, реже — двумя-тремя, а вот кто в институте начальство — об этом кондукторов, по понятным причинам, в известность не ставили. Единственным — кроме прикрепленных — человеком, общавшимся с кондукторами, был Иван Иванович, но и к его помощи прибегали только тогда, когда кондуктора требовалось «обработать».

Ивану Ивановичу-то Мордвинов и решил поручить разговор с Ратнером. Уже в ближайший понедельник позвав Ивана Ивановича к себе покурить, Мордвинов конфиденциально сообщил ему: есть, дескать, один человек — важный для института... и у человека этого психические проблемы.

Подозревают, что сглаз или другая какая хренотень. Требуется, стало быть, подключить Ратнера. Если он согласится, ему позвонят и договорятся о встрече: расскажут, куда прийти и зачем.

В пятницу исполнительный Иван Иванович доложил о том, что Ратнер ждет звонка, и в руках у Мордвинова оказалась визитная карточка с серебром по черному лаку: Академия Тонких Энергий (Школа Бориса Ратнера) — и все такое прочее.

Леночку Мордвинов поставил об этом в известность почти сразу же: он ужинал у нее в тот вечер. Она дулась, воротила от Мордвинова нос, почти не ела и произносила только то, без чего совсем уже нельзя было обойтись, вроде: «Салат мне сегодня не удался» или: «Мясо пережарено». Владимир Афанасьевич, поедая сначала прекрасный салат, а потом сочное мясо и причмокивая, только улыбался в ответ: козырь был у него на руках.

— Да, кстати, — некстати сказал вдруг он, в неудобном молчании допивая хороший кофе, — вот визитная карточка Ратнера. Разговор с ним состоялся, и он ждет твоего звонка.

— Моего? — оторопела Леночка, мгновенно забыв дуться и с ужасом глядя на визитную карточку, словно та могла, выражаясь языком Мордвинова, самовозгореться в его руках.

— Я подумал, что так лучше будет. Во-первых, — мстительно заперечислял он, — ты последнюю неделю совершенно невозможная была... так что мне показалось легче с Ратнером договориться, чем с тобой. Во-вторых, чего мне-то во всем этом участвовать? Мое дело — приказать. — Мордвинов положил визитную карточку на стол.

— Ты... ты прости, пожалуйста, за последнюю неделю. Я и сама знаю, что вела себя не очень...

— А-а, — махнул рукой Мордвинов, — не бери в голову. Для меня ведь во всем этом ничего нового нет... везде одно предательство и скотоложество!

Привычно пропустив не имевшее к ней отношения скотоложество мимо ушей, Леночка сосредоточилась на предательстве:

— Ты бы, между прочим, и сам мог спросить меня, почему я такая... совсем никакая. И я бы сказала, что очень за Льва переживаю... правда!

— Верю, — присягнул Мордвинов, повесив это «верю» в воздухе, прямо над головой Леночки.

«Верю» висело крепко, не падало, но ощущалось — тяжело.

Леночка двумя пальчиками взялась за визитную карточку и, посадив на хорошенький носик хорошенькие круглые очки, поднесла ее к глазам. Теперь она очень напоминала чуть постаревшую Катрин Денёв в фильме «Майерлинг» — в тот момент, когда Катрин Денёв сидит перед мольбертом и рисует городской пейзаж с натуры.

Женщины эффектнее Леночки не было в его жизни. И, подумать только, она все еще принадлежала ему... десять лет уже!

— Серебряное по черному, — любуясь карточкой, сказала Катрин Денёв по-русски и вдумчиво прочитала: — Академия Тонких Энергий. Красиво как! Ты этой академией заведешь?

— Я? — выпучил глаза Мордвинов. — Ты с ума сошла! Чтобы я *таким* заведовал... Я наукой заведу, а не чудесами в решетке.

Теперь настало время ему покапризничать. Он налил себе еще одну чашечку кофе, закурил и полуприлег на диванчик, соблюдая однако приличия — позою.

— Ну... — засмузилась Леночка, — ты же не рассказываешь, чем заведешь, какой наукой. *Всей наукой?*

— Практически всей... оставшейся, — не смог не прихвастнуть Мордвинов: уж больно приятно оно было — виноватая красивая женщина, хороший кофе, душистая сигарета... опять же диванчик шелковый.

Ну, если всей оставшейся наукой... тогда понятно, почему он Ратнеру приказывает. Приказал, значит, — и сидит Ратнер моего звонка ждет.

— А как мне с Ратнером разговаривать? — прикорнула на груди Мордвинова Леночка, не сняв очков и оставшись похожей на Катрин Денёв. — Как... как твоей приятельнице?

Мордвинов счел нужным усмехнуться:

— «Приятельнице»! Зачем ему вообще знать, кто ты мне? Ему приказ дан — прибыть на место происшествия, разобраться и помочь. Разговаривай с ним сухо, он же тебе одолжения не делает... — это ты ему, скорее, одолжение делаешь — тем, что к себе его подпускаешь. Да и потом, он давным-давно в немилости.

— У тебя в немилости?

— В частности, — огрызнулся Мордвинов.

Леночка рассмеялась:

— Не волнуйся, я, может быть, еще к себе его и не подпущу! Я только тебя к себе подпускаю.

— Не очень-то охотно в последнее время, — упрекнул Мордвинов, поморщившись от внезапной игривости Леночки. — Но дерзить ему, конечно, тоже не надо — на всякий случай. Он, говорят, пошел куда-то вверх... и там теперь не то

преподает, не то пророчествует. А твой разговор с ним — он просто деловой: ты заказываешь услуги экстрасенса — так же, как услуги парикмахера или сантехника. Ой, только носик не морщи... время у нас сейчас такое. Бездуховное. И не вздумай расстилаться перед ним: бывшая телезвезда и все такое. Ему и вообще-то недолго осталось.

Леночка заглянула Мордвинову в глаза: глаза спокойно улыбались, словно они и в самом деле решали, кому из нас — сколько ...

— Откуда ты знаешь... Что недолго — откуда знаешь? — Она приподнялась на локотке, больно упершись Мордвинову в грудь. Ему понравились и короткое ощущение боли, и легкий испуг в ее голосе: ему все нравилось в этот вечер.

— Знаю.

— Я не замечала, что это ты звезды зажигаешь, — вынужденно пошутила Леночка: в основном — чтобы не смутиться.

— Я и не зажигаю, — согласился Мордвинов. — Я гашу.

Тут уж Леночка встала с дивана: как-то не сильно нравилась ей теперь ситуация, только что безоговорочно приятная.

— У тебя проблемы на работе? — прощепетала она книжному шкафу, избегая смотреть на Владимира Афанасьевича.

— Пока, Леночка, я директор, проблем у меня на работе не будет. Вот у других институтов большие проблемы, и живут другие институты плохо. — Мордвинов хохотнул. — Умерли другие институты.

Умерли они, конечно, не все, но те, что не умерли, дышали на ладан. Сотрудники многочисленных НИИ разбежались во все стороны, стесняясь в других местах представляться как бывшие научные работники: данный род занятий стал вдруг считаться неприличным. За такую работу стыдно было даже требовать денег. Зарплаты выплачивали с опозданием

на пятилетку, причем чуть ли не тайком — прижимая сотрудников по отдельности в каком-нибудь углу и с очами, опущенными долу, всучивая им бывший в употреблении конверт с негодными к употреблению банкнотами.

Но, пожалуй, Владимир Афанасьевич Мордвинов был одним из действительно немногих, кто знал разницу в значениях слов «оборот» и «обиход», и понимал, что исчезновение денег из оборота отнюдь не означает их исключения из обихода. НИИЧР и не подозревал, с экстрасенсом какого класса в лице своего директора он имеет дело: Мордвинову для обнаружения денег в близком от него пространстве не требовались ни рамка, ни маятник, ни лоза. Он просто чувствовал, где оседают деньги и с ловкостью фокусника выколдовывал их, казалось, из воздуха. В НИИЧР на него молились, зная, что, потеряй они его, все тут рухнет к чертовой матери — как рухнет везде. До сих пор Мордвинов не уволил ни одного сотрудника, не сократил ни одной ставки, не отказался от услуг ни одного из кондукторов.

Впрочем, разгадка у этой загадки была намного проще, чем думали. Покоившееся на пятидесяти пяти параграфах божественное сооружение из пятидесяти пяти единиц рабочей силы, каждая из которых потенциально окружена пятьюдесятью пятью кондукторами, имело для Мордвинова настолько большую символическую ценность, что ради ее сохранения он был готов на все. Но никто не видел его лица, когда он спасал институт в тяжелых кабинетах и на легких яхтах, в тихих гостиничных номерах и на шумных тусовках, в закрытых клубах и на открытых террасах ресторанов, — лица, словно размазанного по тарелке и излучавшего лишь одно чувство: вечной преданности, причем все равно кому. Было понятно, что в это лицо можно плевать, по нему мож-

но хлестать нагайкой, его можно топтать сапогами, и так же сладострастно будут гореть глаза и так же чувственно причмокивать губы, ибо все пройдет, а вечная преданность не пройдет, но только умножится...

Поразительно было еще то, что деньги не переводились и в близком кругу Владимира Афанасьевича. Все знали, что его полногрудая жена вот уже два-три года занята исключительно тем, что досконально изучает Европу — страну за страной и, кажется, в алфавитном порядке, а художочная дочь столько же лет учится не то в Лондоне, не то в Париже не то на менеджера крупных предприятий, не то на фотомодель крупных рекламных агентств.

О Леночке, тоже оставившей работу в цирке (перед уходом она ассистировала жонглеру со странной фамилией Петридзе) и с удовольствием находящейся на содержании Владимира Афанасьевича, вроде бы, не знал никто... — так, во всяком случае, Мордвинову хотелось думать. Ему до смерти нравилось, что он сумел все-таки *сломать хребет* Леночке (так он называл это про себя) и дал ей понять следующую простую вещь: смысл ее жизни не в том, чтобы показывать себя людям и выслушивать аплодисменты, а в том, чтобы безраздельно принадлежать одному человеку и постоянно находиться в его распоряжении. Мордвинов был уверен: Леночка прекрасно осознает, что она просто поменяла место работы — прежде работала ассистенткой жонглера, теперь работает любовницей чиновника. Да, раньше, на старой работе, у нее не было круглосуточной занятости, но там и не платили ничего. А здесь, на новой, платят много... очень много. Во всяком случае, столько, что можно не отказывать себе ни в чем.

Она и не отказывает.

А то, что новая работа требует постоянного присутствия на рабочем месте (Владимир Афанасьевич любит нагряться неожиданно), так Леночкино нынешнее рабочее место — ее же собственная квартира! Кстати, и отлучиться ненадолго не возбраняется: позвони только работодателю — и отлучайся ненадолго.

Сейчас, откинувшись на шелковую спинку диванчика, Владимир Афанасьевич покурил себе дорогую сигаретку, поглядывал на красиво задумавшуюся Леночку и размышлял вот о чем: сколько бы ни говорили, что так жить нельзя, жить так можно. Как бы ни повернулись события, в одном он был уверен: способность добывать деньги ему во веки веков не изменит. А она-то как раз сейчас и востребована — сейчас и лет на двадцать вперед, а двадцать лет очень похоже на «веки веков». Аминь.

Леночке становилось отчего-то все хуже и хуже. Она заметила, что так и держит еще в руке визитную карточку Ратнера... — полупогасшей звезды, с которой она провела столько головокружительных часов у экрана и которая скоро совсем погаснет. А виной тому будет Владимир Афанасьевич.

В тот же самый момент она — артистка я или кто? — обошла диванчик, обняла Владимира Афанасьевича сзади и, приложив пылающую щечку к его плечи, попросила самым трогательным из своих голосов:

— Расскажи мне о своей работе, а?

И — растаял Владимир Афанасьевич Мордвинов, ибо ангел был над его плечом.

— Ох да ладно, деточка, что это за темы сегодня!.. Работа плохая, скучная, низкооплачиваемая... иди сюда, вот так, умница... собираем экстрасенсов по всей стране да изучаем, тоска... до чего же я люблю этот диванчик, нигде больше нет

такого... во-о-от! А как изучим, так и — в расход, чего ж еще с ними... ха-ха! Образно, конечно, выражаясь — «в расход»... подожди-подожди, не торопись так, продли мгновение... хотя образно-то образно, да пропадают они потом куда-то с лица земли — один за другим, один за другим, один за другим!

После ухода Мордвинова, заперев дверь, Леночка обвела гостиную глазами и возненавидела ее. Надо было где-то достать свечку. Достать и зажечь. Неизвестно почему... просто так: достать и зажечь свечку. И, может быть, тогда все изменится. Где-то в туалетном столике, помнилось ей, была у нее свечка — в виде девочки в длинном белом платье, отец с итальянских гастролей привез, давно, и Леночка поклялась свечку никогда не зажигать, девочку жалко...

Теперь Леночка погасила весь свет и зажгла девочку.

Девочка светилась изнутри и таяла.

Она сгорела быстро. И не стало девочки.

46. ДЕМОКРАТКА

А вот карта у него как следует не получалась: Владлен Семенович просто измучился весь. Сначала ему показалось, что это очень просто: бери лист бумаги потолще — и рисуй. Начинай с того района, который знаешь — вот хоть с 4-й Брестской, и, осваивая близлежащие пространства, постепенно пририсовывай к ней менее известные тебе. Так и будет расти твоя карта: день за днем, месяц за месяцем, год за годом...

Замысел же был вот какой: если письма Владлена Семеновича все равно не доставляются по назначению, а попадают черт-те знает куда или пропадают черт-те знает где, пора прекращать это дело. Вместо того чтобы каждый раз мучиться над формулировками, приспособивая их то к одному, то к другому адресату, всего-то и надо составить карту местности во всех ее отвратительных подробностях и предъявить эту карту куда следует.

Вот только куда — следует? На дворе конец девяностых, во круг сплошные демократы... демократ на демократе и демократом погоняет. Разобраться в том, почему и с каких пор все в этой стране стали демократы, не дал Владлену Семеновичу Бог ума. Он и вообще Владлену Семеновичу ума не много дал — зато чувства дал много. Бóльшую часть даденного Богом чувства Владлен Семенович в последнее время употреблял как раз на нелюбовь к демократам. И не любил он их настолько сильно, что применительно к прочей окружающей действительности в распоряжении его оставалась в конце концов совсем маленькая часть чувства — чувства этого, по совести сказать, не хватало даже на то, чтобы с чувством пивка выпить.

От демократов между тем отбою не было: так и вились во круг Владлена Семеновича, что твои мухи! Даже все кассирши

на станции «Белорусская» были демократы, даже все машинисты метро, да какое там... пассажиры — и те! А на днях он на Тверской в ларьке «Известия» покупал — так одна мерзкая такса мужского пола, из подворотни какою-то тучною бабою выведенная, чуть Владлену Семеновичу в ногу не вцепилась... Баба таксу насилу удержала: та на поводке извивается, пеною чисто-гайд брызжет, асфальт ногтями скребет — ну вылитый демократ!

Только вот... если не к демократам карту нести, тогда к кому? Похоже, что других-то теперь и нету никаких. Вот, значит, незадача. Метрополитен — и тот ихний теперь, все теперь ихнее. Хотя... куда торопиться: карты ведь как таковой нету еще, не дается сволочь-карта, сопротивляется! Едва лишь Владлену Семеновичу покажется, что тот или иной район им целиком охвачен, — баба-а-ах: откуда ни возьми переулочек лишний выворачивается и давай все путать. Переулочки — они самое подлое явление жизни и есть, это Владлен Семенович теперь точно знает. Он и раньше-то переулочки никогда особенно не жаловал, а уж теперь — просто на дух не выносит.

Да и вообще... вот, прочитал Владлен Семенович в исторической литературе, от которой теперь сам не свой был, что как раз всякие такие переулочки и суть самый настоящий пережиток прошлого капитализма! С восемнадцатого века до начала двадцатого — до революции, значит, победоносной — их, переулочков, ужасное количество в Москве наблюдалось, чуть не к тысяче штук в конце концов подошло, а улиц — в два раза меньше. Однако в советское, значит, время стали с переулочками бороться: раскусили, слава Богу, хитрую эту породу. И еще говорилось в исторической литературе, что потом, к началу восьмидесятых

нашего уже веку число их, вроде как, сильно поуменьшилось — до 700 штук дошло, при том, что улиц в два раза больше стало: честь и хвала, говорилось, строителям Москвы.

Да только не получалось все равно по-книжному... — это открытие Владлен Семенович сам сделал. Потому как переулочки — точно сорняки: сами собою размножаются, поди за ними поспей! Строители Москвы один уничтожат (скажем, в улицу преобразуют), а на его месте — два новых... Спасоглинищевский, вон, в улицу Архипова превратили, так, что ж — избавились от Спасоглинищевского? Ничуть не бывало: тотчас вокруг улицы Архипова Глинищевские переулки невидимо плодятся принялись: 1-й, 2-й, 3-й... числа им несть! Как — «не заметил никто»? Кому надо — заметили, домов настроили, специальных людей в них населили, и те живут в ус не дуют. Да и сам Спасоглинищевский, вроде, вернули уже... устали, значит, сопротивляться.

Владлен-то Семенович — он все на карандаш берет, никакого непорядка не терпит: на карте на его — пусть и плохонькой, пусть и не в масштабе — эти безобразия с Глинищевскими давно зафиксированы уже, и нету больше никакого за ними секрета! Вон, вьются, враги человеческие, друг к дружке приплетаются...

Беда только, что ума ему не дал Бог — потому и умения не наблюдается у Владлена Семеновича: откуда ж умение без ума, когда всякое умение от ума и происходит? А умение-то ему ой как сейчас пригодилось бы: тогда не вились бы на его карте переулочки, не приплетались бы друг к дружке — стройно бы стояли, аки патроны в патронташе. Но — ах, не дюж Владлен Семенович, хоть и за гуж взялся. Не мил ему

гуж, тяжел. Видимо, по-другому богоугодное это дело делают — карты составляют... Иным каким-нибудь органом, которого нету у Владлена Семеновича, хоть ты тут лоб расколи. Пронизывает орган этот зрячий, видимо, насквозь — целый район пронизывает, город целый, область целую, если не — страшно сказать, дух захватывает! — всю планету нашу многотрадальную... пронизывает, значит — и чертежнику всю правду рассказывает.

В общем, карты — дело нерукотворное, а у Владлена Семеновича — руки одни, ничего, кроме рук... Да и руки — крюки: вон как пространство московское — причем не всей Москвы, центральной только! — пальцами масляными захватили, карандашами твердыми исчертили, ластиками грязными затерли, горе одно. Впрочем, опять же, кому надо — тот разберется. Тот увидит в грубых линиях, в перепутанных — Владлен-Семенычеву правду, тот простит ему все за правду его. И подойдет однажды к двери Владлена Семеновича: «Открывайте, труженик! Открывайте, открывайте», — и обнимутся они у двери, точно два старых солдата, и сокрушат переулков племя вражье.

Бродил тут как-то Владлен Семенович возле Лялина переулка — в непорядочности переулок, стало быть, подозревая — и набрел на странное: на институт мозга набрел, переулок, значит, Обуха, дом 5! Аж в глазах помутнение случилось: совсем ведь другой институт мозга-то... а они говорят! Так на табличке и стоит прямыми словами — не НИИЧР никакой, хоть четвертичного рельефа, чтоб его, хоть человеческих ресурсов, но «НИИ мозга Российской Академии медицинских наук», в 1928 году основанный! И понял Владлен Семенович — сердцем понял, вмиг замерцавшим: этот вот Институт мозга

самый правильный институт мозга и есть. Прямо как гора с плеч упала! Имеются еще, значит, верные в стране заведения, не всё еще, значит, демократы у нас отобрали, ни дна им ни покрывки...

Владлен Семенович в сам институт, конечно, не пошел: устыдился своего невежества, но адрес запомнил аккуратно, на самое что ни на есть дно сердца своего положил, и сердце на ключ запер.

Домой возвращаясь, взгляд нарочно неприятный на дверь квартиры № 3 бросил да незаметно в сторону квартиры и плюнул — не слюнями, конечно, воздухом одним: знаю теперь, дескать, твою тайну, квартира три! Не настоящий там, за дверью, институт мозга, а так — мóрок один... оборотни, упыри собрались, делают вид, что работают. А сами наваждение одно производят: как и всё-то в Москве № 2. Но недолго тебе, квартира три, гения праздновать: и месяца не пройдет, как выметут на улицу всю поганую нечисть — и помещение тщательно проветрят.

Владлен Семенович даже водки по такому случаю выпил — «Бруньков».

Свершилось, значит! Теперь карту и не доканчивать можно: все как есть в настоящий НИИ мозга, на Обуха, послать, а уж они там люди мозговитые, сами разберутся что к чему, — недаром, чай, семьдесят лет существуют-думают... небось, развили мозг до полной своей неузнаваемости. Поглядят на скромное и недоконченное творение Владлена Семеновича и вмиг все поймут: это какой же тут у нас, скажут, 3-ий Глинищевский, когда даже и 1-го быть не должно? И — сразу запретят безобразия, а уж кого-кого — директора НИИ мозга власти-то наши безмозглые сразу послушают. Вытянутся по струнке: дескать, есть, ваше превосходительство,

все глинищевские незамедлительно уберем. «Да так, чтобы духу их не было!» — скажет НИИ мозга... директор, то есть, — и не будет духу. Пойдешь по улице Архипова — все вокруг хорошо, правильно, прямо, никаких ответвлений!

Но в первую-то голову, конечно, самозванным институтом мозга займутся: придут туда вместе с законодательными и исполнительными органами и — ррраз: все свои права на мозг и предъявят. Это как же, скажут, здесь институт мозга, когда правильный институт мозга по адресу «город Москва, переулок Обуха, дом 5» располагается? Что это вы тут, товарищи, институты мозга плодить-то начали, когда такой институт только один в стране и может быть — как Высшая Мыслящая Инстанция! И сразу законодательные, значит, органы, издадут закон, самозванный институт мозга отменяющий, а исполнительные органы прямо на месте этот закон и исполняют: пинком под зад, так исполнительные органы всегда поступают. А Владлен Семенович будет, стало быть, через глазок всем этим делом любоваться да посмеиваться: поделом вам, упыри-оборотни!

Тут Владлен Семенович даже вздохнул глубоко, до самого сердца: эх, жалко, жалко, что не дал ему Бог ума — иначе бы, конечно, он и раньше понял, в какую сторону свои поиски направить! Потому что не может всего этого, господа хорошие, быть: в такой большой стране — и одни демократы остались. Тут еще ой-ёй-ёй сколько всего осталось — правильного, с прошлых времен. Вот — пожалуй-ста: НИИ мозга. Высшая, значит, Мыслящая Инстанция. Места просто знать надо... может, где ни то и НИИ сердца существует — да как же не существует, когда точно существует! Это со старого времени, конечно, все осталось:

есть, небось, НИИ каждого органа, продумывали такие вещи в прежние дни. Вот решит Владлен Семенович все с мозговыми делами — и остальным в стране займется. Потому как эта действительность вокруг не только неразумная, но еще и бессердечная: вон сколько пенсионеров милостыню просит, Владлен Семенович всегда дает, когда мелочь есть! А на бессердечность у нас тоже где-нибудь в Москве № 1 институт имеется — НИИ сердца Академии... э-э-э... Сердечных Наук. И НИИ печени имеется — против злости... против человеческой желчи, то есть. И НИИ опорно-двигательного аппарата найдется, и НИИ брюшной полости. И даже, чем черт не шутит, НИИ мочеполовой системы — чтобы всей этой полово-сексуальной распущенностью управлять... на девок-то посмотрите молодых, совсем обнаглели: курят, одеваются! Они, эти НИИ, затаились, конечно, до времени, но оправятся после беспорядков, дай только срок, — и запретят... не всё, конечно, но одни только негативные явления нашей действительности!

Да-а-а... размечтался Владлен Семенович, пора бы и честь знать. Отер он с лица быстрые старческие слезы, взял себя в руки — надо теперь карту попридирчивее рассмотреть да на почту, а адрес известный — в сердце, на самом дне, лежит: город Москва, значит, переулок Обуха 5. Только, как ни крути, а письмо небольшое приложить придется: люди-то они там мозговитые, да только совсем уж без поучения и с ними нельзя: вот, дескать, посмотрите, составил я карту правильную...

«Дорогой НИИ Мозга Академии Медицинских Наук, — начал выводить аккуратные буквы Владлен Семенович, — большое Вам спасибо, что я обнаружил Вас по переулку Обуха

в доме № 5. Это мое Вам последнее письмо, потому что из других мест мне никогда не отвечали, а только милицию один раз прислали, остальные же разы и совсем меня игнорировали.

Теперь я обращаюсь к Вам на правильном пути: Вы во всем разберетесь и свой строгий, но справедливый суд вынесете.

О себе, как раньше, ничего писать не буду, потому что есть я человек маленький, незначительный, простой и чернорабочий всех имеющихся в столице беспорядков, и имя мое, Владлен Семенович Потапов, ничего Вам, конечно, не скажет. Но сначала я пытался словами все объяснять, а теперь не буду, потому как незачем. Я только скажу, что развелось у нас в стране через всякую меру упырей, оборотней и других отрицательных явлений, однако я узнал и нарисовал, где все они находятся. Они находятся на карте (см. ее). Вы уж простите, что я плохо нарисовал, но ума у меня нету (большого), нет и умения, только это неважно, когда Вы на карту мою посмотрите, все будет понятно.

А на одно я убедительно прошу обратить особенно неукоснительное внимание — на улицу 4-ю Брестскую, где я сам имею такое несчастье жить, прямо рядом с главным в стране безобразием, то есть институтом мозга. Не подумайте, что я имею в виду Вас, потому как я имею в виду совсем другой институт мозга, самозванный, а не как Вы, с 1928 года советского социалистического времени. Я ничего про этот институт мозга (самозванный, но не Ваш) говорить своими словами не буду: приезжайте сами с законодательными и исполнительными органами и разберитесь на месте, по какому такому праву данное исчадие ада рядом со мной существует. А был я коммунистом, и теперь, может быть, это надо

скрывать, но я не скрываю. Я и в текущий момент коммунист, только уж один из самых последних оставшихся. И мне за все эти отрицательные явления стыдно и по-человечески больно.

На карте я вышесказанный институт отметил жирным крестиком: посмотрите на правую сторону и убедитесь. С этого Вам надо начинать, а я напротив живу в квартире и чем могу — помогу, если надо. Потом же, после этого института, можно и с другими местами в Москве разобраться — и все их или подавляющее большинство запретить.

А карту я сам нарисовал, потому что остальные все карты неправильные и неточные — они только скрывают подлинную столицу и ее незаконных обитателей, как тут, на 4-й Брестской, где все обитатели незаконные, подобно и Марьиной роще.

Письмо я написал короткое из-за того, что Вы там умнее меня и все сами лучше поймете.

С бывшим коммунистическим приветом,
Владлен Семенович Потапов.
Москва, 14 января 1998 г. »

— Заказным, девушка, и ценным, — бодро сказал он на Главном почтамте, когда подошла его очередь к окошечку. И — в ответ на вопросительный взгляд девушки лет шестидесяти — добавил: — Я теперь почте тоже не верю. Я ничему теперь тут у Вас не верю.

— Нельзя сразу заказным и ценным, — смутилась девушка. — Можно или только заказным, или только ценным.

— Наделали правил, суки! — грубо сказал Владлен Семенович и принялся разбираться: чего это она тут себе сидит-воображает... демократка.

47. В ОБЩЕМ, РАССТАЛИСЬ ДРУЗЬЯМИ

— Доброе утро. Меня зовут Елена Антоновна Фертова. — Голос звучал хорошо, прохладно. — Вас должны были предупредить, что я позвоню. Я хотела бы пригласить Вас к одному мальчику... молодому человеку, моему сыну, его состояние меня беспокоит. Да, его зовут Лев... Вам уже рассказали? Нет-нет, не на Усиевича пока, сначала мне нужно бы с Вами наедине поговорить — Вам удобно как-нибудь заглянуть ко мне, я совсем в центре живу? Сына не будет, у него своя квартира на Усиевича как раз, я именно поэтому. Если Вам по какой-либо причине неудобно ко мне... Ну спасибо, буду Вас ждать. Адрес такой...

Уже положив трубку, Леночка сообразила, что они не договорились о дне и времени. Между тем как к такому приходу сильно готовиться полагается. Она прошлась по гостиной, в которой вот уже сутки как все было переставлено, поправила колокольчики в вазе и, потряхнув головой, сказала им: «Всегда готова».

Когда придет — тогда пусть и приходит. Интересно посмотреть на него теперь. Сколько уже, как он не на телевидении? Ой, много. А ведь и не будет уже на телевидении... это когда ж указ президента вышел! Тоже не вчера. Эх, Ратнер, Ратнер, Прометей поверженный...

Прометей пришел через несколько часов, вечером того же дня.

Он не то чтобы проявлял чуткость — упаси Боже. Этого за ним и сроду-то не водилось. Ратнера просто до невероятности удивляла ситуация, в которой он оказался: вот уж точно, подобные вещи раз в жизни случаются. Дело в том, что почти одновременно — из института и из комитета разные

люди попросили его заняться одним и тем же человеком — и весьма молодым человеком... Но якобы страшно важным для обеих сторон. Точных сведений о нем — кроме имени и адреса — пока не дала ни одна сторона, а без этого Ратнер в гости не ходил. С некоторых пор он предпочитал перекладывать ответственность за диагноз на приглашающую сторону. В данном случае диагноза не было. Однако сегодня, кажется, обещал появиться.

Мамочка оказалось чудо как хороша, причем глаза ее были Ратнеру чуть ли не знакомы... Именно этот взгляд вот уже несколько лет не то чтобы *преследовал* его — экие еще литературности! — но постоянно возникал в памяти... видимо, все-таки в памяти, поскольку больше неоткуда было ему взяться. В Елене Антоновне — нет-нет, пожалуйста, просто Елена! — чувствовалась порода-черт-возьми... что бы ни вкладывать в дурацкое это слово: посадка головы, шея, плечи, спина... м-да, заказчики — определенно новые русские — выбирают себе в спутницы лучших из лучших. Суетливости в ней не было и следа: хорошее, в меру терпкое рукопожатие, точная речь... и странная усмешка — производившая впечатление подавленного когда-то очень давно хохота.

— Проходите, пожалуйста, Борис Никодимович.

— Тогда уж и Вы мне говорите просто Борис, — разрешал было Ратнер, но услышал в ответ сдержанное:

— Нет, я Вам не смогу. Извините.

Интонация была такова, что возражать стал бы только идиот-от-рождения.

Елена угощала символическим чаем (зеленым, бррр) с символическим печеньем — тонюсеньким... при этом чашки, ложки, скатерть и вообще все, что попадало в поле зре-

ния, мгновенно опознавалось Ратнером как приобретенное когда-то на той стороне Москвы. Самому ему в свое время перепало оттуда только чуть-чуть, когда сторона уже начала сливаться с этой, но крепкие блага из другой Москвы он всегда умел определять с первого взгляда. Определять — и не путать их с дорогостоящими эфемерностями дня сегодняшнего.

— Спасибо, что Вы нашли время, — сказала Елена. — Я знаю, Вы сильно заняты: академия, институт, выступления, поездки... телевидения вот, жалко, нет больше.

«Ничего себе уровень осведомленности... только мою работу в комитете опустила!» — успел подумать он.

— ...плюс частная практика, но мне кажется, это приятно — быть настолько нужным. Правда, мне самой подобное чувство незнакомо... но это я так. Я не хотела бы занимать слишком много Вашего времени — мне просто важно сказать Вам некоторые вещи, касающиеся Льва, чтобы... чтобы подготовить Вас. Уверена, что Вы и сами все поймете, но — просто на всякий случай, для страховки, — Елена улыбнулась. — Я цирковая, видите ли, о страховке никогда не забываю.

— Цирковая? — переспросил Ратнер с таким восторгом, словно она была, по меньшей мере, женщиной-космонавтом.

Леночка-Елена посмотрела на него с интересом.

— Так вот... Лев нездоров, психически. Я совсем плохая мать, по совести говоря, и я не умела этого всего... не занималась им особенно, его дед воспитывал с раннего детства, дед был его родителями, но скоро восемь лет, как дед умер. А Лев не понимает этого! Ему до сих пор кажется, что дед жив, — и Лев постоянно с ним разговари-

вает... когда про себя, когда вслух. Причем я не уверена, что только с дедом. Одна из его коллег, он в библиотеке работает, поделилась со мной — намекнула, то есть, будто Лев разговаривал... общался, то есть, с ее дочерью, которая тоже уже... не жива.

— Н-да... — Ратнер сжал губы, словно боясь сказать больше, чем нужно. — Если это психическое заболевание, то... с психически больными немислимо трудно устанавливать контакт, тут я пас...

— Нет-нет, — заторопилась Елена, — я не прошу Вас его лечить, я просто понаблюдать прошу. Потому как у Льва не только это одно... у него глаза все время красные, я подозреваю, что он или не спит, или ... и у него паралич всех желаний, он ничего вообще не хочет. Сейчас за ним хоть подружка его следит, а до этого он даже в магазины не ходил... холодильник пустой все время. Я говорила ему: «Ты же не ешь ничего, так нельзя» — а он: «Мне это не нужно».

Ратнер смотрел на нее и думал, что ему очень нравится эта женщина.

— Вы замужем? Я к тому, что отец Льва...

— Я не замужем... давно. А отец исчез, когда Лев был маленький, и с тех пор им не интересовался.

Черт, интересно, в каких она отношениях с теми, кто заказал лечение! И какого уровня это дело вообще... — скорей всего, высокого, если Иван Иванович за парня просит. Не говоря уже о просьбе из комитета. Но ему очень нравится эта женщина.

— Я теперь ведь почти не практикую, — сказал он, — официально, так сказать. Я преподаю... да, преподаю в Академии Тонких Энергий, где еще и директорствую.

— Я видела визитную карточку.

— Но я, конечно, могу встретиться со Львом, случай интересный — профессионально... Только некоторое время требуется.

— У Вас не так много времени, Борис Никодимович. У Вас нет времени.

Это произнесла не она, не Елена. Это произнесла Леночка, дурочка, девочка-свечка, сгоревшая накануне, — идиотка, которая несколько лет назад чуть не умирала у телевизора при виде этого мужчины. А в жизни он даже лучше, чем в телевизоре: постаревший и потому, наверное, не такой властный.

— Простите? — Ратнера встревожила не формулировка, а голос — вмиг потемневший голос.

Ну, вперед, Елена Антоновна Фертова...

— У меня есть сведения... не очень хорошие для Вас. Вам нужно быть осторожным: Вы... или дар Ваш, что одно и то же, в опасности.

Разговор делался подозрительным: этой эффектной женщине, по-видимому, и самой требовался психиатр.

— Не беспокойтесь! — Он был само радушие. — Случались в моей жизни и поопаснее вещи, так что опыт у меня — о-го-го...

— Я не в курсе Вашей жизни, Борис Никодимович. Но я попросила Вас прийти не только для того, чтобы поговорить о Льве: я просто сочла своим долгом — долгом перед Вами, который сделал мне... и всем нам столько хорошего, — предупредить Вас о том, что мне стало известно. А уж как с этим быть — решайте сами. Я знаю, что опасность исходит от института. В чем она — увы... Но люди, которых институт исследует — так же, как Вас, — начинают исчезать один за другим.

— Откуда у Вас эта информация?

— Не все ли Вам равно, Борис Никодимович? А потом... у Вас так и так нет возможности ее проверить. Только не думайте, что я сама не нахожу ситуацию странной: мы с Вами не были знакомы лично, Вы пришли ко мне в первый и, может быть, последний раз в жизни — и слышите такое... Но подумайте: зачем бы мне говорить Вам об опасности, если это неправда, — тем более при таких обстоятельствах? Вот... а теперь, если Вам уже пора, то — спасибо. Я сказала, что хотела сказать.

Ратнер продолжал сидеть и смотреть на нее. Внезапно он осознал, что она не только ничего не придумывает, но еще и рискует — чем бы ни... а скорее всего, ей есть чем! — ради него. Ради *какого* — него, если женщина эта только и видела его по телевизору?

Леночка не поднимала глаз. И не только потому, что положение, как ни суди, было дурацким, но и потому, что ей очень нравился этот мужчина. Она почти не могла выносить его присутствия дольше. Он должен был уйти.

А не уходил.

Ей казалось, что прошло много лет, но Ратнер так и не вставал с дивана.

— Борис Никодимович, — она все-таки нашла в себе силы взглянуть на него, — мне правда больше нечего Вам сказать. Может быть, у Вас есть какие-то вопросы — так я отвечу Вам, о чем бы Вы ни спросили. Но про уже сказанное я в самом деле ничего больше не знаю.

— У меня другой вопрос. Почему Вы говорите мне обо всем этом? Зачем — я понимаю, но почему?

Леночка усмехнулась: подавленный хохот. Она встала со стула и куда-то отправилась: если б она сама знала куда... Дошла до выхода в прихожую, обернулась.

— Я могу только повторить: из чувства благодарности. Благодарности за... за очень и очень многое. Если у Вас больше нет вопросов... тогда нам лучше уже договориться о том, когда Вы сможете навестить Льва. У Вас ведь есть адрес на Усиевича?

— У меня и телефон есть, — сказал Ратнер. — Я сам позволю ему и, если можно, сошлюсь на Вас. А встречу с ним — и поставлю Вас в известность о том, что думаю. Пойдет так?

— Да, спасибо. — Леночка не решилась спросить, откуда у Ратнера телефон Льва: она никогда не давала этого телефона Владимиру Афанасьевичу.

У двери она неосторожно протянула ему руку и, ощутив его прикосновение, поняла, что это прикосновение — самое сильное испытание сегодняшнего дня. Или всей ее жизни? Леночка почти выдернула свою руку из его и, кивнув, заперла дверь изнутри.

Забыв про лифт, Ратнер пешком спускался по лестнице и понимал: эта женщина принадлежит ему, что бы ни случилось. Но откуда он так хорошо знал ее глаза — совершенно какие-то... да, ренессансные глаза? Когда-то раньше они смотрели на него: так же преданно и вопросительно, как только что.

Но вот насчет института...

Он верил ей безоговорочно, однако не понимал, какая опасность может исходить оттуда. Исчезают люди, сказала она. Какие люди? На его, Ратнера, веку не исчез еще никто. «Сломался Крутицкий», — услышал он вдруг памятью голос Коли Петрова. И вспомнил, что именно с этого момента Крутицкий как раз и исчез — куда, Коля Петров не знал. Не знал?

Ратнер встретился с Колей на следующий день: в академии, в пять, когда Коля закончил со своей «основной рабо-

той» и пришел на «второстепенную», хоть в это время суток он никому уже был здесь, как правило, не нужен. Но сегодня он был нужен Ратнеру: тот уже с утра начал ждать Колю — ну, наконец-то, здравствуй-садись! За полтора года совместной работы они встречались не так часто. И совсем редко — по просьбе Ратнера.

— Коля, — сказал он, почти отпихнув к тому плескавшуюся во все стороны чашку кофе, — Крутицкого, что, никогда уже не починят?

Коля Петров ожидал любого вопроса, кроме этого: Крутицкий... — с какой вдруг стати, столько времени спустя?

— Откуда я знаю?

— Ты знал, что он сломался! Значит, можешь знать и... починят ли.

— Таких не чинят, — вздохнул Коля Петров. — У него с мозгами чего-то случилось... необычное.

— У него у первого?

— Что значит — «у первого»?

— Коля, ты... кофе пей. И вопросом на вопрос — не отвечай. Ты привел меня в НИИЧР — тебе и знать, почему там люди у вас... ломаются. Я все знаю, Коль.

— А знаешь — так чего ж спрашивать? — И голос — совсем ледяной. — Не все выдерживают, особенно из пожилых.

— Так и мы с тобой скоро пожилыми будем. Совсем уже скоро. Мы тоже не выдержим?

Колю Петрова смутило это «мы»: он привык считать, что они с Ратнером в разных командах. Выпив полчашки кофе залпом, Коля Петров сказал:

— При чем тут — «мы»? А потом, Крутицкого не я в институт привел... Знаю только, что он по другой части, да и ты ведь знаешь? Странствия в духе и все такое. Человеку семьдесят

с лишним тогда уже стукнуло... перегрузил мозг, чего ты хочешь! И институт здесь ни при чем — там просто исследуют измененные состояния сознания и делают замеры... ты, получается, с Алешей никогда с глазу на глаз не говорил? Он же ведет тебя, должен был объяснить, что от замеров — мышечного напряжения, там, концентрации лактата в плазме — да от снятия ЭЭГ с человеком ничего не случается, подозрительный ты наш. А до перегрузок люди — испытуемые, то есть, — сами себя доводят. Вот и Крутицкий... у него, знаешь, сколько раз эпилептические припадки случались? Ему бы остановиться в свое время...

— Я останавливаюсь, Коля. Меня-то уж, во всяком случае, ты в институт привел — тебя я и ставлю в известность: я останавливаюсь.

— А Иван Иванович...

— А Ивана Ивановича, — не дал ему продолжать Ратнер, — в известность об этом поставишь ты. Скажи ему, что у меня здоровье плохое стало — и что ты мне остановиться посоветовал... сославшись на печальный опыт Крутицкого.

Уж что-что, а обращать речевые просчеты собеседника в свою пользу Ратнер умел. Об этом Коля Петров немножко забыл — и сейчас сидел дурак дураком с полчашкой кофе. Разумеется, в один прекрасный день Ратнер должен был его предать — Коля Петров знал это всегда... не знал он только, что один прекрасный день будет датирован сегодняшним числом.

Впрочем, Коля Петров был силен вычислением ситуаций — и на сей раз тоже вычислил все молниеносно. Конечно, Мордвинову не понравится, что Ратнер ускользнул — и не потому, что Ратнер — это тот самый Ратнер или так дорог Мордвинову, но потому, что из НИИЧР ничего ускользнуть

не должно. Но есть и более неприятный момент: Коля Петров объективно оказывался виноватым еще в двух вещах посерьезнее: в объединении нескольких кондукторов в общем пространстве, что запрещалось правилами института, и в утечке информации о причинах прекращения сотрудничества с одним из них в среду кондукторов, что исключалось данной им подпиской о неразглашении... Этих двух моментов хватало, чтобы потерять все — включая свободу.

Так что единственным правильным шагом со стороны Коли Петрова в этой ситуации было договориться с Ратнером, так сказать, полюбовно — что он и сделал. Коля Петров пообещал в красках изобразить внезапно пошатнувшееся здоровье Ратнера, а Ратнер взял на себя обязательство ни при каких обстоятельствах не проговориться ни о сотрудничающих с академией кондукторах, ни о своих подозрениях по поводу Крутицкого.

В общем, расстались друзьями.

КАК УДАЛЯТЬ КУПОЛ ЦИРКА

Пусть по вашему знаку ассистент вынесет на арену четыре легких складных ширмы. Каждая ширма, высотой чуть больше вашего роста, представляет собой «раскладушку», способную открываться, как книга, причем плоскости ширмы при максимальном их разворачивании образуют по отношению друг к другу прямой угол.

Установив эти ширмы вокруг себя так, чтобы со всех четырех сторон образовалось замкнутое по углам квадратное пространство, разделяемое лишь равновеликими просветами, станьте строго в центр этого пространства и осмотритесь, как бы проверяя правильность расстановки ширм.

Когда погаснет свет и освещенными останутся только огороженное ширмами пространство и вы посередине, поднимите руки над головой

и начните — сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее — кружиться внутри квадрата. После этого резко остановитесь и замрите на месте, разводя руки в стороны, ладонями вверх, и глядя под купол цирка. Если представление дневное, то при внезапном солнечном свете, если вечернее, то при свете звезд зрители, следя за направлением вашего взгляда, обнаружат, что над их головами больше нет купола и что они находятся в цирке под открытым небом.

Теперь раскланяйтесь и вслед за ассистентом, уносящим ширмы, покиньте манеж.

Комментарий

Несмотря на свою загадочность, данный весьма традиционный трюк фактически не требует от его исполнителя ничего, кроме хорошо отработанного навыка ментальной проекции.

Разумеется, вы не удаляете купол цирка усилием воли. Делая вид, что исполняете своего рода шаманский танец, и все быстрее кружась на одном месте, просто осуществите ментальную проекцию неба непосредственно в подкупольное пространство цирка, поменяв таким образом местами купол, который перемещается чуть выше, и небесный свод, опускающийся чуть ниже, на место купола.

Теперь вместо купола зрители видят небо, не догадываясь о том, что никуда не исчезнувший купол цирка всего-навсего находится на втором плане и фактически загорожен небесным сводом.

Смысл четырех ширм, вынесенных ассистентом на арену в самом начале демонстрации фокуса, в том, чтобы осуществляемая вами ментальная проекция неба была направлена исключительно вверх, под купол цирка, иначе — в случае с неогороженным пространством — вы можете неосторожно удалить из поля зрения публики и стены цирка. От этого у зрителей возникнет неприятное ощущение подвешенности в пространстве, а это способно привести к панике.

Дополнительным эффектом может служить непогода — дождь или снег — на улице: спроецированные вами в подкупольное пространство, они окончательно разрушат представления публики о том, где находится цирк (искусство), где — окружающая действительность (жизнь), и полностью сотрут разницу между ними.

48. НО КЛЮЧ ПОКА У МЕНЯ

— Ну-ну...

Ничего другого по поводу Ратнера дед Антонио обычно не говорил.

Да Лев старался и не обсуждать с ним Ратнера — особенно теперь, когда Ратнер для Льва был уже не только грозным образом его последетства и растаявшим без следа духом с телевидения, не только кумиром Лизы, много лет назад загадочно возникшим в ее спальне и предсказавшим ей всю дальнейшую жизнь — в том числе и встречу со Львом, но и, видимо... другом.

«Позвольте мне быть Вашим другом», — так Ратнер сказал сам, просидев несколько часов со Львом и Лизой на Усиевича, и установив, что — вопреки опасениям Леночки — никакого паралича желаний и всего такого у Льва не наблюдается, а что глаза красные... это пройдет. Лев сначала сильно было рассердился на Леночку за вызов «психиатра», но потом в сердце своем даже поблагодарил ее: без Леночки эта встреча никогда бы не состоялась. Да и Ратнер сказал вдруг от всей души: «У Вас прекрасная мама, Лев. Вы уж поверьте мне».

Не поверить ему Лев не мог.

А в их с Лизой жизни после прихода Ратнера изменилось все.

Еще совсем недавно они сидели на кухне и пытались сообразить, как — хотя бы одному из них — заработать сколько-нибудь денег. Расформирование библиотеки лишило Льва пусть и постоянно менявшегося, но изредка все-таки вполне приемлемого заработка, перспектив найти что-нибудь похожее не было вообще: страна, как сумасшедшая, торговала и отказывалась содержать тех, кто не умел ничего

продавать. Лиза в отчаянии решила было продавать свои картинки на Арбате, но Сэм объяснил ей, что так просто на Арбат с картинками не выйдешь, ибо «на Арбате все схвачено». Деньги у родителей Лиза, понятное дело, если и брала, то исключительно по крайней необходимости и считая, что скрывает это ото Льва. Хитрости ее были шиты ослепительно белыми нитками — и Лев все время жмурился...

Ратнер сошел на них, как ангел с небес.

Во-первых, он сразу купил всю Лизину «Марьину рошу», увидев только одну картину на стене в кухне. «Это же... это... у меня нет слов, Лиза! Сколько у Вас таких? Двена-адцать? Я покупаю все — простите за тон: конечно, не я как я покупаю, а я как директор учреждения... у меня в академии стены голые. Кстати, я на днях об этом думал: в академии первый выпуск уже на носу — стыдно просто, что я все откладываю заняться... как бы сказать, не интерьером, конечно, упаси Бог, но — Вы понимаете, Лиза?»

Еще бы Лиза не понимала: у нее никто и никогда не купил пока ни одной картины, а тут сразу аж двенадцать — да в постоянную экспозицию, да в такое место!.. За деньгами можно было зайти в конце месяца, то есть дней через восемь. Денег этих им со Львом хватит на год, а скромно жить — то и на два. Впрочем, надо будет не медля обменять их на доллары — и уж тогда-а-а...

Во-вторых, Ратнер явно заинтересовался Львом, причем сильно. Волшебное ратнеровское *я-в-таких-вещах-толкну* отошло — если и не в сердце Льва (о чем откуда ж узнать!), то определенно в сердце Лизы — звоном небесных колокольчиков.

— Но Лев! — зывала к нему она после ухода Ратнера. — Человек тебя лечить пришел, понимаешь? И если он, *тем не*

мене, сумел увидеть в тебе «дар Божий»... это же его слова! Неважно, что ты сам про себя думаешь, даже и хорошо, что сам ты в себе ничего не видишь, — важнее, что *он* видит. Потому что *он* ошибаться не может.

— Ой, Лиз... хватит выделять каждое «он» курсивом, — попросил Лев.

Но, конечно, Лев и сам был ошарашен. Никто и никогда не говорил ему вообще ничего о его способностях — о просто способностях, к чему бы то ни было! По словам же Ратнера получалось, что Лев... извините, *может все*. Ему, Льву, дескать, только немного не хватает школы (Лев не очень понял про «школу», но в подробности вдаваться не стал), а придет школа — и цены Льву, значит, не будет. Лев про «цену» тоже не понял, однако сосредоточиваться не стал и на цене.

— Вы, Лев... простите за пафос, конечно, но Вы феномен, понимаете? Вот Вы только что о нашей с Вами первой встрече так трогательно мне рассказывали, когда Вы на сцену ко мне поднялись... я помню Ваши глаза с тех пор! Потом я их у Вашей мамы увидел — и все гадал еще: откуда, откуда? Но дело не в глазах, конечно, а в том, что я помню Вас — мальчишкой, и энергию, от Вас идущую, чистоты необыкновенной — помню. А на днях, когда Ваша мама мне все про Вас сообщила — например, что Вы с бабушкой в постоянном контакте... я ведь еще не понял тогда, что Вы — это Вы, но ведь сообразил же: вот оно! У меня в академии на сегодняшний день человек семьдесят студентов — большинство случайные люди, которые, это мое мнение, ни на что не способны... а тут — нате вам: человек, который прямо сейчас, сию минуту, *может!* Экстрасенсорная перцепция в чистом виде...

В общем, Лев и опомниться не успел, как почувствовал себя *другим* Львом — и было это странно. Значило оно все

для него что-нибудь или нет, он не знал, но значение определено имел тот факт, что Ратнер предложил ему учиться, «прямо сейчас и начав», — страшно подумать, в *Академии Тонких Энергий*, о существовании которой ни Лев, ни Лиза и представления не имели! Причем учиться в этом платном, как выяснилось, заведении Лев мог даром — мало того, Ратнер обещал назначить ему стипендию.

Проводив Лизу домой, Лев шел пешком по набережной.

И внезапно начинал ткаться — из кусочков, из обрывков, из клочков — узор его жизни, которого Лев не видел до сегодняшнего вечера, но который — вот же! — теперь проступал сквозь все его «не могу», все его «не знаю» и «не умею». Оказывается, во-о-он там — он немножко мог, там вот — немножко знал, а тут — немножко умел... интересно, интересно, м-да.

— Деда, — тихонько говорил он, — ты представляешь себе? Академия Тонких Энергий! Учиться я, правда, поздновато начинаю, но зато понятно теперь, почему я столько лет после школы не поступал никуда: некуда было, академии не было еще... А тут — ее как будто для меня создали, это ведь судьба.

— Ну-ну... — вздыхал дед Антонио.

Сегодня, на пути в академию, куда ему предстояло войти в первый раз, Лев поначалу тоже слышал только «Ну-ну».

— Как-то все оно немножко быстро случилось, львенок, не кажется тебе? — скучно спросил вдруг дед Антонио в ответ на какую-то очередную реплику Льва. Он давно уже не называл его «львенок» — и какое-то тайное значение имя это, видимо, в данный момент имело.

— Что — «немножко быстро»?

— Ну сам посуди ... чуть ли не тридцать лет — да вот же, вплоть до недели-другой назад! — ты ничего не знал, ничего

не умел, не мог ничего, и вдруг — щелк: все можешь! И — всемогущий уже — идешь еще чуть-чуть подучиться... как-то оно смешно немножко: всемогущему-то учиться — зачем?

— Это не я говорю, что все могу... это обо мне говорят — есть ведь разница, деда?

— Да, в общем, нет. Если ты соглашаешься с тем, что говорят, — разницы нет.

— Я не соглашаюсь! Я хочу проверить...

— Брось, не проверяй. Зачем проверять то, что сам Ратнер сказал?

— Ты не любишь его, я знаю, — с первого моего рассказа не любишь. Но я и тогда не понимал за что — и теперь тоже.

— При чем тут — люблю или не люблю... — с досадой сказал дед Антонио. — Мне просто действительно несимпатичны те, кто знает все, умеет все, может все. Я так радовался, когда ты ничего не мог! Но не во мне дело — дело в том, чтобы понять, для чего ты ему.

— Я — ему?

— А как же! Молодости старость не нужна. Мир на том и стоит, что это старости молодость необходима, — наоборот тут не бывает, хоть всегда кажется, что наоборот. Не он тебе нужен, Лев, — ты ему. А вот зачем... — увидим.

В академии, прямо за дверью, Лев провалился в Лизину двенадцатую «Марьину рошу»: видимо, так было задумано для каждого входящего сюда. Картина висела на огромной пустой стене, в самом центре, и, словно уходя в стену, дрожали в глубине ее улицы, вложенные в аллеи, которые вложены в просеки, которые вложены в перелески: анатомия города-рощи.

Привет, Лиза! Лев улыбнулся: «Приятное какое начало! А дед Антонио брюзжит...»

По договоренности с Ратнером, Лев перед началом занятий должен был зайти к нему. Оказалось — чтобы «получить напутствие».

— Вы, Лев, никому только не рассказывайте о нашем с Вами разговоре, не надо. Версия Вашего прихода сюда такова: Вы только что услышали об этом учебном заведении от кого-нибудь из друзей, связались со мной, попросили разрешения влиться в уже существующий курс — и, ради Бога, ни слова о том, что для Вас обучение бесплатное. Вы, значит, как и все, платите тысячу долларов за семестр — цена, по Москве, головокружительная, но и учебных заведений такого профиля только одно. Ну и, понятно, — не говорите никому о стипендии. Тем, кто платит за пребывание здесь, может не понравиться, что их деньги не только на учебный процесс уходят, но еще и на стипендии одаренным студентам — хоть пока и одному студенту. Вам, стало быть. И — вот еще такая частность: Вы, конечно, по сторонам-то оглядитесь... что и как тут у нас, преподаватели в академии яркие есть, но имейте в виду, что я, вообще-то говоря, хотел бы видеть в Вас *своего* ученика — если, конечно, возражений с Вашей стороны нет!

— Да что Вы, Борис Никодимович, — Льву казалось, что все самое удивительное уже позади, однако в ученики к Ратнеру... И он послал ликующий даже не взгляд — полувзгляд второй Марьиной роще, висевшей прямо над головой Ратнера. — Какие... какие возражения, что Вы!

Впрочем, позднее «напутствие» в целом показалось Льву немножко странным. По его понятию, он находился в месте, где скрывать что бы то ни было не столько даже бесполезно, сколько — бессмысленно. И смешно. Если люди здесь действительно обладают способностями читать чужие мысли —

или даже просто пока учатся их читать... Ну ладно: напутствие есть напутствие, вовремя реагировать надо было!

Лев шел по производившей впечатление пустоватой... пустой утренней академии, постоянно встречаясь с Марьиной рощей. Казалось, что Ратнер купил у Лизы не двенадцать, а сто двенадцать картин. Если вглядываться в каждую, подумалось Льву, то постепенно начнет кружиться голова и потеряешь ориентацию: очнешься, а ты в Марьиной роще. Как Петя Миронов, печальный клоун, — в Берлине... Но до чего ж дорогое учебное заведение-то, а? Тысяча долларов за семестр... интересно, как выглядят студенты, способные выложить такие деньги! И неужели, кроме него — пришедшего с улицы! — в академии, просуществовавшей уже два года, так и не было до сих пор *ни одного* одаренного студента, заслуживавшего бы стипендии?

— Вот-вот, — отозвался дед Антонио. — Говорю же: как-то все оно немножко быстро с тобой — молниеносное признание, молниеносное вознаграждение... А вот, господа, андерманир штук — новый вид: академия стоит, все бесплатно и чудесно, мыслям тесно, сердцу лестно...

— Ай, деда, ладно тебе... не порти праздник!

— Извини, извини...

Студенты оказались более чем обычными — их было действительно немного, и Лев почти сразу научился определять, кто с первого, кто со второго курса, а кто «выпускник», т. е. на подступах к бакалавриату. Первый выпуск экстрасенсов намечался на лето 1998 года.

Выпускников было почти никогда не видно, они готовили дипломы, а вот второкурсники — неожиданным образом — напомнили Льву армейских «дедов», о которых Лизин Сэм, который год косивший от армии, рассказывал

с чужих, но обильных слов всякие ужасы. Льва с первого же дня сразил этот привкус казармы в Академии Тонких Энергий. Второкурсники гоняли первокурсников за едой в кафе, находившееся на Герцена рядом со зданием консерватории, непрерывно посылали их за сигаретами и пивом в киоск напротив, выпроваживали из курилки (на улицу, на улицу, малышня!)... в общем, непонятно.

— Ты на новенького, — сказал Льву круглолицый Олег Румянцев, совершенно помешанный на НЛП, как и большинство студентов академии, — вот они присмотрятся маленько, а потом тебя в первую очередь гонять будут... тем более что ты их старше: большое это искушение — взрослого человека к ногтю прижать. Так всегда бывает, так и в армии заведено, я не служил, брат служил. Только сначала, конечно, ритуалы... — Он замялся и некстати добавил: — Уйду я отсюда. Чтобы за свои же деньги так унижаться...

«Ритуалы?»

Про ритуалы Льву напомнили только месяца через два. Второкурсникам было явно не до него: сначала все готовились к зимней сессии, потом — сама сессия, после сессии — три недели каникул. В начале второго семестра Игорь, высокий и красивый парень из старшекурсников, остановил его на улице перед академией и сказал:

— Молодой экстрасенс, можно Вас на минуточку?

Лев был старше Игоря минимум лет на пять. Они отошли в сторону.

— Тут дело такое, — начал Игорь, — инициации у тебя не было, а без этого в нашем ремесле нельзя. К герметическому знанию ведь приобщаемся — не к кулинарии, правда ведь? Так что... давай-ка договоримся о том, когда ритуалы проходить... сколько тебе на подготовку выделить?

— Это какие же такие ритуалы? — безмятежно улыбнулся Лев, хотя о бесчеловечных и отвратительных ритуалах он давно уже знал все от Олега. Сам Олег признавался, что ничего страшнее в его жизни не было: «глумление по полной программе». — Вы, пожилой экстрасенс, может быть, конкретно имеете в виду плевки в лицо и произнесение вслух всякого говна?

Игорь, мало сказать, остолбенел — его словно молнией к стене пришило.

— Борзый первокурсник, — сказал он в никуда и, на силу справившись с ногами, в никуда же и отправился. По пути обернулся, повторил: — Борзый первокурсник, нехороший! — и Лев понял, что сим объявлена ему война.

В курилку его в один из следующих дней не пустили: Игорь и пара других просто встали в дверях и спросили: «Пройдешь?» Лев усмехнулся и покурил на улице. К третьей паре стало хуже: на сей раз заблокировали дверь в туалет — «Пройдешь, молодой экстрасенс? Или пойдешь к девочкам писать?» Недолго думая, Лев, разбежавшись, со всего размаху врезался в живую цепь головой, но не тут-то было. Цепь отшвырнула его назад, и Лев — на глазах у всех — рухнул на пол. В этот-то момент или чуть раньше в конце коридора и открылась дверь к самому. Сам вышел в коридор и направился прямо к дедам.

— Ушли отсюда, — сказал он, и те с виноватыми улыбками отправились восвояси.

На третьей паре был объявлен общий сбор.

— Господа, — мягким телеголосом сказал Ратнер в микрофон. — Я, конечно, понимаю, что за время существования академии — простите, школы — у студентов сложились известные традиции, и ничего против этих традиций не

имею. Студенческая пора — пора веселая, дурашливая... по себе знаю, а о некоторых своих выдумках, что греха таить, и до сих пор вспоминаю с чувством неловкости. Я только просил бы вас помнить, в заведении какого типа вы обучаетесь. Здесь приобщаются к тонким энергиям, а не к кулинарии... если вы, конечно, успели это заметить. Во времена моей юности таких учебных заведений, понятное дело, не было, да и сейчас наша академия — единственная в своем роде, что налагает на нас определенные обязательства... не правда ли, дамы и господа? Не потому, конечно, что мы тут ах-какие-элитарные, а всего-навсего — н-да... «всего-навсего»! — потому, что борьба в этих стенах, если уж по каким-то непонятным мне причинам она неизбежна, должна вестись не на кулаках. Войдя сюда, вы, дорогие мои, все забыли о рукоприкладстве... м-м-м, за исключением тех, кто специализируется в мануальной терапии! Физической расправе в вашей жизни места быть не должно, ибо она противоречит самой сути исповедуемых нами принципов. Это раз.

И — второе.

До меня давно уже — разными путями — доходят слухи о слишком серьезном отношении старших студентов к идее герметичности получаемых здесь знаний. Да, мы учебное заведение для посвященных, но прошу вас раз и навсегда зарубить это на ваших молодых носах: уже само по себе пребывание здесь исключает возможность профанного взгляда на жизнь. Потому-то в нашем учебном заведении никогда и не существовало никакой специальной процедуры, свидетельствующей о формальном приеме новичка в ряды старших собратьев. Если бы такая процедура была необходимой, то я предусмотрел бы ее и, уж поверьте мне, придумал бы

что-нибудь поинтереснее, чем подвергать новичка побоям, плевкам в лицо и прочим издевательствам. Не забывайте, что ваш инструмент — тонкие энергии и что, придя сюда, вы тем самым как бы дали присягу не опускаться на более низкий уровень взаимодействия.

Я надеюсь, что вы поняли меня правильно.

Тип отношений, имеющих место между нами (я имею в виду платный характер данного учебного заведения), исключает какие бы то ни было грубые санкции по отношению к нарушителям спокойствия. Но предупреждаю: я все-таки буду вынужден прибегнуть к санкциям, в случае если еще раз услышу хоть от кого-нибудь о физических способах расправы с оппонентами в этих стенах.

Можете вернуться в аудиторию.

В аудиторию Лев не вернулся: вышел на Герцена и остановился — не зная, куда теперь... направо, налево, прямо.

Он дождался Устинова на противоположной стороне улицы, курия за киоском. Устинов, слава Богу, вышел из академии один — правда, постоял в арке, вроде как ждал кого-то, потом сделал два неуверенных шага назад, но тут же, словно наконец решился, двинулся вперед — прямо по направлению ко Льву.

— Илья Софронович? — Лев выступил из-за киоска. — Можно мне с Вами поговорить?

— Со мной, Лев?

— Да, я хотел спросить Вас об одной вещи... То, что сейчас Борис Никодимович на общем собрании говорил, на третьей паре, — к этому как надо относиться?

Устинов вздохнул:

— Почему Вы именно меня выбрали — поговорить? Это я так... любопытствую.

— Потому что... — Тут надо было сказать правду, и Лев сказал. — Потому что я давно уже заметил: Вы во время занятий всегда мне в глаза смотрите.

— Пойдемте, — сказал Устинов и быстро направился вверх по Герцена. — Пойдемте, пойдемте, я здесь недалеко живу. Собственно, жил... потому что мы переезжаем: кто-то купил наш дом, Вы знаете, как это бывает. Детям дали отдельную квартиру, нам с женой — другую, маленькую, но нам хватит... Мы уже всё из старой квартиры вывезли — она сейчас пустая, даже сесть не на что будет. Но ключ пока у меня.

49. ГЛУПАЯ КОНСЕРВАТОРСКАЯ СКРИПОЧКА

Разговор с Мордвиновым был ужасным. Леночка готовилась к нему несколько недель, без конца репетируя свою речевую партию, подбирая выражения помягче, стараясь предусмотреть любую из возможных реакций, но и представить себе не могла, что все получится уж настолько скверно.

Мордвинов разве что не выл, не рычал и не катался клубком по полу... Леночка была просто смята его поведением и забыла все свои слова. Она даже не знала, что так вообще бывает.

Причина была не в Ратнере... не только в Ратнере. Решение прекратить этот роман, который давно был ей в тягость, возникало долго — Леночка все не давала ему ходу, душа в себе каждый из аргументов по отдельности. Что греха таить, она больше всего на свете боялась остаться одна. Каких-нибудь десять лет назад такая перспектива тоже была бы для нее вполне и вполне безрадостной, однако теперь, когда в стране происходило совсем уже непонятно что, перспектива эта превращалась в смертоубийственную... Скорее всего, Леночка так никогда бы и не решилась на окончательный разговор с Мордвиновым, продолжая невесело распевать в золотой своей клетке, если бы не появление около нее Ратнера. Леночка старалась не думать о том, что появлением его она тоже обязана Мордвинову: в конце концов, мы и всем, имеющимся у нас, кому-нибудь обязаны...

Что ее знакомство с Ратнером будет развиваться со скоростью света, она знала с первого его прихода. Теперь, спустя всего несколько недель после той встречи, она понимала: прошлой жизни — конец. Ратнер боготворил

ее, а она боготворила Ратнера. Это была не просто влюбленность и даже не любовь — это была нечеловеческая какая-то страсть, одного корня со словом «страшно». Скажи девятнадцатилетней Леночке, перепиливаемой в цирке Антонио Феери, что такая вот страсть обрушится на нее тогда, когда ей будет к пятидесяти, она бы... да она бы и слушать не стала.

Только вот расставания с Мордвиновым Леночка никак забыть не могла: похоже, ничего более жуткого она в своей жизни и не испытала. Расставание это — угрозы, оскорбления, шантаж — навсегда застряло в ней, разможив, видимо, какой-то из жизненно важных нервных узлов, в результате чего Леночка теперь в самой неподходящей ситуации могла внезапно разрыдаться в голос — слава Богу, ненадолго. Не дать ей разрыдаться был способен только Ратнер, нажав на что-то в области Леночкиного загривка. Если же Ратнер отсутствовал, приступ оказывался не-ми-ну-е-мым. О происхождении этих приступов Ратнер знал — иногда говоря, что такой ценой она купила себе свободу, и обещая, что исцелит болезнь скоро, очень скоро... очень и очень скоро. Леночка верила.

А Ратнер... что ж Ратнер? Покорение Леночки-Елены не потребовало от него ни усилий, ни подведения итогов хотя бы одной из многочисленных, но неинтересных любовных историй, то и дело возникавших в его жизни. На памяти Ратнера не имелось ни единой неудачи с женщиной: он всегда получал, что хотел, — причем всегда мгновенно. Так произошло и на сей раз — с той только разницей, что Леночка-Елена, вне всяких сомнений, была лучшей его добычей.

Что касается Льва, то ему Ратнер, в общем-то, и не особенно много наврал. Из парня мог выйти толк: у него

определенно были какие-то способности — во всяком случае, судя по тому, что говорила его мать... Впрочем, этим вопросом Ратнер не особенно задавался. Ибо — настала пора признаться себе в этом — не верил он вообще-то в существование всего такого и экстрасенсорную перцепцию считал е-рун-дой. Нету никакого опыта за пределами того опыта, который был у него самого, а сам он, как никто другой, знал, что это трюки, трюки, трюки!.. Немножко наблюдательности, немножко везения, немножко наивности собеседника — и вот уже ты знаешь о нем всё, причем не только о нем, но и о его семье вплоть до седьмого колена. Немножко вкуса — и вот ты уже можешь рассказать ему о нем самом так, что он поверит, будто ты считываешь информацию с его подсознания. А какое там к черту подсознание, когда собеседник и сам не знает, что там у него в подсознании собрано! Да то же барахло, небось, что и в твоём собственном подсознании, Борис Никодимович Ратнер... — зачем далеко ходить?

Все самовнушение одно, воображение одно! У парня вот тоже фантазия разыгралась: ну, кажется ему, что он с дедом умершим разговаривает — и пусть кажется, кому от этого плохо? А то, что у него идеи навязчивые... — у кого ж их нет, навязчивых-то? Идеям этим только волю дай — и не до такого дофантазируешься. Вон, преподаватели в академии... одну Вилонову взять — с ума спятишь. Других, которые голоса слышат, шизофрениками считают, а эта — специалист в области мантики! И поди проверь — слышит она голоса или придуривается...

Ратнер, по совести-то говоря, считал, что придуривается — большинство. Выходящих за рамки этого большинства он подразделял на три категории: фантазеры

(как Лев), заблуждающиеся и больные. Никаких других на скудной ниве экстрасенсорики, по его мнению, не водилось. Самого себя Ратнер относил к придуривающимся, причем от прочих придуриваемых его, как он полагал, отличал вкус. Вкус этот, стало быть, выражался прежде всего в том, что Ратнер придуривался в меру, а вот Вилонова, Устинов, Струнк и им подобные чувства меры не знали и придуривались немножко чересчур — так, что верилось им с трудом.

Впрочем, Лев, по некоторым доносам, кажется, всерьез увлекся Устиновым... и вот это совсем непонятно. Для Ратнера было загадкой, как и когда переместился с него на Устинова интерес Льва, который в последние месяцы просто раздражал Ратнера своим вежливым игнорированием особых отношений между ними. Лев, вне всякого сомнения, знал о близости между Леночкой (непонятно, почему он так называет мать!) и Ратнером, но трудно предположить, что это могло ему не понравиться. Будто близость с Ратнером вообще кому-нибудь могла бы не понравиться! Но Лев явно избегает его... хорош ученичок.

А ученичок-то ... — ученик! — Ратнеру был нужен позарез, причем талантливый. Ученик, который сначала был бы чистым, как слеза, но со временем начал бы отдавать себе отчет в том, что все мы придуриваемся и что он тоже придуривается, однако придуривался бы красиво. Вместе с Ратнером они тогда составили бы славную команду. А Лев ускользал к Устинову... черт! Устинов же, этот пижон, два года делавший вид, что ему на все начхать, и не взявший на диплом ни одного второкурсника, вдруг положил глаз именно на Льва — и теперь вот носится с ним как с писаной торбой.

Во время очередной встречи с человеком из комитета, которому Ратнер за хорошую мзду продолжал предоставлять сведения о том, чем занимается Лев (кому именно нужна эта информация, выяснить так и не удавалось), он сообщил, что Лев ускользает из-под влияния. «А нельзя уволить этого Устинова — на пенсию послать... он ведь, кажется, в возрасте уже?» — спросили Ратнера. «Нельзя», — буркнул тот, прекрасно понимая, что это ничего не изменит. Причина была не в Устинове — причина была во Льве: в переменчивости — в переметчивости! — неблагодарной души его!..

— Ты не суди Льва совсем-то строго, — опустила глаза Леночка, когда Ратнер поделился с ней своим огорчением. — Он и с детства никого, а уж особенно кандидатов в отцы, не жаловал. Один дед Антонио свет в окошке, остальные — пустое место. Я сначала тоже сама не своя от этого была, но потом мне пришлось просто смириться.

Смириться!.. Вы там у себя в семье, конечно, как хотите, так между собой и разбирайтесь, но я-то этого недоросля обучаю бесплатно, стипендию ему плачу, особый климат создаю, у подружки его гору картин купил, а еще раньше — к жизни ее вернул, и все зачем? Чтобы он от меня нос воротил? Да по какому, извините, праву этот мальчишка должен диктовать мне линию поведения: смириться? Что он вообще себе воображает... неудачник, неуч, неврастеник! Да пошел бы он... нет, не так, — как же там было-то... хоша пошел бы он и запнулся бы — гляди-ка, помню ведь... хоша среди дня, хоша среди ночи, хоша в чистом поле, хоша в темных лесах, хоша в зыбучих болотах, хоша сонного, хоша дремучего, хоша в терему, хоша за столами дубовыми, хоша со яствами медовыми, хоша пошел бы он и запнулся бы, самого себя заклинулся бы...

Хорошие такие, крепкие такие слова.

— А вот... Илья Софронович, — Ратнер пригласил Устинова якобы для разговора о зимней сессии (Устинов опять «завалил» полкурса), но уже закончил этот разговор, — я заметил, что Вы со Львом Орловым отдельно занимаетесь... не говорил он Вам, чем кончился его конфликт со второкурсниками?

— Не говорил, — ответил Устинов. — Но конфликта больше нет. У Льва нет. Про других ничего сказать не могу, а про него — знаю.

— От него знаете?

Устинов улыбнулся:

— Нет-нет, я же сказал, что мы со Львом о конфликте не говорили.

— Откуда же Вы знаете, что конфликта больше нет?

Устинов опять улыбнулся, руками развел:

— Ну, Борис Никодимович... откуда я, телестезиолог, могу это знать, сами посудите!

Ратнер ненавидел разговоры, переходившие в эту плоскость. Уж друг-то перед другом им чего кривляться? Все тут одного поля ягоды, все всё прекрасно понимают...

— Вот что, Илья Софронович, я Вам задал вопрос, касающийся положения дел, а не Ваших представлений о положении дел, поэтому...

— Но я и не рассказываю Вам о моих представлениях — я о положении дел и рассказываю: поверьте, я различаю такие вещи. Со Львом все действительно в порядке, Вы не беспокойтесь за него, если... если беспокоитесь?

Опять экстрасенсовские штучки — я-вижу-тебя-насквозь-и-даже-глубже! От подобных вещей Ратнер свирепел: это был единственный тип речевой ситуации, в которой

он почти терял самоконтроль. Будучи директором Академии Тонких Энергий, Ратнер не мог оборвать подчиненного каким-нибудь «да засуньте Вы свою телестезию — знаете куда?», — но будучи человеком, которого оскорбляло постоянное нежелание коллег признать его за своего, не мог и оставлять очевидные дерзости безнаказанными.

— Да я не беспокоюсь — я, скорее, рад за него. А что, в НИИЧР Льва не показать ли Вам?

Удар был нанесен ниже пояса — и Ратнер это знал. Строго говоря, он не имел права демонстрировать свою осведомленность о причастности кого бы то ни было к работе НИИЧР: об этом у них с Колей Петровым имелась договоренность. Но данная договоренность приходилась на те времена, когда и сам Ратнер еще сотрудничал с НИИЧР. А теперь — не сотрудничает. Значит, и договоренность с Колей Петровым силы не имеет.

Илья Софронович, конечно, справился с собой, причем быстро, но Ратнеру хватило и на мгновение загоревшегося в его глазах огонька тревоги... паники.

— Не думаю, что пора. — А вот голос Устинова подвел: дрогнул голос-то! — Не думаю, что Льву вообще в этом направлении. В направлении НИИЧР, я имею в виду.

— Почему же? — Ратнера, в отличие от Устинова, ни взгляд, ни голос давно уже не подводили. — Как человек, столько лет сотрудничавший с НИИЧР, Вы ведь должны понимать, что для них Лев — подарок... Да и Льву там полезно может быть: новые возможности познать себя.

— Вы хорошо знаете НИИЧР? Вы сотрудничали с ним? — Ох, волнуется старик... о чем же, интересное дело?

— Знаю хорошо, но не сотрудничал, — не моргнув глазом соврал Ратнер. — Я что-нибудь не то сказал?

— Все то, все то, Борис Никодимович, просто, не зная учреждения как следует... извините! Не зная броду, не суйся в воду... так сказать. Нагрузки там для Льва великоваты, он молодой человек, с нежной психикой...

Следующим словом должно было стать «пощадите!» — но Ратнер избавил старика Устинова от унижения.

— Я, собственно, не предлагал ничего — интересовался просто. Ну... спасибо Вам, Илья Софронович, за Ваши соображения касательно набора: жаль, что Вы так пессимистично опять настроены.

А что... будет знать Устинов, как со мной в игры играть. Заюлил ведь: Вы-хорошо-знаете-НИИЧР-Вы-сотрудничали-с-ним... так я тебе все и рассказал. Самое, однако, забавное не в том, что я Устинова напугал, — самое забавное в том, что испугом своим ему и поделиться не с кем: не пойдет же он в НИИЧР сообщать, что мне о его сотрудничестве с ними известно... подписку давал: Иван Иванович ему покажет, где раки зимуют!

Но вдруг не в игры Устинов играет? Вдруг никто из них в игры не играет? Вдруг каждый действительно такое умеет, что Ратнеру и не снилось?

Бред, бред. Всё бред в этой стране! Никто ничего ни о чем не знает, никто ничего не умеет... Все только делают вид, будто знают и умеют, — как и он сам. А за что ни схватись — пустота... пустота пустот и суета сует. И ловля ветра. И Академия его — ловля ветра. На новый курс только двадцать два человека поступили — где деньги брать? Финансирование совсем со скрипом идет: спонсоры выстроились было в очередь, да теперь, видимо, одумались. Кто ж в ловлю ветра-то вкладывает!.. А между тем академия — последний шанс, провалит он ее — что делать? И ведь знает, что — провалит... рано или

поздно, но провалит. Ему и те деньги, что сейчас дают, только и дают в счет прогнозов... однако какие ж прогнозы в России?

С прогнозами, между прочим, он сам вяпался. Снимал бы глаз да порчу, а хоть бы и на присушку-отсушку перешел... стыдно, но не проверит ведь никто! Прогнозы — это хуже: прогнозы должны сбываться. Только кто ж поручится, что они сбудутся? Однако деньги были заманчивые: не заняться ли академии Вашей геополитическим прогнозированием, Борис Никодимович? Отчего же не заняться... И выглядело-то все как игра — даже смешно было, что о таких деньгах речь идет! А ткнулся к Устинову, к Струнку, к Вилоновой — нет-нет, увольте, мы на индивидуальном уровне работаем, государствами не занимаемся... чисто-плюю! Ну и решил: сам спрогнозирую, где наша не попадала... Анализ, конечно, мне не по зубам, но, с другой стороны, какой к черту анализ, когда сегодня всё так, а завтра — хлоп... и всё сразу иначе! Что касается расстановки сил, так в России расстановка сил ни при чем, поскольку в самый последний момент обязательно какой ни то чертик из табакерки выскочит — здра-а-асте! Вот и вся тебе расстановка сил. Так что прогнозировать можно только наудачу.

Наудачу он и спрогнозировал, а чтобы не пугать никого, прогноз сочинил в модальности *печаль-моя-светла*. Ближайшие перспективы изобразил хорошими, хоть и не слишком, более дальние — туманными, хоть и не вполне. И сдал — в письменном виде — куда попросили. Там, говорят, все обрадовались — во всяком случае, финансирование встрепенулось... жалко, что ненадолго. Очередное вливание зависело, видимо, от сбывчивости прогноза.

А так-то посмотреть — куда иначе деваться было? Академия должна приносить плоды — и теперь он понимал какие.

Не в виде горстки никому не нужных больше экстрасенсов (все ставки на них были сделаны — и все сделанные ставки пропали: первый выпуск — двенадцать человек, один другого бездарнее, и перспектив у них никаких), а в виде реальной документации исторического процесса... если уж не прогресса! Потому как иначе заведение себя не окупало: аренда и зарплаты съедали всё, что в конвертах приносили студенты, охочие до мистики. На днях два выпускника, вилоновские, заявили о своем желании продолжить обучение — в аспирантуре, стало быть... А какая аспирантура, когда у специальности и номера-то порядочного нету! Не говоря уже о том, что защищаться после неполных трех лет — нонсенс... да хоть и после пяти нонсенс, ибо докторов парапсихологических наук не существует в стране, не говоря уж об ученых советах. Все, казалось бы, существует, а вот докторов парапсихологических наук — нема...

Ратнер прислушался к далекому голосу консерваторской скрипочки... что-то она, глупая, рассказывала ему. Как будто он спрашивал эту скрипочку! Как будто он мог поверить в то, что хоть одна скрипочка на свете хоть что-нибудь знает... Тоже врет, небось, все они врут, все притворяются: люди, тонкие энергии, скрипочки — все.

А скрипочка рассказывала, рассказывала... немножко спотыкалась на ходу, но тут же опоминалась, взбадривалась и опять рассказывала.

В конце концов, дорассказав свое, смолкла. Глупая консерваторская скрипочка

50. ХОРОШАЯ МОЛИТВА, СЕРДЕЧНАЯ

— Открывайте, труженик!

Птицей — птичкой Божией! — взлетел Владлен Семенович с оттоманки.

Вот и пришел к нему Институт мозга, вот и вняли небеса его молитве. Он знал, что на сей раз все правильно, все как надо... он знал!

— Открывайте, открывайте, я к Вам по делу. Я же слышу, что Вы там топчетесь за дверью, открывайте.

Пропала радость: в глазке маячил оборотень. Быть того не может! Владлен Семенович накинул на плечи халат: не в майке же открывать... «открывайте!»

Этого человека он видел раньше: через глазок. И знал, что человек — важный... возрастной. Не знал, правда, кто.

— Иван Иванович я. А Вы, значит, Владислав Семенович, оч-приятно. Внутрь-то пригласите?

— Владлен... Владлен Семенович я, а не Владислав. Вы точно ко мне? Не убрано у меня, — затосковал Владлен Семенович.

— Ничего, я невнимательно вокруг смотреть буду, — сказал гость и осторожненько оттеснил Владлена Семеновича в его же прихожую. — Чай, кофе есть — или принести?

— Все есть, — с гордостью нищего ответил Владлен Семенович. — Ну что ж... — Оба как-то сами собой оказались на кухне. — Садитесь тогда, чего ж... в ногах, как говорится, правды нет.

— Да правды и нигде нет, — обобщил гость. И добавил: — Вы только не нервничайте, я к Вам с предложением. — Сел на стул, портфельчик кожаный, потертый, рядом с собой поставил.

Владлен Семенович даже чайник разогревать не стал. Бухнул два половника растворимого кофе в чашку, залил едва теплой водой.

— Пейте.

— Вместе с Вами. Одному неуютно.

— У меня с утра осталось.

Владлен Семенович схватил недопитую чашку кофе с подоконника и отхлебнул глоток.

— Вы письмо нам ценное... — гм, во всех отношениях — прислали, спасибо.

Не вам, не вам! Не вам, а НИИ мозга, переулочек Обуха, 5, ясно же на конверте написано было... — настоящему НИИ настоящего мозга! Да что ж у них теперь и почта-то как следует не работает... столько денег за ценное письмо, сволочи, берут, а доставляют не пойми кому.

— Прочитали мы Ваше письмо, Владлен Семенович. И на карту Вашу самостоятельную поглядели... смешная такая, трогательная!

Пристрелит сейчас. Пистолет из-за пазухи выхватит — и поминай как звали.

Гость отхлебнул кофе, поморщился: холодный.

— И негостеприимный вы... Кофием холодным поите. А я, как сказано, с предложением. Не подружиться ли нам — квартирами?

— У вас никакая не квартира там, у вас там черт знает что!

Хочет стрелять — пусть сразу и стреляет. Нечего мне зубы заговаривать.

— А вот и не черт знает что, — обиделся Иван Иванович, — институт у нас там секретный. Институт мозга — для краткости.

— Институт мозга не у вас, а в переулке Обуха, дом пять, — ярко блеснул Владлен Семенович. — И он там с одна тысяча

девятьсот двадцать восьмого года. У вас же — никакого не мозга институт, а четвертичного, тьфу ты, рельефа!

— Экий Вы, батенька... школьник начальных классов! Не разбираетесь в вопросе — так хоть бы у знающих людей поинтересовались. Институт четвертичного рельефа, а такого института, к Вашему сведению, здесь нету и никогда не было, — он нас просто прикрывает. Да и не только он — нас много чего прикрывает. В частности, Ваш Институт мозга на Обуха и другие институты мозга... уж чего-чего, а институтов мозга в Москве гораздо больше, чем один. Без прикрытия никак! Враги же кругом, милый мой! Враги и шпионы всех мастей. Вы и сами это знаете, правда ведь? — И вздохнул гость, сердечным таким вздохом, знакомым таким...

— Кругом враги, — с тоской откликнулся Владлен Семенович. И не хотел откликаться, да откликнулся.

— Ну, вот... а Вы — несмотря на то, что враги, — наш институт мозга на документе крестиком жирным помечаете, зачем?

— Затем, что вы на улице располагаетесь, которой на карте нету, вот зачем! — нагрубил Владлен Семенович.

— Это на какой же такой карте-то? На Вашей, к примеру, есть, я сам видел: 4-я Брестская.

— На карте в туристическом справочнике, вот на какой! А моя карта тут ни при чем.

— Ну, милый... Вы бы карту Москвы еще в кулинарной книге искали! Вот — хорошая карта, новенькая, смотрите, — Иван Иванович открыл портфельчик, достал папку, развязал тесемочки. Карту вынул — перед Владленом Семеновичем развернул. Яркая, красивая — словно ее перед самым приходом Ивана Ивановича напечатали.

— А Брестская наша где на ней? — растерялся от обилия надписей Владлен Семенович.

— Да вот же она, Брестская наша дорогая, видите? 4-я Брестская — черным по... зеленому.

— Я такую карту купить хочу, — признался Владлен Семенович.

— Не купите, — вздохнул Иван Иванович. — Выпустили совсем недавно, но тираж распродан, теперь только нового ждать. Да и стоит она немало. Карты составлять — дело дорогое, кропотливое. Не каждый год, даже не каждые десять лет их обновляют. В основном когда что-то рассекречивается. Но не всё. Всё рассекречивать нельзя: враги... внешние.

— Все — нельзя, конечно, — проявил оппортунизм коммунист Владлен Семенович.

Он отхлебнул еще кофе и почувствовал себя крутым дураком. Чего ему, на самом деле, так расходиться было? Ну, не разобрались на почте, куда письмо направить, — Ивана Ивановича-то какая вина? Что враги кругом и что институт по соседству секретный — понятно, сам бы догадаться мог... *бывают* секретные институты! Что карты долго составлять — и это понятно, за всеми новостройками не угонишься. «Вот и получается, что дурак я дураком», — подытожил для себя Владлен Семенович.

— Чайник я разогрею, вылейте кофе холодный в раковину.

— Вилью, спасибо... м-да. Человек же Вы хороший: настоящий, закаленный — это сразу видно. За правое дело стоите, и мы с Вами Москву в обиду не дадим! Не дадим ведь, Владлен Семенович, — мы с Вами?

— Не дадим! — сверкнул непрошенной слезой Владлен Семенович, зажигая газ и ставя на плиту чайник.

— Денег-то хватает... на жизнь? — по-свойски осведомился Иван Иванович.

— Когда как, — поделился сокровенным Владлен Семенович. — С ценами ведь, сами видите, что происходит... Иногда, бывает, ремень потуже — и терпи. Хотя нам, пенсионерам, много ли надо!

— И то правда, сам пенсионер. Работающий только. Без меня им в институте, говорят, не справиться. А Вам — чего бы не поработать?

— Нет, я уж не могу больше. У меня работа сидячая была... но теперь подолгу сидеть трудно — спину ломит.

— Так Вам на старую-то работу зачем возвращаться, бабенька? Вам бы... вахтером куда, сторожем — плохо ли?

— Вахтером... это я не думал. Может, и неплохо. И сторожем неплохо. Вахтерам и сторожам сидеть не обязательно. Да только... боюсь, не понравится мне на работу добираться.

— Добираться? Вон, к нам в институт устраивайтесь, нам как раз сторож ночной нужен. Будете днем здесь, а ночами — напротив, чем не работа! Ни транспорта тебе, ни переодевания. Я, собственно уже и в дирекции посоветовался. Владлен Семенович, говорю, по письму судя, — человек в высшей степени честный, надежный, старая гвардия. Новое, говорю, время таких не родит. Как раз такой, говорю, нам и требуется.

— Да для чего ж вам сторож-то ночной? Или есть у вас, что воровать? — съехидничал Владлен Семенович. — А коли есть, так... ворах меня, старика, прибить — просто делать нечего.

— Ох, только агнца жертвенного не изображайте из себя, ладно? Можно подумать, сторожа для того нужны, чтобы

с ворами в кулачных боях сражаться! Сторожа в наше цивилизованное время, батенька, нужны только и исключительно для того, чтобы свет в помещении горел... Зажгите свет — с Вас и достаточно. А шорох, не дай Бог, какой услышите, так там у нас кнопочка прямая есть, всего-то и дел. Нажмете — и домой тикайте, напротив, для безопасности. Или, через первый подъезд, на улицу: мы так все испокон веков ходим.

И — сдался ведь Владлен Семенович. Согласился. Потом аж кофе горячим гостя еще раз напоил, про то про се с ним поговорил, до двери проводил, даже ручкой вслед помахал. Дверь тихонечко закрыл — в глазок и смотреть не стал. И пообещал, значит, что в понедельник с вечера приступит. А после уселся на кухне, расслабился... Посидел минут пять — и вскочил как ошпаренный: карта-то картой, да на ней только наземная Москва изображена! А «Калибровская»-то как же, милостивые господа? Нету никакой «Калибровской» в Московском метрополитене имени В. И. Ленина! Вот и вчера он еще там проезжал — специально, между прочим, и на схему в трех вагонах посмотрел, так и не отмечено ведь «Калибровской». Даже еще только строящиеся станции — и те отмечены! Даже просто запланированные... Не могли же люди, которые эти схемы печатают, про «Калибровскую» забыть — на кольцевой она, не просто абы где! Нет, нечисто тут, все равно нечисто, какого бы Иван Иванович туману ни напускал... ишь, пришел субчик: И-в-а-н-И-в-а-н-о-в-и-ч! Знаем мы их, иван-иванычей да петр-петровичей — таких и имен-то не бывает, права Софья Павловна... все придумано, придумано, придумано: весь этот мир вокруг него придуман — ничего нету, за что ни схватись. И не получается ничего по Иван-Ивановичеву!

Список жильцов у Софьи Павловны в шкафу — его куда девать? А Игнатича с Толяном?

Упыри, оборотни... Господи, спаси меня, сохрани и помилуй! И Иван Иванович тоже, небось, человеком только прикидывается... они прикидываться-то мастера. А страна между тем под откос летит, и куда ни глянь — везде нечистая сила по родной земле гуляет... «Мы с Ва-а-ами, Владлен Семенович, мы с Ва-а-а-ми» — да с чего ж ты взял-то, что я с тобой? Я, вон, с Игнатичем, с Толяном — мы не местные, мы небесные! А с тобой — так это мы еще посмотрим, с тобой ли. Да и что у нас общего-то? Вот, разве, на одной улице находимся, в Москве № 2 — и все... И — все?

Тут-то и покрывлся Владлен Семенович испариной, тут-то и поднял глаза к небу, а там — потолок белый, в тенях... Все равно хотел молиться, да не было молитвы в нем ни одной: чем молиться-то, Господи... многомилостиве Господи, сподоби мя Божественного дарования святой молитвы, изливающейся из глубины сердечной, собери расточенный мой ум, чтобы всегда он стремился к Создателю и Спасителю своему, сокруши разжженные стрелы лукаваго, отрывающие мя от Тебя!.. Угаси пламень помыслов, пожирающий мя во время молитвы, осени мя благодатию Пресвятаго Твоего Духа, дабы до конца моей грешной жизни Тебя Единого любить всем сердцем, всею душою и мыслию и всею крепостию моею!.. И в час разлучения души моя от брэннаго тела, о Иисусе Сладчайший, прими в руце Твои дух мой, егда приидеши во Царствии Твоем!

Откуда что и взялось, стало быть... — из сердца мольба пришла: дай мне, Господи, молитву — молиться! Ибо уразумел Владлен Семенович зловещий смысл Иван-Ивановичева «мы с Вами», уразумел — и ужаснулся в сердце своем.

«Мы с Вами» как раз и означало причастность к Москве № 2, а больше ничего. Это отсюда, из Москвы № 2, Иван Иванович столицу защищать собрался ... все равно что Россию из Америки защищать! Нам из Москвы № 1 защитники нужны, Иван ты Иванович. А с твоей стороны, из Москвы № 2, защиты не требуется, потому как там, на твоей стороне, они и собралась все — упыри-оборотни! И оттуда на нас идут, на Москву первую... наипервейшую на земле и в сердце моем. Напрасно, напрасно тешим мы себя мыслью, что это Москва № 1 в наступление пошла: не может такого быть, вы на всех этих чудовищ посмотрите да спросите себя: откуда они? Да таких же в нашей любимой Москве № 1 отродясь не бывало, мы же приятные люди все, интеллигентные, положительные... самая читающая нация в мире! А эти, в длинных пальто, с пальцами... по три-четыре десятка пальцев на руках, но вы на пальцы даже и не смотрите — вы на их челюсти посмотрите, на их затылки, на лбы их... вот где основной ужас-то.

Пошел на нас город потайной — не мы на него пошли, теснит нас, из себя выталкивает... особнячки московские старые, хрущевки да брежневки плечом задевает: ррраз — и нету их! Куда подевались? Да ветром перемен сдуло...

Владлен Семенович помнил, что где-то в ящике — каком только! — у него свечка, вроде, была, огарок свечной, в салфетку завернутый на случай чего. Он воздуху в грудь набрал — и полетели ящики на пол (цыц, чувство порядка, не до тебя сейчас!), и повалились из них старые открытки, оплаченные счета, исписанные ручки, погнутые скрепки, окаменелые ластики... ну нету, нету свечного огарка, да что ж такое-то! Со всех сторон ведь уже обступили, нетопыри, вурдалаки... губищи толстые, глазищи впалые — того и гляди набросятся, а свечного огарка в салфетке и след простыл...

эх, помню ведь — выбросить хотел, да отдумал: в салфетку завернул, в хорошее место положил!

И — выпал огарок-то!

Беленький, жалкий... фитиль-то хоть на месте? На месте... слава Тебе, многомилостиве Господи! Владлен Семенович пулей на кухню, спички схватил — и назад к огарку. Спичку горящую в мертвый стеарин тычет, а сам плачет, слезами заливается, что твое дитя малое. И — возжег огарок! Пламя чистое на свет вышло, говорит: не пугайся, говорит, дитя малое Владлен Семенович, утешься, говорит, Бог с тобой!

И затих Владлен Семенович, образумился. Покойно сидит, на огарок глядит, думу думает. Думу не простую — богатырскую. Пойдет он в понедельник в логовище, станет приглядываться да присматриваться. Своим притворяться, а к чужим приравливаться. Глядишь, и победит как ни то гадину проклятую — не силой, так хитростью да разумением. Да Божией молитвою.

Была у него теперь молитва. Хорошая молитва, сердечная.

51. СПЕЛИСЬ

Если бы не Устинов...

Но представить себе жизнь без Устинова не мог теперь Лев — и Лиза не могла. Без Устинова Льва бы уже не было: его переехала бы машина, раздавила бы каменная глыба, поглотила бы Москва-река, растоптала бы толпа — с ним что-нибудь случилось бы обязательно, не будь Устинова.

Только недавно Лев снова стал выходить на улицу один. Лиза призналась, что сначала следила за ним... «почти из-за угла, Лев, — как в шпионских фильмах, правда!»: боялась, что он опять потеряет равновесие. Если б Лиза знала, думал Лев, насколько она права... Что касается его самого, то в нем страха не было ни тогда, ни теперь: теряя равновесие и уносясь незнамо куда, он чувствовал освобождение — счастье освобождения. Однако признаться в этом не мог никому — кроме деда Антонио, все это время возившемуся с ним так, словно Лев был опять шестилетним и весь в желтом.

— Ты только не забывай, Христом Богом прошу, что я всегда рядом, говори со мной, — то и дело напоминал дед Антонио, как будто мог помочь ему, не видящему, дорогу найти!

Лев, понятно, говорил с ним... разумеется, когда не падал.

— Я сначала думала, ты навсегда ослеп, — то и дело вспоминала Лиза. — Из окна выглядело так, словно ты на ощупь по двору продвигался, — и потом, по лестнице, когда я уже к тебе выбежала, ужас!

— Я в какой-то момент тоже подумал, что навсегда.

— Сама я, сама во всем виновата, — повторяла Лиза, — с Magic Eye этим дурацким!

Лиза-то, ясное дело, тут никаким боком, а вот Magic Eye... Конечно, можно предположить, что рано или поздно все равно

бы произошло то, что произошло, — вот и Илья Софронович говорит: Magic Eye, дескать, просто подтолкнул события. Правда же в том, что именно тогда Лев зрение и подорвал — снова и снова вглядываясь в окружающий мир никуда уже не годными своими глазами и пытаясь увидеть за пестрой его поверхностью более глубокие изображения. Ведь смогла же Лиза — рисуя Марьину Рощу!

— Ты как-то очень физиологически себе все это представляешь, Лев! — чуть ли не оправдывалась та, когда он возвращался к разговору о Марьиной Роще. — Я не могу сказать, что я действительно *увидела*... я, скорее, поняла, чем увидела! Или нет — я внутренним зрением увидела, а ты пытаешься — внешним, глазами. Но глаза *так* не умеют... наверное.

Однако Лев все пробовал и пробовал: уверенный в том, что — как и в случае с Magic Eye — через одно только мгновение мир качнется... и он увидит!

И мир качнулся.

И Лев увидел.

На поверхности жизни начали проступать некие зримые объемы. Сначала он не мог удержать их взглядом — изображение возникало и пропадало, но со временем ему стало удаваться «замораживать» изображение и — ...да нет, быть того не может! Видимое Львом почти не отличалось от того, что он обычно наблюдал по ночам — засыпая с открытыми глазами. Правда, теперь мир выглядел еще прозрачней: перспектива оказалась гораздо более четкой, и он видел предметы, расположенные чуть дальше, за теми, которые находились перед глазами, — это сквозь них, словно ближайšie к нему предметы были стеклянными, просвечивали очертания всего остального...

Лев смотрел на глиняный горшок с каланхоэ и видел сквозь глину корни.

Лев смотрел на стену кухни и различал за глухим ковром с другой стороны очертания гостиной.

Лев смотрел на куртку и через плотную ткань видел, как бьется Лизино сердце.

Было и еще кое-что. Пострашнее. Теперь он, правда, начинал привыкать и к этому, но в самый первый раз... В самый первый раз ему за несколько секунд стало понятно, что значит «промокнуть насквозь»: он вспотел так, что нитки сухой на нем не осталось, словно по прихожей ливень прошел.

Лев тогда вдруг не увидел себя в зеркале. Поверхность зеркала, оказывается, больше уже не задерживала его взгляда: взгляд словно проваливался в нее и уходил дальше, за зеркало, в кабинет деда — и еще дальше, неважно куда, не в этом дело, а в том, что... понятно в чем. Кому ж неизвестно, что в зеркалах только при особых обстоятельствах не отражаются! Очень особых обстоятельствах. Жутких обстоятельствах. Конечно, Лев сумел договориться с собой — дескать, зеркало тоже, в конце концов, только преграда на пути взгляда, а если так, то какая разница — стена или зеркало... да никакой разницы, поверхность есть поверхность! Но разница была. И поверхность поверхности рознь. Только вот думать об этом Лев тогда себе запрещал — ужасаясь даже не столько за себя, сколько за деда Антонио: а ну как дед Антонио поймет, в чем дело? И ведь поймет... как миленький поймет!

Он и так уже рассказал деду больше, чем следовало, — рапортуя о своих ощущениях прямо с того момента, когда, увидев, испытал горчайшее разочарование, да что там разочарование — полное отчаянье: ведь смыслом видения могло быть для него только нахождение за поверхностью этой жизни — *другой* жизни: незнакомых светил, крылатых коней, всадниц с развевающимися волосами! Но не было, не было

другой жизни за поверхностью этой, а была только та же самая эта — просто заслоненная спереди... Или — при взгляде в зеркало — не было просто *никакой* жизни. Ох ты, Господи, Боже мой...

А еще чуть позднее понял Лев, что она, та же самая жизнь, простирается и еще дальше — даже туда, куда не достает глаз... или все-таки достает?

Тут-то и началась, медленно набирая силу, собственно болезнь — болезнь, опрокинувшая все зеркала и сделавшая само понятие зеркала ненужным: глаз доставал все дальше, и все больше очертаний виднелось в перспективе, до тех пор пока не оставались одни контуры и контуры контуров — и контуры контуров контуров. Потом видны были одни точки разных цветов — наподобие тех, что в обычной жизни постоянно мелькали у него перед глазами, а в конце концов — точки поменьше, одного цвета, но это оказался еще не самый конец концов. В *самом* конце концов точки вообще утрачивали величину, становились пылью, сходили на нет и — превращались в ничто. Вокруг Льва — везде: по сторонам, сверху и снизу — было только туманное небо.

Вот когда Лев ощутил, что чрезмерная острота зрения и слепота — одно и то же. Он потерял возможность передвигаться: в мире, где *ничего не было*, никаких объемов и никаких ориентиров, передвигаться — нельзя! Исчезло право и лево, исчезло впереди и сзади, исчезло близко и далеко. Не говоря уже о разнице между тротуаром и проезжей частью дороги, между набережной Москва-реки и Москва-рекой... Он и в квартире теперь передвигался вслепую, по памяти — ощупывая то, что находится на пути.

Лиза позвонила в академию, сообщила, что Лев болен и некоторое время будет отсутствовать на занятиях. Вечером

того же дня Леночка по телефону лечила его от гриппа: такой диагноз по просьбе Льва сообщила ей Лиза.

— Может быть, Устинову позвонить? — Лиза тогда все время плакала.

Устинов, казалось, ничего не понял, спросил: «Мне приехать?»

— Я не знаю, Илья Софронович, это неудобно Вам, но... я тут с ним одна днем и ночью: он вот уже неделю ничего не видит, понимаете? Я даже с кровати ему встать не даю: он падает. И не спит никогда: глаза открыты все время. Надо к офтальмологу, а он не соглашается...

— Не надо к офтальмологу, — сказал Илья Софронович и приехал.

А приехав, все объяснил — звучало, вроде, правдоподобно, во всяком случае — успокоительно. Лиза перестала плакать. По Устинову получалось, что ситуация не безнадежная, но «...такие вещи постепенно делаются, Лев: тогда можно ими управлять. Так же, как и с “магическим глазом”, суть в том, чтобы свободно переключаться с одного способа видения на другой. Вы расфокусировали зрение, а вот опять сфокусировать — не получается. Но получится: выберите произвольный участок своего “неба” — и попытайтесь сосредоточиться именно на нем».

Получилось у Льва только через много дней: на выбранном им участке сперва появилась пылинка... точка, потом еще одна, потом еще — и точки стали расти. А дальше точки приобрели цвет, сгруппировались в объемы — и все вокруг начало проступать явственнее и явственнее. Ощущение того, что мир вернулся к нему, было ни с чем несравнимым: предметы, правда, еще продолжали «плавать» и их то и дело приходилось «останавливать», но Лев уже знал как. Система

упражнений, которые — вместе с расписанием, когда какое выполнять, — дал ему Устинов, постепенно помогала Льву учиться чередовать два способа видения.

— Вы быстро привыкнете, — уговаривал его тот, улыбаясь и никогда не задавая вопроса про зеркала, словно никаких зеркал и не было на свете. — Привыкнете — и перестанете обращать внимание на зрительные неудобства. И слава Богу, что перестанете, поскольку все равно навик Ваш ненужный, как и остальные... подобные. С ним человеку нечего делать: дар напрасный, дар случайный! Я уже много лет так живу... вот на старости лет рискнул только начать дальновидение преподавать. Хотя *преподать* его, вообще говоря, нельзя — можно описать... Потому как ведь только у единиц ментальный навик укоренен в физиологии и имеет, так сказать, материальное основание — как вот у Вас. В Вас я сразу некий секрет заподозрил — как вспаленные глаза Ваши увидел, потому на занятиях именно на Вас и поглядывал. Не знал только, что за секрет... теперь знаю. Но Вам-то как раз дальновидение преподавать и не нужно — Вам нужно помочь управляться с физиологической функцией. Как и когда отключать и включать фокус. Как и зачем выбирать один из планов, на котором фокусироваться. Как распоряжаться получаемой информацией. Как скользить между планами... между мирами. Как заходить на разные планы и покидать их. Это серьезные вещи, только, повторяю, делать с ними нечего, поскольку информация, добытая таким путем, вступает в противоречие со всеми остальными способами добывания информации, находящимися в распоряжении людей. Если то, что Вы можете, можете Вы один — Вы под подозрением... и вся жизнь — на собственном примере говорю, хоть у меня и по-другому все

устроено, — уходит на то, чтобы оправдаться, м-да. А не на то, чтобы жить. Но самое страшное — что приходится и перед самим собой оправдываться.

— Деда, — спросил Лев тем же вечером, — ты знаешь, почему у меня так — со зрением?

И — *навсегда* обескураживший Льва ответ:

— Первое естество лвово. Егда бо раждает лвица мъртво и слепо раждает...

Новое «видение» то и дело теперь ошарашивало Льва информацией, которую ни к чему знать. Которой лучше не знать.

— Ибо невидимое не случайно невидимо: оно *должно быть* невидимо, так тут у нас все устроено, — без конца повторял Устинов, и Лев знал, что так и есть: он и сам себе это без конца повторял. Вчера, сидя в гостиной и непроизвольно расфокусировав зрение, Лев увидел, как Лиза в ванной рассматривает в лупу маленькую бородавку на внутренней стороне бедра. Он предпочел бы не видеть этого.

Он предпочел бы не видеть многого из того, что видел сейчас.

«Дальновидение есть наказание»... прав Устинов.

— Илья Софронович, а не может быть так, что это все не видение вещей, а только представление о вещах? Глаза ведь тоже обманывают!

— Глаза — в известном смысле худшее из того, что у нас есть, — вздохнул Устинов. — Они, конечно, *могут* обмануть, но делают это гораздо реже, чем все остальное... И у них имеется одна уникальная особенность — способность взглянуть: даже если глаза *сначала* и обманывают, то *потом* обычно все-таки говорят правду... когда удастся рассмотреть вещи как следует. Это потому люди верят им больше, чем ушам или, там, пальцам. Зрительная информация, как бы там ни

было, — самая надежная. Между прочим, даже в нашем кругу с «умеющих видеть» спрос особый... — и сопротивление им, увы, тоже особое.

А вот на карту Пал Андреича Лев теперь смотреть не мог — карта словно кишела червями, пузырилась, дыбилась: Москва на глазах меняла очертания. Черви сражались за место на карте: выталкивали друг друга, проедали себе новые пространства, поглощали старые. Чтобы различить что-нибудь на поверхности, требовалась все большая сила взгляда — от напряжения у Льва кружилась голова, изображенное на карте превращалось сначала в точки, потом пропадало, и Льву стоило колоссального труда опять увидеть на карте хоть что-нибудь.

Устинов, которому Лев рассказал обо всем этом, посоветовал убрать карту с глаз долой.

— Все карты не точны, все карты врут, Лев, — говорил он. — Карты ведь кем составляются? Они странствующие в духе составляются и тому, что обычные люди видят, сначала вообще не отвечают. Это только потом, когда пространство, которое ни очертаний, ни названия *в принципе* не имеет, глазами странствующего в духе *увидено* и на карте, например, запечатлено, оно появляться начинает... становиться. Сначала форма вырисовывается — понятно, что за форма: форма *увиденного*! Ибо какое все *на самом деле* — ах, Лев, Вы же знаете теперь сами: точки... точки, превращающиеся в пыль и уносимые ветром. И Москвы ведь не две, как Вам объяснили, — их гораздо больше. Существует, например, Москва, которой нет и на самой точной карте — если, конечно, такие карты в принципе бывают! В чем я лично очень и очень сомневаюсь, потому что одно дело форма, которую увидеть можно, и совсем другое дело — названия, обозначения... Невозможно, немислимо, Лев, обозначить всё! Любая

обозначенность сообщает обозначенному статус существования: каждое новое название увеличивает число объектов, втиснутых в данный объем пространства, на как минимум еще одну единицу... что рано или поздно грозит данный объем пространства — разорвать. Назови объект — и он возникнет, а не называй — нет объекта! Имеется, правда, один тип обозначения, который реальность до поры до времени может игнорировать, — обозначение в *устной* речи, то есть посредством проговоренного, но ни в коем случае не написанного слова. Об этом, кстати, лучше всего у бюрократов спросить: они-то знают, что нет *документа*, состоящего из слов, — нет и факта. Но, если даже и любому просто произнесенному слову что-нибудь да отвечает в реальности, то справедливо будет сказать, что реальность этого предъявлять не обязана! Почему, думаете Вы, вся эта чертовщина с Москвой вообще возможна? Потому что она, Москва как таковая, вся Москва, не зарегистрирована — нигде. Ни на карте или плане, ни в справочнике московских улиц, ни в телефонной книге. Единственное место, где *вся* Москва существует, — речь. Речь, но не язык, который есть узаконение речи, до-ку-мен-ти-ро-ва-ни-е, понимаете? Это как с... с матом: в реальности слово из трех букв есть и на каждом шагу, увы, произносится, в самом крайнем случае — на заборе написать можно, однако в словах — отсутствует! Не-ту. Не существует. Не узаконено.

— Между прочим, переулка, где Академия Тонких Энергий расположена, на карте Пал Андреича не было. И до сих пор нету.

— Да он ведь, переулок этот, тоже пока только в речи существует — усмехнулся Устинов. — как и сама академия... Тут у нас всего и есть что академия да магазин кооперативный! Только, думаю я, не примет их место: не держит память

места случайных событий. А академия — дело случайное, временное, ратнеровское... простите. Сплошные проходимцы вроде меня — и не протестуйте! Я, Лев, расстроенный инструмент: на мне настоящей музыки уже не сыграть. Вот Вы — инструмент чистый, Богом настроенный... да зато и не нужный никому. Разве только — Богу.

«Богу?» — в сердце своем спросил себя Лев.

— Заведение же, в котором мы встретились, — вредное. Кстати, не столько даже для Вас, сколько для... нас.

Трудно было понять, кого из «нас» Устинов имел в виду, но Лев ответил:

— Знаю, что вредное. Давно знаю.

— Хуже всего, что Ратнер тоже знает, что Вы знаете! Когда Вы только успели...

— У меня было с ним несколько неудачных разговоров, — покраснел Лев, — когда я, в общем, вел себя не лучшим образом...

— Он вызывал Вас к себе, в кабинет?

— Да нет, один раз мы в коридоре поговорили, а кроме того... В общем, так: у Ратнера роман с моей мамой... Леночкой, я так ее называю, и мы уже встречались с ним в домашней, так сказать, обстановке. Там он совсем невыносим. Там в нем комплекс отца просыпается.

— Ясно, — коротко отрапортовал Устинов.

— Первый раз, когда в коридоре, Ратнер сам хотел узнать мое мнение — я ему сказал... я просто не выдержал, — что не вижу разницы между физической расправой и метафизической расправой, к которой он в своей речи призывал. Ратнер разозлился очень. Потом я его — случайно совершенно — у Леночки встретил, а он там начал разглагольствовать о моем будущем и что у него наконец появился ученик, поскольку все

остальные студенты — идиоты бездарные... Ну, я, просто в пику ему, сообщил, что выбрал себе другого учителя, хоть я тогда никого конкретно в виду и не имел, и добавил еще, что на его месте я не стал бы называть бездарными идиотами тех, на чьи деньги пирую... А третий раз еще хуже получилось: я специально к Леночке пришел, чтобы его застать — и застал, конечно...

— И? — встревожился Устинов.

— Да нет, ничего особенного... а потом, то, что я сказал ему, тоже ведь в контексте определенном было сказано... неважно каком. Короче, я сказал, что отказываюсь учиться в академии бесплатно и от стипендии отказываюсь — взял и положил на стол конверт с деньгами. И добавил: довольно с Вас, что Вы мою мать на деньги бездарных идиотов содержите, а меня на их деньги не надо содержать... и что настала ему пора сообщить студентам, какого он о них мнения. Скандал был страшный... Ратнер совсем разошелся, заговорил о нравственности — в общем, пурга. А я заметил — просто к слову, что не очень нравственно готовить экстрасенсов из бездарных идиотов... опасное, говорю, это сырье.

Устинов давно сидел с разведенными руками.

— И с тех пор Вы с Ратнером не встречались — у мамы?

— Встретились еще раз, только уже никаких разговоров таких не заводили, да я и зашел на минуту, по делу, меня Лиза у подъезда ждала. Ратнер был любезен, как... как правда отец родной!

— Знаем мы таких отцов родных, — покачал головой Устинов. — Хорошо бы, конечно, этот комплекс отца у него остался и каким-нибудь другим не сменился. Потому что страшный он человек...

— Страшный человек, — подтвердил дед Антонио.

А Лев весело подумал: «Спелись».

52. СКАЗАЛ И ЗАМОЛЧАЛ

Как бы узнать, что у них здесь.

И здесь.

И здесь.

И вот здесь.

Теперь у Владлена Семеновича были ключи — ключи от каждого кабинета и от каждого подвального помещения. Он ходил по длинному коридору, брел связкой, но — ничего не открывал. Об этом — как и о неразглашении сведений, касающихся НИИ, — с него взяли подписку: открывать двери отделов только в случае возникновения действительно критической ситуации. Потому что тогда, в случае возникновения действительно критической ситуации, — какую бы дверь он ни открыл, сработает сигнализация-на-щите: щит этот неприветливо подмигивал ему по ночам красным огоньком. Отключен от сигнализации был только сам коридор, по которому вот уже какой месяц и бродил бессонный Владлен Семенович, останавливаясь у дверей и пытаясь понять, что там, за ними, происходит днем. Да и сейчас, ночью, может быть, происходит... потому как — кто знает, кто знает!

Связку ключей он получал каждый вечер от самого Мордвинова, под расписку: Мордвинов, уходя из института, звонил в звонок квартиры напротив и отдавал ключи — проще не бывает. А каждое утро, в девять, Владлен Семенович ключи возвращал — опять же самому Мордвинову, но уже в институте. Причем происходило все это почти молча — ну, здравствуйте, там, до свиданья, а больше — ни слова... Единственным человеком, с которым Владлен Семенович иногда успевал перекинуться парой фраз, была Лотта Ввеймаре — Сусанна Викторовна. Правда, она продолжала

немножко бояться его со времен встреч у почтового ящика, когда он ошарашивал ее вопросами типа: «Почту забираете?» А вот Ивана Ивановича, который оказался, вроде бы, начальником отдела кадров, он со дня приема на работу и не видел ни разу. Нет, в глазок — видел, что приходил в институт Иван Иванович, но в глазок он и всех видел — что приходили.

Остальным сотрудникам Владлена Семеновича даже не представили — и никаких перспектив не предвиделось. Да и вообще его близость к институту была какой-то призрачной: вроде, и работает тут, а знает не больше, чем посторонний. И чего ему было подписку о неразглашении давать, если он при всем желании ничего разгласить не сможет! На табличках над дверями — одни цифры дурацкие: номера кабинетов. Только на трех, это уже в самом конце коридора, слова: «Приемная директора», «Бухгалтерия» и «Отдел кадров»... не особенно где фантазии, значит, разгуляться.

В отдел кадров Владлену Семеновичу попасть, конечно, особенно хотелось: небось, прочитай он личные дела сотрудников — сразу бы понял, чем они здесь занимаются... Но об отделе кадров и думать было нечего. Впрочем, ни о чем думать было нечего: Мордвинов перед уходом каждую дверь, наверное, собственноручно проверял — заперта ли.

С этого Владлен Семенович вечерний обход и начинал: за все ручки дергая — не оставил ли Мордвинов какую дверь незапертой? Мысль, впрочем, была глупой: при хотя бы одной незапертой двери институт не удалось бы поставить на сигнализацию. Но ведь и поставить институт на сигнализацию можно было бы случайно забыть... Однако случайностям не было места в жизни Мордвинова. Все больше отчаиваясь, Владлен Семенович, тем не менее, проникался и все большим

уважением к директору, не совершавшему ошибок — никогда. Чувство порядка, жившее во Владлене Семеновиче, отзывалось на педантичность Мордвинова нежным посасыванием под ложечкой, и через некоторое время трудно уже было сказать, чего Владлен Семенович хочет больше: чтобы Мордвинов забыл поставить институт на сигнализацию или чтобы не забывал.

Когда прошло много месяцев и Владлен Семенович понял, что знает о НИИЧР ничуть не больше, чем раньше — через глазок, он решил заглянуть в институт как-нибудь в середине рабочего дня. Якобы просто так... тортик принести да чаю попить — вот хоть и с Сусанной Викторовной. Выбрал нейтральный такой день — четверг, а время — тринадцать ноль-ноль, обед. Самому себе Владлен Семенович казался страшно коварным.

— Владлен Семенович, — удивилась Сусанна Викторовна, приоткрыв дверь на его звонок, и задала вопрос, какой лет за сто до нее задали бы слуге, потревожившему хозяев: — Чего Вам?

— У меня вот... тортик тут — кооперативный, — растерялся тот. — На случай чайку попить.

— Вы меня к себе приглашаете? — уточнила Сусанна Викторовна и взглянула на него строго: — Я же на работе!

— Тогда, может быть... мне к Вам? — совсем уже съехал с колеи Владлен Семенович и ужаснулся сказанному.

— Вам? Ко мне... домой? Опомнитесь, Владлен Семенович, пожилой ведь человек, стыдно! К тому же, я давно замужем.

Владлен Семенович стоял по стойке смирно и ненавидел Сусанну Викторовну. Ишь, размечталась, свиристелка старая! Думает, я к ней в гости напрашиваюсь. А я и не к ней вовсе, я...

— Я, вообще-то, к Ивану Ивановичу, — сказалось у него само собой.

— С тортом? — придралась Сусанна Викторовна.

— С тортом! — плюнул на условности Владлен Семенович.

Покачав головой, Сусанна Викторовна набрала номер:

— К Вам тут Владлен Семенович... с тортом. Не оповестил, по какому вопросу.

— По личному, — заспешил Владлен Семенович.

— По личному, — бесстрастно повторила Сусанна Викторовна и, положив трубку, сказала Владлену Семеновичу: — Пройдите, кабинет 18.

Бросив на Сусанну Викторовну взгляд, в котором читалось: «Съела, стерва?» — он направился по коридору.

В кабинете у Ивана Ивановича оказалось солидно: мебель темная полированная, кресла кожаные.

— Да Вы пройдите, Владлен Семенович! Садитесь. По какому поводу с тортом?

— Так... — не нашел, как выкрутиться тот, и присел на краешек кресла. — Вы, Иван Иванович... — в голове у него было совсем пусто, — карту свою мне напрокат не дадите?

Кому наверху он обязан был этой подсказке, не знал Владлен Семенович, но гора упала у него с плеч — к счастью, бесшумно и ничего не задев.

— Почему же не дам? Дам, конечно. Только... только не рисуйте на ней ничего — как Вы любите, уговор?

— Уговор, — не веря своим ушам, промямлил Владлен Семенович и принял протянутую ему папку. — Мне ненадолго... только изучу и сразу верну.

— И торт на ней не ешьте, пожалуйста! — предупредил Иван Иванович, вставая.

— Да что ж я, варвар, что ли! — засуетился Владлен Семенович и начал пятиться к двери. — До свиданья, Иван Иванович, спасибо за понимание...

Мимо Сусанны Викторовны, как раз открывавшей дверь в какой-то кабинет на его пути, он прошел, едва кивнув:

— Привет мужу.

«Солдафон», — сказала Сусанна Викторовна в сердце своем и исчезла за дверью.

Проходя мимо ее стола, Владлен Семенович хотел было опрокинуть стоявшую на нем чашку кофе в открытую ровно посередине книгу, но передумал и, следуя невесть откуда взявшейся шкодливости, просто захватил книгу с собой: пусть хоть общется вся, старая крыса! Оглянулся, нет ли кого в коридоре. В коридоре никого не было. Он осторожно закрыл за собой дверь и с сатанинской улыбкой покинул место преступления.

Дома Владлен Семенович первым делом подошел к иконке, которую недавно приобрел в иконной лавке на Тверской — название понравилось, «Спас в Силах», — и с чувством перекрестился. Отметив про себя, что все последнее время — с тех самых пор, как он «пришел к Богу» (Владлену Семеновичу было приятно обозначать это так), тот неизменно оказывал ему посильную помощь: рраз — и невидимо подает... то денег, то смекалки, то удачи. Надо, надо верить, без веры нельзя, особенно пожилым!

Карта лежала перед ним — занимая весь стол. Лежала и не производила впечатления. Во-первых, он и вообще вдруг перестал верить картографии, а во-вторых... Во-вторых, он, видимо, представлял себе, что все ранее засекреченное будет на новой карте выделено — например, красным или еще каким цветом: дескать, вот на это и это следует обратить внимание, поскольку на прежних картах оно не отмечалось. Однако никто, оказывается, не позаботился о том, чтобы ему, Владлену Семеновичу Потапову, было удобно... Москва оказалась

просто сваленной перед ним в кучу. И в куче этой у него не было желания разбираться. Для порядка он, правда, все-таки нашел 4-ю Брестскую и 16-й проезд Марьиной рощи, а также Большую, Малую и Среднюю Коммунистическую, но дальше дело не пошло. Улицы отмечены, перекрестки, к ним ведущие, — тоже... а большего чувство порядка и не требовало.

Но вот что за книгу все время читала Лотта Ввеймаре — это было интересно. Книга называлась «Как перестать беспокоиться и начать жить», автор Дейл Карнеги... Владлен Семенович усмехнулся, подумав, что «перестать беспокоиться» Сусанне Викторовне следовало бы лет пятьдесят назад, в то время как «начинать жить» в ее возрасте было, пожалуй, уже просто опасно. Он без интереса полистал книгу и хотел отложить ее в сторону, да Спас в Силах, не спускавший с него взгляда все последнее время, сделал вдруг так, что вздумалось Владлену Семеновичу задержаться на чистой странице форзаца. Там было написано карандашом: «847674 (вкл.-выкл. сигнализацию)». От внезапного волнения Владлен Семенович сразу же кинулся в туалет, успев, правда, проконтролировать по дороге, заперта ли — и на два ли замка! — входная дверь. В туалете, отправляя ко всем чертям естественные потребности, он распевал похабную песню «Хе-хе-хе-хе, Сусанна» и чувствовал себя всемогущим.

Не преминув тут же после этого поблагодарить за все Спаса в Силах, Владлен Семенович аккуратно переписал цифры и сунул книгу в карман пиджака, в котором выходил на ночные дежурства: не забыть сегодня же вечером подложить ее беспокоящейся и все еще не начавшей жить Лотте Ввеймаре — например, куда-нибудь между стеной и столом... завалилась книжонка-то, дескать! Потом, наевшись кооперативного торта ложкой из коробки, Владлен Семенович лег

на софу с намерением как следует выспаться: ночь предстояла интересная.

И недели не прошло, как Владлен Семенович истоптал в институте все, что поддавалось истаптыванию. Кабинеты на первом этаже, включая святую святых — отдел кадров — оказались неинтересными: интересное было, видимо, заперто в больших железных шкафах и компактных бронированных сейфах. Бумажки, вытолкнутые на поверхность, не содержали ничего, за что можно было бы зацепиться — даже и цепким пальцам Владлена Семеновича в белых резиновых перчатках: грамотно работаю, господа, отпечатков не оставляю!

Почти во всех кабинетах находилась какая-нибудь техника: типа компьютеров, ксероксов, проекторов, телевизоров, диктофонов и магнитофонов, самоподнимающихся и самоопускающихся досок и экранов... Но все это, по мнению Владлена Семеновича, имелось в распоряжении *любого* НИИ, чем бы он ни занимался, а вот что именно делало этот НИИ — НИИЧРом... Правда, в двух кабинетах оказались-таки желанные химические лаборатории, полные банок-склянок-пробирок с жидкостями странных цветов или замаринованными в жидкостях и очень противными на вид массами... однако и это, увы, ничего не объясняло далекому от наук Владлену Семеновичу. Кстати, техника и приборы производили впечатление мертвых — единственное, что казалось живым, были небольшие щиты, напоминавшие щит сигнализации в коридоре: на них без остановки перемигивались разноцветные огоньки. Огонькам он был благодарен: те, хоть и скуповато, но освещали кабинеты, поскольку света Владлен Семенович, разумеется, не включал — конспиратор!

Не интереснее оказалось в подвальном помещении, в ночное время тоже отделенном от первого этажа запертыми дверьми, в которые всегда утыкались ведущие вниз ступени. Первые дня два Владлен Семенович боялся заблудиться в подвале, как однажды уже случилось с ним, но потом понял, что рабочее пространство подвального помещения вполне обозримо, а все остальное — только система пустых коридоров, выводящих, скорее всего, на поверхность в разных районах Москвы, — своего рода бункер. Коридоры Владлен Семенович изучать не решился: черт их знает, чем все они заканчиваются, — а вот по рабочему пространству побродил вволю, осторожно прикоснувшись перчатками к каждому из агрегатов, даже ночами производивших, видимо, какую-то энергию. Агрегатов было много, но выглядели они почти одинаково и передней стенкой тоже напоминали щит сигнализации. Провода и кабели уходили в стены — и по этим проводам и кабелям что-то, понятное дело, передавалось: не то отсюда в помещения первого этажа, не то из них — сюда. Ибо здесь тоже мигали огоньки — явно отвечая огонькам на щитах в кабинетах. Только вот о чем переговаривались огоньки с огоньками...

Снова и снова исследовал Владлен Семенович кабинет за кабинетом: дергая ручки шкафов и пробуя ящики письменных столов на крепость, просматривая лежавшие на столах и выброшенные в мусорные ведра бумаги. Спроси его, что он ищет... нет лучше не спрашивай, не знает Владлен Семенович. Улики? Да, пожалуй, улики, потому что сердце криком кричит: неладно здесь! Больно уж тихий омут, больно уж дисциплинированы сотрудники, больно уж веселы огоньки... А главное — совершенно непонятно ведь, *что* тут засекречено. Наверное, содержимое шкафов и сейфов, только

туда-то уж совсем нету доступа — и никакая Лотта Ввеймаре не поможет.

Сегодня Владлен Семенович взял с собой Спаса в Силах. Стыдно сказать... нервы в одиночестве не выдерживали. Сидя в Иван-Ивановичевом кабинете перед иконкой, поставленной на стол, Владлен Семенович шепотом разговаривал со Спасом в Силах. Помощи просил.

— Вот, — говорил он шепотом, — сижу рискую, да толку нет. А где-то ведь известно, что сигнализация в данный момент отключена... и кое-кто-у-нас-порой может подумать: чего же это она отключена-то в половине второго ночи? — и направиться к месту данного подозрительного происшествия, дабы голову мне оторвать, милостивый Спасе в Силах!.. Ладно, было бы хоть за что, а тут ведь — так просто, ни за что. Помогите, Господи, вразуми! Чую, чую, что неладно тут, а вот как убедиться — не знаю.

В присутствии Спаса в Силах ему, оказывается, и правда было поспокойнее — не то чтоб совсем, конечно, спокойно, но все-таки... Часть Иван-Ивановичева стола счастливо освещалась фонарем с улицы, который чуть покачивался, — и строгое лицо Спаса в Силах, казалось, меняло выражение, словно бы реагируя на слова Владлена Семеновича, словно бы сопереживая.

— Мне, милостивый Спасе в Силах, не то чтобы больше всех надо было — и не то чтоб я такой уж дотошный по натуре своей! А просто желаю знать, что здесь происходит, и — как коммунист несуществующей партии, но в душе — имею полное право. Неприятно мне, что некоторые люди, значит, в одну дверь входят, а выходят-то совсем в другую. Может, так оно и удобнее, но все равно неприятно мне. И собаку зачем сюда каждое утро приводят — тоже ничего хорошего, научное

все-таки учреждение, не лес густой! Вот и задумаешься. А что особенно подозрительно — что ничего тут подозрительного нету! Ни инопланетян в банках, ни станков фальшивомонетных, ни оружия... если только это все не в шкафах да сейфах у них. Но инопланетяне там бы задохнулись. Хотя, конечно, если они заранее в банках не задыхаются... Короче, институт-то секретный, а чего в секрете держат — непонятно!

— Да все понятно, любезный друг Владлен Семенович, — тоже шепотом ответил вдруг Спас в Силах, — если только соображение ума иметь. Ты вот в столе, за которым сидишь, верхний ящичек-то справа открой да руку в самый левый угол и просунь, а там ключик спрятан от шкафа кованого! Только один и спрятан, остальные Иван Иванович с собой носит. Почему спрятан — не твоего ума дело. Дальше пока ничего не скажу, но сам ты увидишь. А не поймешь, что увидишь, — поясню наглядным образом.

Кованый шкаф высылся прямо перед Владленом Семеновичем, так что все точно Спас в Силах объяснил. И ключик нащупался — и к шкафу подошел. А в шкафу документы разные — торчком в ящиках стоят.

— Ну, Владлен Семенович, тут от тебя терпение требуется. Но знаю я, что терпения тебе не занимать, а потому всецело на тебя полагаюсь, — сказал Спас в Силах. Сказал и замолчал.

53. ОХ-ХО-ХО

Лиза пропала.

Накануне она — вопреки теперь заведенному у них порядку — не осталась на ночь: рассказала, что звонила домой... какие-то проблемы — надо сходить — увидимся завтра после занятий.

Лев откуда-то знал, что увидятся они теперь не скоро. Доведя Лизу до спуска к набережной, он тихонько сжал ее плечи и сказал:

— А вот, господа, андерманир штук — прекрасный вид: Лиза счастливая стоит.

— Что? — засмеялась Лиза.

— Потом когда-нибудь объясню, беги.

Не знал Лев только одного: куда именно ее от него спрячут. Но определено — в хорошее далекое место... где там у таких, как ее родители, родственники живут?

Лев не искал ее — только на третий день поздно вечером припелся «во двор», к Сэму.

— Уже? — спросил тот. — Дури хочешь?

— Уже. Нет.

Все было понятно: Лев знал историю с Ленор.

— Скажи еще спасибо, что они Лизу от тебя удалили, а не наоборот.

— Когда она позвонит... — начал Лев.

— Она не позвонит. А то бы давно уже позвонила. Но я догадываюсь, чем ей пригрозили, если она упрямитесь будет.

— Чем?

— Странный ты, Лев, ей-богу: «чем»... — твоей жизнью, вот чем! Ну, или там — здоровьем как минимум.

— А не проще бы было меня — чик-чик?

— Кто из нас дурью напичканный — ты или я? Если бы тебя чик-чик, то она бы... помнишь:

Две равно уважаемых семьи
В Вероне, где встречаются нас события...

— и так далее? Нет, ты же книжек не читаешь... «Ромео и Джульетта», в общем. Ромео и Джульетта сегодня: он из диссидентской семьи, она из гэбэшной. Смешно.

— Я не из диссидентской.

— Да знаю, что не из диссидентской, — это я просто для композиционной четкости. — Сэм потряс головой и закончил: — Думаю, она не позвонит, Лев. Не напишет. Не даст о себе знать. Она будет делать все, что они говорят.

«Другие времена» действительно не помогли... ибо не бывает, не бывает, не бывает других времен.

— Мне плохо без Лизы, — вздохнул дед Антонио.

— Тебе оттуда ее не видно? — пошутил Лев.

— Откуда «оттуда», — рассердился дед, — когда я здесь? Черт вас знает, как у вас, молодых, мозги устроены... с такими шуточками. Какие вы tutti холодный все!

— Нормально устроены, деда, не волнуйся.

— Я не постигаю, как это... ни она ничего не предпринимает, ни ты! Ты так и не попытаешься...

— Нет, — остановил его Лев. — Я ей живой нужен.

— Но сколько ты без нее продержишься?

— Сколько надо, столько и продержусь, деда.

Черт их знает, как у них мозги устроены, черт их знает...

Устинова положили в больницу: сердце. Римма Ипполитовна, его загадочная жена, которая умудрилась почти за год ни разу не показаться Льву на глаза, попросила по телефону

«не беспокоить Илью Софроновича»... «Не беспокоить» означало, конечно, «не посещать».

В академии прямо с середины семестра отменили дальновидение — разумеется, успокоив, что временно. Вместо Устиновских часов в расписание беспорядочно набросали разных спецкурсов, преподававшихся «ведущими учеными из ближнего и дальнего зарубежья». К ведущим ученым, из любого зарубежья, полагались переводчики с навсегда испуганными лицами — вне зависимости от того, осуществлялся перевод с французского или, например, с украинского. Украинский ученый, Панасенко (Поносенко, в местной транскрипции), специалист в области кармических законов, заявил, по слухам, что не понимает вообще ни слова по-русски, — и студенты, в том числе Лев, ходили на его спецкурс «прикалываться». Они там изо всех сил помогали лысому переводчику с густой бородой найти наиболее точный перевод на русский таких смачных украинских слов, как «хинаяна», «махаяна», «реинкарнація» и им подобных. Вторым любимчиком стал последователь Айванхова, Патрик Шевалье, вечно под мухой, который, несмотря на присутствие переводчика, все время пытался убедить студентов, будто знал русский, как родной, обращался к каждому «мон фрер блян» (за что чуть ли не на третий день получил кличку «Фрер Блян») и доводил аудиторию до экстаза заявлениями типа «армони с'э трэ жולי, хорошо, мэз эль э пердю, дизармони с'э нэ хорошо па, плёхо, ужас, фэн дё сьекль».

Ходили к Поносенке и Шевалье толпой, собираясь с обоими курсов и демонстрируя доселе невиданную посещаемость и сплоченность. Было весело. «У нас тут как в цирке», — сказал кому-то в курилке Лев.

Донесли Ратнеру, все переврали... Ратнер пожаловался Леночке, Леночка не поняла серьезности момента, стала смеяться, а Ратнер разъярился — и на Льва, в первую очередь, и на Леночку — во вторую... В общем, плёхó, ужáс, фэн дё сьекль!

Через месяц с адресом якобы набережной Тараса Шевченко от Лизы — вопреки Сэму — пришло-таки письмо: глупое, определенно подцензурное («Девятнадцатый век просто, деда: “Бедная Лиза”!» — «Восемнадцатый, Лев! Но как ты можешь...»). В письме сообщалось, что они со Львом в ближайшем будущем не увидятся и что Лиза «отныне будет строить свою жизнь по-другому». Заканчивалось письмо явно единственным Лизиним словом: «Пока!» Прочитав «пока», Лев облегченно вздохнул: «Слава Богу!»

— Ты, деда, не переживай, она, небось, над этим письмом сама со смеху умирала. Но все будет хорошо, вот увидишь. Она их здорово обманула своим «пока». Мы еще увидимся с ней, мы будем вместе опять... может, и не скоро, но будем.

— Почему ты так уверен, Лев?

Деда Антонио, с его архаичным отчаянием, было ужасно жалко.

— Потому что нас, *уже* обманутое поколение, обмануть практически невозможно. Никогда не бойся за нас, деда, — очень-очень серьезно и очень-очень жестко сказал Лев.

— Ты... ты не тоскуешь по ней? — попытался хоть немножко пробиться вперед дед Антонио.

— Тоскую? М-м-м... конечно, тоскую: плёхó, ужáс, фэн дё сьекль. Но это не страшно, — закрыл ему все пути вперед Лев.

На следующей неделе Лиза дважды дала о себе знать: в обычное для них вечернее время. Сигнал тремя звонками—один во вторник, другой в четверг. Получалось, у нее пока порядок.

Ратнер, встретив Льва на улице перед академией, вызвал его к себе на ближайший понедельник.

— Могли бы и дома поговорить, — нетонко съязвил Лев. Но обещал прийти.

И пришел.

Он знал, о чем пойдет разговор — и на фоне того, что Устинов, похоже, выбыл из строя... и вообще — знал. Ему будет опять предложено учеником становиться...

— В лучшем случае, — заметил деда Антонио.

Так и вышло. Причем Ратнер вел себя не просто как отец родной — как два отца родных.

— А почему не преподаете у нас ничего, Борис Никодимович? — спросил Лев, бесстыдно проигнорировав уже второй раз *не* заманчивое предложение.

— Это я пока не преподаю, — сильно подготовленно ответил Ратнер. — Я подключаюсь на более поздней стадии, уже на подходе к бакалавриату.

— А можно поинтересоваться... дело в том, что нам никто учебного плана не дал, так что я не очень себе область Ваших академических интересов представляю. Вы будете преподавать какую дисциплину... простите?

Ратнер улыбнулся телевизионной улыбкой — той самой, против которой не устоять.

— Дисциплину? — Надо было слышать эту интонацию, интонацию мэтра. — Я не преподаю... дисциплин. У меня междисциплинарный курс. НЛП... нейролингвистическое программирование — слышали о нем когда-нибудь?

Лев ушам своим не поверил. Очень-то уж много он об НЛП не знал, это Олега Румянцева фишка была — тот все ему пытался втемяшить, что круче НЛП человечество ничего не придумало. Но НЛП и Ратнер? Ратнер — среди этих легких, ироничных

людей! Ратнер — у которого «эго» целую тонну весит, который принимает себя настолько всерьез и так важничает!

— Слышал, — сухо сказал Лев. — Других специалистов по НЛП в академии, значит, нет?

— Я Вас чем-то не устраиваю? — Ратнер поймал взгляд Льва и держал на крючке.

А действительно... — чем он Льва не устраивает? Человек, при одном упоминании о котором у Льва еще недавно замирало сердце, и знакомства с которым наяву он не мог себе представить, ибо человек этот был бог! Но, когда бог подошел совсем близко, оказалось, что у него усы наклеенные...

— Что Вы сказали? — переспросил Ратнер.

Лев ничего не сказал, это дед Антонио сказал:

— В клоунаде самой по себе нет ничего плохого — наоборот... милое дело, благородное. Только место ему в цирке.

— Что Вы себе позволяете?

Лев молчал, но дед Антонио ответил:

— Говорить то, что думаю.

Интересно, знает ли Ратнер, с кем сейчас разговаривает? Впрочем, Лев и сам не уверен — с кем: дед Антонио никогда еще не произносил ничего на публику...

— Извините, — сказал Лев, — я лучше пойду.

— Минуточку! — с улыбкой остановил его Ратнер. — Мне даже нравится, что Вы дерзите. Но пригласил я Вас, собственно, имея в виду две вещи. Об одной мы только что поговорили, она мало интересной для Вас оказалась. Надеюсь, что вторая окажется поинтереснее. Я тут на днях подумал, что настало время Вам экспериментальной работой заняться — при Институте мозга, Вы не против? У Вас ведь явные способности, а Институту мозга как раз и требуются люди со способностями. Там способности эти изучают — чтобы

понять их природу... по имеющимся у меня сведениям — сам-то я у них не бываю. Вот сессия летняя пройдет сейчас... м-да, второй выпуск у нас опять небольшой и малоперспективный, — и прямо в каникулы начинайте, если других планов нет, — интересно это Вам?

— Интересно, — признался Лев, отметив про себя, что к Ратнеру этот институт, похоже, отношения не имеет.

— Ну а коли интересно... хотите, один из сотрудников академии сведет Вас туда? Будете и у нас тут учиться продолжать, и с институтом сотрудничать — не бесплатно, кстати, там любое сотрудничество вознаграждается. Все какой-то самостоятельный заработок... если учесть Вашу щепетильность!

— Спасибо...

Выходя из кабинета Ратнера, Лев чувствовал себя неловко: все-таки Ратнер умел, видимо, иногда покидать пределы собственного «эго» и думать о благе других.

— Так ведь, деда?

— Ох, Лев... не так! Устал я от Ратнера.

— А в разговор с ним тебе зачем вступать было? Это впервые, между прочим.

— Сам не знаю, прости... — голос деда Антонио звучал смущенно.

— Да нет, пожалуйста! Я думал, ты не можешь...

— Я и не могу, — подтвердил дед Антонио. — Только вот насчет Института мозга... я, видишь ли, от Ратнера ничего хорошего не жду. И ты не жди.

Незадолго до окончания летней сессии ко Льву подошел завкафедрой гипноза и суггестии, Петров. До этого Лев почти не встречался с ним: Петров редко появлялся в академии и ничего не преподавал. Кто-то говорил, что он в академии серый кардинал, так что большой охоты связываться с ним

ни у кого не было. На вид — довольно невзрачный пожилой дядя, в чертах которого (видимо, навсегда) сохранилась некая подростковость, незрелость... может быть, из-за постоянного отчетливо юношеских прыщей на узковатом лбу.

— Борис Никодимович сообщил мне, что Вы не против сотрудничать с Институтом человеческих ресурсов... Институтом мозга, — тонким голосом сказал Петров. — Я в контакте с этим учреждением, так что... когда Вы можете подойти туда вместе со мной?

В назначенное время Льва представили страшно похожему на волка из «Ну, погоди!» Алексею Сергеевичу Поповичу. Сотрудники, о чем Лев узнал от Петрова, звали его не иначе как «Алеша Попович», хотя Поповичу было уже к шестидесяти — на столько, во всяком случае, он выглядел.

— Лев... Орлов? Загадочно, — сказал Алеша Попович, с интересом взглянув на Льва.

— Я грифон, — помог ему Лев.

— Что Вы умеете, грифон? — не тратя времени на более обстоятельное знакомство, спросил Алеша Попович. — И глаза почему красные?

— Сплю-мало-пью-много, — улыбнулся Лев. — Теперь-то еще ничего, Вы бы год назад на меня посмотрели! А умею что... да ничего. Окончил школу, несколько лет проработал в научно-технической библиотеке. Теперь учусь в академии... вот, собственно, и все.

— Понятно, — оценил Алеша Попович. — Вы, значит, тяжелый случай.

— Тяжелый случай — чего? — любопытствовал Лев.

— Тяжелый случай в институтской практике, — не то пошутил, не то всерьез ответил Алеша Попович. — Ко мне только тяжелые случаи направляют: приходящие либо не

знают того, что они могут, либо не желают рассказывать об этом другим, либо вообще плюют на это. Четвертого не дано. Но с чем-то Вас сюда направили... так ведь? Мне, например, сообщили, что у Вас контакты с... с потусторонним, так сказать, миром и, гипотетически, способность к интро-скопии и телестезии. Неплохо, если так. Исследуем?

— А это можно исследовать? — с интересом спросил Лев: волк был ему симпатичен... как представитель человеческой фауны.

— Попробуем, — пообещал Алеша Попович. — Есть способы. На Вас — на голове в основном — размещаются датчики, соединенные с чувствительными приборами. Через датчики поступают сигналы, которые преобразуются и регистрируются компьютерами... техника тут у нас не самая передовая, но надежная.

— Преобразуются — во что?

— Какая Вам разница во что? В данные анализа... Каждый сеанс продолжается от часа до двух. Частотность сеансов — по желанию. Расценки скажут при заключении контракта. Годится?

— Годится, — ответил Лев. — А сам я узнаю о результатах исследования?

— Что именно Вы хотите узнать?

Сказать?.. Лев давно уже рассматривал Алешу Поповича, думая, в частности, о том, что такую кличку можно дать только милому человеку. Впечатление милого Алеша Попович не производил. Производил впечатление загнанного. Видимо, тем зайцем из «Ну, погоди!» и загнанного.

А-а-а... все равно.

— Я хочу узнать... — тут Льву пришлось пересилить себя, но не особенно, — это... то, что Вы назвали, существует только в моем сознании — или это реальность?

— То есть... реальность, которую Вы разделяете с кем-то или не разделяете ни с кем? Если Вы понимаете, о чем я...

Лев понимал... светлая память Олегу Румянцеву, теперь — с той же страстью, что прежде нейролингвистическим программированием, — занимавшемуся сотовыми телефонами.

— Вы тоже специализируетесь на НЛП?

— В каком смысле — «тоже»?

— Наш директор, Ратнер... Борис Никодимович, ведет НЛП — у старшекурсников.

— Знаем такого, — бесстрастно сказал Алеша Попович, словно поставил галочку в каком-нибудь формуляре. — Так Вы понимаете — про разделенную и неразделенную реальность?

Лев кивнул:

— Если Вам угодно, можете сформулировать это и так: меня интересует, сумасшедший я или нет.

— Значит, понимаете, — сказал Алеша Попович. — Вы, конечно, сумасшедший, как и мы все. А вот в какой степени — можно установить приборами и сообщить Вам о степени. Устроит?

— Вполне.

— Ну, тогда увидимся. Идите контракт заключать. — Алеша Попович набрал какой-то номер из трех цифр: — Иван Иванович? Я Льва к Вам отправляю, свободны?

С Иваном Ивановичем — напоминавшим крысу Шушару — Лев почти не говорил. Ему тут же были вручены какие-то листы с компьютерной распечаткой: их полагалось прочитать, — и Лев погрузился в иезуитские формулировки, смысла которых не понимал. В процессе чтения в кабинет рассеянно забрел рольмопс... — Лев автоматически поздоровался, приготовившись к вопросам, но рольмопс зачем-то

сделал вид, что не знаком с ним, и так же рассеянно выбрел наружу. Дав подписку о неразглашении-всего, Лев пожал крысе Шушаре лапку и вышел в раздумьях о том, с чего бы рольмопсу бродить по институту. Он хотел было позвонить Леночке и рассказать ей о странной встрече... только зачем? Ему и вообще-то увидеть-то рольмопса только пару раз в жизни довелось — несмотря на то что роман с ним был одним из самых длинных в Леночкиной жизни. Льва даже удивляло в ту пору, насколько развита была у рольмопса способность никогда не попадаться Льву на глаза. Хотя, конечно, если рольмопс в институте, где еще и сейчас дают подписку о неразглашении...

Нет, Леночке звонить ни к чему.

— Или как, дед Антонио?

— М-м-м... Боюсь я за тебя, Лев. Всегда боюсь.

— А надо никогда не бояться, деда. Лев он лев и есть — да не может ловець осочити слѢда его! А потом... у меня ты есть.

— Ох-хо-хо... — вздохнул дед Антонио, — и Лев представил себе, что тот покачал головой.

Ох-хо-хо...

54. ПО-СОБАЧЬЕМУ

Не та, не та столица...

А было время, какая соблюдалась конспирация!

Пол-на-я.

Тайные пустые квартиры в неведомых большинству районах — дико зеленых, даром что центральных.

Злобные, но вышколенные консьержки, никогда не ошибавшиеся в том, кому задать вопрос, кому — не надо.

Запретные плоды советской цивилизации: то магазин в глубине двора, набитый чем хочешь, включая — страшно подумать! — сырки, глазированные в шоколаде, то кофейня с натуральным — прямо над стойкой написано! — крепким кофе, то газетный киоск с открытками — болгарскими, не какими-нибудь, — на которых хочешь Беата Тышкевич, хочешь Элизабет Тейлор, а хочешь и Жан Маре собственной персоной!

Скромные плоды цивилизации западной: биковские зажигалки, швановские шариковые ручки, жвачки-риглей, кельнишес вассер «4711», шоколадки-тоблерон... красота-кто-понимает.

Бывало, скользнешь в подворотню — и поминай как звали: загулял! Причем и денег больших не надо: совсем другая жизнь — а за те же копейки. Когда двадцать семь, когда тридцать две, когда восемьдесят, значит, копеек. Женщины без возраста в мехах, представительные мужчины в дубленках. «волги», «шкоды»... изредка — одинокий «траби». Попьешь пивка с соленым арахисом, поглазеешь вокруг, побродишь дотемна под газовыми фонарями...

Твоя Москва!

А тут ведь — сплошное предательство и скотоложество! Все взгляду открыто, да чужое: и москвичи, и гости

столицы прямо повсюду шныряют, окончательно уже границы стерлись. Им что тайная улочка, что явная — один хрен... ишь, идет — пальто по земле волочится, плечи весь тротуар закрыли: кум королю, брат министру! А ведь быдло быдлом — собачье мясо за говядину где-нибудь на Преображенке продает. Но идет-вышагивает, гадина... — вон к «шевролю» подошел: старенький «шевроль»-то, а «шевроль»! И на бывшей секретной улице припаркован — тут, помню, парикмахерская «для своих» была: постригут — и египетским «Айсбергом» с французскими наклейками побрызгают: за-а-апах...

Мордвинов опять вздохнул: «Не та, не та Москва...» — и с ненавистью посмотрел на пустой пьедестал в центре Лубянской Дзержинки: хоть бы эстетике ради кого-нибудь водрузили!..

Ему отсюда в сторону Солянки надо было — эх, любил он раньше этот маршрут: шагаешь — ни души кругом, одни коммунисты на ответственную работу спешат. Кого ни встретишь — не сомневайся: коммунист. Приятное место. А другим там делать было нечего, да и опасались многие приближаться — потому-то и была там заповедная, стало быть, зона: войдешь на территорию — гуляй не хочю. Бродвей, Шанз Элизе... другой мир! Отсюда и пути во всю потаенную Москву вели, да и не только в Москву: прямой дорожкой куда угодно добраться можно было — хоть в Белград, хоть в Рим, коли охота есть! Это благоверная его по Европам теперь все на самолетах да на поездах, а ему самому тогда никакого транспорта не требовалось: ррраз — и пожалуйста: Злата, что называется, Прага.

Э-эх... куда все девалось! Сегодня это территория скучная, административная — и совсем уж непонятно кто на ней обо-

сновался. Хоть и самого Рафалова возьми: имя — известнее не бывает, а откуда взялся — поди разбери. Иные говорят: да он всегда, дескать, был... только какое же там «всегда», если лет десять назад о нем и не слышал никто!

Рафалов встретил его в пустой комнате-для-переговоров: стол и два стула... словно Мордвинов не уважаемый человек, а арестант какой-нибудь! На Рафалове форма — Мордвинов первый раз его в форме видит: нехороший знак. Даже на звезды не смотрит: страшно убедиться...

Ни здравствуй, ни садись — как хочешь, так и понимай.

— Не сбывается прогноз-то Ратнеровский, Владимир Афанасьевич?

— Сбудется... Бог даст.

— Вы не в религию ли ударились, вроде президента нашего многострадального? А прогнозу когда ж теперь сбыться... другой век на подступах, Владимир Афанасьевич. Или Вы часов с Еленой Антоновной не наблюдаете?

И сведения у них не обновляются, выходит: какая теперь Елена Антоновна, когда она предала его так, как злейший враг не предаст.

— Наблюдаю, ясное дело, — усмехнулся Мордвинов. — А до другого века год почти еще... авось, и выровняется все, как ожидалось.

— Кем же ожидалось-то, мил-человек? Ратнером, выходит, одним и ожидалось. Но нам ведь не ожидания его, требовались, а точное чутье.

— Да точного чутья не может быть у нас в стране... Вам ли не знать?

— Что мне знать, чего не знать — дело сугубо мое, Владимир Афанасьевич, личное. Я прогнозов геополитических не составляю, с меня какой спрос? А вот наверху обеспокое-

ны все: страна в прямо противоположную сторону идет, за-
граница со смеху помирает, самолеты падают, люди нужные
гибнут... вот как оно получается, Владимир Афанасьевич.

Да понятно, что хреново получается... тут и говорить
нечего! Сейчас бы сдать этого Ратнера со всеми потроха-
ми: полное ничтожество, дескать... да — глупо: сам ведь он
кандидатуру Ратнера утверждал. Нет чтобы Устинова, Усти-
нов тогда еще крепкий был дед, или, вон, Струнка предло-
жить... — так бес имя Ратнера на ухо шепнул! Бес и Коля
Петров: ведь вот не полюбил же Мордвинов Колю с первого
взгляда — и было, получается, за что.

— Я только напомнить хочу, — вяло вступил Мордви-
нов, — что Ратнер же считался соответствовавшим нацио-
нальной идее, вот и...

— Вы национальную идею, Владимир Афанасьевич, не тро-
гайте, не Вашего она, мил-человек, ума дело. Тем более что на-
циональная идея правильной оказалась: ничего, что не пошел
народ в ту мистику — в другую мистику пошел, в православную!
Не один ли черт, Владимир Афанасьевич? Так что нам раскаи-
ваться, вроде как, и не в чем, а вот Вы-то раскаиваетесь?

— Да в чем же мне-то раскаиваться, помилуйте? Я рабо-
ту свою не сам нашел: поставили на ответственный участок,
так я, что ж... верой и правдой, как говорится, никаких пре-
тензий столько лет!

Тут Рафалов ни с того ни с сего перестал быть добреньким
и как заорет:

— А в том Вам раскаиваться надо, что ответственный участок
этот Вы завалили, понятно? Что по старикам безвредным лупи-
те — по Крутицкому, по Устинову, а Ратнера на волю гулять от-
пустили, понятно? И в то самое время, когда наказать его давно
пора, он цветет махровым цветом и с бывшими союзными ре-

спубликами амуры крутит. Слыхали, что Ратнер филиал академии своей гребаной открывать надумал? Не слышали! Зачем на свете живете? Зря живете, только небо коптите.

— На какие же он деньги...

— Да уж не на наши с Вами, Владимир Афанасьевич. На дикие деньги... диких денег теперь навалом, Вам ли неизвестно! — Рафалов походил по комнате. — Сворачивать мы Ваш институт надумали. Слишком уж долго агонизирует. Стоит дорого, а пользы никакой.

— Как же... как же — никакой, когда... пятьдесят пять сотрудников... пятьдесят пять параграфов...

— Вы бредить-то кончайте тут у меня, — приструнил его Рафалов. — И чего Вы занервничали, когда нам с Вами так и так на пенсию пора?

— Нет, ну а все это сооружение... весь кадровый состав... — чуть членораздельнее обозначил проблему Мордвинов.

— Это все не пропадет, Владимир Афанасьевич, и врагу не достанется. Перепрофилируем — и опять в дорогу.

— Так меня-то... без меня?

— А Вас — на заслуженный отдых.

Ага. Институт, значит, не сворачивают — это его одного, Мордвинова Владимира Афанасьевича, сворачивают. За столько лет безупречной работы!

Видимо, последнее предложение он произнес вслух.

Рафалова именно оно больше всего и разозлило:

— Так вот и дело-то в том, что небезупречной, мил человек! Перед институтом задача какая поставлена была, а?

Рафалов ждал.

А Мордвинов изо всех сил соображал, что сказать в ответ на вопрос, но в голове его только одиноко топорицилась часть бесхозной фразы: «...как в мирное, так и в военное время...»

— Как в мирное, так и в военное время... — произнес он и умолк, в первый раз осознав: он понятия не имел, какая задача была поставлена перед институтом. Институту, вроде, полагалось собирать людей с гиперразвитыми способностями и исследовать эти способности, а вот для чего... не для нужд же народного хозяйства! Было, конечно, у Мордвина подозрение, что людей таких, с гиперразвитыми способностями, институту следовало «обезвреживать»... гм, выводить из строя, но представить себе, что это и есть *та самая* задача, он всегда внутренне отказывался — он и теперь отказывался, и никакая сила не могла бы заставить Мордвина озвучить свои подозрения. Ибо не умел он сырье — хоть и человеческое сырье — зря разбазаривать.

— Так что насчет задачи, Владимир Афанасьевич?

— Мне это... мне это не положено было знать, — выдал из себя Мордвин. Выдавленное некрасиво повисло на губах.

— Интересно, — сухо произнес Рафалов, стараясь не смотреть на выдавленное. Он нарочно подождал долго — минуту или даже две — и только потом добавил: — А кому же, если не Вам, это знать-то полагалось? Вам и полагалось, Владимир Афанасьевич. Только Вы свою задачу в том видели, чтобы институт содержать, деньги под него выколачивать, неплохую зарплату получать да сотрудников ублажать... мелковато! Недаром, значит, возникли сомнения в состоятельности Вашей, недаром на последнем совещании в министерстве было сказано, что не креативный Вы человек. Но оно и понятно: старая школа, Владимир Афанасьевич. Исполнитель Вы, конечно, прекрасный, но время исполнителей прошло.

— Мне сколько доработать дадут? — напрямую спросил Мордвин.

— И формулируете Вы в лоб, — вздохнул Рафалов. — Старым казачьим способом. Да работайте пока, до новых распоряжений.

— Сколько? — уперся Мордвинов.

— Ну, сколько... месяц, два, три — сколько Вам надо, мы ж не звери!

— Полгода, — вlepил Мордвинов.

— Сказано — сделано, — неожиданно согласился Рафалов. — Значит, до ноября. Вот и договорились.

До ноября... До ноября... До ноября. Больше ничего не осталось в голове Мордвинова.

Он вышел «на территорию» — территорию скучную и административную, как его старая жизнь. Глаза бы мои этой территории не видели! Ничего тут не узнать больше: где Бродвей, Шанз Элизе... другой мир, заповедный край, куда оно все теперь подевалось? А ноги, по старой памяти, уже повели его налево — была там крохотная одна безымянная забегаловка: хватанешь грамм пятьдесят «Джонни Уокера», с Катенькой за стойкой потреплешься и — через маленький зальчик, к задней двери, а там...

Нету, конечно, никакой забегаловки, никакой Катеньки, никакой задней двери. И никакого «там» больше нет — только «здесь» есть. Стекло тонированное, трава искусственная, шумные красные пиджаки, болтливые шелковые галстуки и, как их, визитки... барсетки, в разные стороны растопыренные. Люди на карликов похожи — которым любая одежда велика. На кого ни посмотришь — масса тряпья болтается, а человека — че-ло-ве-ка! — не видно почти... И домов каких-то нелепых понастроили: вроде прозрачные, но что в них — хрен разглядишь: все переливается, отсвечивает, плывет. Время, значит, такое...

креативное! А мое время не креативное было, и оно прошло... это когда же, получается?

Мордвинов попал в странный некий район — незнакомый. Стоял перед ним терем... теремок — не низок, не высок, как полагается. Вроде, трехэтажный, а вроде, и нет! Непонятная такая архитектура: плоскости не там, где надо, пересекаются, а там, где пришлось. И теремков таких чертова прорва вокруг: друг от друга мало чем отличаются, но спутать трудно... — причем каждый теремок того и гляди в облака улетит, вот ведь креативные строители постарались! Дальше — дворы не дворы... угожья, скорее, а за ними — склады, бесконечные складские помещения, ангары — на целый километр каждый. Мальчонка пробежал — стащил, наверное, где-нибудь чего-нибудь.

— Эй, малец!

А тот возьми да и образуйся рядом — чумазый, оборванный... бездомный, небось.

— Как место-то это называется?

— Раменское, — говорит.

— Я те дам «Раменское», бандит ты малолетний! Думаешь, не знаю, сколько до Раменского... когда я и шел-то пятнадцать минут всего?

— Откуда шел, дяденька? — А ближе — боится, не подходит.

— Да от Китай-города, откуда!

Мальчонка почесал грязную ногу, подумал.

— Нет такого города.

— Я те дам «нет»!

А мальчишка уж и свистит, что твой казак-разбойник. И — откуда ни возьмись — несутся, значит, вдоль ангаров такие же, как он: кто постарше, кто помладше, глаза горят...

Когда Мордвинов очнулся, ничего при нем не было — вообще ничего, даже и пиджака не было. Брюки, слава Богу, остались с вывороченными наружу карманами — и рубашка, только порванная: карман на груди болтается. Грамотно ребятки поработали... А вот ботинок нету на ногах — носки только. Ну, и чего делать теперь? Ух ты... сзади-то вся голова в крови запекшейся: хор-рошенькое дело. Понятно, чем-то по башке огрели, чтобы сознание потерял. Только не особо поживились детки: сколько-то тысяч поганых в бумажнике лежало, а документов с собой Мордвинов сроду не носил никаких. И портфелей или сумок там... визиток-барсеток, чтоб их, с пустыми руками целую жизнь проходил: все, что нужно — в карманах, а нужно — немного.

Так-так-так... посмотрим тогда, куда это мы попали — и, главное, как это мы сюда попали, товарищ Мордвинов, Владимир Афанасьевич? Шли себе, значит, шли — и вот тебе раз... не узнаем родной столицы? Новое, значит, время — новые тайники, или как тут у вас? Небось, и тайники креативные — вроде самого времени? А мое время, говорите, прошло?

Вот я вам покажу сейчас, как оно прошло!

И — зашагал Мордвинов, чеканным военным шагом зашагал: вперед и вперед, как учили. Плевать, что у них тут ангары, плевать, что лабиринт, — принцип-то старый, знакомый: один временной срез от другого изолировать! Он вам не лох какой-нибудь, он в свое время из существующей Москвы в несуществующую и обратно только так ходил — смеясь над чайниками, которые у какого-нибудь незнакомого перекрестка глазами хлопали и глазам — не верили. На сто восемьдесят градусов разворачивались — и давай отсюда: дескать, чур меня, не было здесь никакой улицы, не

должно быть, а значит, и нет! Он-то, Мордвинов, эту Москву сразу понял: коварный город, да только не для таких калачей тертых, как он. Его-то уж Москве заморочить не удавалось, он все ее хитрости за версту видел и твердо знал: есть седьмая улица Соколиной горы — значит, и шестая есть, не на того напали... И — находил шестую, и гулял по ней, как у себя дома: ишь, говорил, чего надумали: его, Мордвинова, от всех земных благ изолировать — врешь, не обманешь! Уж если тогда — всей этой секретной громадой — не обманули, то теперь-то — новыми райончиками нарождающимися — и подавно.

Мордвинов протискивался между ангарам, проползал на животе какие-то бесконечные трубы, расковыривывал кровоточащими пальцами трещины, раскидывал завалы камней... Стиснув зубы и вращая глазами, он ломился из этой новой теремочной Москвы без окон, без дверей, давя ступнями в носках всех мышек-норушек, лягушек-квакушек, сильными руками сворачивая шею петушкам-золотым-гребешкам и разрывая на куски лисичек-сестричек, волков-зубами-щелков... и кто тут еще у вас поселился в этой вашей Москве, снова огородившей себя и от общей, и от моей Москвы!

И — никакого мне чтоб тут Раменского!

Через несколько часов, ближе к вечеру, Мордвинов вышел в знакомые места — вышел возле Казанского, у киосков, и победоносно сверкнул глазами назад: видели, дескать? Наша взяла! Он даже не очень отличался от обычных тут нищих и бомжей: подумаешь, рваная рубаха в крови да болтающиеся лохмотьями штаны! Видавшие виды менты и ухом не вели — проходя сквозь него, слово он призрак, и в упор его не замечая. Слава Богу, на метро можно было не ехать — пешком доковылял Мордвинов до дома на Немецкой улице,

ввалился в подъезд, потребовал запасные ключи у полуобморочной консьержки («Владимир Афанасьевич... дорогой, кто же Вас так?»), а войдя в пустую квартиру, бросился на ковер в прихожей и завыл.

По-собачьему.

КАК УСТРАНЯТЬ ФОКУСНИКА

Встав на небольшой круглый подиум, попросите ассистента принести вам мешок, в котором вы могли бы поместиться.

Ассистент приносит вам по очереди несколько мешков, но размер ни одного из них вас не устраивает: всякий раз вы говорите, что мешок слишком велик. Наконец ассистент, явно разыгрывая вас, предлагает вам мешочек, в каких школьники обычно носят сменную обувь, — и вы, неожиданно для ассистента, говорите, что это как раз тот размер, который вы имели в виду.

Сделайте вид, что внимательно разглядываете мешочек, несколько раз выворачивая его наизнанку и словно прикидывая, годится ли он. Затем, держа мешочек на весу, просуньте туда ногу и выразите удивление, что она не пролезает дальше. Попросите ассистента помочь вам просунуть ногу чуть глубже — разумеется, ассистент со смехом откажется.

Изобразите на лице ярость и сделайте еще несколько попыток — пока ваша нога не начнет уходить в мешочек, словно сокращаясь на глазах публики. Как бы радуясь этому, прижмите к «сокращающейся» ноге вторую ногу и оставьте тело висеть над ареной, после чего поднимите руки над головой и, придерживая одной из них мешочек снаружи, начинайте медленно погружаться внутрь. Когда над мешочком останутся лишь ваша голова и рука, придерживающая мешочек, скажите зрителям: «Прощайте!» — и погрузитесь в мешочек полностью.

Мешочек со стуком упадет на подиум. Пусть якобы встревоженный ассистент подбежит к мешочку и, заглянув внутрь, извлечет из него пару

ваших туфель. Кроме них, в мешочке ничего не окажется — и ассистент, поставив туфли на подиум и вывернув мешочек наизнанку, даст публике возможность убедиться в том, что мешочек пуст.

Комментарий

Этот трюк из разряда классических обычно производит сильное впечатление на зрителей.

Удобство его в том, что для него не требуется почти никакого реквизита: достаточно нескольких мешков разного размера и мешочка поменьше, в котором и будет «исчезать» фокусник. Предварительно следует также позаботиться о том, чтобы подиум, где вам придется стоять, был сделан из какого-нибудь крепкого материала: мешочек с обувью должен упасть на него со стуком. Пусть у зрителей возникнет впечатление, будто тело фокусника действительно «ужалось» до размера пары туфель. Кстати, особое внимание при подготовке к показу следует обратить на туфли: это не должны быть туфли на шнурках — лучше всего, если вы обзаведетесь легко снимающимися с ног туфлями на резинках.

Успех фокуса зависит от того, насколько артистично осуществлена вами градуальная телепортация. Точность градуирования степени присутствия тела в видимом для публики пространстве имеет для данного фокуса первостепенное значение, поскольку особенно важно создать у зрителей впечатление, будто вы действительно исчезаете в мешочке, а не просто перемещаетесь на иной план существования. Поэтому, частично телепортируясь поблизости от мешочка, вам ни в коем случае нельзя терять с ним связь — между мешочком и вами не должно возникнуть заметного для публики расстояния, иначе зрители заподозрят, что ваш трюк основан на обычной, а не на градуальной телепортации.

Особенной артистичности требуют два момента. Первый из них связан с необходимостью оставить в мешочке ваши ботинки. Один ботинок вы снимете уже тогда, когда, держа мешочек на весу, попытаетесь просунуть

в него ногу: придерживая мешочек пальцами одной руки, обхватите его снизу пальцами второй и незаметно для зрителя снимите ботинок с ноги, уже находящейся в мешочке. Точно таким же образом вы снимете и ботинок с другой ноги, как только она начнет исчезать в мешочке. Второй момент связан с необходимостью все время держать мешочек на весу: вам придется осуществлять градуальную телепортацию таким образом, чтобы кисть вашей руки оставалась над мешочком — придерживая его — до того момента, пока в нем не пропадет ваша голова. Понятно, что кисть руки должна быть телепортирована вами в последнюю очередь, после чего мешочек, лишившись поддержки, разумеется, упадет на подиум.

Самое важное в этом фокусе, чтобы вы не забылись и по окончании его не вышли на поклон к публике. Иначе иллюзия вашего исчезновения рассеется сама собой.

55. БУДЕТ ЕЩЕ ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ

А еще бытовало мнение, будто все мы значимся в каких-то секретных списках.

Это ведь только так говорится: «в списках не значился», ибо, на самом-то деле, в том или ином списке каждый из нас, конечно, фигурирует. И это только на первый взгляд кажется, что есть безобидные списки, — безобидных списков не существует в природе! Ведь ни один список *просто* так не составляется: это самому жанру списка противоречит. Любой список для того существует, чтобы по нему человека вычислить можно было: список членов садово-огородного товарищества, например, уж какой безобидный вроде, а вдумаясь — жуть! По нему ведь любого члена садово-огороднического товарищества найти — делать нечего... Заглянешь в такой список — и сразу ясно: фамилия твоя такая-то и такая-то, садово-огородный участок твой под номером таким-то и таким-то, соток столько-то и столько-то... И все расписано — сколько места под строение, сколько под сад-огород... чего ты там сажаешь, сколько из этого съедать, сколько в банки закатываешь — и каким способом! Указаны также сроки хранения банок в закрытом и открытом виде, обозначена скорость поедания продуктов разными членами семьи, в особых графах приведены их, этих членов, вес, возраст и партийное положение. Опять же, места работы указаны, телефоны — домашний и служебный, судимость, имеются ли родственники за границей и, если да, то чем там занимаются, когда эмигрировали и почему. Ну и, понятно, цвет глаз и волос, особые приметы типа шрамов и родинок... а вы говорите «безобидный список»! Если уж в «безобидном» списке столько всего учтено, то каков же список «обидный»?

Но речь у нас не о садово-огородных товариществах идет с их списками — речь о тайных списках идет, которые есть, а никому не известны. Идешь себе, например, по улице, и вдруг — бабах!.. — застрелили тебя. За что, почему? Оказывается, был в списке.

Тебя, конечно, тут же из этого списка вычеркивают, но это отнюдь не значит, что ты теперь в списках не фигурируешь, — имеются же еще и другие списки, много. Во-первых, есть тот, в который тебя только что внесли как убитого — снова со всеми подробностями, включая, опять же, цвет глаз, там, и все такое: частота пульса, содержание холестерина в крови, давление, СОЭ... в общем, как полагают. Во-вторых, есть тот, в котором номера захоронений на участках кладбища проставлены: тут ты тоже значишься — и все твои параметры скрупулезно указаны, вплоть до цвета гроба и количества кисточек. В-третьих, в-четвертых и в-бесконечных, продолжают оставаться списки, откуда тебя еще не вычеркнули и не вычеркнут никогда: например, списки *бывших* — бывших владельцев жилой площади, бывших владельцев автотранспортных средств, бывших владельцев, опять же, садово-огородных участков... и даже списки *все еще существующих* — это уже старые на данный момент списки, до которых никому пока дела нет, но дай только срок — будет! Заглянут в такой список... а подать сюда Землянику! Это как же — умер, когда он тут в списке у меня? Так что будь добр — явись на зов, причем умер ты или нет — твоя проблема.

Короче говоря, без списков жизнь плохая, не годится никуда!

А еще бытовало мнение, что есть такие *списки списков*, в которых все, кто в каких-нибудь списках обозначен, вместе

в новых списках сведены — и списки списков эти тоже разного назначения. Скажем, из списка эмигрантов в Танзанию давно почивший в Бозе эмигрант автоматически попадает в список эмигрировавших в Африку. И будет он в этом списке до второго пришествия значиться... это как — почему? Да потому что предок он — и детей от него вагон народилось, причем все — вылитый отец! С тем же, значит, цветом глаз и волос, той же частотой пульса, теми же содержанием холестерина в крови, давлением, СОЭ... встретишь на улице в пригороде танзанийской столицы — не отличишь! А кроме того, покойный был кое-кому кое за что должен и в некоем списке должников по сей день фигурирует!

Это уже не говоря о *списках списков списков*, потому что и такие тоже имеются. Ибо списками эмигрировавших в Африку ничего у нас тут не кончается — есть еще списки эмигрантов как таковых, эмигрантов куда бы то ни было. В этих списках ты опять со всеми потрохами содержишься, причем каждый потрох отдельно поименован и классифицирован, а это для того, чтобы тебя — по уже поименованным и классифицированным потрохам — в другие списки включить можно было: в *списки списков списков списков* — например, в список эмигрантов, у которых только по одной почке было или у которых зрение минус три с половиной... Или которые бездетные.

Так что не зарекайся от списков и кому-нибудь еще пойді расскажи, будто «в списках не значился», потому как там ни о чем таком и слушать не станут. А там — это где, по словам одной эмигрантки из Сербии, которой об этом бабушка рассказала, сидит апостол Петр над списком всех живых (списком списков списков списков списков... получается) и пальцем своим божественным по строчкам скользит: на

ком палец остановится — тому и помирать пора пришла. Если же не в свой черед умираешь, так и тому у бабушки из Сербии объяснение имелось: задремал, говорила, апостол Петр — палец с одной строчки на другую и перескочил... извиняй, стало быть, гражданин!

Вот и получается, что не нами списки придуманы — не нам их и отменять. Были они, и посейчас остались. Захочешь ты, например, похвастаться, что в Коммунистической партии Союза Советских Социалистических Республик никогда не состоял или, наоборот, состоял, а тебе тут — бац! — список под нос: как же ты говоришь, что не состоял, когда состоял? Или как же, говоришь, состоял, когда не состоял? Тут-то вся правда и откроется. А если не вся, то другие списки тоже ведь целы: в партии-то состоял, а вот такого-то и такого-то числа на партсобрание не явился — нету тебя, дорогой, в «списке присутствовавших»...

Хранятся же списки где... да где только не хранятся! Везде хранятся — вот хоть и в 16-м проезде Марьиной Рощи у вдовы покойного Королева хранятся... в составе *общего списочного пространства!* Есть, видите ли, такое общее списочное пространство — поперек всем нам известному, тому, в коем каждый из нас обитает. А уж докуда конкретно это поперечное списочное пространство распространяется и из каких измерений состоит — не нам знать.

Только пришел черед и спискам мужа Софьи Павловны на свет выйти: слишком уж много оказалось в Марьиной Роще никем не учтенного места да сомнительных каких-то улиц, населенных с незапамятных времен надежными борцами за правое дело, теперь вымершими или вымирающими. Последнее впрыскивание коммунистической энергии сюда состоялось накануне Олимпиады в Москве и разрешилось

Олимпийским проспектом, после чего район снова был забыт и оставлен в покое со всей его промышленностью, отчасти засекреченной. Но в данный момент племя младое, незнакомое обнаружило, что Марьино Роцца — это, по большому счету, центр Москвы, и такое счастливое местоположение района очень даже можно как-нибудь использовать. Например, старую застройку снести, а новую возвести — и в ней поселиться.

Мужнину перепись населения Софья Павловна хранила до самой смерти, а уж после смерти не смогла. Трудно сказать, в чьи именно руки попали расположенные в алфавитном порядке папки, но теперь при решении вопроса о том, кого из района выселять, они очень и очень пригодились. Ибо выселять надо было как раз надежных борцов за правое дело: больно уж их правое дело не соответствовало замышляемому профилю района.

Борцы за правое дело в большинстве своем не оказывали сопротивления — бастионы сдавались без боя и падали, а на их месте, как когда-то на месте частной застройки исторической Марьиной Роццы, возводились — так у них принято — новые-корпуса-жилых-зданий. Теперь они напоминали пряничные домики... пряничные дома, которые, казалось, растают, едва начнет припекать солнце. Но солнце припекало, а домики... дома — не таяли.

— И не растают! — кричал Иван Иванович, запивая вальерянку противным на вкус пойлом из заварочного чайника — прямо через носик, постоянно забивавшийся чайниками.

Впрочем, Иван-то Иванович Иванов решил не сдаваться. Его уже не раз приглашали на переговоры — и какие-то строго костюмированные люди неизвестного (но маловероятно, что земного) происхождения на языке, которого Иван

Иванович Иванов почти не понимал, рассказывали ему о преимуществах переезда куда-то за МКАД. Сам он преимуществ этих в упор не видел и очень хотел остаться там, где привык жить — на одной из навсегда, по его мнению, затерянных тайных улочек в районе под поэтическим названием «Марьино роща». Сюда в свое время переехал его отец, занимавший высокое положение в прошлом, но до конца ведь так и не исчезнувшем обществе, здесь Иван Иванович Иванов после скорой смерти отца прожил жизнь с женой, носившей странное имя Валентина Валентиновна и унесшей это имя под мраморную плиту на Миусском кладбище, а также детьми, «подавшимися в бизнес», как оно теперь называлось, — и где он теперь остался один, но... старое дерево на новую почву не пересаживают. А потому — вот вам мое решительное «нет», строго костюмированные инопланетяне: какое-то влияние в кое-каких кругах я и сам еще имею... хоть и плохо представляю себе уже, что это за круги.

Иванов Иван Иванович стукачом не был и слова «стукач» терпеть не мог. Он всегда считал себя человеком, работавшим на спецслужбы, — даже когда и понятия «спецслужба» как такового не было. Сам Иван Иванович пользовался этим понятием потому, что его сместило, если кто-то говорил о ком-то «работает в органах»... его, собственно, «органы» сместили как место работы. Подобное словоупотребление он считал любительским и никогда до него не опускался — даже наоборот, цеплялся к нему у других и обычно долго и скучно острил по поводу этих самых «органов», с охотой распространяясь об их возможной локализации и неприятно похикивая.

Ему было все равно, куда его направляют, поскольку функция его перемещалась вместе с ним. Перемещалось

и название отдела — «Первый отдел». Сидя в этом отделе, Иван Иванович всегда отчетливо понимал, что он там делает: на его языке это называлось «бороться за чистоту кадров». В том, что кадры около него должны быть *чистыми*, он не сомневался никогда, ибо привык крутиться в довольно высоких сферах. Сферы эти редко были на виду, но с него хватало и понимания того, что он может считать себя влиятельным человеком. Правда, считать себя таковым в последнее время становилось все труднее, ибо запросов из тех самых спецслужб, с которыми Ивану Ивановичу полагалось быть в постоянном контакте, уже почти не поступало, а стало быть, контакт постепенно превращался в чисто символический. В последний раз получилось уже просто неприлично, когда, не дождавшись привычного звонка и в волнении позвонив по много лет знакомому ему телефону, чтобы договориться о встрече, Иван Иванович услышал на том конце провода: «Иванов? Так просто и доложить? А какой, простите, Иванов? Иван Ива-а-нович? Это многое объясняет... подождите у телефона». Иван Иванович ждал, пока телефон не разъединили. Потом к нему прислали этого подозрительно парня — в котором оказались вдруг заинтересованы и сын его друга старинного, Коля Петров, и *сам*, Мордвин. О появлении в институте нового кондуктора доложить было некому, от чего, по мнению Ивана Ивановича, могла пострадать кадровая чистота. Кроме него самого, она, впрочем, сейчас уже, кажется, никого не интересовала.

В глазах Ивана Ивановича данное положение дел могло свидетельствовать о двух вещах: либо об отмирании в институте необходимости в нем самом, либо об отмирании в государстве соответствующей функции. В том, что соответствующая функция не отомрет никогда, он был уверен на двести процентов.

Тонкий вывод из этой грубой посылки бесстыдно напрашивался сам собой. Тут-то Иван Иванович и почувствовал себя «последним из могикан»: чувство это было тем страшнее, что он никак не мог вспомнить, кто такие «могикане».

Итак, чем же он располагал на сегодняшний день? На сегодняшний день он располагал, кажется, никому больше не понятной и не нужной должностью в некоем и без того загадочном учреждении и никем больше не уважаемым правом собственности на когда-то дававшее известные привилегии место жительства. Впрочем, привилегий давно не ощущалось: засекреченный район Москвы, похоже, окончательно слился с прочей Москвой — и ни о каком особом распределении сюда благ речи уже не шло. Но дело было не в этом, а в принципе!

На пару встреч, объявленных строго костюмированными инопланетянами, он нарочно не явился. Третья встреча, на которую его никто не пригласил, состоялась прямо у него дома: вернулся с работы, а в квартире — люди.

— Вы чего ж это свидания с нами саботируете, Иван Иванович? Совсем не контактируете нас...

Второе предложение Иван Иванович проглотил с трудом: винительного падежа пишевод никак не хотел принимать.

— А ордер на обыск у Вас имеется? — поспешил проявиться Иван Иванович Иванов.

— Вы еще про ордер на арест спросите! — рассмеялись в ответ. — Мы же не ветки Вам заламывать пришли, а поговорить... по-хорошему.

Между тем как хорошего этот разговор — особенно учитывая присутствие веток — не обещал.

— Вы, Иван Иванович, единственный недовольный во всем доме... таком большом доме. А наша главная цель — довольный клиент. Чего Вы хотите?

— Сказать? — ощерился Иван Иванович Иванов. — Я хочу остаться жить здесь... где я живу.

— Но не можете ведь Вы один в таком большом доме жить... по метражу не пройдет. А остальные уже почти выехали.

— Никто еще не выехал, — защитился Иван Иванович.

— Это потому, что манатки собирают: нажили много! Да и Вы кое-чего нажили — тоже немало, кстати... Разве в наших НИИ такие зарплаты высокие?

— А про НИИ-то Вам откуда известно? — непрофессионально реагировал Иван Иванович.

— Так у нас же списки всех жильцов, давным-давно составленные... Вы продвинутый человек, Иван Иванович, а такие вопросы задаете. Помните ведь, в каком районе прописаны! Тут кто попало не живет... не у всех будущее есть, но прошлое у всех одинаковое.

— И что же... оно, прошлое, в расчет не принимается? — заставил себя улыбнуться Иван Иванович.

— Еще как принимается, будьте спокойны, — объяснили ему. — Типа... с теми, у кого такое прошлое, теперь не церемонятся особенно. Хватит с них, пожили... вон, страну до чего довели своими гетто!

— И с меня хватит? — напрасно конкретизировал Иван Иванович.

— И с Вас хватит, — объяснили ему.

— Новые гетто строить будете, значит... — проявил историческую дальнзоркость «последний из могикан».

— Будем! — оптимистично пообещали инопланетяне.

— Только сначала со мной разобраться придется, — не сдался Иван Иванович. — Потому что я не даю согласия на мое выселение.

— Разберемся, — улыбнулись в ответ.

И, выйдя из квартиры, уже на улице, вздохнули: ну что ж... одним иван-ивановичем-ивановым больше, одним меньше.

А уже через две недели хоронили Ивана Ивановича Иванова: разрыв сердца случился.

Хороший был человек. Жалко, эпоним некрасивый имел — Крыса Шушара.

Мордвинов на похороны не пошел. И на девять дней тоже: с Иван Ивановичем он никогда особенно не дружил, а так... А так больно много событий за последнее время произошло. Последним, совсем свежим, было назначение им — по звонку, прилетевшему сверху, из ненавистных ему пространств — Коли Петрова на место Ивана Ивановича. Ну, не прямо уж так и на место — на новую должность, под названием «начальник службы кадровой политики»: что это за должность, Мордвинов не знал, но Коля Петров, похоже, знал прекрасно. Так выпестованное Мордвиновым сооружение и приобрело наконец божественные пропорции: теперь НИИЧР состоял ровно из пятидесяти пяти сотрудников, строго по числу параграфов программы, и никакие лишние полставки уже не искажали безупречности вверенного его попечению административного целого.

Правда, тихий Коля Петров, получив новую должность, настолько тут же и обнаглел, что у Мордвинова тотчас возникли сомнения на предмет того, действительно ли данное административное целое все еще вверено ему... а например, не Коле Петрову. Впрочем, идея эта казалась до такой степени абсурдной, что Мордвинов решил не особенно на сей счет задумываться. Будет еще время задуматься.

56. КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ

День не задался. Причем с ночи: заснуть Владлену Семеновичу по приходе с вахты не удалось ни после первого, ни после второго димедрола. Ни утром не удалось, после завтрака, ни ближе к обеду, когда он еще один димедрол от отчаяния хряпнул.

Все принялось вокруг плыть, а сон не шел.

И в глотку ничего не лезло. И аритмия началась. Панангину дома не оказалось, надо было — с мерцанием сердца-то — идти в аптеку, где вместо панангина ему предложили новый какой-то препарат, который тут же в аптеке и пришлось принять. Привыкшее к панангину сердце закапризничало и отомстило слабостью во всем теле, прекратившейся только к часу.

Потом на будильнике ужасно долго было два часа дня и чуть ли не еще дольше — полтретьего. В три позвонили из домоуправления и сообщили о задолженности по квартплате с прошлого года. Владлен Семенович, успокаивая брызгавшее в нем слюной чувство порядка, три раза перезвонил обидчикам, потом сам сходил в домоуправление со всеми своими квитанциями, минут тридцать разбирался там с какой-то нервной молоденькой дамочкой, в конце концов подтвердившей, что квитанции подлинны, и отправившей его домой — причем так, словно она наконец простила ему какой-нибудь страшный грех.

По дороге Владлен Семенович купил колбасы, которую решил пожарить себе на обед, но, придя домой весь взмокший, колбасы не обнаружил: видимо, так и забыл на прилавке. Не в силах возвращаться, он — в наказание себе — сварил чуть ли не ведро манной каши на воде и лопал ее с черным хлебом до возникновения рвотных позывов: каша сварилась

комками, и он, к тому же, забыл ее посолить. С манной каши жизнь показалась хуже не придумаешь.

Около пяти ему наконец удалось уснуть, но когда он проснулся, на часах было полшестого: время сегодня явно не торопилось. После того как ему сдали ключ от института, он решил прилечь еще на полчаса, но проспал до пол-одиннадцатого и только к двенадцати раскачался застучать на пост.

На посту было тихо.

За последнее время НИИЧР опротивел Владлену Семеновичу настолько, что он начал даже подумывать о новом обмене квартиры — и, если бы не такое опасное время, когда верить никому было нельзя, давно бы уже начал искать варианты. У него не имелось даже пожеланий касательно какого-нибудь определенного района: годился любой, где поблизости не было института мозга. Потому что присутствие около Владлена Семеновича института мозга возбуждало в нем злобное отчаяние.

Живи Владлен Семенович в старые времена, он бы нашел, куда обратиться: до самых верхов бы добрался, а доискался правды. Но не было теперь *тех* верхов, а обращаться в нынешние верха Владлен Семенович считал ниже своего достоинства: не уважал Владлен Семенович нынешних верхов. Хоть и Бог у них теперь был, да совести как не имелось, так и нет. А тогда уж, если без совести, то лучше и без Бога — как прежде! Расколи Владлен Семенович лоб, доказывая полную небогоугодность данного злополучного заведения с четвертичным ли его рельефом, с человеческими ли ресурсами, — плевать всем вокруг на Владлен-Семеновичеву тревогу. Да и как ее, тревогу-то, объяснишь, когда мозгов не хватает... ох, Спасе в Силах, вразуми!

Теперь, неся ночную вахту, Владлен Семенович уже сигнализацию не отключал и по институту не шлялся —

нахохлившись, как воробей, сидел он за столом, где Лотта Ввеймаре книжку свою читала, и думу думал. Папки ныне покойного Ивана Ивановича, которые он тогда еще все тщательно просмотрел, сильно напоминали Королёвские, из Марьиной Рощи, и не содержали ничего, кроме списков и комментариев. С той только разницей, что поименовывались в списках не жильцы, а «кондукторы» — те, кого, как Владлен Семенович наконец сам догадался, тут в НИИЧР изучали. А вот других догадок не имелось, ибо зачем их изучали и зачем все такое вообще изучать надо — об этом ему оставалось только гадать. Он и гадал — ночами напролет.

Понятно было одно: «кондукторы» располагали способностями, при одной мысли о которых у Владлена Семеновича все извилины распрямлялись. Кто предметы силою мысли двигать умел, кто письма в закрытых конвертах читал, кто человека за гипнотизировать мог, кто наложением рук сглаз-порчу сымал, кто чужие мысли разгадывал, кто с мертвыми разговаривал... ужас. Нравились же Владлену Семеновичу только «странствующие в духе» — у него от самого названия этого под ложечкой сосало. И сдавалось ему, Владлену Семеновичу Потапову, будто он тоже, стыдно произнести, однажды в духе странствовал — на пути к станции метро «Калибровская», с которой, правда, ничего не прояснилось с тех пор, да и не надо: пал Московский метрополитен имени В. И. Ленина. Так что эти «странствующие в духе» очень сильно сознание его занимали, только не было в Иван-Ивановичевых папках никаких фотографий, а представить себе «кондукторов» по именам Владлен Семенович не мог. Имелось же «странствующих в духе», судя по списку, не в пример меньше, чем прочих, — всего-то пять штук: три мужика и две женщины. И еще несколько покойных, последним из них был некто Крутицкий.

Вообще же сотрудничавших с институтом «кондукторов» насчитывались сотни — живых и мертвых... опочивших уже в процессе их изучения здесь. Сведения о многочисленных покойниках Владлена Семеновича не интересовали, а вот про живых он, конечно, почитал, особенно про «странствующих в духе»: про все ихнее происхождение-социальное-положение, про места их общечеловеческой работы. Огорчился же он — нет, разозлился — тогда, когда понял, что и Иван Иванович компромат на людей собирал, на «кондукторов», значит. В том числе и на «странствующих в духе». Один из них, по фамилии Стравинский, прямо даже чуть не разочаровал Владлена Семеновича собою: Стравинский оказался гомосексуалистом — правда, пассивным, что несколько успокоило Владлена Семеновича, простодушно решившего, что активность в таком деле хуже всего.

Но так или иначе, а было понятно, что НИИЧР стремился удерживать «кондукторов» на привязи всеми правдами и неправдами. Чтобы, значит, изучать их. Только для чего, для чего?.. Не слишком хитро устроенная голова Владлена Семеновича отказывалась признавать ценность теоретического знания самого по себе. Всякая наука имела для него смысл только в составе полновесных сочетаний типа «наука — производству» или «наука на службе человеческого прогресса». Однако наука, приютившаяся в коридорах НИИЧР, отношения к производству, со всей очевидностью, не имела: только сумасшедшему могла прийти в голову мысль наладить когда-нибудь в будущем производство людей, умеющих разговаривать с мертвыми. Редкость соответствующих способностей, казалось бы, исключала самую возможность поставить изготовление наделенных ими на поток. Здравое мышление Владлена Семеновича начинало буксовать, стоило ему

только представить себе общество, целиком состоящее да вот хоть и из гипнотизеров, — хотя бы потому, что при таком раскладе гипнотизировать ведь некого будет!

С трудом понимал он и то, как могло бы содействовать человеческому прогрессу даже вызывавшее у него восторг умение «странствовать в духе»...

Иными словами, у исследователей всех этих чудачков должна была иметься какая-никакая цель, однако именно что цели-то Владлен Семенович и не видел. Конечно, способности, о которых просто кричали списки Ивана Ивановича, можно было бы использовать, скажем, для неблагоприятных действий, но и тут фантазии Владлена Семеновича не хватало на то, чтобы вообразить себе, будто усилием воли сколько угодно большого числа «кондукторов» можно, например, в щепки разнести Америку... это Владлену Семеновичу было просто смешно. Шутки шутками, а физический мир физическим миром!

Да и... уж совсем положила сердце на руку, не верил Владлен Семенович во все это даже и на двадцать процентов. «Странствия в духе», конечно, красиво звучит, только, как известно, *постранствуешь, воротисься домой...* дальше Владлен Семенович точно не помнил, но что-то в этом роде.

И потом, есть ведь Божий промысел: в этом Владлен Семенович уже давно не сомневался. А вот в том, что доступен сей Божий промысел человеку, — сомневался. Как же, думал Владлен Семенович, человек то может знать, что только Богу известно? И такую власть над миром получить, которая у одного Бога есть? Глуп ведь человек... глуп да темен. Опасное дело... А других исцелять — так и на то Бог есть: кого надо — исцелит, кого не надо — покарает.

Так что сидел Владлен Семенович за столом Лотты Ввеймаре и, как сказано, думу думал. А Спас в Силах перед ним стоял: не ходил теперь Владлен Семенович в институт этот мракобесный без Спаса в Силах. Всякий раз придет — Спаса в Силах перед собой поставит и скажет: «Прости, Спасе в Силах, раба твоего, что в богомерзком этом заведении службу несую!» Спас же в Силах ему отвечает: «Ничего, Владлен Семенович, и не такое бывает». «А какое “не такое”?» — спросит он еще у Спаса в Силах, и тот пояснит: «Да всякое бывает, Владлен Семенович!» Тут помолится Владлен Семенович некоторыми тайными словами, да и успокоится.

А сегодня чего-то ну просто никак успокоиться не мог... все мерещилось что-то, чудилось, слышалось: бесы, небось, разыгрались — или димедрол, он почище всякого беса! В самое неподходящее время хрясь по башке — и вся башка раздолбана... и спать бы, да не спится. Так бодрствовать бы, да и не бодрствуется! А просто непонятно что...

Дабы не уплыть совсем куда-нибудь, Владлен Семенович поднялся от стола Лотты Ввеймаре и отправился пройтись по коридору: он любил иногда ночью по коридору бодро пройтись, хорошие военные песни во весь голос попеть, но сегодня и не пелось чего-то... да и шлось медленно, а коридор был словно весь в тумане — и звук какой-то посторонний где-то ближе к концу коридора возник и не пропадал: то-оненькое такое механическое пищание. На пищание и отправился Владлен Семенович: не понравилось ему пищание.

Оказалось, что пищало из кабинета под номером 27, где, небось, выключить прибор какой-нибудь забыли — растяпы. Владлен Семенович приложил ухо к двери — даже не очень понятно зачем, и тут к пищанию прибавился еще один звук, совсем уж лишний... Дыхание.

Причем *не человеческое* дыхание — зверя дыхание.

Крупного зверя.

«С нами крестная сила!» — сказал Владлен Семенович одними губами и принялся пятиться по коридору к столу Лотты Ввеймаре. Дотянулся, присел на стул...

Спас в Силах посмотрел на него строго.

— Милостивый Спасе в Силах, — растерялся Владлен Семенович, — упокой душу раба твоего... нет, не то говорю! Просвети и научи, милостивый Спасе в Силах... убоился я дыхания того, не пойду туда больше.

А Спас в Силах ему и отвечает:

— Вот что, — отвечает, — я тебе, Владлен Семенович, скажу: час битвы великой пробил. Иди и сразись с нечистым. Для того и рожден ты был на свет, чтобы зверя обороть.

— Страшусь я, — признался Владлен Семенович, чувствуя мерцание сердца своего.

— Не страшись, Владлен Семенович Потапов, — сказал Спас в Силах. — Ибо дам я тебе силу и смекалку богатырскую и не причинит диавол вреда тебе. А не станешь с ним биться — заберет он душу твою навеки.

Владлен Семенович вздохнул тяжелее некуда и, поцеловав Спаса в Силах в самые Силы, спрятал иконку на груди, в потайной карман пиджака. Потом перекрестился и шестью бестрепетными движениями вырубил сигнализацию. Взял в левую руку связку ключей и твердыми шагами отправился вглубь коридора, на свою великую битву. Аритмия мерцала в сердце так, что бросала отсветы на стены коридора.

Номер 27.

— Открывать, Спасе в Силах? — спросил он в сердце своем.

— Открывай, Владлен Семенович, — отозвался из-за паузы Спас в Силах.

Диавол упал на Владлена Семеновича из-за двери — и Владлен Семенович скорее почувствовал на себе его вес, чем увидел самого дьявола: на уровне лица мелькнула только красная пасть со страшным оскалом. Пытаясь удержаться на ногах, Владлен Семенович обхватил голову дьявола руками, но, внезапно почувствовав пальцами обод на мускулистой шее, схватился за этот обод и изо всех сил отпихнул от себя звериную тушу, выскочил в коридор и припустился бежать вслед за опережавшей его связкой ключей, которую он случайно поддал ботинком. Дьявол преследовал его только пару секунд — и когда, поняв, что погони не будет, Владлен Семенович обернулся на рык, то увидел дьявола — и узнал.

В нескольких шагах от него стояла собака человека-собакой — того самого, чей поздний приход на работу Владлен Семенович в свое время ежедневно свидетельствовал через глазок на двери. Это была огромная собака... волкодав. По глухому рычанию Владлен Семенович понял, что волкодав, видимо, нес службу — охраняя что-то в кабинете номер двадцать семь. Видимо, то, что как раз и издавало привлекавший внимание Владлена Семеновича механический писк.

Собака была на привязи — и длины мощной веревки хватало лишь на метр-другой за пределами кабинета, так что за собственную безопасность Владлен Семенович, находившийся от кабинета метрах в десяти, мог больше не переживать. Он перекрестился и, вынув Спаса в Силах из потайного кармана, спросил:

— Это и все, Спасе в Силах?

— Да какое ж все-то, Владлен Семенович, — вздохнул Спас в Силах. — Битва только начинается. В кабинет тебе надо...

В кабинет он не мог, ибо дорогу туда преграждал волкодав, которого — не обойти, не объехать... Владлен Семенович убрал Спаса в Силах за пазуху и огляделся: в коридоре не было ничего — подходящего. Да и что мог бы он найти здесь, чем удалось бы отогнать собаку? Или убить... нет, на убить он бы не решился: живое существо, как-никак... Тоже Божья тварь. Тоже службу свою несет — как и он, Владлен Семенович Потапов... грозный ангел Спаса в Силах.

Он побрел по пустому коридору, время от времени заглядывая в кабинеты и не видя ничего — решительно ничего, — что можно было бы хоть как-то использовать в явно неравной схватке. А главное, и идей-то никаких у Владлена Семеновича не возникало: не размахивать же перед разъяренным псом зонтиком, забытым кем-то в четырнадцатом! Или, вон, шваброй... или веником из подсобного помещения. Или пылесосной металлической трубкой — оттуда же. Владлен Семенович, вообще говоря, и ударить бы этой — тяжелой довольно — трубкой собаку не мог: жалко.

По одной из боковых лесенок он спустился в подвал... там уж и вообще глазу не на чем было остановиться — только намертво приделанные к стенам огромные металлические ящики с загадочно мерцающими огоньками на передних щитах — мерцающими, как его сердце.

Владлен Семенович вернулся наверх, в коридор, и опять присел к столу — единственному на все это пустое пространство: громоздкий конторский стол, способный забаррикадировать... забаррикадировать... забаррикадировать! По длине стол был почти равен ширине коридора: Владлен Семенович развернул стол и убедился в том, что это действительно так. Если толкать его прямо перед собой, то от стола до стен всего пара каких-нибудь сантиметров с каждого бока.

Поплевав на руки, Владлен Семенович попробовал сдвинуть стол в направлении собаки. По надраенному паркету стол скользил неплохо: даже особых сил не требовалось.

Собака ощерилась и зарычала.

Фокус состоял даже не в том чтобы, осторожно оттесняя противника вперед, улучшить момент, когда можно будет «наступить» тяжелым столом на веревку и таким образом лишить волкодава способности передвигаться, а в том, чтобы, во-первых, не дать псу запрыгнуть на стол, а во-вторых, вовремя остановить стол — иначе пес будет просто размазан по стенке. Представив себе такую картину, Владлен Семенович почувствовал спазм в желудке. Получалось, что любая из двух возможных ошибок была чревата большими неприятностями: в первом случае — для него самого, во втором — для волкодава.

Все это означало одно, сказал себе Владлен Семенович: наезжать на волкодава столом следует на большой скорости, но ровно через метр после двери стол должен остановиться как вкопанный.

— Стратег! — восхитился из потайного кармана Спас в Силах.

Осторожно оттесняя стол, Владлен Семенович передвинул его метров на двадцать вперед: до собаки, рвавшейся навстречу, оставалось еще метров пять. Владлен Семенович отошел в дальний конец коридора: разогнаться — и зычным голосом крикнул: «В атаку!» — что, надо сказать, сильно деморализовало пса. Не понимая планов противника, тот заскулил и попятился. А Владлен Семенович уже несся вперед с вытянутыми перед собой руками и, добежав до стола, протаранил его по гладкому паркету ровно на шесть метров вперед: глазомер у старого работника метрополитена, всю

жизнь следившего за движением «сумчатых» по эскалатору, был что надо. Последний метр, правда, дался тяжело: по веревке стол уже почти совсем не ехал.

Волкодав извивался на прищемленной столон веревке и брызгал слюной на противоположную сторону стола.

Аритмия мерцала, как северное сияние.

— Ску...ша...ла? — прерывающимся голосом спросил собаку человек, венец творенья, и без страха вошел в полутемный кабинет.

Там — в напоминающем электрический стул узком металлическом кресле — похаживал Владлен Семенович и в других кабинетах видел, — сидел человек... молодой человек с красными, стеклянными какими-то глазами. Молодого этого человека Владлен Семенович никогда прежде не видел. Он был в наушниках. От головы, рук и босых ступней тянулось к мигающему щиту на стене несколько проволочек, прикрепленных к коже чем-то наподобие разноцветного лейкопластыря и уходящих противоположными концами в отверстия тех же цветов на щите. В середине щита размещался темный экран, по которому одиноко блуждала светлая точка: видимо, это она и пищала от одиночества.

Владлена Семеновича передернуло: ему показалось, что молодой человек мертв.

Собака выла в коридоре.

Владлен Семенович осторожно приблизился к креслу, каждую секунду ожидая худого, и с минуту постоял около. Худого не произошло — и вообще ничего не произошло, только светлая точка на экране продолжала пищать от одиночества. Дыхания сидевшего слышно не было, но, судя по тому, что грудь его едва заметно поднималась и опускалась, он дышал. Готовый ко всему, Владлен Семенович протянул

ладонь к руке молодого человека и коснулся ее пальцами. Рука была прохладной, но, слава Богу, не ледяной.

Сердце Владлена Семеновича прекратило мерцать: вмиг. И перестало даже ощущаться... вообще.

Он счел необходимым тихонько кашлянуть, привлекая к себе внимание. Кашель привлек внимание только пса в коридоре, ответившего Владлену Семеновичу рычанием.

— Я прошу прощения... — осмелился обратиться к сидевшему Владлен Семенович и посмотрел на часы: стрелки слились на цифре три.

— Да ты что, Владлен Семенович... совсем уже сдурел на старости лет? — воззвал из-за пазухи Спас в Силах. — Чего ты тут кашляешь да извиняешься!

На ощупь лейкопластырь оказался металлом — видимо, посаженным на клей, но оторвать металлические пластинки от кожи было совсем легко: светлая точка скользнула сверху вниз по экрану и исчезла. Писк прекратился, а собака в коридоре примолкла. Владлен Семенович, не отрываясь, смотрел на молодого человека — тот не двигался.

И, сняв с него наушники, взвалил Владлен Семенович его на плечи богатырские, и поволок по коридору безжизненное совсем тело, и аритмия давно не мерцала уже — и вспомнился ему Игнатъич... мы не местные, мы небесные! Стал перед глазами зимний лес, и глубокий снег, и снаряды, и пули, и солдаты... И не было больше видно, где земля, где небо, где право, где лево, где свои, где чужие — и, глядя прямо перед собой, рядовой Владлен Семенович Потапов шел куда глаза глядели и помнил только одно: остановка — смерть.

Владлен Семенович втащил тело в свою квартиру и, опустив на диван, начал тормошить его так, слово и не человек

это был, а кукла тряпичная, да не отвечал Владлену Семеновичу ни один мускул, мышца ни единая... И красные стеклянные глаза не двигались.

— А вот мы тогда...

Где-то тут, возле холодильника водка у него оставалась с праздника — полбутылки почти, «Бруньки» или как их там... хорошая водка.

Он лил водку на почти бесцветные губы, пока они не дрогнули, не скривились. Взгляд очнулся, нашел в пространстве Владлена Семеновича, глаза на секунду закрылись, потом открылись опять.

— Вы кто?

— Потапов я... сторож. А сам-то ты кто будешь?

И слышит:

— Кто буду? Никто... не буду. Я лев.

О Господи... Ах, ну да, имя же просто такое: Лев.

— Убить тебя, по-моему, там хотели... в институте. А нет — так вред тебе причинить какой, — против воли сказал Владлен Семенович и замер: может, это и есть оно — то, для чего в квартире напротив все затеяно? Конечная цель...

57. ГАРМОНИЯ БОЖЕСТВЕННОГО ЦЕЛОГО

Он, понятно, вернул все на прежнее место. И стол, и собаку, которая, даже не рыкнув ни разу, сама поднялась и ушла в пустой кабинет, дав себя там запереть.

Утром, в положенное, значит, время, Владлен Семенович ключи пошел сдавать — все поджилки тряслись, — но ни о чем его не спросили. Лотта Ввеймаре ключи приняла, улыбнулась — и опять в книжку: переставать беспокоиться и начинать жить. Он даже нарочно минуты две около нее просто так, праздно постоял: может, поинтересуется чем... — ни слова, ни полслова.

И — тяжело, смутно, темно было на душе у героя. У грозного ангела Спаса в Силах — грозного ангела, которым он воображал себя до утра.

Да потом перестал: как рукой сняло.

— Человек я религиозный, — сказал себе (себе ли?) вслух коммунист Владлен Семенович Потапов, вернувшись в свою квартиру и заперев дверь изнутри. — А потому допустить истребления не могу.

Парня, конечно, жалко, но и полсотни душ в институте не пустяк.

Большинство важней меньшинства.

Один в поле не воин.

А проговорили они со Львом долго — до утра почти.

Трудный для Владлена Семеновича разговор был: он молодое поколение плохо знал... непонятные они теперь, заумные. Но одно Владлен Семенович понял хорошо: Лев этот, им спасенный, всего института поопаснее будет. Вон как ни с того ни с сего мерцательная аритмия прекратилась — стоило только запястья Льва коснуться... с тех пор ведь так и не

беспокоит. И собака как шелковая стала: не твякнула даже. И спит парень — Владлен Семенович сам видел — с открытыми глазами: заснул под утро ненадолго, но глаз своих красных не закрыл. А перед самым уходом, прощаясь с Владленом Семеновичем, двумя голосами говорил: один свой, другой... ох, не свой другой, не свой! Все благодарил, значит, Владлена Семеновича тот, второй-то, голос, и в квартире вдруг так холодно стало — прямо пар изо рта... Потом, когда на улицу парень вышел — Владлен Семенович сквозь занавеску глядел, — сделал, значит, несколько шагов и исчез: точно и не было.

Может, и вправду не было — как Горький, Алексей Максимович, в книжке писал: может, и не было, писал, никакого мальчика? А Горький — хороший советский социалистический писатель нашего века, он всю правду знал.

И вот... хоть убей теперь Владлена Семеновича, а зациклился он, стало быть, полностью на горьковской мысли этой: был ли мальчик-то? За что ни возьмется Владлен Семенович — все та же дума: был — не был? Если был — почему ж тогда утром, в институте, никто ни слова, ни полслова? И зачем тогда вся ночная борьба великая... и с кем борьба?

«*Это и все, Спасе в Силах?*» — «*Да какое ж все-то, Владлен Семенович. Битва только начинается. В кабинет тебе надо...*» — вспомнил он ночной свой со Спасом в Силах разговор и обомлел. Как же это я... что же это! Не тот был зверь, который волкодав, а тот, что в кресле сидел, дурак ты старый Владлен Семенович Потапов! Второго — красноглазого, диавола! — и обороть тебе надо было, ибо сказано: час битвы великой пробил, иди и сразись с нечистым! А не станешь, дескать, с ним биться — заберет он душу твою навеки.

Владлен Семенович схватился за пульс: в надежде на мерцание сердца. Но ничего не мерцало больше — и пульса не

слыхать было: словно сердца у него и не имелось отныне, словно именно что и забрали сердце его навеки!

Пора было покрываться холодным потом: чувство порядка требовало. Так Владлен Семенович и поступил: холодным потом покрылся и затрясся даже. Вот ведь к чему приводит потеря классовой бдительности! Обвел его, получается, диавол вокруг пальца: мучеником прикинулся, а потом и растаял в воздухе утреннем — с его, Владлена Семеновича, душою в кармане... Да, а самое-то главное, что незадолго до ухода слова крепкие диавол сказал: *преступный, дескать, институт этот — и не быть ему здесь*. Уничтожить, значит, собираются... а как же люди-то, люди? Полста душ... Лотта Ввеймаре, опять же, — хоть и надменная дамочка, а тоже жить хочет!

Да только назад-то уж этой ночи не воротишь. Не то бы он и в кабинет не пошел: суждено парню умереть было — пускай бы умирал: Божий, значит, промысел! Не должно человеку в Божьи планы мешаться. А ведь вот вмешался же Владлен Семенович — и лежит теперь на нем вина большая. Да и ответственность за полста душ лежит. К Мордвинову ему надо... — доложить. А как доложить — себя выдать? Про сигнализацию рассказать, про код Лотты Ввеймаре? Про свои странствия по кабинетам? Про подозрения свои пустые?

Ох, нехорошая ситуация, нехорошая...

Владлен Семенович вскочил со стула — и к пиджаку рабочему бросился: там Спас в Силах в потайном кармане с ночи молча лежал... забыл Владлен Семенович иконку-то по приходе с работы достать, на столик поставить, первый раз ведь забыл! Вот он, любезный, тут как тут! Зачем-то протерев рукавом светлый лик его, Владлен Семенович водворил Спаса в Силах на место и молитву совершать начал — свою, на ходу творимую:

— Спасе в Силах, вразуми, Спасе в Силах, научи!.. Проявил я, Спасе в Силах, непонимание момента — прости и извини меня, Спасе в Силах! Не с тем зверем сразился, обмануть себя видимостью дал. Согрешил, Спасе в Силах, — и каюсь, каюсь, каюсь теперь, но искуплю. Даже ценою покоя своего искуплю. Пойду сейчас в институт, в ножки к Мордвинову брошусь, предупрежу его об опасности! Дай сил мне, Спасе в Силах!

Долго смотрел на него Спас в Силах, слова не молвил. А когда уже Владлен Семенович у двери был — в квартиру напротив собрался, окликнул все-таки Владлена Семеновича по имени, снизошел:

— Владлен Семенович, а Владлен Семенович!

Тот обернулся от двери.

— Дурак ты, Владлен Семенович, русский, 1925 года рождения, участник войны с 1943 года, член КПСС с 1945 года, пенсионер с 1986 года! Дурак и больше никто. Не дам я тебе сил, проваливай. — И опустил суровый взор Спас в Силах.

Владлена Семеновича как к месту пригвоздило — стоит, за дверную ручку держится, бессвязное бормочет:

— Да я же, Спасе в Силах, я же во имя Твое... сердце мое православное, христианское... полста душ ни за грош пропадет...

Только уж не говорил ничего больше Спас в Силах — и не глядел даже на Владлена Семеновича.

А тот с духом собрался, себя перемог — и пошел вперед: за правое дело, за землю русскую, за раны Игорева... Только его и видали.

Сусанна Викторовна открыла дверь:

— Ах, это Вы, Владлен Семенович... заходите.

— К Мордвинову мне, по делу, доложите.

Лотта Ввеймаре набрала внутренний:

— Владлен Семенович к Вам по делу... Пожалуйста, Владлен Семенович.

Честное слово, ну не знал Мордвинов, как ему реагировать на исповедь Потапова. Чего-то такое нес Потапов про минувшую ночь, про зверя-обороть, про двух даже каких-то зверей, про душу свою бессмертную, кем-то у него отнятую... бред и бред. И якобы из-за этого всего контакт у Владлена Семеновича с каким-то Спасом в Силах пропал. Видимо, окончательно у старика крыша поехала... рассчитывать его надо: хорош сторож — с такими глюками!

Только зацепило Мордвинова вдруг имя одно редкое... Лев (*«Львом назвался... зверь и есть! Все тут, говорил, разнесу, камня на камне, говорил, не оставляю»*).

О том, что Коля Петров Льва в институт привел, Мордвинов знал уже: увидел Льва у Ивана Ивановича — подивившись, как все-таки тесен мир и как много в его, Мордвинова, судьбе людей с паранормальными способностями. Вот и Леночкин сын, подумал он еще тогда, тут: вся Москва в одном котле варится. Екнуло что-то насчет того, что не надо бы, может быть, Льву сюда, да Мордвинов рукой махнул: а-а-а... пусть сама теперь Леночка со своим сыном разбирается! Он и так уж для него больше, чем для родной дочери, сделал: в библиотеку на хороший оклад устроил, с Ратнером свел... получается, даже в академию напутствие дал, а Леночка так приложила его... так приложила. И с кем бы еще в компании... — с Ратнером!

Но сейчас не в этом дело — сейчас все так обернулось, будто Лев ночью — без Мордвиновского ведома — в институте чего-то делал, аж сторожа, вон, до сумасшествия довел (*«Сам, сам, своими руками зверя отпустил, вот этими вот*

руками, отрубить мне их!»), угрожал даже, вроде, потом какие-то способности странные проявлял... и что бы, черт побери, все это значило?

— Идите уже, Владлен Семенович, — сказал Мордвинов перевозбужденному старцу. — Понятно все. Льва мы знаем, я разберусь. Да не надо мне особых примет, идите!

И побрел Владлен Семенович по коридору — свидетелю ночной его битвы, беды его ночной. А на паркете ни царапинки не было: хорошо еще натерали паркет в самом конце двадцатого века!..

Мордвинов вызвал к себе Колю Петрова.

— Приду, когда время будет, — сказал тот, мгновенно выведя Мордвинова из себя: что значит — «когда время будет»?

Вломившись в бывший кабинет Ивана Ивановича без стука, Мордвинов в упор посмотрел на явно бездельничавшего Колю Петрова и произнес такие слова:

— Ты, Коля, не рано зарываться-то начал? Я ведь тут еще директор пока... или как?

— Конечно, еще директор пока, — подтвердил ровно столько, сколько его попросили, Коля Петров.

Оставив без внимания цитатность ответа, Мордвинов поддиректорски же и спросил:

— Что тут ночью происходило, знаешь?

— Знаю, — нехотя ответил Коля Петров. — Знаю, но не скажу.

— Скажешь, — пообещал Мордвинов и, повернувшись к двери, запер ее изнутри, а ключ в карман положил. Быстро подошел к столу, снял телефонную трубку и отпустил ее лететь в пустое пространство. Трубка завизжала.

Он возвышался над щупленьким Колей Петровым, как гора: здоровенный сибиряк четыре-икс-эль, спокойный и, может быть,

даже величавый. Такого поворота миролюбивый, в общем-то, Коля Петров предусмотреть не мог никак.

— Ну?

Дальше сибиряк схватит его за галстук и начнет душить, пока не задушит к ядрене-фене... насмерть.

— Вас что конкретно интересует? — прибегнул к ненужному риторическому приему Коля Петров.

— Все, — не дал ему выкрутиться Мордвинов. — И прежде всего — что Лев тут делал, в такое время суток... мне ведь не надо тебе рассказывать, кто такой Лев?

— Не надо, — сдался Коля Петров.

Дело было плохо. Может быть, Коле следовало самому сообщить с утра Мордвинову о ночной накладке, а не пытаться замаять событие... может быть, следовало вызвать сторожа и спросить его, куда делся Лев. Впрочем, если Лев просто, так сказать, дематериализовался — черт ведь его знает, что этот парень может, чего не может в реальности! — то сторож едва ли поможет. И уж, конечно, не Рексу следовало Льва сторожить, а Поповичу, раз он был так уверен в «невиданном доселе паранорамальном потенциале», который якобы нес в себе Лев... Но так или иначе, а Мордвинов о чем-то пронюхал — непонятно только, много ли пронюхал.

Коля Петров был преемником Ивана Ивановича — того единственного в институте человека, который располагал сведениями о подлинных целях работы с кондукторами. Целей этих, впрочем, настолько не афишировали, что словесно нигде, кроме как в устном общении, да и то с величайшей осмотрительностью, они не обозначались. И не потому, что цели были какими-то уж очень непривлекательными, нет... об уничтожении кондукторов, речи, разумеется, никогда не велось: мы же не варвары!

Речь велась о сугубо научных исследованиях человеческих способностей, а то, что способности такого типа представляли угрозу для принятого в стране диалектико-материалистического способа мышления, ибо шли вразрез с ним и заставляли опасаться за формулировку всегда крайне интересовавшего систему основного философского вопроса (все помнят какого), — это даже не самое главное. Самое главное — что подопытные были наделены способностями, *которых не бывает*: в незыблемой научной справедливости этого положения коллектив ученых НИИЧР был един. Хоть и не полностью един: известная часть ученых считала, что подобных способностей не столько *не бывает*, сколько *не должно быть*, а это, согласитесь, — одна, по крайней мере, большая разница. Ну и... вот, считавшие, будто их *не бывает*, рассматривали своих подопытных как людей, одержимых воображаемыми способностями, а считавшие, что их *не должно быть*, — как людей, наделенных способностями, подлежащими искоренению.

Впрочем, обе части научного коллектива сходились в одном: паранормальность есть состояние «около нормальности», а значит — в конечном счете — ненормальность и потому подлежит излечению. Так что все без исключения сотрудники рассматривали НИИЧР как медицинское учреждение, призванное исцелять больных, а кондукторов — как пациентов, о чем последних, разумеется, в известность не ставили. Поисками научно обоснованных способов излечения коллектив НИИЧР и занимался — разрабатывая и усовершенствуя, стало быть, методики подавления при- сущих отдельным индивидам паранормальных свойств.

Для того чтобы такие методики были эффективными, паранормальные свойства прежде всего требовалось как следует

изучить. Так замыкался круг: кондукторы предоставляли свои способности в распоряжении института, существовавшего для того, чтобы выводить из строя кондукторов. То есть, нормализовывать их, как оно называлось на языке высокой науки. На языке же повседневности это означало, что люди с паранормальными способностями превращались здесь в нормальных людей — иногда в сумасшедших нормальных людей, но тут уж ничего не поделаешь. Да и не все ли мы такие!

Сегодняшней ночью, например, была предпринята попытка нормализовать Льва Орлова: по словам Бориса Ратнера, почти совпавшими кое-с-чьими еще словами, сказанными непосредственно Коле Петрову при личной встрече, в нейтрализации были заинтересованы *высшие эшелоны власти*. Разбираться в том, употреблено данное — в общем-то, коробившее его филологический слух — словосочетание по делу или всуе, Коля Петров не стал.

Однако попытка сорвалась — Коля Петров не понимал из-за чего, и подозревал, что виноват в этом именно «невиданный доселе паранормальный потенциал» подопытного, мистическим образом сумевшего не только выскользнуть из металлического кресла и ускользнуть от хорошо натренированного Рекса, но и просочиться сквозь две запертые двери — лабораторную и институтскую... мимо сторожа.

— Алеша Попович, — начал неспешное повествование Коля Петров, — счел, что пора начинать лечение... На это требовались часы, Лев сложный случай. Ему ввели сильный транквилизатор и оставили в двадцать седьмой до утра, под охраной Рекса, так уже ведь и раньше поступали, с другими кондукторами... допускаю, что Вы не знали. А Лев исчез.

Чудесным образом. Утром в лаборатории была только собака. Дверь в лабораторию оказалась запертой, как и вечером накануне. Сигнализация в порядке. Вот и все.

— Парня без наблюдения оставили, значит, — сказал Мордвинов и представил себе: полутемная двадцать седьмая со зловещими огоньками на щите, страшная собака у двери, глухие шторы на окнах, холод металлического кресла — и полная невозможность пошевелить хоть пальцем.

Коля Петров сделанного резюме не понял — он же только что сказал: под охраной Рекса...

Мордвинов, давно стоявший у окна, вынул из кармана ключ, подошел к двери и медленно отпер кабинет. Бывший кабинет бывшего Ивана Ивановича. Он знал, что не обладал больше никакими полномочиями в НИИЧР, но, распахнув дверь, сказал:

— Вы уволены, Коля Петров. Вон отсюда, гнида.

Наблюдая у распахнутой двери за тем, как Коля Петров собирает манатки и с перекошенным лицом покидает помещение, Мордвинов не сомневался, что уже не сегодня-завтра тот вернется в НИИЧР и займет директорское кресло.

Его директорское кресло.

Но жалко — жалко до слез, до спазма в грудной клетке — Мордвинову было не кресла, а числа пятьдесят пять, которое он только что перечеркнул собственной рукой. Жалко было гармонии... гармонии божественного целого.

Он не мог принести Леночке более полной жертвы, чем эта. Гармония божественного целого.

58. СТРАННОЕ, СТРАННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Ах, если бы еще хоть кто-нибудь хоть что-нибудь знал!

Если бы хоть кто-нибудь знал, зачем все это было нужно: сентябрьский вечер, когда Лев пошел в институт на очередной «сеанс» (так назывались здесь встречи с кондукторами), долгий разговор с Алешей Поповичем, на тот момент остававшимся единственным, кто ждал Льва, присутствие встревоженного Рекса, с которым Лев давно уже успел подружиться и любил поговорить, когда Рекс праздно болтался по коридору. В тот вечер Рекс говорить отказывался, смотрел на Льва преданными глазами, поскуливал и во время всего разговора с Алешей Поповичем сидел, прижавшись к ноге Льва. Как будто бы Лев и сам не понимал, что куда-то не туда клонит Алеша Попович, болтает слишком много и нервничает, вводя Льву контрастное вещество — можно было подумать, в первый раз в жизни контрастное вещество вводит!..

Если бы хоть кто-нибудь знал, почему Алеша Попович ничего не возразил, когда Коля Петров, ставший в институте новым Иваном Ивановичем, распорядился в конце прошлой недели провести во время следующего сеанса со Львом «нейтрализацию». И это несмотря на то, что предложение было явно преждевременным — даже, может быть, вообще не необходимым — и что сам Коля Петров, скорей всего, хорошо отдавал себе в этом отчет...

Если бы хоть кто-нибудь знал, чей именно голос и в каких верхах дал Коле Петрову соответствующую команду, — не сам же он в конце концов такие вещи решает... даже и жесткий, как наждачная бумага, Иван Иванович на себя такой ответственности не брал, а уж чтобы мягчайший Коля Петров... — не-прав-до-по-доб-но!

Ах, если бы хоть кто-нибудь хоть что-нибудь знал... по крайней мере — какие все-таки конкретно изменения должны были произойти со Львом, в наушниках посаженным на металлический стул, обвешанным датчиками и оставленным в лаборатории на ночь под присмотром Рекса. Или — каким на следующее утро Лев должен был очнуться, что испытать, и было ли бы это тем, чего от него на самом деле хотели добиться. Даже сам Алеша Попович, гений Алеша Попович, протянувший проводки от кожи Льва к щиту на стене, понятия не имел, *что* побежит по проводкам в подвал и *что* по тем же проводкам вернется из подвала назад, хотя почти всегда более или менее отчетливо представлял себе результаты нейтрализации... Впрочем, это был первый случай, когда нейтрализация проводилась с кондуктором, всего-то и поприходившим в лабораторию три месяца, в то время как обычно периоды, предшествовавшие нейтрализации, измерялись годами.

Если бы хоть кто-нибудь хоть что-нибудь знал!

Но никто не знал ничего. Никто в этой стране никогда ничего не знал.

А само событие в конце концов рассыпалось в прах. Те немногие, кто был в курсе, больше не встречались. Мордвинов тут же подал в отставку. Коля Петров принял на себя заведование институтом. Владлен Семенович загулял на больничном. Алеша Попович, вроде бы, пришел на работу как ни в чем не бывало... да ничего и не бывало: такого вообще не бывает.

— И тебя бы тоже могло уже не быть.

Так говорил дед Антонио, словно какой-нибудь Заратустра.

— Я думал, я смогу держать ситуацию под контролем, деда! Кто ж знал, что там транквилизаторы.

— Везде транквилизаторы, Лев, вся страна на транквилизаторах — на снотворном, на успокоительном, на «Лебедином озере», на телевидении, на газетах... понимать бы тебе! Ты спишь, Лев, с открытыми глазами спишь. Ох, Господи-помилуй... я уж думал все, конец. Ты мне скажи, ты почему со мной не говорил в тот вечер?

— Ты прямо как тамагочи! — рассмеялся Лев. — Не говоришь с тобой один вечер — капризничать начинаешь!

— Я и есть тамагочи, — серьезнее не бывает сказал дед Антонио. — Принцип тот же: не обращаешься ко мне — улечу на другую планету. Да и все мы тамагочи, Лев... чахнем от невнимания.

— Я знаю, — тихо сказал Лев. — Знаю. Только... я один на один с ними хотел, деда! Я на честный бой шел, я правды добивался, что с Крутицким случилось, почему Устинов из больницы не вылезает! Про исследования-то давным-давно все понятно было, а вот про последствия этих исследований...

— На честный бой шел! — усмехнулся дед Антонио. — Что ты знаешь о честных боях! Честных боев не бывает. Никакой «честный бой» не честный, поскольку у одного из противников всегда есть тайное преимущество. А потом, это же не твой бой, Лев! Если бы ты хоть практиковал то, что умеешь...

— Но это нельзя *практиковать*, деда! Я... я, вот, живу свою жизнь — свою, в общем-то, тихую совсем жизнь, свою *нарочно* тихую жизнь, потому что я ведь знаю теперь, какие-то такие силы есть во мне. Только оно — то, что во мне есть, — оно такое большое, деда! Такое большое, такое смутное, такое... неизвестное. Оно, может быть, даже страшное. Ты ведь знаешь про зеркала, деда. Ты ведь единственный, кому я рассказал! Не ты ли ответил мне: «Вот теперь все уже по-настоящему жутко»? И я помнил эти слова — помнил их, когда уходил из того дома на 4-ой Брестской, которому я уже назначил:

не быть... Так что в одном я теперь окончательно уверен: *это* нельзя практиковать! Не только мне — вообще никому. И я никогда не буду — практиковать. Даже в ответ на то, что почти все остальные — практикуют. Сам Устинов практикует — уже одним тем, что преподает. Говорить, кстати, — это тоже практиковать: создавать вербальную действительность и заставлять других жить в ней. Я *не* практикую, деда.

— А *не* практикуешь — так чего ж тогда... — соваться тогда чего! Верная просто погибель!

— Так я ведь под присмотром, деда!

— Моим... то есть?

— И твоим! Но очень надеюсь, что *не только* твоим. Да... все еще надеюсь, хотя — зеркала, зеркала, зеркала! А потому надеюсь, что под присмотром все, кто не практикует: именно они-то и под присмотром.

— Ты это чувствуешь?

— Скорее, наблюдаю... наблюдал. В цирке наблюдал. Там нет присмотра. Там все *практикуют* — на пределе человеческих возможностей. Но только на самих себя и рассчитывают: со-смертью-играю-смел-и-дерзок-мой-трюк! Зрители ведь на это острое ощущение и ходят: а вдруг уже сегодня разобьется? Я всегда цирка боялся. И тебя, когда ты Антонио Феери, боялся.

— Я знаю. А теперь я сам тебя иногда боюсь.

— Не бойся, тамагочи, — сказал Лев, — я бережно с тобой обращаюсь...

— Спасибо, — ответил дед Антонио: голос был влажный.

— Эй-эй, — позвал Лев, — ты не горюй там особенно: все обошлось.

— Да ничего не обошлось! Со свету тебя сживать пока не собирались, но...

— Не собирались?

К «собирались — не собирались» Лев и дед Антонио возвращались снова и снова — снова и снова пытаясь убедить друг друга в том, что Лиза стоит на страже и, пока это так, жизнь Льва в безопасности. За эту безопасность сейчас расплачивается Лиза: так Сэм и предсказывал полгода назад.

— Они из нее теперь веревки вить вознамерились! Подозревая, что она на любое их условие пойдет — пригрози ей только, что с тобой что-нибудь случится. Но на любое условие — нельзя: тут игра тонкая предстоит. Ленор они просто убрали — и все, потому что со мной никто так не возился, как с Лизой возятся. Старикам наплевать было, есть я или нет меня.

— Тонкая игра — в том смысле, что...

— В том смысле, что кажется, будто они тебя на крючке держат, а Лиза — их... Но на самом деле Лиза и их, и тебя держит: на сколько она их за крючок потянет — на столько и они тебя. А отпусти они крючок, на котором ты висишь, Лиза свой крючок сразу бросит. Она не дает им возможности тебя шлепнуть, потому как в противном случае они ее потеряют. Хотя ведь и, кроме «шлепнуть», варианты имеются. Очнешься в один прекрасный день в какой-нибудь Франции: посреди Шанз Элизе, на лавочке: ни паспорта, ни адреса, ни языка. Хорошо еще, если во Франции — это-то подарок! Депортировать тебя — э-ле-мен-тар-но: и жив, и вне поле зрения! Начни, дескать, с нуля: стартовые возможности у всех одинаковы. Лизу на это можно уговорить: как-никак, депортировать — не шлепнуть! И еще я одно тебе скажу, только ты не бери этого особенно в голову: в твоих руках никакого крючка нет... значит, ты только тем Лизе помочь можешь, что сопротивляться не будешь, — тогда ей легче и их, и тебя

тащить. Проблема ведь, в конце концов, только в тебе: соскользни ты с крючка — и Лиза свободна. Это я не к тому, чтобы... ну, ты понимаешь.

Лев понимал. Он понимал, что самый страшный груз для Лизы — не «они», а он, Лев. Потому как Лиза его только опосредованно держать может — не видясь с ним и не зная, что происходит, но надеясь, что осторожные ее движения ему не повредят. В то время как любое неосторожное... но об этом лучше было не думать.

— Сэм, конечно, во многом прав, — вздыхал дед Антонио. — Только есть ведь и еще один крючок, о котором Сэм не знает, а мы с тобой — знаем. Потому как теперь-то понятно, что Ратнер — среди «них». Ты тогда подросток был, Лев... ты сердился, когда я Ратнера клеймил. Но мне кажется, я тогда уже знал, что он — там, с «ними». Поскольку не бывает иначе: только сам режим может разрешить людям играть в антирежимные игры... Так что есть ведь и еще одна цепочка крючков... понимаешь?

Лев понимал. Они держали его на этом втором крючке, а их самих — их самих держала Леночка.

Лев позвонил ей сразу же, вернувшись домой после ночи, проведенной у богобоязненного Владлена Семеновича.

— Мама? — спросил он, когда она подняла трубку.

Леночка не знала, что сказать: она тайно и терпеливо ждала этого слова вот уже столько лет, ждала с того самого момента, как отдала Льва, во всем желтом, деду Антонио. Она не умела отвечать на «мама»... ей только стало больно и сумасшедше счастливо.

— Да, Лев.

— Тебе, видимо, лучше поскорее расстаться с Ратнером... у него связи в кое-каких страшных, действительно страшных,

кругах. Меня только что чуть не прикончили в одном НИИ, куда меня Борис Никодимович сотрудничать направил.

— Он *тебя* в НИИ сотрудничать направил?.. Я же когда-то его самого предупредила, что там... убивают! Мне Мордвинов проговорился... он там директор, знаешь?

— Неважно это. Я теперь за тебя боюсь — что ты рядом с Ратнером, — объяснил свой звонок Лев.

— Не бойся за меня, — хрипло сказала Леночка, и Лев не узнал голоса. — С Ратнером я справлюсь. Я уж постараюсь, я изо всех сил постараюсь, Лев, — она хотела сказать «сын-нок», но не знала, справятся ли губы, — чтобы он... хм, чтобы он пока дорожил мной. А если Ратнер около меня, тебе ничего не грозит... совсем страшного.

Девочка в длинном белом платье давно растаяла — вся, без остатка.

Даже и капельки воска от нее не осталось: итальянские свечи умели сгорать полностью.

— И получается, Лев, — подвел итог дед Антонио, что тебя два крючка держат. Тебя одного.

— Двойная страховка, супер! — усмехнулся Лев.

— Да чтоб тебя... — буркнул дед Антонио, — тебя и вообще... молодежь: вы же... вы инопланетяне какие-то!

— Деда... — примирительно сказал Лев, — знаешь, что говорит в таких случаях начитанная Лиза? Она Ахматову цитирует: «И в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас». Вот, собственно, и все — о молодежи... о поколении.

— Ну-ну.

Любил теперь Лев это дедово «ну-ну»...

Две женщины держали его. Двойная страховка. Смешно. Смешно, что он смирился с таким положением в пространстве: он — которому не нужно было пространства, не требовалось

пространства, который не дорожил пространством вообще... этим внешним по отношению к себе и всегда лгущим пространством.

Две женщины держали его — его, царя зверей и людей, который — мог. Мог, но ничего не делал. И даже не собирався, ибо само все происходит, само. И НИИЧР сам с лица земли исчезнет.

Он опять вспоминал Сэма — нелепейшего, умнейшего Сэма, насквозь пропитанного «дурью» и навсегда потерянного даже для себя.

— Ты же... — извини, Лев, за то, что я сейчас скажу, мне это Лиза по секрету, ее ты тоже извини, — ты же можешь по-другому... ты же можешь — остановить, прекратить, изменить в свою пользу! Так скажи ты мне, какого... какого этого самого ты не делаешь ничего? Ты *должен*, тебе *это* для того и дали... мать твою!

Сэм почти кричал тогда.

А Лев только руками развел — и все.

Потому что... потому что как рассказать Сэму, как рассказать хоть кому-нибудь на этом свете о зеркалах... или о *том* Льве... о львенке, который с ужасом смотрел на пере-пи-лива-е-му-ю Леночку и не знал: удастся ли в этот раз? Который, смущаясь до паники, глядел на деда Антонио, державшего в руках серебряную ниточку, и знал: у деда Антонио *может* не получиться. И кролик *может* не образоваться в цилиндре. И голубь *может* не вылететь из рукава. И ковер *может* не подняться над ареной. Ах, дед Антонио никогда не знал, чем закончится фокус, и потому превращался в страшного Антонио Феери, который — знал все.

Но с Антонио Феери Лев отродясь не имел ничего общего.

— Я не знаю, *что же* я все-таки могу, деда! Понимаешь?

— Понимаю. Никто не знает, *что же* он все-таки может.

Никто не знает. А значит — не трогать. Не касаться. Не беречь. Есть на то не наше разумение, ему и распорядиться здесь.

Даже если пытаться будут — не говори, что умеешь, потому что: не умеешь.

Не говори, что знаешь, потому что: не знаешь.

Не говори, что понимаешь, потому что: не понимаешь.

И — надо отпустить этих двух женщин, которые держат его на двойной страховке. Надо освободить их от необходимости быть с «ними»: Лизе — с домашними ее, ибо беда человеку от домашних его, маме — с Ратнером. Это Лев принуждает их держать крючки, и они держат, потому что там, на дальнем конце цепочки — он: груз, который им дорог. Груз, которому они не дадут сорваться, — даже если крючки вопьются в кожу и дальше — в мясо, в сердце.

Надо отпустить двух женщин на свободу.

— Когда ты собираешься сделать это? — спросила Лиза, возникнув вдруг там, где всегда находился один дед Антонио: спросила прямо, спокойно.

— Завтра.

— Карту только на кухонном столе оставь. Я найду тебя потом, — сказала Лиза.

— Я оставлю. Но ты найдешь меня. Ты найдешь меня по имени.

— Вы, Лиза, и Леночку приведите, дочку мою, — попросил дед Антонио. — А то она одна не сориентируется.

— Я приведу, Антон Петрович. Не волнуйтесь.

Нет, странное, странное, странное они все-таки поколение...

59. СЛОВОМ ЛЕВ

Но надо было еще раз пройтись по Москве. Не по *всей* Москве: «всей Москвы» не бывает. Надо было пройтись по той, которая есть. Об этом — о последней прогулке по той Москве, которая есть, — Лев с дедом Антонио договорились еще вчера, когда Льву в конце концов удалось убедить деда, что отсюда им пора уходить.

— Ты ведь уйдешь со мной?

— Смешной ты, Лев! Я и так уже... не здесь. — Голос деда Антонио был почти спокойным.

— Ах, ну да...

На прогулку вышли утром — прозрачным, октябрьским — и сразу же, одним им известным путем, попали в Китай-город.

Хотя правы, конечно, те, кто говорит, что нет такого города!

Быстрые девяностые уже готовы были уступать место даже пока не начинавшему учиться ходить новому веку.

Лев не помнил, когда он просто так еще гулял по Москве — густо населенному пункту, в котором тяжело и обременительно жить, но гулять по которому — одно удовольствие.

Так ведь и гуляли они с дедом Антонио когда-то... в старинные года. Или нет, не так: тогда в их распоряжении не было *столько* Москвы, тогда Москва была поделена, и видимая ее часть выглядела значительно меньше, а о существовании некоторых улиц-улочек-переулков-закоулков они просто и не ведали, «ибо не в той среде родились, Лев, — и слава Богу!» — любил потом повторять дед Антонио.

Зато теперь об этих улицах-улочках-переулках-закоулках, похоже, ведали все кому не лень: стерлись старые границы

между городом видимым и невидимым — оба были даже нанесены на карты, и карты продавались где угодно, только вот... зачем они теперь, эти карты! За пределами их, новых с иголки карт, потихоньку образовывалась уже иная Москва.

Но не все, ах, не все вокруг них были так беспечны в своем отношении к пространству, так никуда не спешили и даже, собственно, никуда определенно не шли, как Лев и дед Антонио.

Москвичи мыкались по городу, последовательно о-с-т-о-л-б-е-н-е-в-а-я: то от непривычного названия улицы, то от совершенно иного расположения строений, то от взявшегося откуда ни возмись дворца, то от провала на месте бывшего особняка... Кто-то пытался войти в не существовавший больше дом, кто-то топтался около куда-то исчезнувшей парикмахерской, кто-то бросался грудью на ряд плотно примыкающих друг к другу киосков, между которыми всегда-был-проход-я-же-еще-вчера-здесь-шел!

Население столицы кидалось наперерез автомобилям, пользуясь уже не существующими переходами, прыгало в автобусы и троллейбусы давно отмененных маршрутов, садилось на не стоявшие вдоль скверов скамейки, прогуливалось в устранившихся к чертовой матери парках, делало закупки в закрытых накануне магазинах, поглощало пищу в только что разрушенных пирожковых и чебуречных, оправлялось в намертво забитых досками туалетах... Но — шарахалось от навязчивых призраков маршрутных такси, боялось заходить в полуоткрытые двери прежде не действовавших церквей, страшилось подвохов в пахнувших свежей краской сберкасках и банках и незнакомых ароматов в расцветших повсюду салонах красоты.

Видимое перестало быть видимым, невидимое вылезло на поверхность, и только тайное оставалось верным своей природе. Прямо на глазах в стеклянную витрину вдруг провалился валяжный пешеход с портфелем, сворачивала в отсутствующую подворотню прыткая лань в деловом костюме, возникало из-под земли — все в золоте — лицо-безопределенных-занятий и, переходя дорогу в неполюженном месте, исчезало под землю же посреди проезжей части дороги, прямо под колеса машины. На них никто не обращал внимания.

Это была веселая прогулка. Лев — словно ему шесть лет — то и дело восклицал:

— А вот, господа, андерманир штук — другой вид...

— ...храм Христа Спасителя стоит! — хохоча, подхватывал дед Антонио.

— Андерманир штук, прекрасный вид — Малый Манеж стоит!

— Андерманир штук, новый вид — Наутилус стоит!

В Александровском саду приглашали покататься на пони, подержать в руках двухметровую змею.

На Арбате потешали публику уличные акробаты, жонглеры, куплетисты.

У памятника Пушкину зачуханные поэты читали длинные политические стихи.

На бульварах не прекращались народные гулянья.

На площади Революции стояла — прямо возле собственного музея — парочка-тройка вечно живых ленинов, рядом с ними — ничуть не менее вечно живые сталины, брежневые, горбачевы, ельцины: с ними со всеми или с каждым по отдельности можно было сфотографироваться на память... на память о чем? О двадцатом веке.

— Андерманир штурк, — шепнул одному из ельциных Лев, — другой вид: новый президент стоит!

«Ельцин» испуганно качнулся в сторону, однако тут же и восстановил равновесие.

Все здесь словно возникало по взмаху волшебной палочки, словно доставалось из рукава: как будто Антонио Феери прошуршал черной своей накидкой по Москве, по стране...

— Страшно, деда, — сказал Лев.

— А ты шепни «дед Антонио!» — и все исчезнет.

Решили идти пешком до Усиевича — сначала по неузнаваемой Тверской, потом — по узнаваемому Ленинградскому.

Внешне консервативный Ленинградский явно противился новым временам, то и дело однако убегая то направо, то налево — прежде неизвестными Льву улицами. Воспаленными голодными глазами, которые теперь не нужно было беречь, Лев вглядывался вдаль — сосредоточиваясь на точках, как советовал Устинов. Из точек прорастали высоченные здания — вплоть до ближнего Подмосковья и дальше, чуть ли не до Твери. Новая тайная Москва, куда не будет доступа тем, кто не сможет угнаться за временем.

— Лев, я что подумала, — Лиза ворвалась так внезапно, что дед Антонио, тоже хотевший что-то сказать, поперхнулся первым же слогом. — Я, пожалуй, и Сэма с собой заберу, можно? Ему здесь тоже ведь нечего делать будет: совсем ведь от «дури» человек пропадает.

— Конечно, забирай. Ты чем сейчас занимаешься?

— Новую Москву по памяти рисую — все эти теремки. И знаешь, как забавно — сквозь них тоже что-то все время проглядывает... какие-то прямолинейные сооружения, монументального такого типа: советская неоклассика, поздняя,

сталинские дома или наподобие. Очень трудно рисовать, потому что сооружения эти гораздо больше теремков.

— Понятное дело, больше, — усмехнулся Лев.

— Ненавижу позднюю неоклассику, — буркнул дед Антонио. — А вообще, все ведь так и начинается: с постройки отдельных домов. Потом кварталы, потом улицы, потом районы... И потом карты устаревают.

До Усиевича добрались к ночи.

Полежав на диване с полчаса и попив чаю с крекерами, Лев бодро отчитался:

— Я готов. Уходим?

— Каланхоэ бы полить в моей комнате.

— Каланхоэ с собой заберем, — успокоил его Лев. — Так тебе спокойнее будет: подумаешь, не велик груз.

Он зашел в комнату деда и взял в руки горшок с каланхоэ.

Комната была единственной в квартире, где сохранялся порядок. У себя Лев не убирал уже давно — с тех самых пор, как Лизу удалили из поля его зрения. А вот к деду постоянно навещался. Здесь все было как прежде, несмотря на то, что дед часто ворчал: устроил, де, мемориальный музей из моей комнаты. Но именно здесь жил Лев сейчас, один, без Лизы. Лиза — вот тоже, смешная! — всегда боялась заходить «к деду». «Да ну, — говорила, — еще превратишься в кого-нибудь!» А комната и в самом деле была полна цирковых атрибутов: чемоданчики, саквояжи, зонтики, шляпы, трости, перчатки, пестрые платки (Лев вытряхивал платки по ночам с балкона и потом снова развешивал их по широкой спинке дедова дивана), ящики и ящички, коробки и коробочки, рулоны разноцветной бумаги, бумажные цветы, сосуды самой разнообразной формы...

— Единственное, чего жалко, — это твоей комнаты, — признался Лев. — У меня даже в носу щиплет... столько ведь лет, деда!

— Может, останешься пока? — струсил дед Антонио.

— Ты конкретно чего боишься-то?

— Конкретно — я *всего* боюсь... — В голосе деда Антонио была совсем легкая усмешка. — Когда речь о тебе идет. — Это уж без усмешки. — Когда другие уходили...

— Так другие не туда уходили, дед Антонио! — беспечно отозвался Лев. — И я ведь не вслед за ними пойду, экий ты... Я вот сейчас квартиру изнутри запроу — и пойду. А другие все — они наружу уходили.

— Ну, запирай, — решительно сказал дед Антонио. — Креста на мне нету.

Лев вышел в прихожую и вернулся со словами:

— А вот, господа, андерманир штук, другой вид... Ну деда, чего ты так драматизируешь, эй!

Потом он слазил на самую верхнюю из книжных полок и достал из-за книг папку. Папку и тоненькую блестящую полоску — браслет в виде золотой веточки. Тайком от деда, словно тот мог видеть его, Лев быстро опустил веточку в нагрудный карман рубашки.

На счастье.

Или на всякий случай.

Карту Пал Андреича он рассматривал вчера вечером, и тогда ему опять показалось, что она увеличилась в размерах. Сегодня карта выглядела еще больше, словно Москва выросла за ночь... впрочем, кухонного стола хватило, чтобы на нем разложить ее всю — всю Москву? Но *всей* Москвы не бывает!

Горшок с каланхоэ Лев поставил на самый краешек и этак его приобнял — левой рукой.

— Значит, деда... — Лев не видел ничего, кроме слипшихся друг с другом разноцветных точек. — Если тут у нас верх, то есть север, то все очень просто... внизу юг, запад слева, восток справа, делов-то! Когда Лиза в первый раз Magic Eye принесла, все так же и выглядело: не-по-нят-но.

— Погоди, Лев. Маме не позвоним?

— И что скажем? Поздно уже, второй час. Лиза завтра прилетит и все объяснит. Да и собраться маме будет надо: хоть маленький чемоданчик с одеждой, с парфюмерией, ты ли маму не знаешь? Если там, например, опять какой-нибудь роман предстоит... никто ж не застрахован!

— Иногда мне так грустно, что я не принадлежу к вашему обманутому поколению! — сказал дед Антонио. — Больно уж хорошо как-то вы мир видите...

Карта лежала на кухонном столе и — как всегда — жила своей жизнью. Точки то вспыхивали, то гасли — вроде огоньков в ночных домах Москвы. Лев неслышно вздохнул и расфокусировал взгляд.

— Хорошо бы, конечно, — мечтательно произнес он, — там планета Сатурн — с кольцом вокруг брюшка. И далекие горы с зубчатыми вершинами. И всадницы на крылатых конях. Но там ведь не так?

— Не вполне так. — В голосе деда Антонио была теперь уже спокойная улыбка. — Не вполне так, но тоже неплохо... Там у тебя перестанут болеть глаза...

— ...и я снова увижу тебя?

— И ты снова увидишь меня. Меня и другие сны. А сны — хорошее дело, поверь мне. И пространство, новое, я тебе гарантирую — новехонькое! Ну всё... спи, Лев. Спи, я сейчас тебе — колыбельную твою, слушай:

А вот, господа, андерманир штук — хороший вид, город Палерма стоит, барская фамилия по улицам гуляет и нищих тальянских деньгами оделяет.

А вот, извольте видеть, андерманир штук — другой вид, Успенский собор в Москве стоит, своих нищих в шею бьют, ничего не дают.

А вот андерманир штук — другой вид, город Аривань стоит, князь Иван Федорович въезжает и войска созывает, посмотри, как турки валяются, как чурки.

А вот, государыни, андерманир штук — еще один вид: в городе Цареграде стоит султан на ограде. Он рукой махает, Омер-пашу призывает: «Омер-паша, наш городок не стоит ни гроша!» Вот подбежал русский солдат, банником хватить его в лоб, тот и повалился, как сноп.

А вот, друзья, андерманир штук — город Вена, где живет прекрасная Елена, мастерица французские хлебы печь. Затопила она печь, посадила хлебов пять, а вынула тридцать пять. Все хлебы хорошие, поджарые, сверху пригорели, снизу подопрели, по краям тесто, а в середине пресно.

А вот, господа, андерманир штук — город Краков. Продают торговки раков. Сидят торговки все красные и кричат: раки прекрасные! Что ни рак — стоит четвертак, а мы за десяток дивный берем только три гривны, да каждому для придачи даем гривну сдачи.

А вот андерманир штук — город Париж, поглядишь — угоришь, где все по моде, были б денежки в комоде, барышни на шляпках, в широких юбках, в шляпках модных, никуда не годных. А кто не был в Париже, так купите лыжи: завтра будете в Париже.

И, прижав к груди каланхоэ, Лев растворился в мерцающих точках карты.

«Да не может ловець осочити слѣда его», — беззвучно напомнил он себе и деду Антонио.

Резь в глазах пропала. Очертания проступили сразу же — начав неспешно громоздиться друг на друга, соединяться и разъединяться снова. И он тоже стал очертанием... — здесь, где чередовались кружки площадей, полоски улиц и переулков, пятнышки парков, прямоугольники жилых кварталов, а также набранные мелким шрифтом слова.

Одним из слов стал и он.

Да он и всегда был только словом.

Словом ЛЕВ.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Потом ни один патологоанатом не соберет	5
2. Не цирковое дитя.....	10
<i>Как выращивать золотую рыбку в чернилах</i>	<i>16</i>
3. Собственно, даже Антонио Феери.....	17
4. Больше ничего	24
5. Сделай такой фокус!	33
6. То есть, агнец агнцем	40
7. Мне кажется, он уехал в Италию.....	48
<i>Как протыкать пальцем фетровую шляпу</i>	<i>53</i>
8. Никакой точки.....	54
9. Бывает же такое.....	66
<i>Как вытягивать тонкий платок из кончика рапиры.....</i>	<i>71</i>
10. Белой, снежной своей пылью	72
11. Легче дурачить	88
12. Торты в прихожей почему-то не оказались.....	100
<i>Как выливать воду из пустого кувшина</i>	<i>114</i>
13. Что-то около того	116
<i>Как доставать голубя из коробки</i>	<i>135</i>
14. Ровно на один сантиметр.....	138
15. Непостижимо страшное.....	148
16. Вот уже и куртка надета.....	158
17. Положение.....	165
18. Сейчас перестанет.....	172
<i>Как превращать черный плащ в красный</i>	<i>183</i>
19. На память об этой встрече	185
20. Нет.....	193
21. Вперед, Владлен Семенович	200
22. Если учесть, что я не существую.....	207

23. Пал Андреич протрезвел.....	216
24. И они обнялись	226
<i>Как заставить человека исчезать</i>	
<i>под черным покрывалом</i>	<i>235</i>
25. На аплодисменты никто не вышел.....	237
26. Как филин	248
27. Нажрутса.....	258
28. Первогодекабратысячадевятсот-	
восемьдесятвосьмогогода	271
<i>Как избавляться от ненужных зонтиков</i>	<i>287</i>
29. Он машинально выбрал первое	289
30. Потому что настало время.....	303
31. Я, пожалуй, съезжу	315
32. И тайн не выдал	329
33. На вас последняя моя надежда и упование.....	341
34. Голос умел улыбаться	353
<i>Как соорудить стеклянный колокол.....</i>	<i>363</i>
35. Как знать	365
36. Нельзя	375
37. Втроем.....	385
<i>Как находить под ковром волшебную палочку.....</i>	<i>395</i>
38. И жалко, жалко, жалко — всех.....	398
39. «Алеша Пешков»	405
40. С такой и стати.....	415
41. Тысячи ничего не значивших рублей	426
42. Це-ло-вать-ся.....	435
<i>Как делать зрителей невидимыми.....</i>	<i>443</i>
43. Е. К.....	445
44. Господи, помоги нам	453
45. И не стало девочки.....	461
46. Демократка	471

47. В общем, расстались друзьями	480
<i>Как удалять купол цирка</i>	<i>489</i>
48. Но ключ пока у меня	492
49. Глупая консерваторская скрипочка	504
50. Хорошая молитва, сердечная	514
51. Спелись	523
52. Сказал и замолчал.....	534
53. Ох-хо-хо.....	544
54. По-собачьему	555
<i>Как устранять фокусника</i>	<i>565</i>
55. Будет еще время задуматься.....	568
56. Конечная цель.....	578
57. Гармония божественного целого	591
58. Странное, странное поколение	601
59. Словом ЛЕВ	610

Литературно-художественное издание

Евгений Васильевич Клюев

Андерманир штук

роман

Редактор

Наталья Василькова

Художественный редактор

Валерий Калныньи

Верстка

Юрий Васильков

Подписано в печать 14.12.2011
Формат 70x108 ¹/₃₂
Бумага писчая. Печать офсетная
Гарнитура Charter
Усл.-печ. л. 27,3
Тираж 2000 экз.
Заказ №

«Время»
115326 Москва ул. Пятницкая, 25
(495) 951 5568
<http://books.vremya.ru>
letter@books.vremya.ru

Отпечатано в ОАО «ИПП „Уральский рабочий“»
620041, ГСП-148, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
<http://www.uralprint.ru>
book@uralprint.ru